

МИР ПАУСТОВСКОГО

К. Паустовский

№ 25

2007



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Всероссийского союза городов
ПОМОЩИ
ВОЛЬНЫМЪ И РАНЕННЫМЪ
ВОИНАМЪ.

Ноябрь 23 дня 1915 г.

№ 114

Отделъ Личнаго Составъ удостоверяетъ
что Константинъ Георгиевичъ ПАУСТОВСКИЙ
состоялъ на службѣ Всероссийскаго Союза
Городовъ въ качествѣ санитаря на тыловомъ
военно-санитарномъ поѣздѣ № 65 съ 26-го
сентября по 14-е Декабря 1914 года и на
полевомъ военно-санитарномъ поѣздѣ №
1-го Декабря 1914 года по 18-е
" братамъ милосердія при
фронта съ 22-го 1
1916 года.

*Снимъ удостоверяю, что студентъ
Императорскаго Московскаго Универси-
тѣта историко-филологическаго факультета
Константиномъ Георгиевичемъ Паустовскимъ
состоявшимъ на службѣ братамъ милосер-
дія и помощникомъ заведующаго врачебно-
хозяйственнаго пункта № 4 Всероссийскаго
Союза Городовъ, Самарскаго уезда.*



*удостоверяю, что студентъ
Императорскаго Московскаго Университѣта*

ЗОЛОТАЯ
НИТЬ

ВОЕННАЯ
ЮНОСТЬ

ПОИСКИ
И НАХОДКИ

МИР ПАУСТОВСКОГО № 25 2007

СОДЕРЖАНИЕ:



Культурно-просветительский и
литературно-художественный
журнал

МИР ПАУСТОВСКОГО
К.Г. Паустовский

Издаётся с 1992 года
Издание периодическое

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Галина КОРНИЛОВА

Редакторы:

Илья КОМАРОВ
Эльвина МОРОЗ
Михаил ХОЛМОГОРОВ
Лидия ЧЕШКОВА
(ответственная за выпуск)

Компьютерный набор:

Вадим ПОДОБЕДОВ
Сергей КИРИЛЕНКО
(рабочее макетирование)

Корректор

Ольга ПОДОБЕДОВА

Оригинал-макет

Леонид РЫЛЁНЫШЕВ

Перевод «SUMMARY»

Наталья ПЕШКОВА

Общественный совет:

К.Н.БАКШИ
С.С.ИЖЕВСКИЙ
К.А.КЕДРОВ
В.Л.КЛЮШИН
В.П.КРАПИВИН
Л.П.КРЕМЕНЦОВ
О.И.ЛАРИН
А.П.ТИМОФЕЕВСКИЙ
А.М.ТУРКОВ
Д.Г.ШЕВАРОВ
К.В.ШИЛОВ
В.Л.ЯНИН

Адрес редакции:

109472, Москва,
ул. Кузьминская, 8,
Московский литературный
музей-центр К.Г.Паустовского,
тел. (факс): (095) 172-7791
e-mail: m385@mail.museum.ru
<http://www.city-kgp.nm.ru>



Подписано в печать 07.06.2007 г.
Формат 60×90%. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27.
Тираж 800 экз.
Отпечатано в ООО
«Типография Сарма»
105120 Москва, ул. Сергия
Радонежского, 9, корп. 1

На 1-й стр. обложки:
К.Г.Паустовский.
Первая мировая война
На 4-й стр. обложки:
Война. Рис. Бориса Йирку (Чехия)

Журнал издается за счет средств
Комитета по культуре города Москвы

Галина КОРНИЛОВА Путеводная нить писателя 2

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУСТОВСКИЙ

Константин ПАУСТОВСКИЙ Золотая нить. Повесть 4

ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ

Константин ПАУСТОВСКИЙ «Война. Тревога. Мобилизация»
(Из дневников 1914–1915 гг.) 13

УБИТ. СКОНЧАЛСЯ ОТ РАН...
(Документы о гибели Бориса и Вадима Паустовских) 22

Константин ПАУСТОВСКИЙ Письмо Сергею Высочанскому 24

Екатерина ЗАГОРСКАЯ «Мой адрес — Действующая армия...»
(Письма сестре 1914–1916 гг.) 24

Константин ПАУСТОВСКИЙ «Живу по-походному»
(Письма 1915–1916 гг.) 28

Михаил РЕШЕТНИКОВ Затерянный очерк 32

Константин ПАУСТОВСКИЙ Письма с войны. На позиции.
Очерки из газеты «Вятская речь» 33

Александр РОМАНИН По местам недавних боёв 37

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ Белорусская зима санитары Паустовского 38

Константин ПАУСТОВСКИЙ «Там холод и гибель...»
(Из стихов военных лет) 40

ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПАУСТОВСКОГО

Игорь ШТОКМАН Цветение жизни. О романе «Романтики» 42

Валентина БАЗИЛЕВСКАЯ «Как мир хорош в своей красе
нежданной...» 47

Иван ИВАНОВ Одержимость поэзией
(Круг чтения молодого Паустовского) 49

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ ПАУСТОВСКОГО

Афанасий ФЕТ, Фёдор ТЮТЧЕВ, Игорь СЕВЕРЯНИН 55

ИССЛЕДОВАНИЯ

Леонид КРЕМЕНЦОВ Трудные дороги поиска 64

ПИСАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Ким БАКШИ Анна Васильевна 77

Юрий КУРАНОВ О времени и о себе 80

ЛЮДИ, ГОДЫ, СУДЬБЫ

Вадим ВЫСОЧАНСКИЙ О судьбе Н.Г.Высочанского
(Документы и публикации) 84

НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ

Константин ПАУСТОВСКИЙ «Писать хочется и писать по-настоящему»
(Из писем 1922–1931 гг.) 94

В МОЕЙ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ...

Валентина ФРАЕРМАН Годы РОСТА 100

Наталья МОРОЗОВА Вспоминаю с любовью 102

Дмитрий СТАХОРСКИЙ Паустовский 104

Виктория ТУБЕЛЬСКАЯ Я смеюсь... 109

Юрий КАЛИНИН Салатный томик 110

ММР ПАВСТВОБСКОТО

К. Нанчиндорж

№ 25

2007

В НОМЕРЕ:

«Я СОЗДАМ, Я ХОЧУ СОЗДАТЬ СЕБЯ...»

*Повесть, дневники, письма, стихи
молодого Паустовского
Первая публикация (4)*

ОДЕРЖИМОСТЬ ПОЭЗИЕЙ

*Афанасий Фет, Фёдор Тютчев,
Игорь Северянин (55)*

РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО

*ПАУСТОВСКОГО — ЛИШЬ УЧЕБНЫЙ
ПОЛИГОН. СПРАВЕДЛИВО ЛИ ЭТО
МНЕНИЕ?*

Исследование Леонида Кременцова (64)

ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ (84)

Трагическая судьба Н.Г.Высочанского

*ПИСАТЕЛИ РАЗМЫШЛЯЮТ
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ*

Ким Бакиш, Юрий Куранов (77)

НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ

Письма Паустовского 20-х годов (94)

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

Поэзия и проза (113, 120)

*ТАРУСА СЕСТЁР ЦВЕТАЕВЫХ И
АНАТОЛИЯ ВИНОГРАДОВА (151)*

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

ПОЭЗИЯ:

Андрей НИТЧЕНКО, Наталья ОРЛОВА, Иван КУЗНЕЦОВ,
Филипп ДЗЯДКО, Александр КОЛЕСНИКОВ 113

ПРОЗА:

Андрей ГАЛЬЦЕВ Рюмм. Рассказ 120

Ирина ВАСИЛЬКОВА Ксенолит. Рассказ 123

Юрий ЭКЗЕМПЛЯРОВ Undergraund, или Долгое прозрение
в прозе. Эссе 129

Алексей СМИРНОВ Новеллы о детстве. Покупка века 132

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сергей ОХРЕМЧИК Всё сущее увековечить... 138

Сергей МАРИН Зелёный конверт. О судьбе вятского писателя
Михаила Решетникова 143

Михаил РЕШЕТНИКОВ Условные и образные прозвания
(Литературные заметки) 147

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Анастасия ЦВЕТАЕВА Моя Таруса. Письмо к Е.Ф.Куниной 151

Надежда ВИНОГРАДОВА Анатолий Корнельевич Виноградов 153

Татьяна МЕЛЬНИКОВА Дочь писателя 157

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС В ТАРУСЕ 164

Леонид РАБИЧЕВ Рисунки. Стихотворение 166

«СЛУЧИЛОСЬ ПРИОБЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ...»

Марк КОСТРОВ Заглушица 169

Валентин МАЗИН, Любовь ХИТРОВА «Благоуханна и туманна,
как вечер выцветший, сирень» 173

Анатолий ЯНИ Император запахов 179

Александр ПОЛЕЩУК Речка из книги 180

ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ

Владимир ЗАКАЗНИКОВ Умолкнувший звук... 181

НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Владимир КАСАТКИН Дом с мезонином в Солотче 188

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Евгений ПОТУПОВ В Рёвнах, посреди России... 193

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Пётр ДОВЖУК Ищу ответ 196

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 197

ОТКЛИКИ

Инна РУДЕНКО Чем спасти душу живую? 200

ПАУСТОВСКИЙ-ГРАЖДАНИН. Из стенограммы заседания редколлегии.
Обсуждение журнала «Мир Паустовского» № 23 200

Лилия СУДАВИЧЕНЕ Приглашение к размышлению 201

Нина ГУСАРОВА-РАЗДОРОВА Его творчество неисчерпаемо 202

Татьяна МОРОЗОВА Задолженность за свет.
Рецензия на книгу Михаила Холмогорова «Жилец» 203

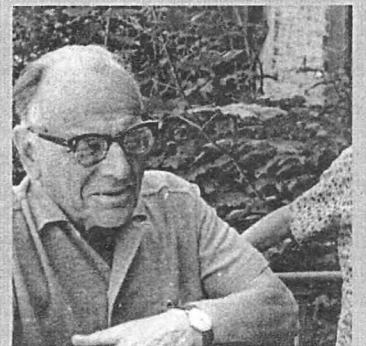
НАМ ПИШУТ 206

СИГНАЛ

В. ЗАЙЦЕВ, Л. ЕВГЕНЬЕВА И дом окажется в руинах 210

Хроника-Информация 211

SUMMARY 220



В номере использовано 354
архивных материалов из фондов
Музея-центра К.Г.Паустовского

ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ ПИСАТЕЛЯ

Недавняя находка в архивах писателя его незавершённой ранней повести «Золотая нить» представляется мне событием исключительной важности.

Как известно, любое раннее произведение того или иного писателя даёт возможность его читателям и исследователям увидеть самое начало творческого процесса, проследить его истоки, а также познакомиться с кругом проблем, к которым он обращается.

Однако в случае с «Золотой нитью» всё оказалось намного сложнее. Предположительно написанная где-то в начале двадцатых годов эта повесть, несомненно, включает в себя и более ранние записи и наблюдения молодого Паустовского. И как раз отсюда проистекает её некоторая двойственность.

Здесь нужно сказать о том, что личная судьба писателя сложилась таким удивительным образом, что в свои молодые годы он оказался непосредственным свидетелем событий, которые во всех наших учебниках истории названы «историческими».

Он был не только свидетелем, но и участником Первой мировой войны, собственными глазами видел последствия того трагического акта, который называется «Брестским миром». На его глазах происходило падение Временного правительства, он находился в столице, когда на её улицах и площадях разыгрывалась кровавая драма, получившая позже на страницах всё тех же учебников название «Великой Октябрьской революции».

Наконец уже на Украине, в Киеве и Одессе он своими глазами увидел и немцев, оккупировавших страну, и приход в Киев армии Петлюры, и отступающую Белую армию, покидавшую родину и отплывающую от берегов Одессы в Турцию.

Иными словами — небольшая повесть молодого Паустовского являет собой бесценное свидетельство очевидца самых значительных событий современной русской истории.

Однако читатели журнала «Мир Паустовского», вышедшего под двадцать вторым номером, где опубликована первая глава повести «Золотая нить», ничего этого на её страницах не нашли. Поскольку начинается это странное произведение с описания красот города Парижа, в котором автор доселе не был, но о котором неустанно мечтал, ощущая себя причастным к его необычайной красоте.

«Я вспоминаю Париж — лилово-серый от туманов, пахнущий дождями и небрежно рассыпающийся в синюю ночь конфетти огней...»

Нетрудно догадаться, что навязчивые видения прекрасного чужеземного города — всего лишь попытка убежать от невыносимо тяжёлой русской действительности, окружающей писателя в эти годы. Однако этот придуманный рассказ о роскошной парижской жизни изобилует книжными надуманными образами, дающими основание для упреков автору в излишней высокопарности.

Так, по заверению писателя, в его душе «едва слышно звенит струна», в ней «рождается какой-то хрусталь», и эту самую душу он «воспитывал... как нечто редкое, как цветок «виктория-регия», расцветающий раз в столетие».

Но вот наконец, оставляя Париж со «звенящей нервно надломленных женщин», герой повести на так

же придуманном им «норвежском угольщике» возвращается на родину.

И сразу же, с последующей за «парижским вступлением» страницей, читатель становится свидетелем невероятного. Ибо на наших глазах из мечтательного подростка, выражающего свои чувства заимствованным книжным языком, автор превращается в личность зрелую, прекрасно отдающую себе отчёт в происходящем, и одновременно — в тонкого стилиста, писателя, обретшего свой собственный голос.

Золотая путеводная нить ведёт его в глубину разорённой, нищей, замученной войной и мятежами России. В том, как он напишет о ней, нет и следа былой книжности. Мы смотрим на страну его беспощадно-точным взглядом внезапно повзрослевшего и всё понимающего человека:

«...слюнявые пузыри дождей на ржавых болотах, зарборы, исписанные похабщиной, жирный храп и почёсывание обовшивевших солдат, пронзительные ветры над глинистыми оврагами, матерщина, циничный свист вслед женщинам, скулящее нытьё еврейских местечек, заражённых трахомой, вялая, глупая, тошная тоска беспозвоночных интеллигентов...»

Известно, что в тысяча девятьсот пятнадцатом году Константин Паустовский, став добровольцем Действующей армии, работал санитаром военно-полевого отряда Всероссийского Союза городов. Это обстоятельство и дало позже нам, читателям, редкую возможность прочесть его пронзительное описание войны, которая в русской литературе как бы осталась неосвещённой. Хотелось бы одновременно отметить и другое: именно в таких зарисовках Первой мировой войны вырабатывался тот неповторимый стиль писателя, который характерен и для его позднего творчества.

«Армия дичала, матершила, болела. На зимних стоянках было глухо и скучно, по землянкам хрипели разбитые граммофоны и шла азартная картёжная игра. Изредка мы открывали редкий огонь по немецким окопам, по ночам подолгу горели над лесом бенгальские огни ракет. Сынчик уже валил с ног позеленевших солдат, и в тыловых сёлах густо пахло карболкой и испражнениями».

Но стране, замученной, обескровленной войной, суждено было пережить и новые потрясения:

«Революция тяжело и глухо прокатилась по фронту, над халупами затрепыхали линючие красные флаги, повсюду шли ещё корявые, восторженные митинги...»

Здесь стоит отметить одно любопытное обстоятельство, касающееся личности молодого писателя. В это самое время, осенённое «линючими красными флагами», тысячи его ровесников становились участниками кровавых битв «за революцию», в которых они сами и погибали, или же присоединялись к противникам революции, чтобы быть в конце концов расстрелянными на берегах Тавриды, или же окончить жизнь на чужбине.

Меж тем молодой Константин Паустовский, ввергнутый судьбой в самую гущу стремительно развивающихся событий, оказался не активным их участником, а лишь прозорливым наблюдателем. Быть может, именно его дар писателя и позволил ему понять в тот момент, к какому концу катится его страна и чего стоят разнообразные при-

зывы и воззвания. Что обещают народу тектонические сдвиги, уничтожающие на его глазах ту Россию, в которой он родился и жил. Именно трезвая отстранённость автора и одновременно пронзительная точность наблюдений происходящего больше всего поражают в этих исторических записях Паустовского.

«Потом были братания, вся армия была охвачена истерией, билась в эпилепсии, и в зеленоватых, изъеденных оспой лицах, в хриплых лающих голосах, в истошных воплях и истошном покаянии вдруг вскрылась юродивая, бунтующая вольная и покаянная Русь времён Ивана Грозного, раздирающая струпья, матерно кроющая Христа, лежащая крестом в голых, воющих волчьим воем полях, над которыми вишней-рязанкой наливалась сонная заря. <...> В проявивших от весеннего, мягкого ветра полях были митинги, говорили ещё чуждые слова об интернационале, министрах-капиталистах, классовой диктатуре, ополченцы-крестоносцы толком ничего не понимали, армия озлоблялась всё больше, в окопах всё чаще появлялись чёрно-серые немцы в коротких рыжих сапогах, и всё это казалось неизбежным, непреодолимым и очень тоскливым».

Речь здесь идёт о заключении того самого, позорного Брестского мира, спровоцированного агитаторами Ленина (пытавшегося удержать власть большевиков) и им самим воспетого в известных сочинениях. Протест против которого стоил жизни Бухарину и по которому Россия (практически одержавшая победу в Первой мировой войне) отдавала Германии в аннексию Польшу, Украину, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья и платила немцам контрибуцию в шесть миллионов марок.

Благодаря этим страницам повести Паустовского мы можем воочию увидеть, что именно происходило в эти годы в столице, что переживала армия и как именно был навязан ей этот позорный договор с врагом.

Столь же страшны картины начавшейся в столице революции, написанные рукой того же беспристрастного и зоркого очевидца. Хотелось бы думать, что эти, впервые публикуемые нами главы «Золотой нити» со временем привлекут внимание историков, занимающихся проблемами той эпохи в России.

«Временное правительство пало. Всё в пыли и дыму, охрипшие полубезумные люди судорожно отстреливались из-за каменных тумб, из-за афишных столбов, из разгромленных брошенных квартир...»

Отнюдь не чувство революционного подъёма вызывает у молодого Паустовского вид разрушавшейся на глазах столицы, обильно политой человеческой кровью.

«Из лопнувших труб сочился газ, по ночам Москва пламенела в пожарах, задыхалась в дыму и копоти, по улицам валялись трупы, кровавые лужи засыпало битым стеклом и штукатуркой, хрипло и весело кричали красноармейцы, наступая на бульвары густыми нестройными массами».

Комментируя одну из своих записок очевидца, Паустовский признаётся в том, что сам он плохо разбирается во всех этих событиях, которые лавиной обрушились на Россию той трагической осенью семнадцатого года. Тем не менее его собственные тексты свидетельствуют об обратном. Он не принимает перемен, происходящих в стране, они чужды ему. Всю бессмысленность их и жестокость революции он успевает увидеть своими глазами. Именно поэтому, спасаясь от братоубийственной бойни и кровавых сцен на московских площадях и улицах, писатель решает в конце концов бежать в родной ему Киев.

«Летом после восстания левых эсеров я продал последние вещи и уехал через Брянск и Зерново на Украину».

Можно предположить, что именно с разгромом эсеровского восстания у Паустовского рухнули последние надежды на то, что мир может стать прежним.

Однако едва он ступил на украинскую землю, как лицом к лицу столкнулся с немцами, чувствующими себя здесь после заключения Брестского мира полноправными хозяевами.

«Серые немецкие солдаты в низких шлемах долго и хмуро вертели наши документы и потребовали на чай пятирублёвку царского образца. Стоя перед ними на пыльном большаке, поросшем подорожником и кашкой, я впервые понял, что я у себя на родине, разгромленной, нищей, прекрасной, затаившейся от гнева и обиды».

Но и в самом Киеве молодому писателю так и не удалось обрести прежнюю безмятежную жизнь с мечтами о далёком Париже. К городу в это время подступала армия Петлюры, и он, как бывший фронтовик, был немедленно зачислен в полк под командованием гетмана.

Ещё через месяц, спасаясь теперь от новой, на этот раз петлюровской мобилизации, он бежит из города сначала в деревню, а потом уже перебирается в Одессу.

И здесь судьба снова делает его свидетелем ещё одного знаменательного события русской истории. Стоя на черноморском берегу, писатель наблюдает, как уплывает к берегам Анатолии отступающая под натиском красных Добровольческая белая армия генерала Врангеля.

«Дни ухода добровольцев — серые, сухие и морозные — прошли как во сне... Я долго смотрел, как уходила в Константинополь вереница транспортов, густо дымя и поворачивая в открытое море. Потом с берега стали лениво обстреливать пароходы шрапнелью, и так же лениво на огонь ответил английский миноносец. Берега были пустынные, серое море было светлее неба, густые водоросли сгнивали на каменных плитах.

— Кончено, — подумал я, глядя на последние, тугие облачка шрапнели и на высокий дым, поднимающийся над морем к небу. Уже темнело...»

Так к каким же выводам может прийти человек, прочитавший небольшую по объёму и, как мы видим, не завершённую автором рукопись, названную им «Золотой нитью»? Эти выводы можно сформулировать достаточно коротко, однако они, возможно, покажутся неожиданными для тех, кто хорошо знаком с творчеством Константина Паустовского.

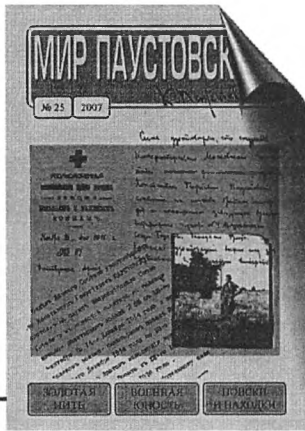
Прежде всего надо сказать о том, что в современной русской литературе нет другого произведения, где столь ярко, правдиво, жёстко описана русско-немецкая война 14-го года и последовавший за ней позорный для России Брестский мир.

Исключение здесь составляет Александр Солженицын, но его рассказ об этом времени звучит скорее как исследование историка, но не как запись очевидца и художника.

Нам кажутся бесценными жёсткие и одновременно необычайно яркие зарисовки, сделанные Паустовским в канун октябрьского переворота.

В целом же «Золотая нить» как бы представляет собой заявку молодого и несомненно талантливого писателя на широкое эпическое полотно, темой которого станет его «поруганная родина».

Однако, как мы знаем, такой книги Паустовский не написал. Он выбрал другую дорогу — став живописцем тонких человеческих чувств и родной природы. Теперь уже мы никогда не узнаем: был ли это его собственный выбор или за писателя решало то жёсткое, а точнее — жестокое время, в котором ему суждено было жить. Нам лишь остаётся благодарить Паустовского за книги, которые он успел написать. И ещё за то, что все они спасали души его читателей.



НЕИЗВЕСТНЫЙ ПАУСТОВСКИЙ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ЗОЛОТАЯ НИТЬ¹

Как во сне я помню мокрую, мёртвую Колу, озёра и леса по мурманской дороге, чахлах людей и влажные огни Петербурга.

Весь первый вечер я бродил по блестящему граниту набережных, слушал далёкий шум, смотрел, как уплывали в ноябрьской Неве фонари разводных мостов.

Ночевал я у своего школьного товарища, на Каменноостровском проспекте. В маленькой комнате множеством книг я долго не мог уснуть, думая о своём одиночестве и войне. От кафельной печи тянуло сухим теплом, в щели приоткрытой двери сочился красноватый свет лампадки, а на синем и сонном рассвете было слышно, как за каменноостровскими садами звонили к ранней обедне.

В Петербурге всё было как-то нереально, туманно, устало. Я читал военные стихи Брюсова и Северянина, сводки о боях, ходил на Варшавский вокзал провожать эшелоны, и всё это было как-то вчуже, словно я попал в город призраков. Потом, в Москве, убранной снегами и золотом церквей, в музее Шукина я встретил Бродского, — художника, с которым я ехал из Англии. Он обрадовался мне, повёл в меблированные комнаты у Триумфальных ворот, и мы провели весь вечер за крепким чаем, вспоминая Париж и говоря о будущем. Я уже был зачислен в тяжёлый артиллерийский дивизион, формирующийся в Брянске.

Мы бродили с Бродским несколько дней по Москве, по звонким от чайников трактирам, по дряхлым переулкам, слушая скрип полозьев, глядя на зеленеватые алмазы декабрьских звёзд, на ватные хлопья снега, медленно падавшие на карнизы ампирических особняков.

В окнах горели ёлки, слышались старые мелодии Моцарта, Чайковского, Шопена, по улицам бренчали бубенцами и цвели расписными дугами тройки.

Было уже Рождество.

Бродский говорил мне о своей бредовой идее великой западной империи, которая расцветет после войны и столицей которой будет Париж. Это будет империя небывалого ренессанса, утончённого как золотая нить интеллекта, империя жадности и радости.

Как визионер он говорил о Париже — *la ville mondiale*, — насыщенном идеями и красками всех стран и всех эпох.

После нескольких дней в Брянске, заполненном криком мальчишек, катавшихся на салазках с гор, скрипом снега и белой и мягкой тишиной, — я уехал на фронт.

Потянулись суровые, словно посыпанные чугуном пеплом дни в их жестокой новизне и непрерывной боли. Скрипели обозы, вяло по-зимнему погромыхивали сражения, дуло из разбитых окон халуп, лошадиные трупы вздували животы, гнили в болотах чахлае беженцы, пахло прелью и йодоформом от солдатских шинелей, томило от позеленевших глаз раненых.

И ещё более нереальны, разодраны как ветхие тряпки жестокой тоской и молчаливы стали дни. Впервые после гимназических лет я снова ощутил широкую пустоту в сердце, и прошлое вспоминалось с напряжением, как сон. Мучило сознание того, что я что-то забыл, о чём должен помнить ежечасно.

И только однажды мне вспомнился провинциальный город на юге, смуглый от солнца, слюдяной блеск Днепра, золотая мука, поднятая седыми волнами, и костры настурций в бабушкином саду.

Это было детство, полное уютного сумрака, гула сосновых лесов, печальных глаз моей матери, одиночества и беспричинных слёз в кануны тихих праздников, когда на восковых паркетах играл свет лампадок и бродили по низеньким залам, мурлыкая, серые кошки. И эта одинокая хрупкость, щемящее чувство, непонятое мною самим, стало забываться на войне, как давно прочитанная книга.

Во время отступления мы шли через Седлец, сотрясая коваными колёсами чисто вымытые окна польских домов, и я, качаясь от бессонной ночи в

¹ Начало повести см. в «МП»-22.

скрипящем седле, медленно перелистывал страницу за страницей всю свою прошлую жизнь. Было серо, туманно, тихо. По пустым польским усадьбам кричали петухи, была уже осень второго года войны, падали сухие листья, и всё это напомнило мне сухую бронзовую осень у нас, в России, и мою первую любовь.

Армия дичала, матершила, болела. На зимних стоянках было глухо и скучно, по землянкам хрипели разбитые граммофоны и шла азартная картёжная игра. Изредка мы открывали редкий огонь по немецким окопам, по ночам подолгу горели над лесом бенгальские огни ракеты. Сыпняк уже валил с ног позеленевших солдат, и в тыловых сёлах густо пахло карболкой и испражнениями.

Я ничего не читал, кроме старых газет, ездил к знакомым в Земские отряды, томился и изредка писал. Но вялые слова нехотя ложились на листки блокнота, быстро забывались, не волновали, и всё реже я слышал в душе тот странный, звенящий стон, который впервые поразил меня в Гонфлере.

Злое безразличье заполнило белёсые дни.

Ну, что ж! — война, смерть в сыпняке и собственной блевотине, скучные дни и недели, и опять смерть без крика и ласки. Не было в этом уже той невыносимой тяжести, что томила в первые дни, ни дум, ни былых суровых радостей.

Ночевали мы на Седлецком ободранном вокзале. На рассвете я проснулся от холода и вышел на вокзальную площадь. В лысом сквере кричали воробьи и был такой звук, словно жарилась сотня котлет, трава была в росе, и над поредевшими садами всходило нежаркое, спокойное солнце.

Снова я вспомнил мою первую любовь к Насте Кузьминой, сероглазой гимназистке с густыми ресницами. Вспомнил раннюю Пасху, когда в оврагах ещё лежал снег, но уже цвели фиалки, запах её кос, глаза в дыму и золоте заутрени, площадки, звон, крики мальчишек и перелётных птиц над мокрыми садами. Тогда я ещё читал запоем Метерлинка и бредил Джиованной.

Месяцы войны были медленны, с каждым днём отодвигали прошлое, закрывали его завесой холодного, ноябрьского дождя.

Началась осада Вердена. Я был случайно в тылу, в липком от блестящей грязи и лошадиной мочи еврейском местечке Кобрин. Шли грязные, холодные дожди, брякло небо, орали по задворкам облезлые петухи, и по ночам голосили в дощатых хибарках рыжие, безобразные еврейки.

В те дни я много, до горечи в горле курил, сидя часами в мрачной польской кавярне, ковыряя чёрную клеёнку, играл по вечерам в железку с офицерами артиллерийского парка и читал растрёпанный том Достоевского без начала и без конца.

Я думал о Вердене, об апокалипсических боях, о том, что моё место — там, среди голубых шинелей «пуалю»¹. Я потерял свою родину. Вся история

Франции, годы Людовиков и красный, черепичный Париж времён Великой революции, сырые поляны Сен-Клу, романы Гюго и стихи Беранже, те ясные нити, что связывают Париж с жёлтым зноем Египта, с влагой обласканных океаном Антилл, с верфями, дымом и огнями мировых гаваней, с мудростью всех эпох, дошедших до нас в шершавых холстах и истлевших страницах, снова всплыли передо мной. Вся красота этого города, вкрадчиво шуршащего автомобилями по сырým дорожкам Булонского леса, изящного, упадочного, нервного, большого и наивно-го, обкуренного крепким дымом рабочих трубок и пряными струйками гаванских сигар, пропитанного до сердцевины запахом кофе, цветов и люксембургского солнца, — всё это было моё, неотделимое, родное. И чужда была Россия, Полесье, слюнявые пузыри дождей на ржавых болотах, заборы, исписанные похабщиной, жирный храп и почёсывания обовшивевших солдат, пронзительные ветры над глинистыми оврагами, матерщина, циничный свист вслед женщинам, скулящее нытьё еврейских местечек, заражённых трахомой, вялая, глупая, тошная тоска беспозвоночных интеллигентов, прапорщиков, глушивших ханку и рыгавших сивухой. Несколькими днями я провёл в метанье, и меня до бешенства раздражал человеческий кал, которым вечно были облеплены солдатские сапоги, круглые лица отупелых солдат, псиний запах их мокрых шинелей, несвежие голоса кадровых офицеров, их куриный ум и трипперные мази, которые они таскали в своих полевых сумках.

Я знал, что ещё месяца два такого тусклого и нелепого шатанья, и я не выдержу. Скука, гной, тошнота этих дней войны, бесцельных, лишённых нервного напряжения, заволокли вязкой паутиной мой мозг. По утрам я долго валялся на походной койке, вяло разглядывал свою правую руку, тонкое бабушкино кольцо, потом нехотя вставал, умывался из погнутого рукомойника и пил в давно не метёной халупе жидкий, остывший чай. Чай был с привкусом меди, голова наливалась медной тяжестью, угаром, а впереди ждал пустой и ненужный мне день. И одна только мысль возбуждала меня временами, — мысль о том, что впереди меня ещё ждут новые встречи, что ещё не отсыяла на земле вся прихоть случайных и пленительных дней.

Как-то в феврале, когда гнили и урчали унавоженные снега и поля застлало паром, — пришли первые слухи о революции. Я, помню, всю ночь дрожал, как в лихорадке, не мог унять эту дрожь и собрать свои, вдруг разбежавшиеся бессильные мысли. Революция тяжело и глухо прокатилась по фронту, над халупами затрепыхали линючие красные флаги, повсюду шли ещё корявые, восторженные митинги, солдаты выбирали полковые и ротные комитеты, трипперные штабс-капитаны негодовали, сидя по халупам, у генералов дрожали подусники, и, как вешний снег, вся страна вдруг тронулась и пошла бурными, шумливыми в ночи оврагами.

¹ Пуалю — солдат-фронтовик (в годы Первой мировой войны); от слова *poilu* (фр.) — ворсистый. — Ред.

Потом были братанья, вся армия была охвачена истерией, билась в эпилепсии, и в зеленоватых, изъеденных оспою лицах, в хриплых лающих голосах, в истошных воплях и истошном покаянии вдруг вскрылась юродивая, бунтующая, вольная и покаянная Русь времён Ивана Грозного, раздирающая струпья, матерно кроющая Христа, лежащая крестом в голых, воющих волчьим воем полях, над которыми вишней-рязанкой наливалась сонная заря.

Приезжал на фронт военный министр, сухощавый, нервно дергавший больной рукой, стремительно обходивший нестройные ряды адвокат, призывавший к наступлению во имя свободы. Солдаты плакали, напирали, клялись, а потом, спустя час проклинали и министра, и его свободу и стреляли вслед серому, запылённому форду.

Приезжали члены городских советов, похожие на сектантов, все одинаково одетые, одинаково говорящие и одинаково жестикулирующие. В проявивших от весеннего, мягкого ветра полях были митинги, говорили ещё чуждые слова об интернационале, министрах-капиталистах, классовой диктатуре, ополченцы-крестоносцы толком ничего не понимали, армия озлоблялась всё больше, в окопах всё чаще появлялись чёрно-серые немцы в коротких рыжих сапогах, и всё это казалось неизбежным, непреодолимым и очень тоскливым.

Я взял отпуск и уехал в Орёл к своему двоюродному брату. В Орле жила Настя Кузьмина. Я знал об этом и втайне надеялся её встретить.

Брат жил на Соборной, во флигеле, в глубине сада. Из окон была видна Ока и заречные слободы.

Первые дни я подолгу лежал, перечитывал старые журналы, рассматривал «Ниву», слушал, как накрывает к чаю, звеня чашками, Надежда Петровна — жена брата, тихая и застенчивая курсистка. Брат пропадал все дни на электрической станции, где был помощником старшего инженера, и в доме весь день стояла дремотная, тонкая тишина. Только по скатам над Окой в дымных от поздней весны садах кричали весёлые петухи.

Настя работала сестрой в лазарете, и я увидел её случайно, только несколько дней спустя после приезда в Орёл. В сером сестринском платье, с бледным под косынкой лицом, с глазами послушницы и прежними густыми ресницами — она была такой же, как и в гимназические дни. Мы прошли в городской сад, сели на сырую скамейку, и Настя, расте-

рившись, долго молчала и смотрела на яркие в сумерках огни вокзала. Пахло болиголовом, сырой землёй, звонили в соборе.

— Я замужем, — сказала она тихо. — Ну что ж? Всё равно. Муж ещё совсем мальчик; теперь он на фронте.

Я молчал.

— Я люблю его, — снова тихо сказала Настя. — Ну, а вы? Как вы? Вы страшно устали, у вас обметало глаза. Вы слышите, — переспросила она и нервно засмеялась. — О чём вы думаете?

— Ничего, — ответил я. — Не обращайтесь внимания. Меня немного изломала война.

Я рассказал Насте о том, как мучительно меня тянет в Париж.

— Вспомним старое, — сказал я и засмеялся. — Когда вы приедете в Париж, я поведу вас в Версаль, к своим любимым фонтанам, вы увидите бронзовые закаты над Сеной, услышите далёкий рокот Парижа и опьянеете от огней, от запаха левкоев, от крепко вяжущих нитей парижской жизни. Парижская пыль будет пудрить ваши ресницы. Вы будете

Орёл 1918 г. Настя Кузьмина, жена брата, тихая и застенчивая курсистка.
113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Я, кажется, много пережил. До сих пор мне памятен запах сигарного дыма, фиалок и пыли, который я вдыхал на Бюльварах Парижа.

Я еще молод, но годы войны и бесчисленных переворотов, которые я пережил в своей стране, измучили меня, как старика. Мышцы обвяли, тусклая лустота все чаще заливает мозги и тогда, когда надо быть радости — ее нет; когда надо быть тоске — она не приходит неизмеримая, сонливая усталость приковывает меня по часам к походной койке в сырой, прокуренной комнате. Часами я лежу и вспоминаю, глядя на покрытый розовым от светом потолок, вспоминаю блестящие после дождей асфальты, запах пыли, фиалок и меха, изящных женщин и их горланящий смех.

Париж, где древние мансарды озлащены холодным пламенем версальского заката, лилово-серый от туманов, пахнущий дождями небрежно рассыпанный в синюю ночь золотые концы своих неукротимых огней. Там долго и трудно и востлывал свою душу, как нечто редкое, как цветок "виктория регия", расцветавший один раз в столетье.

Изобретность моего ума давала мне много радости. Как старинный фарфор я долго разглядывал каждый день во всей сложности его идей, звуков, запахов, взглядов, печали и смеха. Изучал эти бледно-фарфоровые, мягкие, с слегка напудренные туманами дни. Когда так прекрасно и горят витражи старинных церквей, переживших великую Революцию, слышавших бешенный крик Дантена и доносятся издалека влажный шелест обрызганных росой бульваров, где бродили Беранже и мидинетка Мими.

Я изучал сен-симонизм, архитектуру, живопись Ван Гога, историю Коммуны, романы Бальзака, толстые лоции южных и северных морей, политические системы различных стран, мемуары восемнадцатого века с их непередаваемой прелестью пожелтевшего от времени стиля, стихи Райнара Рильке и Евангелие, — проповедь галлейского, безумного и никогда не жившего дервиша. Я изучал нервность во всех ее проявлениях, — звенящую нервность надломленных

жить в вечном городе, где каждая пядь земли священна, где на стволах платанов можно ещё найти синюю ниточку шерсти с сюртука Робеспьера и красную — с бурнуса алжирского араба. Вы забудете Болховскую и заречные сады, и собор, и ваш прадедушкин дом.

— Нет, — испуганно сказала Настя, — нет, не говорите мне это.

Она порывисто встала. Я проводил её до лазарета. На улицах были уже по-летнему медные сумерки, в садах цвела сирень, и из-за Оки тянуло прохладой.

Я долго ещё бродил по городу, слушая, как по-званивают мои шпоры, и думал о том, как Настя хрупка, печальна и как ласково она тронула меня за рукав тяжёлой и жёсткой шинели.

Все дни после встречи с Настей я был спокоен, как-то особенно светел и ласков с Надеждой Петровной. Я подолгу лежал и слушал мурлыканье серого котёнка, спавшего на письменном столе, перечитывал свои наброски, толстый том писем Чехова и изредка писал.

К Насте приехал муж, — тоненький, безусый прапорщик с нежными, покрытыми лёгким пушком щеками. Она казалась много старше его и устало улыбалась, слушая, как он оживлённо картавил, щёлкая шпорами.

В августе я уехал в Москву, в штаб, — получить новое назначение. Всю ночь в вагоне я думал о чёрной бородавке на щеке у Настиного мужа, томился, было душно, и всё раздражало, — и хохот солдат, куривших махорку, и пыль, прилипавшая к потным рукам, и выгоревший от зноя осинник вдоль полотна, и тяжёлая тупость во всём теле.

В Москве было пыльно, знойно, тревожно. Ходили демонстрации, шло Государственное совещание, у Иверской молились толпы старух и акцизных чиновников, по улицам лузгали подсолнухи солдаты, и вопили на летучих митингах ораторы всех направлений.

Спёртый, клозетный воздух в коридорах Никольского подворья, где я остановился, укусы злых, осенних мух, прокуренные до тошноты белые комнаты Николаевского дворца, где стоял штаб, — всё это ложилось едкой горечью на сердце, вызывало непрестанную, сверлящую боль в голове и жажду перемен.

В конце августа меня прикомандировали к штабу. Работы не было. Зачастую я уезжал в Петровский парк или Расторгуево и часами бродил и лежал в уже золотых, лёгких берёзовых перелесках, глядя на бирюзу осеннего неба, дышал холодным воздухом, тронутым первым тлением, и перечитывал томик Анатоля Франса. Так прошёл сентябрь. Дни стояли звенящие, чёткие, чистые. В них словно омывалась душа холодом, свежестью, их прекрасной бронзовой прозрачностью.

В конце октября приехала Настя Кузьмина, и мы ездили с ней в Расторгуево. Был уже вечер, в лиловом опустившемся небе всходила яркая луна, и сухо

шелестели старые берёзы. Я был молчалив, печален. Настя о чём-то тревожилась, и у неё нервно подёргивалась правая бровь.

Когда мы возвращались в пустом дачном вагоне, она поднесла платок к глазам и тихо заплакала. Мелькали тёмные заставы, редкие огни, нити бесчисленных путей. Поезд гремел по стрелкам.

— Как всё печально, — тихо сказала она, не отнимая платок от глаз. — Боже, как всё печально.

Когда мы сошли на Павелецком вокзале, я услышал в темноте сухой ружейный треск — в городе шла частая перестрелка. Никто толком ничего не знал, говорили о восстании 56-го запасного полка, стоявшего на Ходынке, через мосты никого не пускали. Настя жила в Зубове у старухи-тётки, и мы пошли через пустое, притаившееся Замоскворечье. У Крымского моста шла беспорядочная пальба, в темноте хрипло кричали солдаты, и было слышно лёгкое посвистывание пуль. Мы прошли вдоль берега до Ноевского сада. Я отвязал чью-то лодку у причала и перевёз Настю в Хамовники. По огородам и испуганным тёмным переулкам мы прошли в Зубово, слушая отдалённый треск выстрелов, раздиравших глухую тишину над мёртвыми бульварами.

Настя крепко прижималась ко мне, ей было жутко, рука её тихо дрожала. Перед подъездом старенького деревянного дома, где жила её тётка, она остановилась.

— Вы пойдёте туда? — шёпотом спросила она, не выпуская моей руки.

— Я не знаю ещё, что случилось. Очевидно, пойдю.

Она долго смотрела мне вслед, пока я не свернул на Пречистенку. У Храма Христа меня остановили первые патрули. Уже светало.

Потом были сумасшедшие дни ожесточённых, упорных, незатихающих боёв. Задыхаясь, бесконечной дробью строчили на перекрёстках пулемёты, гремели залпы, и была вдоль по улицам полевая артиллерия, снося старинные дома, разбрызгивая красную кирпичную пыль.

Из лопнувших труб сочился газ, по ночам Москва пламенела в пожарах, задыхаясь в дыму и копоти, по улицам валялись трупы, кровавые лужи засыпало битым стеклом и штукатуркой, и хрипло и весело кричали красногвардейцы, наступая по бульварам густыми нестройными массами. Временное правительство пало. Все в пыли и дыму, охрипшие, полубезумные люди судорожно отстреливались из-за каменных тумб, из-за афишных столбов, из разгромленных брошенных квартир, глохли от визга пуль, от взрывов и по ночам отупело слушали, как, сверкая синими дугами, рвались снаряды в Кремле.

Я плохо разбирался в том, что происходило. Меня мучило, всюду мне чудился трупный запах. Я не мог понять, ради чего дерутся на Тверском бульваре, и от удушливой вони пожарами зеленело в глазах. Я бросил винтовку и пошёл, шатаясь, в Зубово.

У Дорогомилова ещё догорала, изнемогая, последняя перестрелка.

Теряя сознание от внезапного жара и усталости, я добрался до дома, где жила старуха — тётка Настя. Настя не было. Старуха Анна Семёновна — богомольная и ласковая — уложила меня в светлой, угольной комнате на диван. За окном ещё пламенили ноябрьские сады.

Я бредил. Временами я просыпался, смотрел, как мокнет снег на крышах, и стонал от сверлящей боли в ушах. Поворачивался к стене, плакал скупыми слезами, дрожал от слабости и думал о том, что с детства я одинок и бесприютен, не знаю материнской любви. Мать умерла, когда мне было восемь лет. Во время редких своих пробуждений я звал вполголоса Настю, но её не было. Всё тело чесалось, я пожелтел и с отвращением смотрел на свои руки, — сухие, серые и потные от непрерывного жара.

Встал я только в конце ноября. Настя уехала к мужу, в Орёл. Анна Семёновна была ласкова, долго молилась по утрам у сломанного киота и, вздыхая, плелась на Смоленский рынок. Я отдал ей все свои деньги и на пятый день после того, как встал с постели, вышел в город.

Шёл мокрый и липкий снег, на выщербленных тротуарах стыли лужи, в промозглом воздухе ещё не растаял запах пожарищ, по Москве-реке, под горбатыми мостами густо шло серое сало. Кремль был заколочен, Москва притихла и сжалась.

Надо было что-то делать, искать какой-нибудь работы, деньги все разошлись. Но в теле была вялая, слезливая слабость, я едва ходил и часто садился на подоконники магазинов и скамейки у ворот, прислушиваясь к болезненным ударам сердца.

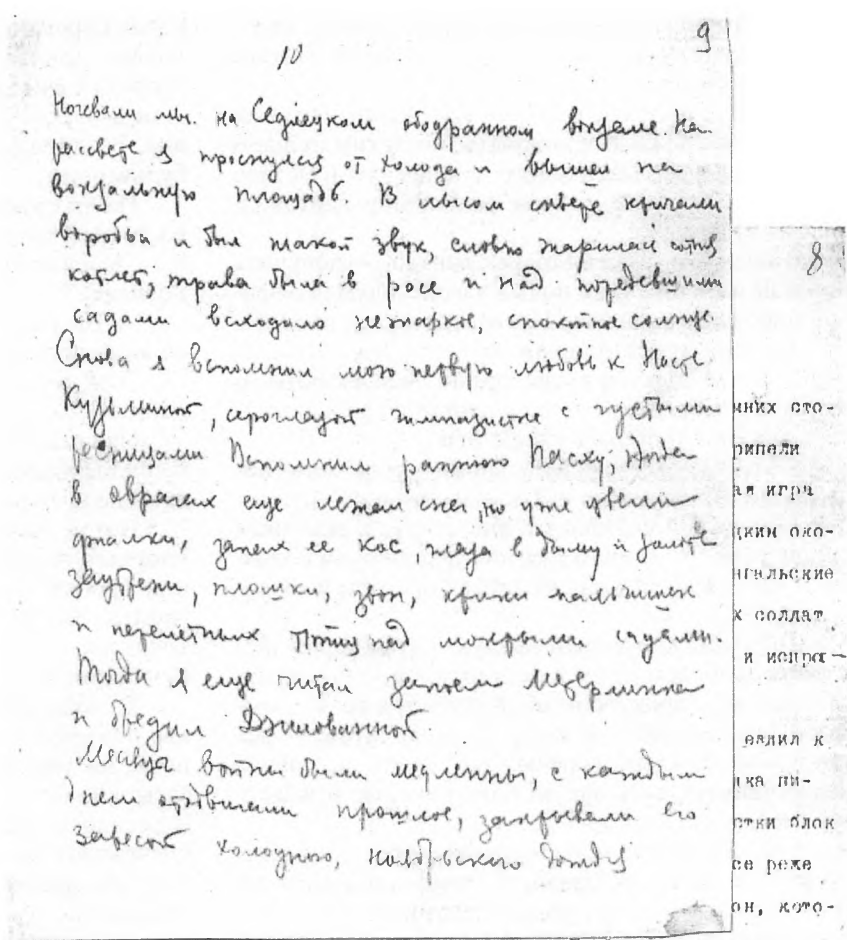
Я оборвался, шинель была прострелена и прожжена, сапоги расплозлись, — по вечерам я ставил их около печки, и от них шёл густой, навозный пар.

В эти дни я видел всё словно сквозь запотевшие грязные окна. Мучила тошнота, голод, я часто засыпал сидя и просыпался от холода. Анна Семёновна ещё не топила, — не на что было купить дров.

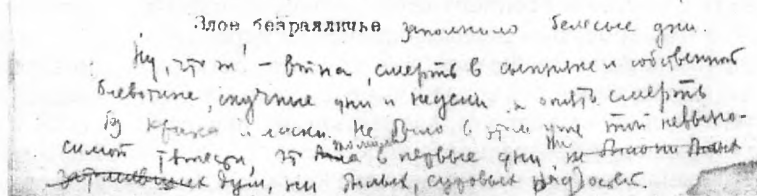
Звала она меня «сынок», часто вздыхала и приговаривала: «Господи, что же это делается-то! Последние времена настали. Наказал Бог Россию за великие грехи.

И не то ещё будет. Намаешься, сынок, ох, намаешься». В начале декабря я нашёл какую-то нелепую службу — заведовать столовкой у Калужских ворот. В столовке было черно и грязно, пахло карболкой, по деревянным столам проворно бегали тараканы. Обедали рабочие замоскворецких фабрик, больше старики. Я весь день просиживал за деревянной перегородкой, подсчитывал талоны, писал ведомости и посылал нахального, шустрого Ваньку за продуктами. Ночевал я там же, за перегородкой. Ночью под облезлыми обоями густо шуршали клопы. Чтобы спастись от них, я не гасил электричество и плохо спал по ночам, часто просыпался от жара, весь в поту, кашлял, и в груди у меня что-то нехорошо и тяжело скрипело.

По вечерам я ходил к Анне Семёновне, носил ей хлеб, картошку, таскал дрова. Зима стояла гнилая, тёплая, с крыш капала ржавая грязь, носились, ковыряясь на ухабах, ободранные автомобили с



рня впервые поручил меня в Говбירה.



Рукописные страницы «Золотой нити». Из архива РГАЛИ. Публикуются впервые

красными флажками, проходили с винтовками латыши с квадратными, серыми лицами, и над всеми днями висела вялая, скользкая и сырая, как вся эта зима, тоска.

В этой тоске прошла вся весна. Я ничего не читал, неясно томился, и мысль о бегстве из Москвы не покидала меня ни на минуту. Я решил ехать на юг и оттуда пробираться во Францию.

Летом, после восстания левых эсеров я продал свои последние вещи и уехал через Брянск и Зерново на Украину.

В Зернове я перешёл границу. Был пыльный и мягкий закат над вереском, в придорожных липах шумел, стихая, ветер, и кричали в болотах лягушки, словно стучали сотни звонких молотков.

Серые немецкие солдаты в низких шлемах долго и хмуро вертели наши документы и потребовали на чай пятирублёвку царского образца. Стоя перед ними на пыльном большаке, поросшем подорожником и кашкой, я впервые понял, что я у себя на родине, разгромленной, нищей, прекрасной, затаившейся от гнева и обиды.

В Киеве, по-осеннему солнечном, шумном и говорливом, меня как бывшего офицера мобилизовали. Я был зачислен в «сердюцкий его светлости ясновельможного пана гетмана полк». Полк стоял на Печёрске, в старинном Никольском форте с бронзовыми воротами и подъёмными мостами. В солнце светлел тонкой, осенней голубизной тронутый золотом Днепр и заречные, лесистые дали. В бледное от жары небо уходили небоскрёбы, от пышных киевских садов тянуло прохладой, я был целыми днями свободен, читал, отдыхал (усталость после болезни ещё не прошла), часто ездил в Лавру, пил липовый чай за деревянными тёмными столами у трапезной. В белые фарфоровые чашки медленно падала с монастырских лип золотая листва. В эти дни я, всегда чуждый религии, почему-то пристрастился к монастырям, к чёрным ликам древних икон, к белым мощным картушам соборных колоннад, к тусклому блеску иконостасов, к непередаваемому запаху ржаного хлеба, оливкового масла и осени, которым были овеяны церковные паперти. Мне казалось, что в этом деревенском, милом запахе есть какая-то нерушимая связь с прошлым, связь особенно ясная в эти одинокие, лихорадочные месяцы-антракты между боями и тяжкими потрясениями. И к тонкой памяти о Париже прибавилась новая тончайшая печаль об осенней России. Её красота была особенно трагичной в эти дни, красота скорби, молчания, заплаканных детских глаз.

Я часто сидел в пустынном Мариинском парке под пламенеющими в ржавом солнце сентябрьскими каштанами, и мне казалось, что я слышу слабое, но внятное шуршание садов, раскинутых у тихих и солнечных рек, шорох осенней листвы, опадающей пышными ворохами.

Но всё чаще в эти золотые дожди входили, не расплываясь, тяжёлые, тупые удары орудий, — к

городу подходила армия Петлюры, и молчание мирных, поблёскивающих в паутине полей вздрагивало от чугунных перекатов канонады.

В ноябре нас выслали на фронт, на окраину города. Несколько дней мы рыли в снегу окопы, лисьи норы и не спеша плели проволочные заграждения. Из чёрного леса по нам иногда стреляли, и редкие пули тонко посвистывали в искристом морозе. За Днепром сизым пеплом провисало тусклое небо.

По вечерам я возвращался из предместья на трамвае в город. Подол (часть Киева) жил обычной жизнью, на грязных селёдочных базарах было крикливо и тесно, а наверху в городе пылал огнями Крещатик, мальчишки продавали вечерние сырые газеты, и в переполненных, прокуренных кафе сидели немецкие лейтенанты с сухоточными затылками и розовыми, торчащими ушами.

Киев был уже обложен червоношлычниками, богунцами, синежупанниками, поезда на юг прорывались с трудом, но это никого не волновало — казалось, что вокруг города идут большие и скучные манёвры.

Только по вечерам орудийный гром стоял звенящим дребезгом в стёклах и нарушал церковную тишину в саду, около дома, где я снимал комнату.

В сером декабре кольцо вокруг города сомкнулось. День и ночь глухо, словно из погреба, гремела артиллерия, таяли зимние дни цвета олова, по нашим окопам зло и настойчиво стреляли из чёрного леса, и пули тихо распарывали сырой воздух. На грязных, унавоженных дорогах изредка маячили патрули немецких улан с пиками и чёрно-белыми флажками.

Была объявлена общая мобилизация, и по Крещатику ходили толпы призванных, болезненного вида молодых людей с окраин, жлобов в лихо заломленных картузах и нестройно пели:

Милый наш, милый наш,
Гетман наш босяцкий,
Гетман наш босяцкий
Павло Скоропадский!

Как-то в половине декабря я вышел на туманном рассвете из дому и пошёл по Андреевскому спуску на Подол. Снежным свинцом поблёскивали купола растреллиевского собора, снег пушил мощные картуши его белых колонн, с тихих ветвей падали мохнатые хлопья, глубокая, сонная тишина стояла над городом. За Днепром было черно, дико и печально.

Я ехал в грязном, потёртом вагоне трамвая на Приорку, думал о Насте Кузьминой, вспоминал почему-то простую песенку «Где вы теперь, кто вам целует пальцы?». Слова этой песенки не оставляли меня весь этот призрачный день, когда петлюровцы открыли впервые на нашем участке ураганный огонь и перешли в общее наступление. В снегу рвались снаряды, разбрызгивая красную глину, к

двум часам дня уже гремело всё широкое кольцо вокруг города, словно неслись тысячи курьерских поездов.

Пришёл приказ отступить, и мы стали отходить, ругаясь, ломая изгороди, по огородам и запутанным улицам предместья. На дороге лежали убитые, лицом вниз, краснели снарядные воронки, свежая кровь растекалась розовыми кругами по ноздреватому снегу. Кое-где её капли были густого, почти чёрного цвета. От глевшего лесопильного завода несло сладкой гарью, пеплом и духотой, а над головами звонко лопалась шрапнель, как будто бы раскатывались гигантские орехи. Через час я был уже в городе, прошёл домой, обходя петлюровские патрули, и с весёлым, детским облегчением отпорол погоны и бросил их в печку.

В доме было как всегда, — тихо, за низенькими окнами спал по скату серебряный сад, на столе лежали любимые книги и листки рукописей, кое-где в домах уже зажигали огни. По притихшим улицам проезжали осторожными группами червоношлычники с жёлто-голубыми знамёнами, и жидкие толпы махали им шапками и кричали «Слава Петлюре», «Хай живе вольна Украина». Потом густой массой в город стали входить оборванные войска — почти все деревенские, молоденькие парни. Звали их почему-то «Тарашанские хлопцы».

Спустя месяц я уехал из Киева в деревню, бежал от новой петлюровской мобилизации. В деревне на берегу Днепра стояла пустая санатория, которую я должен был сторожить. За это мне немного платили. Вокруг санатории шумел в снегу сосновый лес, белым платом лежал Днепр, кое-где на диких обрывах снег сошёл и краснели нарывы глины.

Здесь, в холодном одиночестве я впервые за два последних года прислушался к себе. Было глухо. В бесконечной пустоте души была усталость и бродили заученные, вялые истины.

Время острого наслаждения жизнью, пристального её изучения, неисчерпаемой жажды как-то сразу, бесследно прошло, оставив в душе саднящий след, словно от небольшого ожога. Вся причудливость жизни, пестрота её переворотов, боёв, смятенного и разодранного быта проходила мимо, не задевая, как быстрая тень на стекле.

По ночам, сидя с огарком в громадной, сосновой комнате, я прислушивался к шороху ветра в мокрых ветвях, и внезапно острая боль обжигала, как кипятком, душу. Это была и боль, и стыд о том, что я как ленивый раб зарыл талант свой в землю, выжег бывшее, забыл Париж, забыл тонкие книги, стал прост, груб и равнодушен, не понял и не принял необычайность всего, что совершалось.

Я настойчиво пытался, но не мог вновь войти в мир блестящих, тонких идей и настроений, вновь пережить парижские летние рассветы, когда шафранные лучи окутывали блеском и туманом мою комнату, ещё полную ночной прохлады Люксембургского сада. Всё чаще я ловил себя на вялом, вызывавшем во мне самом отвращение безразличии. Имена Гамсуна, Дега, Гогена стали

холодными и пустыми отзвуками ненужной, архаической эпохи.

В феврале, когда со стороны Киева снова глухо и назойливо заухали пушки и хромой, живший в санатории «из милости» дед Игнат принёс слухи о наступлении «великой силы большевиков», у меня стала сильно болеть грудь. По ночам я просыпался на твёрдой, сколоченной из неструганных досок кровати и долго, сухо кашлял. Было нетоплено, холодно, как в сарае, и рваная шинель плохо согревала. Ночи были ещё долги, бесконечны, томительны, и я, лёжа в горячем поту, ждал, пока мокрая чернота за громадными окнами нальётся синим соком февральского рассвета. Вставал я с набрякшей головой, умывался в тёмных сенцах и кипятил чай в полуразвалившейся кухне. Дед Игнат крихтел в своей каморке, вздыхал и нехотя шёл в лес рубить дрова. Жил кроме нас в санатории больной и шелудивый легавый пес с красными плачущими глазами. По ночам он долго выл и царапался в двери, нагоняя тоску на меня и деда Игната.

Я ничего не читал. Книг не было. Днём я уходил в лес рубить дрова или лежал на койке, прислушиваясь к тонкому скрипению в груди.

Шла весна, ночью уже широко играли звёзды над польнями и дремотно бормотала подо льдом вода. Лес шуршал от капли, сосны покраснели, и по вечерам их освещал уже тёплый, мартовский закат.

Однажды ночью Днепр пошёл. Я вышел на обрывистый, песчаный берег и долго слушал переливающееся ворчание воды и белёсых льдин, вдыхал острый запах глины, смотрел на чёрный бархат неба, догоравшего перед рассветом белой россыпью звёзд. В лугах уже кричали какие-то птицы, и вся даль, невидная в темноте, была полна шорохом мутных вод, каким-то особым трепетом и дрожью, плеском и дальним гулом стремительно идущей реки.

И внезапно у меня на душе задрожала радость, широкая, острая, как пламень мартовских звёзд, радость о том, что впереди всё же осталась жизнь, что не отсыяли новые встречи, что, как пламень звёзд, как эти чёрные ночи, так же вечны те томления, что я пережил, и их не выжгут, не смогут выжечь бесследно последние годы и месяцы, затянутые липкой плёнкой тоски и усталости.

Пришла вскоре южная весна, церковно пахли тополя, вербы роняли золотые серёжки, и в заводах Днепра долго светились розовые закаты под серебряную нить пасхального звона украинских церквей. Я съездил в город и привёз с собой нераспечатанным письмо Насти Кузьминой, доставленное с оказией по условленному адресу. Письмо было из Самары. Настя металась. Писала она о своей тоске, о муже, к которому кроме жалости у неё ничего не осталось, о мокрой, бакалейной Самаре, о вечере в Расторгуеве, когда тускло проблёскивала в берёзовых рощах ртутная луна.

Когда я читал это письмо, были сумерки, в комнате было темно и сыро, так же как и у меня на душе, и я понял, что гортанный женский смех, тонкий запах духов, солнца, летней пыли и ещё более тонкое томление минувшей щедрой и задумчивой жизни ушло от меня навсегда. Ушло в темень накатывавшихся, ломающих лет, в зуд сыпняка и грязь бездомных скитаний.

Я вернулся в Киев и несколько месяцев прослужил в одном из бесчисленных, трещавших ундервудами учреждений, в ворохе всяческих циркуляров и приказов. Все приказы были тогда «боевые».

Денег, конечно, не хватало, жил я впроголодь, измученный нелепостью всего, что со мной происходит, мрачными мыслями, небывалым зноем, стоявшим в то лето над Киевом. После службы я шёл на Днепр, на «соляриум пляж», где в песках стеклянно спала тепловатая вода и в ивняке трещали стрекозы. В дыму, в зное горели лаврские купола.

В начале августа я бежал из Киева в Одессу. Мысль о Франции меня не оставляла. Бежал я с бывшим секретарём армянского консульства, харьковским студентом-армянином.

До Белой Церкви, запруженной войсками, мы доехали в вонючей теплушке. Дальше начинались опасные места, был близок Добровольческий фронт, и нам пришлось пробираться пешком, минуя теннисные местечки, прячась по глухим хуторам. Один только раз нас остановили, оборванный патруль долго спорил с нами, матерно ругаясь, расстрелять нас или нет, и в конце концов решил снять с нас сапоги и отпустить на все четыре стороны. Так мы и не узнали, чей это был патруль.

От Умани мы снова ехали во вшивых товарных вагонах. Были сухие, голубеющие дни. По утрам в станционных тополях блестела холодная роса, дозревала в полях тучная пшеница, в полуденном стекле висели над могильниками чёрные точки ястребов. Я подолгу глядел на юг, где небо хрустально и солнечно дрожало в струях степных суховеев. И эта дрожь, трепет света чудились мне отблесками родного моря, играющего малахитовой рябью, сотнями солнечных и исцеляющих душу бликов.

На станциях понуро висели трёхцветные флаги, примелькались коричневые и пыльные лица солдат в английских шинелях, выцветшие офицерские погоны, в товарных вагонах ругались и пели:

Чёрные гусары,
Спасай Россию, бей жидов
Они же комиссары!

Несмотря на близость фронта, было как-то пусто, пыльно, скудно, лишь изредка где-то по лесам бухали пушки, охотясь за «бандитами», которыми внезапно стала вся Украина, и, оседая на мостах, проползал серый бронепоезд «Генерал Духонин».

В Одессу мы приехали утром в день моих именин. Усталый, небритый и вшивый, я побрел в порт, на рейдовый мол и долго сидел, свесив ноги, на горячих камнях, глядя, как в красной подводной тра-

ве путались чёрные крабы. Был штиль, зной, тяжело клонило в сон. Дымили голубыми трубами французские миноносцы, носы их орудий были завёрнуты в скрипящий брезент, вдоль мола шла, вспухая, прозрачная хризолитовая волна, и мальчишки ловили на самоловы взъерошенных, сердитых бычков. Город спал в солнечном дожде, бесшумно падавшем с неба на море слюдяных крыш.

На второй день я слёг. Начинался сыпняк. Лежал я в университетской больнице. За чисто вымытыми окнами днём неизменно синело небо, а по ночам воровато, но гулко хлопали частые выстрелы. Снова, как в Москве, я бредил.

...В смоляной тьме, в иодистых крепких ветрах блесстел залитый дождями гранит на мостовых средневекового города и, как гигантские факелы, пылали жёлтыми, масляными фонарями дубовые кузовы столетних фрегатов и клиперов.

Прибой тяжело шумел у каменных массивов, и в сырой тишине перекликались хриплые голоса часовых.

Выходило туманное солнце, мутно пенился морской рассол, и тяжёлый пар ложился на дорожки мёртвых, ноябрьских садов. Потом внезапно загорался нестерпимо белый, как фарфор, полдень и тонко, печально и волнующе текла городская пыль. Был в ней запах дождя, земли, соли, палуб и белых левкоев. Лёгкой пудрой ложилась пыль на ресницы смеющихся женщин, на их смуглые руки, на матовое золото дверных колец.

Как рассыпанный бисер, играла вода в гавани у обуглившихся от времени пристаней. И в осеннее небо подымался широкими колоннами дым верфей, где голландские плотники смолили старинные корабли.

Бред этот был очень ярок, и много дней спустя я вспоминал о нём с внезапным чувством томления и горечи. С тех пор нереальная жизнь, сны, их странная прелесть завладели мной глубоко, необоримо, повторяясь всё чаще и чаще. Тягота обыденной земной жизни стала незаметно таять. В каждом дне я находил черты нереального, тронутого дыханием каких-то иных дум, иных миров, пленительных и полных причудливого и необычного смысла. Всё это вызывало долгую задумчивость, я стал рассеян, молчалив, мозг обессилел от болезни, и жизнь казалась пустой, ненужной, каким-то неуклюжим и безвкусным придатком.

Вышел я из больницы в октябре, когда на холодных, но ещё солнечных улицах греки жарили каштаны и золотыми горками сладко пахли лимоны. Я снял светлую комнату-клетушку на Французском бульваре, дышавшем осенней сонью и последней теплотой сухих садов.

Все дни, шатаюсь по улицам в порту, где ржавели брошенные пароходы и похлопывали широкими брюками английские матросы с крейсеров, я думал о преображённом городе, спящем в опасном и прозрачном воздухе, озлащённом пышной медью платановых бульваров. Он весь был пронизан непередаваемыми, бальзамическими запахами

фруктов, наваленных горами в садах и на каменных набережных. Их грузили турки в цветных тряпках, сожжённые осенью и солнцем. Запах их то напоминал запах перца и левкоев, то освежал, как запах персиков, то был сладок, липок и прян, как сок тропического солнца, то оведал лицо тонкой прохладой рязанских садов, кисловатой сладостью спелой антоновки или белого ранета. Их сок пили в кафе вместо вина — мутный сок яблок, кислую кровь гранат, золотистую пену винограда и бурое золото слив. Жаркий ветер трепал полосатые полотнища над верандами кафе, где был слышен лёгкий шёпот женщин с миндалевидными глазами.

Я поступил на службу в контору Центросоюза. Добровольческая армия бежала, на улицах по ночам матерно ругались и стреляли офицерские патрули, грабя и убивая прохожих, по вспухнувшему от дождей небу металась зелёная лучи прожекторов, валялись в подворотнях сыпнотифозные в вонючих, загаженных шинелях, было жутко, с севера катилась обезумевшая оборванная армия и шли запутанные, сбивчивые слухи.

И как оазисы среди дождей, грязи и нарастающего страха блестели медью, чистой и стальным уютом самоуверенные английские крейсера, качая свои широкие бока в туманной, зеленоватой воде.

Дни ухода добровольцев — серые, сухие и морозные — прошли как во сне. Было начало февраля. На третий день после сдачи города я вышел к обрывистому берегу. В усадьбах было мертво, тихо. День стоял серый, молчаливый, от моря несло теплом, шуршал на обрывах высохший барбарис, и в тишине посвистывали какие-то сонные птицы.

Я долго смотрел, как уходила в Константинополь вереница транспортов, густо дымя и медленно поворачивая в открытое море. Потом с берега стали лениво обстреливать пароходы шрапнелью, и так же лениво на огонь ответил английский миноносец. Берега были пустынные, серое море было светлее неба, густые водоросли сгнивали на каменных плитах.

— Кончено, — подумал я, глядя на последние, тугие облачка шрапнели и на высокий дым, колоннами поднимавшийся над морем к небу. Уже темно.

С этого времени начался в моей жизни новый период — базарный. Все дни я шатался по базару, продавал простыни, брюки, бинокли, ватин, торговался, морщась от головной боли, глотал истёртый в порошок навоз, тупел от тысяч людей, шатавшихся между грязными ларьками, дышал чадом деревянного масла, на котором бабы жарили пирожки, спасался от облав и изучил до тонкости всю сложную систему продажи заштопанных вещей,

все маневры перекупщиков-шнореров, унылые голоса интеллигентных дам, продававших кружевное бельё, каждый зловонный, залитый пенистой мочой закоулок базарных переходов, где проститутки торговались с матросами и воры делили краденое. К вечеру я плёлся к себе, на Французский бульвар, шагая по лужам и прислушиваясь к тонкому свисту в груди.

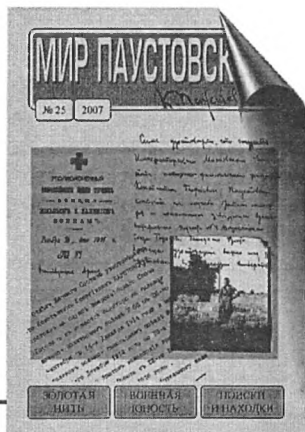
Временами меня мучило удушье, чаще всего по ночам. Мне казалось, что я не переживу ночи, что горло моё стало не шире соломинки. Мучили меня кошмары, базарные запахи, куриные, цепкие руки баб, жадно щупавшие окровавленные простыни, просыпался я с едким комком в горле, с горечью и таким чувством, будто бы я выпил стакан липкого бурого никотина. Жизнь стала безрадостна.

Потом я бросил базар и поступил в одно из советских учреждений со странным и неуклюжим названием «Опродкомгуб». Весь день томясь и чувствуя головокружение от голода, я сидел за залитым разноцветными чернилами, исцарапанным столом, слушал торопливую суету в коридорах и непрерывную, отвратительную дробь пишущих машин. Осень была чёрная, густая, бесконечная, вся в каких-то жёлтых, вялых дождях, и в канцелярии, где я сидел, выписывая ордера на ячмень, было темно, заплёванные и заделанные фанерой окна не пропускали свет, из них жестоко дуло, посетители наносили с улицы липкую грязь, и никто не закрывал дверей. Это было помещение какой-то гостиницы с лепными оливковыми фигурами женщин во всех простенках. Женщины в пышных и модных причёсках неуместно стояли на грязно-розовых декадентских тюльпанах, и на тюльпаны курьеры ежедневно наклеивали десятки новых приказов, которые никто не исполнял (их было слишком много).

Обедал я в столовой, где давали холодную ячную кашу и похлёбку из муки с лавровым листом. Столы были густо залиты этой похлёбкой, в них мочили рукава шинелей и старых шуб, размазывая крошки кукурузного хлеба; на спину, зло бранясь и огрызаясь, наваливалась тянущаяся между столами очередь к кухне, у дверей постоянно дрались мужчины, пытаясь прорваться вперёд. Было уже морозно, некоторые ели, не снимая дырявых вязаных перчаток, окуная чернильные пальцы в жестяные тарелки, спеша и тупо поглядывая на яркие, охровые плакаты на потных стенах: «В общественном питании — общественное спасение».

Однажды в этой столовой я встретил Бродского. Он неловко улыбнулся и покраснел, взглянув на свои ноги в изорванных дамских гамашах. На нём была ватная кацавейка защитного цвета, возбуждавшая представление о многочисленных вшах, и измятая фетровая шляпа...¹

¹ Публикуется по материалам РГАЛИ (фонд 21119, оп.1, № дела 37, 56 л.)



ВОЕННАЯ ЮНОСТЬ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

«ВОЙНА. ТРЕВОГА. МОБИЛИЗАЦИЯ»

Из дневников 1914–1915 гг.

Лето 1914 года

<...> Еду с Андрюшей в Рёвны, затем в Москву.
<...> Серёжа встретил за мостками. Поля, леса, река, прозрачные вечера. Парк. Влюблённость. Екат. Ник. Театр. «Лес». Остр. Лопухины. Дорога леса-м. Лодка. Я нравлюсь, меня любят... Обрыв у Муравьёва. Лежали на коленях у тётки Маруси. Она сидела. Земляника. Сергей — пьяненький. Ни боже мой. Обратный путь... Пение в полях, ночью. Красота, тишина, расцветает душа. Курындинский лес, дремучий.

Иван Купала. Костры. Лес — днём — лежали — разговор — разбойничий. Самовар. Лодка. Закаты. Кончил урок.

К часовне — филин <...> — поездка с бабушкой. Чай. Обратное. Пыль и заходящее солнце. На лодке. Туманы — чарочка. Это было так просто. Звёзды — дрожало сердце. Весь день — дома. Дорожка. Вечером первая записка. Тоска любви. Пер-

вый поцелуй и признание. Меловая горка. Лес — горка в лесу. Валя¹. Стихи — нежная, чистая <...> симфония. Война. Тревога. Газеты. Мобилизация. Почта и аптекарь. Отъезд д. Коли. Отъезд Анны Ивановны. Дикая ночь. Луна. Ночь — костёр. Утром — телеграмма... Последний вечер в парке. Прощание. Дорога. Мишка. Станция — растерянность — тревога. Пожар войны. От Синезёрок до Брянска на площадке. Брянск — прощание. Закат. Торжественная и грозная Москва. Затмение на Сухаревской.

Раушская набережная. Кондуктор Миусского парка № 8 и паровичок. Леса. Калина <...> Ночи и дни. Тяжёлый, утомительный труд.

Трактир. Мальчишки. Санитарные вагоны. Пленные и раненые. Ночь. Военный госпиталь. Увольнение. Развозка раненых. Петровский парк.

¹ Здесь и далее подчёркнуто автором.

МП: Читатель ещё не знаком с некоторыми страницами дневников К.Г.Паустовского времён Первой мировой войны, с его письмами тех лет Екатерине Загорской, а также с письмами самой Е.С.Загорской той поры, адресованными сестре, и с документами, касающимися судьбы братьев писателя.

Их публикации в этом номере журнала мы во многом обязаны сотруднику музея-центра К.Г.Паустовского Галине Сергеевне Бурлаевой. В Российском Государственном военно-историческом архиве она перерыла кипы документов и послужных списков, чтобы найти точные данные о гибели братьев писателя — Бориса и Вадима — на фронтах Первой мировой; кропотливо изучала полустёртые дневниковые записи К.Паустовского (из личного архива сына писателя,

Вадима Константиновича), зачастую сделанные карандашом, на пожелтевшей бумаге...

Следует оговориться. Не все слова в дневнике писателя, к сожалению, удалось прочесть — время сделало своё дело. Этим объясняются частые пропуски в тексте. Возможно, чтение несколько затруднит обилие фамилий, нередко сокращённых, что естественно для дневника: Ск., Скоб. (Скобников), Ляхм. (Ляхман), Краш. (Крашенинникова) и т.п. Галина Сергеевна расшифровала большинство сокращений, установила личности многих, кто окружал Паустовского во время работы в военно-санитарном поезде. Как и следовало ожидать, это были его коллеги — сёстры милосердия, санитары и главный врач Иван Петрович Покровский (в дневнике — Ив. Петр.). Встретит читатель и хо-

рошо известные ему имена и фамилии: д. Коля, Серёжа, тётка Маруся — семья Николая Григорьевича Высочанского, дяди писателя; Заг., Катя, Хатидже — Екатерина Загорская; Рудн. — Руднев, о нём Паустовский упоминает в повести «Беспокойная юность»: «Я пошёл со своим соседом по вагону, добродушным увальнем Николасей Рудневым, студентом Петровской сельскохозяйственной академии...» Да и фамилия Романина, спутника Паустовского в годы юности, встречается в автобиографических повестях.

За дневниковыми записями, за строками писем будущего писателя отчётливо слышен голос молодого человека, который каждую минуту знает, что может «умереть сейчас», и в то же время его не оставляет стремление «создать себя».

Декабрь 1914 г.

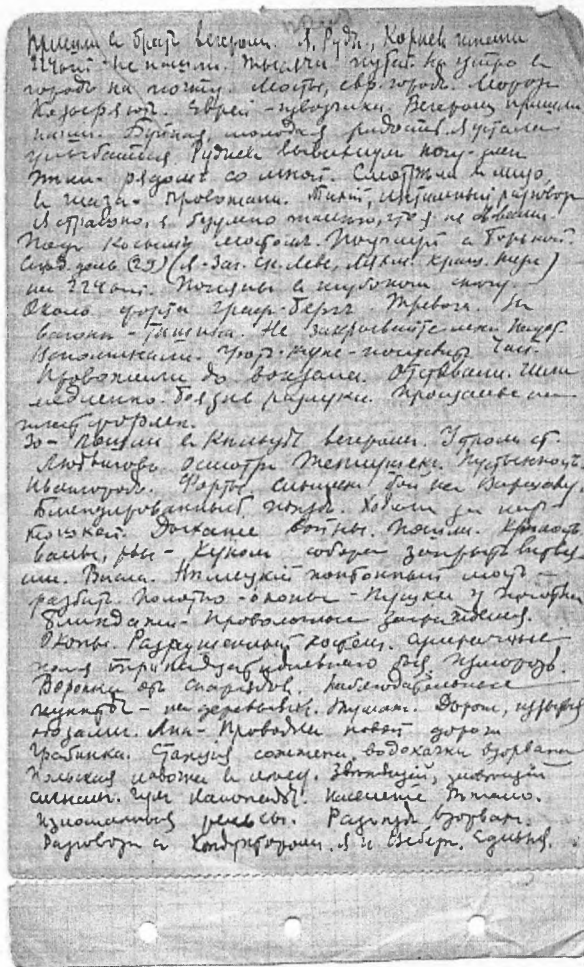
В склады — один. Шёл с Бронной на Рогожскую пешком — вечером у Ив. Петр. чай — следующий день. Утром топил теплушки. Пришёл из Нижнего 65-й. Я с Лисовским вечером на 65-й. У сестёр. Нюра. Ходил гулять около вокзала, по путям. У перевязочной. Это ещё не конец — начало конца. След. день. Она на поезде. Снова любовь. Четыре девушки, а может быть и больше. Ехали на трамвае вдвоём — буду жить... Встали у Страстного монастыря. Шли пешком по той же дороге. Поезд¹. Я в команде. Поцеловал руку. Глаза. День ухода 23 дек. 14 г. Она здесь. Я менял 500 р. Пришла к нам. Тоска, пожатые руки. Освящение. Заплаканные глаза. Гуляли около поезда. В трактир с Рудневым. Я топил печку — поцеловала глаза — печаль и ласка девичья, грустная. В перевязочной. Пели. Вокзал. Мама, Галя и Дима. Холодно. Прощание. Она плакала. У всех нервный подъём. 24-го — след. день. Дикий холод. Скучно. Вечером ёлка у питательного отряда, в столовой и у нас — лучше всего. Загорская. Я полюбил её и тётю Полю.

Долгое пожатие руки. Борисов. Грузили сено. Я устал, изнервничался — вечная балалайка.

26. Барановичи. Громадная товарная станция. Железный лёгкий длинный мост. Колючая, бешеная метель. За хлебом на питательный пункт Земского союза. Ставка Великого Князя. К вечеру — Погодино. Уже юг. Сиреневый закат — снег тает, лужи. Яркие, южные звёзды — недалеко война. В теплушке. Утро. В Погодино. Реквизиция. Село Блудно, Гродненской губ. Праздник. Белые домотканые кафтаны. Костёл с мшистой крышей. Жители нас боялись. Старуха-бабка. Сбор по избам. Полешуки. Куры у major'a. Маслобойня. Отошли в Брест. Таки будут наши. Шашечный турнир.

Пришли в Брест вечером. Я, Рудн., Корнев искали 224-й — не нашли. Тысячи путей. Наутро в город на почту. Мосты, евр. город. Мороз. Козыряют. Еврей-извозчик. Вечером пришли наши. Буйная молодая радость. Я устала улыбаться. Руднев вывихнул ногу — слёг. Пели — рядом со мной. Смотрела в лицо, в глаза — провожала. Тихий интимный разговор. Я страшно, я безумно жалею, что я не с вами. Под косым мостом. Поцелуй с Борькой. След. день (29) (Я — Заг., Ск., ..., Ляхм., Краш., Тези) на 224-й. Поляны в глубоком снегу. Около форта Граер-Берг. Тревога. На вагоне — тишина. Не закрывайте мне Пауст. Вспоминали. Уют — купе — полусвет. Чай. Провожали до вокзала. Отставали. Шли медленно. Боязнь разлуки. Прощанье на платформе.

30 — Пошли в Кельцы вечером. Утром ст. Людвигово. Осмотр теплушек. Пустынность. Ивангород. Форты. Слышен бой на Варшаву. Блиндированный поезд. Ходили за картошкой. Дыхание войны. Пошли. Крепость, валы, рвы — купол собора закрыт



Страницка дневника К.Г.Паустовского. Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского). Публикуется впервые

ветвями. Висла. Немецкий понтонный мост — разбит. Полотно — окопы — пушки у полотна. Блиндажи — проволочные заграждения.

Окопы. Разрушенный костёл. Сумрачные поля тринадцатидневного боя. Изморозь. Воронки от снарядов. Наблюдательные пункты — на деревьях. Туман. Дороги, изрытые обозами. Лес — проводка новой дороги. Грабинка. Станция сожжена, водокачка взорвана. Польская лавочка в лесу. Звенящий, злоеющий сигнал. Гул канонады. Население бежало.

Изломанные рельсы. Разъезд взорван. Разговор с кондуктором. Я и Вебер. Едальня.

Не ранее января 1915 г.

Посадили ко мне с поезда Ольги Ник. ещё 10 челов. 2 австрийца. Садовник из Вены — горло проколото штыком. Чахоточный. Другой мадьяр. Славное настроение в теплушке. Вечером — сборище. Бессонные ночи, нервный, перемежающийся полусон, полудрёма. Просыпался по утрам — темно. Фонари. Тронулись. Ночью сердечный припадок с австрийцем. Бежал по свежему, недавно выпавшему снегу. Лес. Эмма Петр. Утром — пожар в тумане.

¹ Полевой военно-санитарный поезд № 225.

Лунинец—Гомель. Всё занесло снегом. В город. Пешком к вокзалу. Ухабы. Румянцевская улица. Грязный, неуютный город. Тусклое настроение. Обратное. Пасхальное настроение. Отдых — радость — у Лисовского. Пришли Катя и Берта. Неважно. Пинск. С Вебером в город. Белый, снежный, маленький. Красивый монастырь — церковь. Дом мой — дом молитвы. Брест.

На паровозе до Бреста четвертаго. <...> Взрыв склада. На карантин. К 224-му. Скоб., Руднев, Лёля и я. Перекрикивались. Острый ветер. Гуляли ночью с Рудневым. Лужи, тень, фонари. — Решили ехать в Москву.

<...> В Барановичах разбудили евреи. Шайка <...> Если тебя ударят по одному плечу — подставь другое. Если вы будете шуметь, старый чёрт, то я вас вишнерну так, что вы вылетите через потолок. В вас много этикетности <...> Чай в грязном буфете. Лужи из керосина, хмурые <...> Ночь на третьей полке. Утро. Подмосковные дали. Москва. Трамваи. Хмурые люди. Дома. В Союз. У Руднева. На трамвае по глухим улицам. Кошмар — [Смоленский...] — Приехал Романин. У Калитинских. Зеленцова. Утро. Карточка Кати — грустная девочка, затуманенные глаза. Задрожало сердце.

* * *

Январь 1915 г.

Вой собак. Часовой. Встреча Нов. года. Скаржиско. Келецк. губ. Утром. Взорванный вокзал. Прошли германцы. Огнём и мечом. В лесок. Оббитые ветки. Чай у маркитантки. В еврейском местечке. Разрушенное депо, мастерские, поворотные круги. С Заг. в лес. Чудесное, весеннее настроение. Вечером — пошли к взорванному мосту. Окопы в перелеске. Немецкие окопы. Девушки. Встретил смерть в пустующих полях. Деревья, изуродованные шрапнелью. 14 пуль. Разговор с женой лесничего. Обратное. У вагона. Я люблю глаза Паустовского. Она любит. Вечером с <...> к мосту. Окрик часового — Кто здесь.

2-го янв. Оранжереи. Польский фольварк. Хлебопечкарни. Моросит дождь. Тоска о ней.

3 — Ходил я, Ск., Ром. — к маркитанткам. Юное синее небо над разрушенным вокзалом. Весна, лужи. Ветви в зелени. Теплушки пошли в Кельцы. Сёстры — Заг. — я, Ск., Ром. — едем в Кельцы. На тормозной площадке я со Ск. Холодный дождь и ветер со взгорий. Ночь. Огни биваков. В теплушке. Азартная игра на ящиках. Кельцы. Разрушенный вокзал. Недавно бросили бомбу. Огни фонарей в лужах. Порывистый дикий ветер. На вокзале. Дети на полу. Расспросы. В 12 в. — бой.

Гулял с Левиной. Чай в теплушке. Сон. Тревога. Утром, на рассвете пошёл к Малявиным за кипятком. Пришёл наш поезд. В городе с Катей. Костёл. Позолота, коленопреклонённые фигуры. Торжественный, величавый орган. В фотографии. Кельцы.

Типичный польский город. Штабные. Обозы. Случайные поезда. Немецкие аэропланы — два.

Стрельба. Странное чувство — я могу умереть сейчас — хотелось умереть красиво, не растерянно, не грязно — страха не было.

Далёкая прогулка за город. Изакович, я, Ск., Рудн., Катя, Эмма, Зуб. Отдание чести — скверно на душе. Симпатичные улицы — рынок. Широкие дороги. Размокшие поля. Силуэты гор. Каменоломни. Громяхают обозы. Лазаретные фуры — тянутся на позиции. Непролазная грязь. Разговор со сторожем около кирпичного завода. Здесь война. Спят изгороди. Пустынно, красиво, немного мрачно. Город — на извозчике сёстры и Руднев.

6-го — Погрузка. Подходили фуры. Я носил. Офицеры. Больше больных. Канитель с мешками — тронулись. У меня раненых пока нет. Вывороченные рельсы. Взорванные мосты. Красота — лес по горам. Разрушенный разъезд. Холодный ясный закат ласкал разрушенные здания. Берёзки. Легко и радостно на душе.

Радом. Ко мне посадили 6 венериков, холодно, терпкий противный запах в теплушке. Ночь без сна. Возился с печкой. Луков — унылая, серая станция. В Бресте карантин — 5 дней. Кошмар. Долго, страшно долго не видел Кати. Письмо от Бумы.

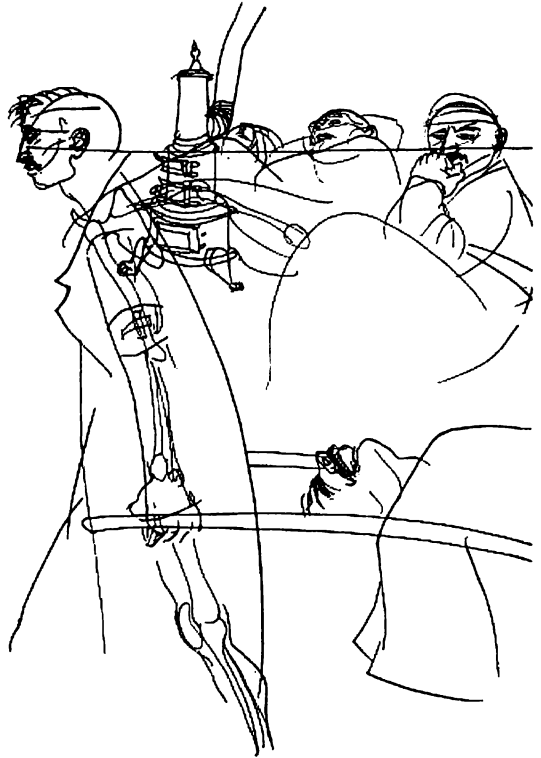
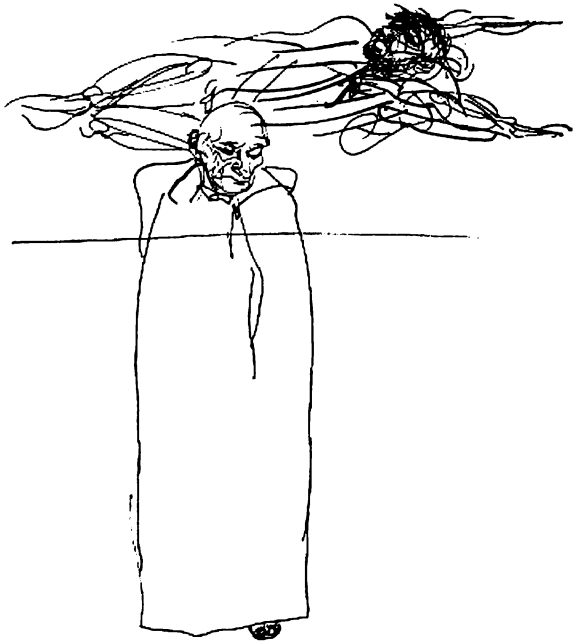
* * *

Скорее всего, январь 1915 г.

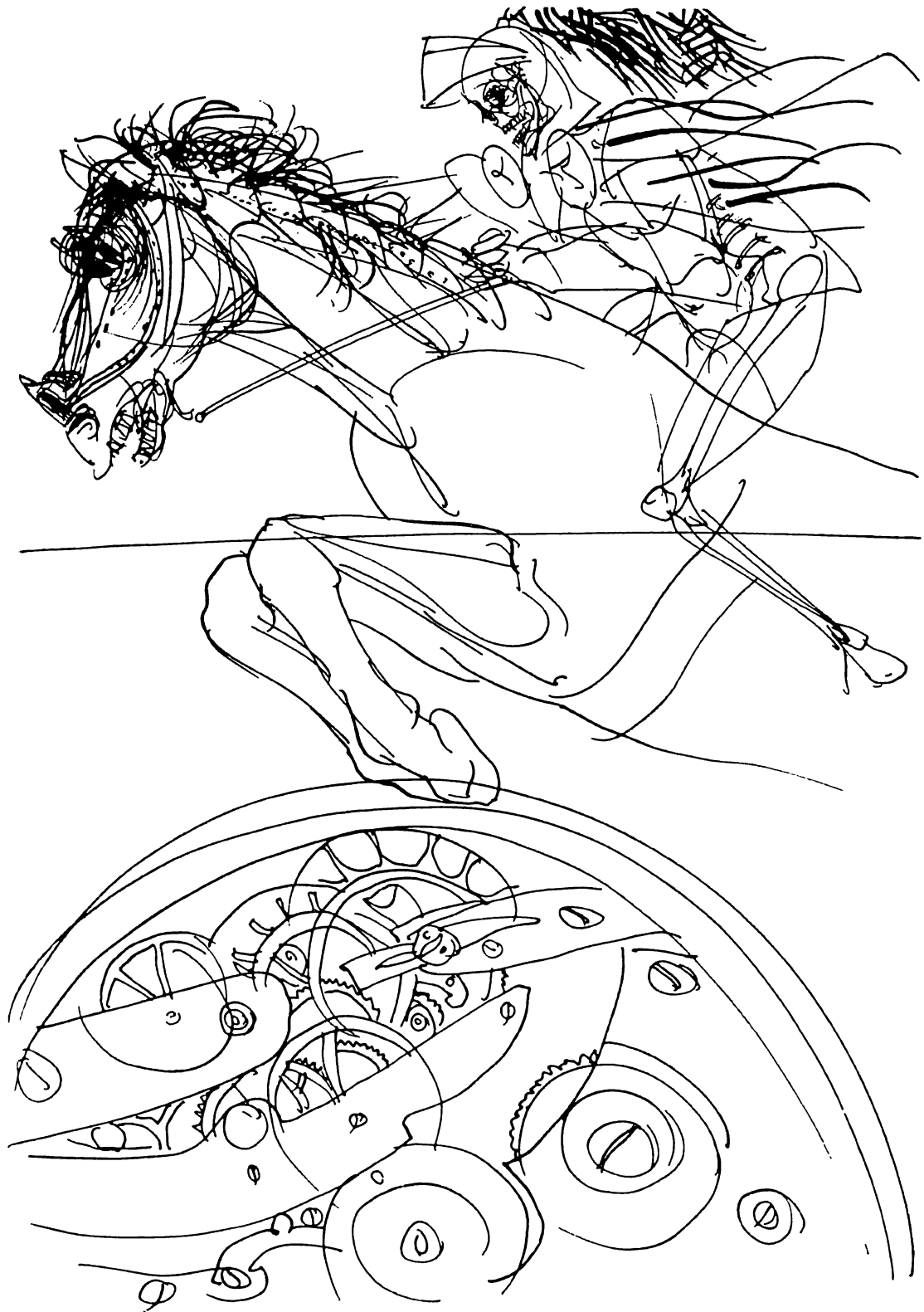
Тоска <...> вещая, ничем не победимая... Решили издавать газету. Вечером. С Катей и Скоб. в «Фантазию» — Катя не в <...> Хорошенькая, гибкая парижаночка пьянела от любви и наш. близости. Вуаль. Мёртвые улицы. Луна и белые полосы света. Просить (?) о многих лунах — Г.Фридр. говорит, что можно на этом заработать деньги. Вечер у меня в купе. Лёля — <...> Катя тормозила меня. Пошли в перевязочную. Пили-бесились. — Пришла Лёля. Тяжёлая новость. Ив. Петр. берут на военную службу. Он уходит. Это конец. Все сразу почувствовали это. Пели — быстры, как волны, все дни нашей жизни. Выходки Руднева — грубость и мелочность. Пошли вечером гулять по Киевскому шоссе. Форты — пушки. В сторону, в синеватые, освещённые мглистым светом поля, сидели все на <...> Много пели. Светлая ночь. Огни венком на вокзалах. Снова вползает тоска. Щемлящая печаль — ночь — тяжёлая, ночь <...> Холод — безнадёжность. Утром с Лёлей в город. Солнечно, тихо, провинциально. «Мою любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега».

Вернулись в фотографию — мимо бородатого солдата. [Свет] ателье. Вся команда в сборе. Милые лица — близкие люди. Снялись. Пошли в столовую тусклую и тёмную на Полицейской — обедать. Мизонов, Ляхм[ан], Романин, я, Скоб[ников], Руднев, Лисовск[ий], Изакович. Тускло, болит голова — духовный аристократизм — думы о нём. Обратное к Щаповым. Холодно, мутно. Хочется уюта. В купе. Новая сестра — Лёля прибежала.

Маленькая, славная девочка, в ней так много любви. Вечером. Пришло странное, задорное



Борис Йирку (Boris Jirků). Рисунки к главе «Военные будни» чешского издания «Романтиков»: Praha: Lidové Nakladatelství, 1987. — 232 s.: il. — (Тройка). Из архива музея-центра (Фонд Г.А.Арбузовой). Публикуется впервые



настроение — бывает после тоски. Забыться. Ласковое лицо, родное — чудные глаза, губы.

«Скучно жить и царевне своей не молиться на своём одиноком пути». Гуляли около поезда.

14 — утром Лёля в вагоне. В перевязочной. Пили. Накурили. Составили письмо Левину. Операция <...> Светлый синий день. Передвинули на Граевские пути. Обедать к мастерским. Команда. Дрожали стёкла. На вокзал. [Как] полюбил я Лёлю, девочку с ангельским лицом. Надо беречь её. На поезде. У нас — [Люся], Катя нов. сестра — <...> Щемящий вальс — на вокзале. Тоска какая-то светлая. Провожали все. Студенты из Саратова. Всенощная на вокзале. Страшная обстановка. Пели высокими альтами. Свечи. Лицо Кати <...> Я так хочу видеть её.

Театр — вечером. Симфонический концерт, рядная толпа. Серая публика. «Голос твой — пенье задумчивой сказки». «В двенадцать часов по ночам». Вспомнилось «Отступление» Эрастова. Походный театр переполнен военными в самых разнообразных формах. Сёстры. С тобою быть или не быть вопросом стало жизни — жить или не жить. Обрато по улицам звонким и сонным.

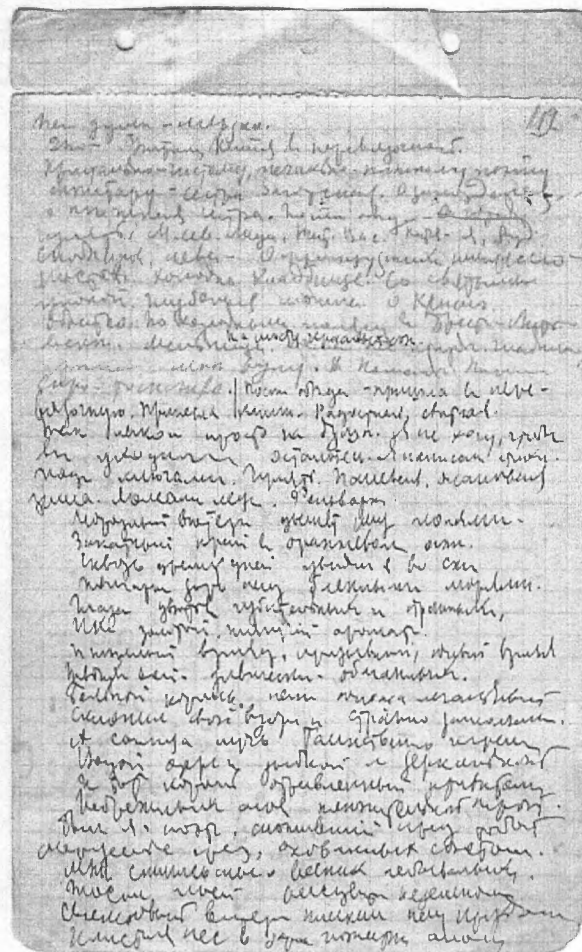
Февраль 1915 г.

Утром на извозчике с Кат. и Зубовой в город. Чудесное настроение. Цветочный магазин. Озябли руки. Сняла перчатку, гладила <...> холодные, бледные руки. Фрукты. На Шоссейной. Обрато. Роковой вокзал, на поезде. Галиматъя — обвинение против Феди. Проводы Ив. Петр. Речь. Вокзал. У дяди Феди. Сильное, красивое лицо.

Вырвали душу. Вечером в город, в Союз с К.. Она не любит долго быть одна. «Я жду любви губительной и нежной. Случайность встреч — и вспыхнет странный (бред?)». На улице <...> встретился мажор. За браслетом для часов — в фотографию. Тревожное чувство того, что всё уходит. Глубокая, детская нежность у меня к ней. Вернулась. На вокзале ищет. В буфете. В Петроградскую кавярню. Задумшевность. Афазия.

17 ф.

Струнный сумрак пал над улицей пустынной. Свивались медленно задумчивые сны. Над вышками церковей, над площадью старинной Тоскует блеклый свет обманчивой луны. Огни дрожат на крыльях экипажей. Деревья сонные застыли в тишине. Я думаю весь день о полюбивших пажах, Горевших в радостном, губительном огне. Им снились по ночам глаза принцесс усталых, Их грациозные, неслышные шаги И яд раскрытых губ по-детски влажно-алых. Их мучат сонмы грёз — печальные враги. Я воскресил на миг легенды неземные. И задрожал в душе изысканный сонет. По площадям росли туманы голубые, Мерцал из фонарей большой и сонный свет.



Страничка дневника К.Г. Паустовского. Из архива музея-центра (Фонд В.К. Паустовского). Публикуется впервые

Вечером <...> Спит парижанка. Глаза. Я в <...> — бледный, весь в чёрном — обрато. Снег, как мёртвые ночные бабочки. Ложится на ресницы.

Кондрат. и Проз. — в доме терпимости. По длинному, ажурному мосту. Молчаливость.

18 — В купе. Написал «Я раб тоскующий и нежный». Несказанное счастье в глазах. Не может выдержать взгляда — любит. Любовь кладёт на лицо отпечаток тонкой, одухотворённой красоты.

В команде весь персонал. Пели <...> Сидели долго, долго. Она не хотела уходить. Вы хотите, чтобы у меня были сонные, пьяные глаза.

Клюк. — гадина. Море ненависти.

19 — Сажу в перевязочной. Читаю холодного, печального Бунина. Скучно. <...> об отречении.

В б. Гигиена. Я, Скоб., Рудн. — грязь — <...> В Петроградской кавярне. Сумрачно. В душе холодно и смутно. На вокзале с Изаковичем.

20 — Прививки оспы. 25 перевязок. Два раза она перебинтовывала меня. Нежные прикосновения рук.

Вечер у Романина. Новая птица — новые песни. Боевое настроение.

В команде грязный скандал. Староста пьян. Клюкин — хулиганил. Сплотились. Мы одни. Вечер на вокзале.

Февраль 1915 г.

Вечером — сёстры М. Сев. и Катя у меня. Едем ночью в Радом. Радость. Проклятый Брест. Утром Луков. В перевязочной. Пикировка. Ивангород. На запасных путях — кругом поля, вдали течёт Висла, солнце уходит в туманы, светит алым огнём, словно сквозь густое старое вино. У автоклава — я, Лёва, Катя. О Врубеле. Девушка, которая любит. Хрупкая, нежная, радостная. Ночь. Ледяное, прозрачное небо — белые звёзды. Лает собака.

24 февр. — Солнце <...> густо-золотого цвета. Пришли. Перевели к вокзалу. Тронулись в Радом. <...> Катя у меня в перевязочной. Висла — свинцово-синяя. Снова поля боёв. Костёл. Горбатка. Ходили в лес. Ярко-синее, знойное небо.

Я и Ром. в перев. Одни. Солнце. Свет. Чистота. Озёра. Леса. Бой в песках. Истоптано, изрыто. Стаканы от шрапнели. Радом. Уютный, июньский городок. Западный. Пошли в Скаржиско. Сегодня здесь бросили 8 бомб с аэроплана. Стоял 221-й поезд под погрузкой <...> Видел Буму. Раненый студент — санитар. Смертельно ранена сестра. Бума. Нам безумно жаль, что мы опять расстаёмся. Рок. Нежность ко мне. Милый. Ушли.

25 — Утром в перев. Часы. Намёк на Буму. Ревность. Тонкая причудливая игра страстей и настроений. После обеда гулять. Разрушенное бомбой с аэроплана здание. Покинутый, недостроенный костёл. На лесах. Белый камень. Прохладный, острый ветер. Солнечная даль. Высоко, высоко. Винтовые лестницы. Сумрак.

На душе — мерзко.

21-20 — Утром Катя в перевязочной. Кристально-чистому, печально-нежному поэту, санитару — сестра Загорская. О, запоздалая, о, нежная сестра. После обеда — гулять. М. Сев., Мизо, Тат. Вас., Катя — я, Руд., Скобников, Лёва — о французских импрессионистах. Холодно. Кладбище. Со святыми упокой. Глубокая могила. О Крыме. Обратно.

По холодным полям в Брест-Литовске. Мельница. На мосту. Красивый сон. Дама на пруде. В Коменд. <...> тоскливо.

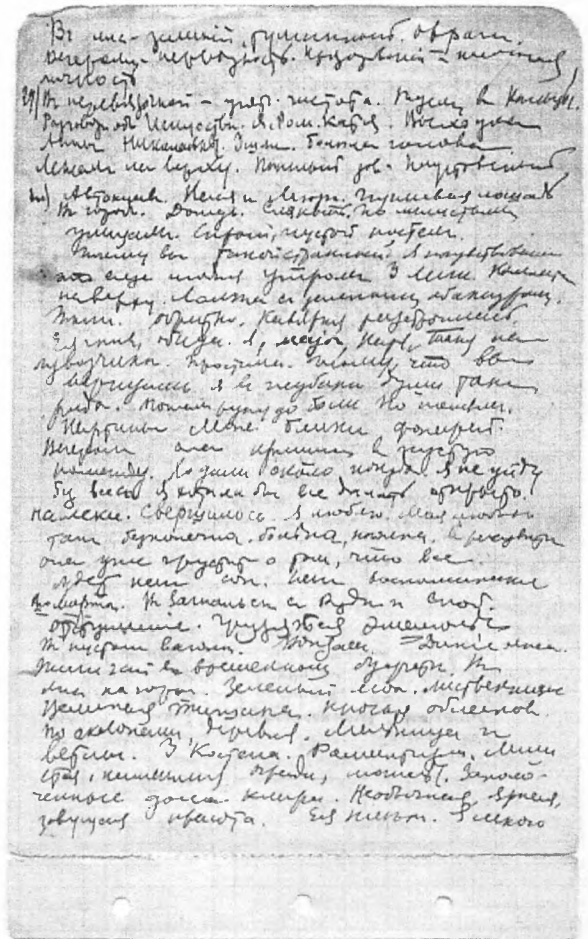
После обеда пришла в перевязочную. Принесла книги. Радостная, светлая. Так легко и просто на душе. Я не хочу, чтобы вы уходили, оставайтесь. Я написал стихи. Под ключами. Гулять. Палева <...> зима. Ломали лёд. Фольварк.

Морозный ветер дышит над полями,
Закатный край в оранжевом огне.
Сквозь дрему дней увидел я во сне
Пожары зорь над блёклыми морями.

Глаза цветов губительных и страстных,
Их золотой, тянучий аромат.
И нежный взгляд, призывный юный взгляд
Твоих очей, девически-обманных.
Больной король, наш юноша печальный
Склонил свой взор и странно замолчал.
А солнца луч таинственно играл
Водой озёр и зыбкой и зеркальной.
И вот король, отравленный приветом
Небрежных слов пленительной игрой.
Был я, поэт, сложивший пред тобой
Мерцанье грёз, окованных сонетом.
Мне снились сны о вёснах небывалых,
Тоски моей расцвете неземном.
Свинцовый ветер плакал над <...>
И листья нёс в заре пожара алом.

Февраль, 1 марта 1915 г.

Бойницы. Щебень. Готика. Только здесь я понял вполне ее большую <...> её фантастику. Нежная, едва заметная любовь. «Я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня». Недоконченные колонны. Шлях. Шоссейная станция. Шоссе на Краков и Конск. Вёл за руку по



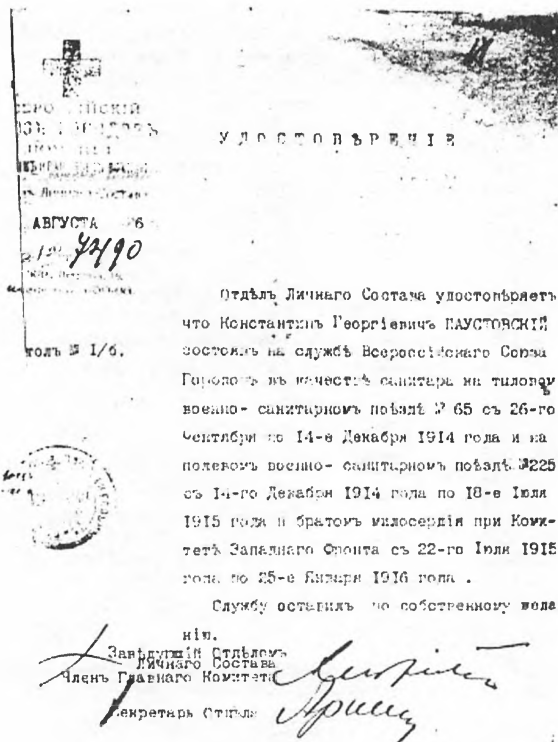
Страничка дневника К.Г.Паустовского.
Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского).
Публикуется впервые

рельсам, какой-то необъяснимый ток. — Мост — Шалаш из веток.

Отбились — она и Изакович. Окопы на краю деревни. Лента. Умиralи в песчаных, вейущих холлом полях. Речушка бурливая, горная. По полотну. Дома в <...> Руднев уехал на перевязку в Конск. 26 — Утром идём. — Красим перевязочную с Малявиным. Мечты о малярной артели. Вспомнил «Мою жизнь» Чехова. Прошёл по направлению к Кельцам немецкий аэроплан. Все высыпали на полотно. Я создам, я хочу создать себя для великих, умных, красивых дней. Я хочу быть иным, чем все, вернее, я знаю, что я иной.

Сегодня К. плакала из-за какого-то флакона с притёртой пробкой. Много детского, капризного, причудливого. Я начинаю задумываться. Читаю «Страстную дружбу» Г.Уэллса. Разговоры о летучем отряде. К вечеру прошёл ещё один аэроплан. Повернул на Конск. Наши бежали стрелять. Ходили гулять в местечко.

Кондитерская. Обоз с ёлками. Холодный широкий истлевающий закат. Приехал Руднев. В синематогграф. «Комета». Испорченный граммофон. Обратное. Под руку. Жала мне руку. Гибкая затягивающая нежность — любовь. Парижанка. Проводил до команды. Светлое, лёгкое ощущение, словно после морфия. Ночь.



Из личного дела студента К.Г.Паустовского:
«Отдел Личного состава удостоверяет, что К.Г.Паустовский состоял на службе Всероссийского Союза Городов в качестве санитаря на тыловом военно-санитарном поезде № 65 с 26.12.1914 года и на полевом военно-санитарном поезде № 225 с 14.12.1914 г. по 18.07.1915 г. и братом милосердия при Комитете Западного фронта с 22.07.1915 г. по 25.01.1916 г.»
Из архива МГУ

В лес — зимний, туманный. Овраги. Вечером — нервозность. Прозаровский — тёмная личность.

29. В перевязочной — уют. Чистота. Едем в Кельцы. Разговор об искусстве. Я, Ром., Катя. Выходка Анны Николаевны. Ушли. Болела голова. Лежал на верху. Нежный зов. Паустовский.

Автоклав <...> Пугливая лошадь. В город. Дождь. Слякоть. По мглистым улицам. Серый, пустой костёл.

Почему вы такой странный. Я почувствовала это ещё сегодня утром. <...> Комната наверху. Лампа с зеленым абажуром. Пели. Обратно. Кавярня расстроилась. Её гнев, обида. Я, major, Катя, Таня на извозчике. Простила. Тому, что вы вернулись, я в глубине души так рада. Пожала руку до боли. По полям. Картины Моне. Блики фонарей. Вечером она пришла в пустую команду. Ходили около поезда. Я не уйду без вас. Я хотела бы всё делать открыто. Намёки. Свершилось. Я люблю. Моя любовь так бесконечна, больна, нежна, в расцвете. Она уже грустит о том, что всё будет как сон. Как воспоминание.

1-го марта — В Загнаньск с Рудн. и Скоб. Отступление. Грузятся эшелоны. В пустом вагоне. Вокзал <...> Пили чай во временном буфете. В лес на горе. Зелёный мох. Лиственницы. Великая тишина. Клочья облаков. По склонам деревьев. Мельница и ветлы. У костёла. Романтизм. Мшистая каменная ограда, могилы. Заколоченные дома клира. Необычная, яркая, зовущая красота. Её плечи. Я много...

Не раньше мая 1915 г.

Зеленеющие дали. Галиция. Дембица. Погрузка с двор. поезда. Так далеко, далеко отроги Карпат.

Перевязки <...> Два силуэта. Внесли что-то казарменное. К семи утра до одиннадцати ночи. Обморок с Мар. Сев. Кружилась голова. Нет Кати. Както дико. Спали в перевязочной. Приехал Вебер. Страшная усталость.

21 утром — Разгружались в [Холм.]. Отделяли. Вебер, Ром., я — в город.

Кофе в столовой. Собор. Город на холме. Улицы в зелени. Весна <...> Обратно. В столовой около вокзала. <...> Богатые краски, японский пейзаж. Вечером — чай в перевязочной. Пели.

22 — Ночью прошли Люблин. Встали до зари. Туманы. Работа в перевязочной. Через Сан по понтонному мосту.

Стоим в <...> Около Дембицы случилось что-то крупное, говорят, прорвали фронт. Комендант в перевязочной. На соседней станции германский аэроплан с прожектором.

23-го — Утро. Заря. Идём к Лежицу. Недолгая стоянка. Снова аэроплан. Пошли в Демб. Все дороги пылят, оживление, идут обозы, автомобили, толпы солдат, гонят скот, скачут казаки.

Отступление армии началось.

В Демб. Аэропланы. Гул канонады. Увозят снаряды в тыл. Солдаты подходят с позиций. Свежие раны, алая кровь. Снова девушка, раненная в <...>

Уходит на рысах артиллерия, скачут вестовые, солдаты бегут, бросая винтовки. Пылят дороги. Синий день, жаркое солнце. Нас, говорят, отрезали.

Подошёл дворянский. Погрузка. Первые перевязки. Огонь по аэропланам. Взрывы бомб. Наш поезд — последний. Тревога, неизвестность. Умирают. Вечером — зарева вокруг, видны разрывы снарядов, словно белая молния.

Ушли ночью. Выгружался эшелон. После [сна] — в бой. Гул дикой, ураганной канонады. Немцы сходят по флангу. <...> Лужи крови — всё горит. Утро у автоклава — пурпурное солнце в полях Галиции. Бледный офицер. <...> Безнадёжные. Ужас войны. Красивый смех. Брест — вечер — Загородный <...> кавярня. Письмо от Кати. Ласка, любовь, нега. Ушли в Гомель.

Думы о ней. <...> Вечером — дождь, слякоть. Глубокий, тяжёлый сон.

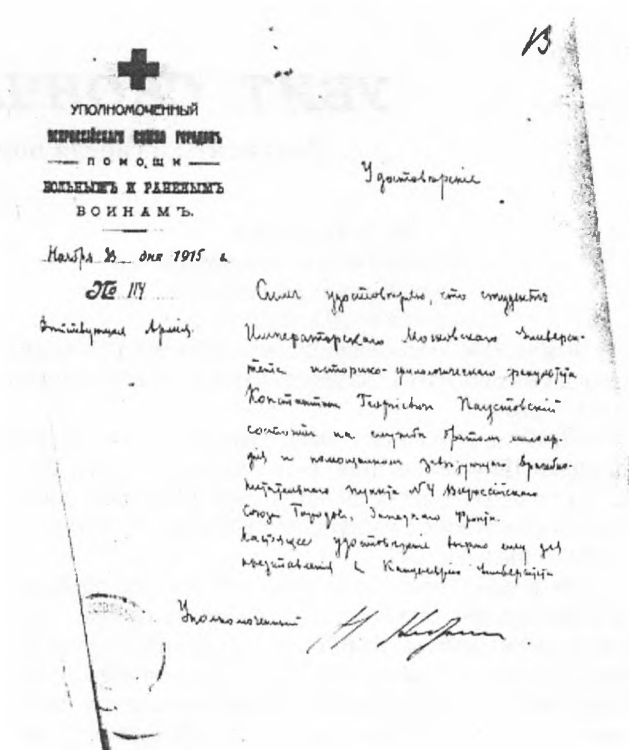
Конец 1915 г.

Клячкин — рыбы глаза. Судак. Печём с Исааком Борисовичем 30 пудов сладкого белого хлеба для какой-то батареи. Штабс-капитан — усы, фиксаж, много возни с печами и бабами. Вся комната завалена булками. Откомандирован <...> Все радостные, весёлые. Легче стало жить. Глухую ночью ворвались Вронский и Романин. Чай в 3 часа ночи, при свечах. Проболтали до утра. О Москве, о Хатидже. Он недавно видел её. Родной и ласковый. Говорит о Хатидже как-то нежно. Все любят Хатидже. Ведь она такая ещё маленькая, светлая, озарённая.

Вронский тарашит глаза и рассказывает невероятные истории. Клянётся, что правда. Лёг на полу, на шинели. На рассвете приползли какие-то два брата из Северопомощи. Пили чай. Ушли. Помог мужу Ани Солом. приехать. Привезли мальчика, бледного, в чёрной бархатной куртке — привели ко мне вечером. Была слышна канонада. Расплакался: «Мама, мне страшно. Зачем стреляют. Все с шашками. Совсем нет людей, только солдаты». Ребёнок и дикая война. Отрезвило. Все притихли.

На чёрную оспу с Моргулисом в д. [Амлины]. Глухая деревня. Овраг. Нетопленная изба — школа. Угрюмо и тихо. С [десятским] — по избам. Гниют заживо. Боль. Гной. Умирал мальчик — впрыскивали камфару. Девушка с белым, измученным телом. Сумасшедшая мать. Жарила мясо, а на постели лежали два трупа — мальчика и взрослой дочери. Руки в оспенном гное. Нет боязни. Моргулис к больным не подходит — стоит у порога. Впервые я делаю впрыскивание. Немного жутко. В школе. Дымит печь. Пьём водянистое молоко. Уехали ночью. Стрелы прожекторов. Тёплый ветер.

Приезд Государя. Декорации. Наши волнуются. Столкновение с Кедриным из-за флага. Еду. Погорельцы. Блестящий адъютант. Ноет нога. День жёл-



Из личного дела студента К.Г.Паустовского: «Сим удостоверяю, что студент Императорского Московского университета историко-филологического факультета К.Г.Паустовский состоит на службе братом милосердия и помощником заведующего врачебно-питательного пункта № 4 Всероссийского Союза Городов Западного фронта...» Из архива МГУ

тый, ползущий. Минск. Ночь стоя, без сна. Спокойная, сильная радость — я не верю себе, через несколько дней у Хатидже.

Сочельник в вагоне. Снег и синие ели. Москва. Хорошо от всего московского — трактиров, извозчиков <...> трамваев, знакомых улиц. Родное.

Дома. Много наших. Тётя Гелюня. Много смеха, шума, разговоров и расспросов. Маме тяжело. Я призван. Сразу замер, вспыхнула, обострилась тоска по Хатидже. Сказал маме о Ефремове. «Я догадывалась, что ты поедешь, я говорила об этом всем нашим, как о решённом, хотя ты мне ничего не писал». Чуткость матери.

На выставке передвижников. Много мёртвого. Бируля — серии туманов. Муська тарашит глаза. Всё так любопытно.

С тётей Гелюней. О Курске. О том, как мы были у неё. Она помнит все мелочи.

У Зимина. «Аскольдова могила». Странное состояние — полубред, полуреальность. Жар, сухость, много образов странно ярких, наплывающих <...> «На медленном огне». На лестницах, в переходах. Кремль в синем хрустале, в морозной ясности.

Еду. Курский вокзал. Знобит, слабость, кружится голова. Знаю, что жар. Чистое купе. Раненый офицер. Озлобленный, весь горящий гневом. Лёг. Горит [...], сильный жар. Офицера тоже знобит. Оба больны. Всю ночь в жару, без сна, в бредовых думах...

УБИТ. СКОНЧАЛСЯ ОТ РАН...

Документы о гибели Бориса и Вадима Паустовских

Дѣло XI-ой арміи

11-го Финляндскаго стрѣльковаго полка

Журналъ военныхъ дѣйствій

съ 1 мая по 30 іюня 1915 года

6 Мая. Ночью спокойно. Днемъ спокойно. Въ 3 ч. дня боевой участокъ полка увеличенъ влѣво на участокъ одной роты 9^м полка...

Прибыли на укомплектованіе офицерскаго состава Прапорщики: Паустовскій, Шинкаръ и Бриусатый. Потерь нѣтъ.

1 іюня. Въ 4 час. у. 3^я бат. Капит. Юницкаго... перешелъ въ наступленіе на лѣсъ, что восточнѣе д. Рагузно и далѣе на лѣсъ Доброво.

Въ 4 час. дн. баталіону приказано отходить на Жидачевскую позицію (первая линія), гдѣ и занялъ крайній лѣвый участокъ у р. Днѣстра. Въ 6 час. веч. на высотѣ 258 (у шоссе на г. Жидачевъ) выдвинута 4^я рота подъ командой Подпор. Семенова, на случай прорыва въ Кунянскомъ полку, Полу-рота (7 роты) назначена въ прикрытіе къ 3^{ей} батарее 16 арт. бриг. Въ 5 ч. дня 5^я и 8^я роты, подъ командой Прапорщика Паустовскаго выделены изъ состава б-на Кап. Салтовскаго у дер. Бородище и высланы въ резервъ Командира Богоду-ровскаго полка въ г. Жидачевъ.

13 Іюня. Первый и второй баталіоны въ 3 ч. ночи заняли исходное положеніе на западной окраинѣ д. Посвирусь для атаки дер. Цу-Козары...

При атакѣ дер. Цу-Козары при отходѣ на позицію и оборонѣ ся полкъ подвергся сильному обстрѣлу какъ полевой и тяжелой артиллеріи, доходившему временами до ураганнаго, такъ и сильнѣйшему пулеметному и ружейному огню. Около 7 ч. вечера около баталіона пѣхоты непріятеля атаквали средней участокъ полка со стороны дер. Посвирусь. Атака была отбита.

Ночью вновь производились саперныя работы по укрѣпленію позиціи...

Потери полка: убитъ Прапорщикъ Паустовскій, ранены Шт. Капитанъ Шредерсъ, Прапорщикъ Кириловъ.

ЖУРНАЛЪ ВОЕННЫМЪ ДѢЙСТВИЯМЪ

78-го пѣх. Навагинскаго Генерала Котляревскаго полка

30 авг. 1915 г. <...> Согласно полученнаго приказанія: завладѣть дер. Орликъ и Аргуль, а также лѣсомъ сѣверо-восточнѣе Аргуля, вр. команд. полк. Полковникъ Шелобаевъ приказалъ г.г. ротнымъ и баталіоннымъ командирамъ наступленіе вести по-возможности энергичнѣе. 7 час. вечера наступленіе на дер. Орликъ и лѣвый флангъ позиціи, — продолжается. Кабардинцы штыками выбили противника изъ нижняго ряда окоповъ высоты 67,56. Противникъ развилъ до степени ураганнаго артиллерійскій, ружейный и пулеметный огонь по всему фронту. 9 часовъ вечера — деревня Аргуль окончательно очищается штыками отъ нѣмцевъ. Къ дер. Орликъ роты приблизились на короткое разстояніе и нѣмцы по-видимому собираются отступать. Наступленіе на Орликъ продолжается. По деревнѣ Аргуль открыла огонь артиллерія противника.

Сблизившись, противникъ бросаетъ бомбы, но его штыками выбиваютъ изъ окоповъ и онъ бѣжитъ. Правѣе насъ Кабардинцы заняли высоту 67,56. Выбивъ изъ 2^я линій окоповъ нѣмцевъ, наши начали укрѣпляться на занятомъ участкѣ. Потери за истекшіе сутки: г.г. офицеровъ: ранены пр. Чханія, пр. Самодаловъ, Никитскій, Макаровъ, Медвѣдевъ; умеръ отъ ранъ Паустовскій; убитъ пр. Акинфіевъ.

* * *

4.IX.1915 г.

Ливенгофъ

Уважаемый Карлъ Андреевич!

Извѣщаю, что 30 августа около 10 ч. вечера скончался Вадимъ Георгіевичъ Паустовскій отъ раны, полученной въ тотъ вечеръ при атакѣ деревни Аргуль въ районѣ озера Пикстернь, и похороненъ южнѣе дер. Аушуль.



Борис Георгіевичъ Паустовскій (1888–1915), старший братъ с женой. Передъ отправкой на фронтъ. Изъ архива музея-центра (Фондъ В.К.Паустовскаго). Публикуется впервые



Вадим Георгиевич Паустовский (1890–1915), средний брат
Перед отправкой на фронт.
Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского)

В.Г. шелъ въ атаку впереди своей роты, пуля попала ему въ левый бокъ въ полевую сумку и вышла въ правый бокъ. Послѣ раненія В.Г. была сдѣлана перевязка и на носилкахъ изъ ружей онъ былъ отнесенъ на перевязочный пунктъ, по дорогѣ куда скончался. В.Г. все время былъ въ сознани и нѣкоторое время послѣ раненія оставался на ногахъ.

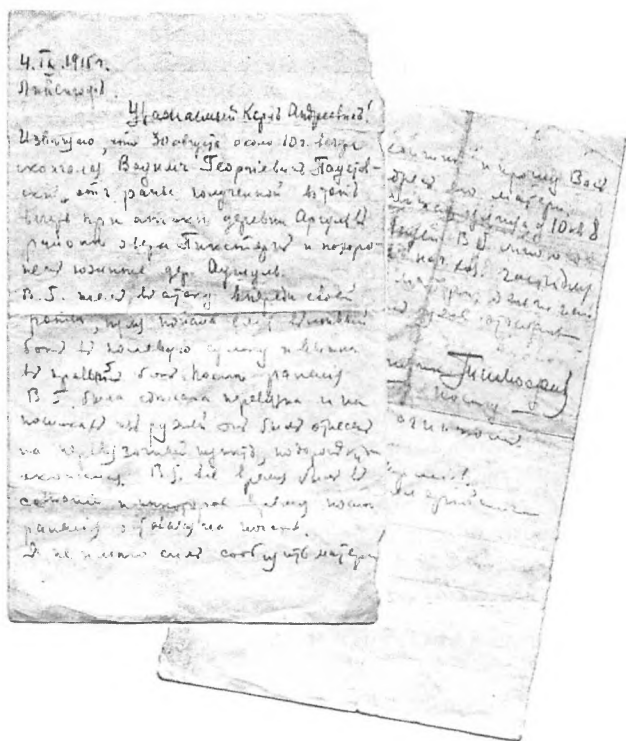
Я не имѣю силъ сообщить матери В.Г. о его кончинѣ и прошу Васъ объ этомъ. Адресъ его матери: Москва, Кудринская улица, д. 10, кв. 8.

Большинство вещей В.Г. мною собраны и сданы нач. хоз. части для отправленія матери, деньги найденныя при немъ, уже отосланы ей.

Прaporщикъ Тимофеев

Мы были въ одномъ полку — 78^м пѣх. Навагинскомъ. Дѣйств. армія.

Пишу подъ артиллерійскимъ огнемъ.



Письмо о смерти Вадима Георгиевича Паустовского.
Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского).
Публикуется впервые



Умерли от ран: прапорщикъ Горшковъ Дмитрий Фѣдорович,
прапорщикъ Лемхинъ Иванъ Дмитриевич,
прапорщикъ Паустовскій Вадимъ Георгиевич.

и жъ Николай Станиславовичъ, прапорщикъ Шураковъ Александръ Николаевичъ.
Умерли отъ ранъ: прапорщикъ Горшковъ Дмитрій Фѣдоровичъ, прапорщикъ Лемхинъ Иванъ Дмитриевичъ, прапорщикъ Паустовскій Вадимъ Георгиевичъ.
Ранены: прапорщикъ Акерманъ (легко) Валерій Фѣдоровичъ, прапорщикъ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ПИСЬМО СЕРГЕЮ ВЫСОЧАНСКОМУ¹

<Ноябрь — декабрь> 1915 г.

Дорогой Серёжа. Дядя Коля передавал мне, что ты собираешься поступить на военную службу, стремишься попасть на войну. Я пробыл на войне три месяца, перенёс все её тягости, — обстрел, и холера, и голод, и отступление. И уехал оттуда, с фронта, с очень грустным сознанием, что счастлив тот, кто не видел войны и поэтому даже не может представить себе весь её ужас и безобразие. Война — это голод, когда по два-три дня люди грызут чёрствые хлебные корки, это — бесконечные утомительные переходы по непролазной грязи, под дождём, переходы, которые всегда происходят ночью, все колодцы, деревни, избы заражены. Везде холера, сыпной тиф, дизентерия, чёрная оспа. Все озлоблены. На войне ты не услышишь ни разу простой человеческой речи. Всюду — злая брань и очень часто вместо слов употребляют нагайки. Война — это десятки тысяч беженцев, умирающих от голода и холеры, бесконечные военные обозы. Все дороги, как кладбища. Везде убийства, разбой, поджоги. И как наивно, по-детски думают некоторые, что в войне есть особая геройская, величавая красота. Я видел бой, был часто под обстрелом. Я думал раньше, что во всём этом должно быть что-то увлекательное. На самом деле — всё это со стороны глупо, не нужно и жестоко. Лежат люди, закопавшись в грязной, сырой земле, а их медленно, расчётливо, я сказал бы даже надоедливо, убивают. И нет никакого в этом геройства. Самое скверное это то, что на войне каждый чувствует, что никому до него нет никакого дела. Если заболеешь или что-либо с тобой случится, то помощи не жди. Бросят куда-нибудь в грязный

хлев, на навоз, и там будешь медленно умирать. Сколько таких случаев мне приходилось видеть.

Особенно безобразно отзывается война на таких молодых ещё юношах, как ты. Мне случалось их встречать на позициях. Война развращает их. Вся грубость, злоба, безобразие войны слишком быстро заражает их. Умирает всё молодое и хорошее, человек тупеет и по своим склонностям и поступкам больше становится похож на зверя, чем на человека. Человеческая жизнь, личность — то, что мы привыкли так глубоко ценить, человек, который действительно носит в себе целый мир, много прекрасных возможностей, — на войне теряет свою цену. Думают, что обидеть, ударить, убить — это пустяки. И этот дикий взгляд заражает даже сравнительно умных, хороших людей.

Если хочешь остаться молодым, сильным, если действительно ты стремишься к осмысленной, одухотворённой, красивой жизни, — тогда тебе незачем ехать на войну. Она всё это убьёт, а потом не вернёшь, даже если захочешь. И геройство не там, на войне, а здесь, в нашей жизни. Жизнь очень часто и в пустяках и в крупном потребует от тебя геройства. Геройски умереть легко, но жить героем трудно. И гораздо лучше для тебя не гнаться за детской, мальчишеской славой, а сохранить себя, работать над собой, чтобы быть достойным того времени, которое наступит после этой чудовищной войны, которое потребует от каждого из нас много сил, знаний, смелости и, если хочешь, истинного геройства.

Пиши мне. Передай мой привет маме и тётке Ане. Муську поцелуй.

Твой Котик.

Екатерина ЗАГОРСКАЯ

«МОЙ АДРЕС — ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ...»

Письма 1914–1916 гг.

Москва. 2/X-1914 г.

<...> Теперь я — совсем богатый человек, т.к. совершенно неожиданно за свою временную службу у Шанявского, когда ещё состояла слушательницей в Солдатенковской больнице, получила 28 р. да обещают всё-таки дать 15 р.

МП: Письма Екатерины Степановны Загорской сохранил её сын Вадим Константинович Паустовский и передал в музей. Все они адресованы сестре Елене Степановне.
Публикуются — во фрагментах — впервые.

подъёмных, т.ч. денег Нине оставлю излишек про чёрный день.

<...> возможно, что мы поболтаемся ещё недели полторы. Эти поезда, организованные «Всероссийским Земским Союзом», отправляются систематично каждую неделю... Я тоже еду с поездом

«Всероссийского Городского Союза», организованного на средства Москвы, и наш поезд не отправлен ещё ни один. Я — на втором, освящение

¹ Письмо, адресованное сыну Н.Г.Высочанского, опубликовано в III собрании сочинений писателя.



Е. С. Загорская, сестра милосердия. 1914 г.
Из архива музея-центра (Фонд В. К. Паустовского).
Публикуется впервые

которого было только вчера. И теперь мы совсем готовы в путь, даже постельное бельё уже разостлано — мы раскидываемся на месте отправления, а не там, где будем забирать раненых, как это делают обычн. воинские поезда. Сидим у моря и с часу на час ждём приказ из Питера, куда и когда отправляться.

А первый поезд ждёт этот приказ две недели уже. Возмутительная вещь: бои идут кровопролитные, Москва прекрасно подготовила лазареты для приёма громадного числа раненых, тратит умопомрачительные суммы на содержание медицинского персонала, а лечить некого.

И мы теперь тоже живём в удобно, если не комфортабельно, устроенных вагонах, сытно кормимся, лишены свободы, п. ч. каждый час могут приказать выехать...

Всего вернее, нас пошлют к Варшаве, прямо в действующую армию. Остановимся, по-видимому, в разорённой местности, почему забираем чуть ли не сотни пудов всяких съестных припасов.

Мой адрес будет: «Действующая армия. Военно-санитарный поезд № 65».

<...> Санитарами у нас почти исключительно студенты.

* * *

Осень 1914 г.

Тыловой военно-сан. поезд № 65

<...> В Москву возвращаемся после каждого рейса. Очень долго приходится стоять на запасных путях под Москвой, почему в город, куда отпускают не больше как на 3 часа, не всегда удаётся съездить.

Ездили, помимо Ивановознесенска, ещё раз в Шую, Нижний Новгород, Владимир. И сейчас поедem в Муром, Ярославль. Говорят, пошлют ещё на Урал и Кавказ. О Варшаве же и действующей армии придётся мечты оставить: вчера категорически объявили, что Варшавы нам не видать как своих ушей. Чем руководятся в Ведомстве, трудно сказать: очевидно только, что «Всероссийскому Союзу городов» почему-то не особенно доверяют. Иначе нельзя объяснить, почему прекрасно организованные поезда стоят на запасных путях, а поезда, наскоро оборудованные из товарных вагонов-теплушек, рейсируют в районы военных действий.

Наш врач, впрочем, через месяц обещает нам всем коллективный переход на полевой поезд. Досадно всё-таки, что пока не сбылись мои мечты поехать в центр событий...

<...> Опять посылали в Нижний. Высадили 300 человек раненых. У меня на этот раз было 6 вагонов легко раненых (мы чередуемся каждый рейс), но с ними хлопот куда больше, никогда не удаётся приехать, кроме как для еды.

<...> Какая хорошая молодёжь наши санитары! Война на диво пробуждает лучшие чувства русских. Ведь санитары — студенты, привыкшие к удобствам жизни, много — из богатых, интеллигентных семей, а посмотрела бы, с какой любовью ухаживают за ранеными, исполняют всю чёрную работу... дома постель за собой никогда не прибирают, а здесь считают за честь подать больному судно или подтереть рвоту.

* * *

13 января 1915 г.

Родная Лёлочка, кончается наш первый рейс, подъезжаем к Гомелю, где возьмём около 800 больных из Келец. Рейс страшно затянулся, т. к. по дороге туда нас везде задерживали не часами, а днями, в Скаржиско, наприм., сидели четверо суток, в Кельцах день. А на обратном пути ещё хуже: в Бресте выдержали пятидневный карантин под охраной часовых с каждого конца поезда. С внешним миром общались только посредством караульных.

<...> Под Кельцами давно уже нет сражений, — почему главный контингент наших солдат были больны, много подозрительных по холере и тифу.

В Бресте мы выходили явно уже заболевших человек 20. Печальный удел карантина будет постигать нас, как и все санитарные полевые поезда, теперь всякий раз, ибо вся местность западнее Бреста явно считается подозрительной по названным болезням.

<...> особенно санитары, которым почти совсем не приходится спать вследствие того, что им

необходимо всё время поддерживать огонь в теплушечных печках. Занемог старший врач, свалилась одна сестра, даже здоровячка Анна Ник. еле перемогалась два дня с температурой 38°. Но я, слава Создателю, чувствую себя великолепно, только аппетит волчий и сон богатырский: после ночного дежурства проспала подряд 5 часов, к стыду своему.

Погода за Ивангородом совсем весенняя: ходила без калош и в одном непромокаемом пальто.

<...> От Ивангорода везде сталкивалась со следами войны: на полях провололочные заграждения, на высоких деревьях вышки в виде скворешных для наблюдения, взрыты пути, взорванные мосты, разрушенные водокачки, сожжённые здания вокзалов.

Однако жизнь идёт — разрушенное заменяется пока временными приспособлениями — вокзалы помещаются в теплушках, водокачки заменяют бочками и чанами, мосты наводятся деревянные.

В окрестностях Скаржиско бродили по перелеску, где укрывались неприятельские отряды, видели неубранные трупы убитых лошадей, братские могилы, изуродованные здания, поломанные деревья, разговаривали с жителями, показывавшими расписки, выданные им вместо денег за реквизированный

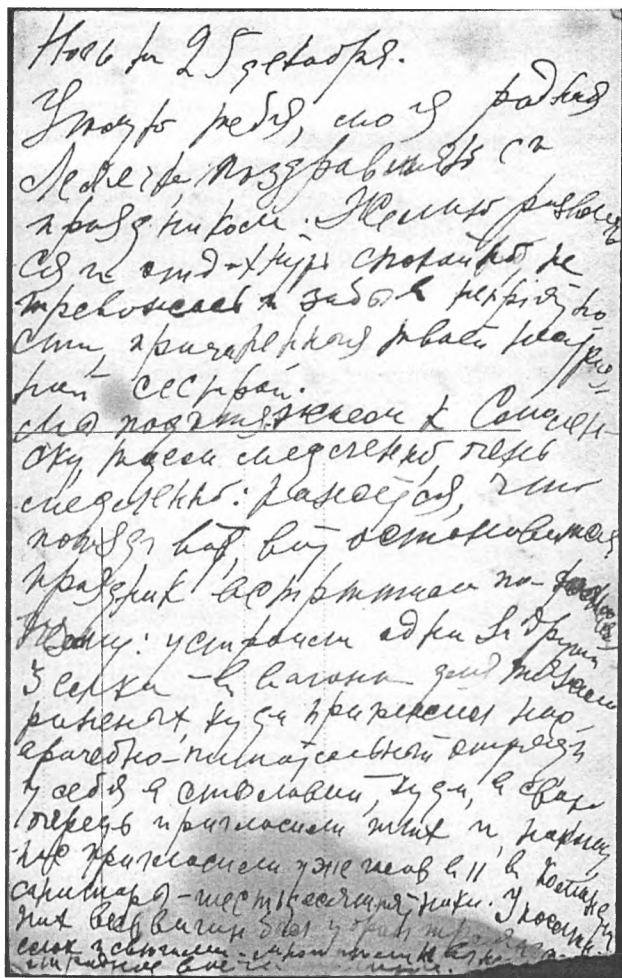
скот, хлеб и топливо. Австрийцами довольны: за всё платили и никого не обижали. Немцы хуже.

Как странно, в районе, затронутом войной, меньше всего интересуются войной, меньше всего говорят про неё как про всё обыденное, о чём не стоит заводить речь... Вот теперь, например, наши солдаты с удовольствием рассказывают друг другу сказки, а из газет хотят узнать только что-нибудь о мире. Это единственное, что их больше всего занимает.

Один из вагонов для тяжелораненых занят у нас офицерами, в другом среди тяжёлых — 3 австрийца и 1 немец, совсем юноша, 19 лет. Очень тронуты вниманием, которым их окружили.

Приписываю уже после Гомеля. Высадка прошла образцово. Солдаты нас трогательно, многие со слезами на глазах, благодарили за уход. Многие, действительно, совсем ожили у нас и с горечью спрашивали, на что же в госпитале им теперь жаловаться, чтобы подольше их опять не отправляли на позиции.

С большим удовольствием ещё сходили в баню. Гомель — большой торговый город, не чета Бресту, хотя тоже уездный. Сейчас трогаемся в <...> Брест, где, вероятно, прокиснем недели 3, пока не отпра-



Письмо Е. С. Загорской к сестре, 25.12.1914 г. на почтовой открытке. Из архива музея-центра (Фонд В. К. Паустовского). Публикуется впервые

Рис. Л. О. Пастернака на лицевой стороне открытки-письма



Странички письма Е. С. Загорской к сестре, 4 или 5.09.1916 г.
Из архива музея-центра (Фонд В. К. Паустовского).
Публикуются впервые

вят нас в <...>, т.к. в районе Келец наступило, кажется, долгое затишье.

* * *

Москва, 1/X-1915 г.

... С Паустовским видимся каждый день. У него постоянные головные боли — результат контузии. Он очень вял и утомлён, первые дни еле говорил, но теперь, все находят, он выглядит гораздо бодрее. В разговоре постоянно возвращается к недавним впечатлениям войны.

Уйти из отряда ему нельзя, п.ч. считается уже призванным и пребывание в отряде равносильно отбыванию повинности. Но м.б. ему удастся на время устроиться в 65-й поезд заведующим 2-й перевязочной, тогда он часто мог бы приезжать в Москву...

* * *

Москва, 4 или 5 сентября 1916 г.

Родная Лёлочка,

мы уже третий день, как вернулись из нашего «свадебного турне», я получила твоё письмо у Калитинских, но никак не выберу часа написать тебе большое отчетное письмо, т.к. или сама «на людях», или у меня народ. Съездили, как проектировали, [выехали] 24-го в ночь, в Луховицах не нашли извозчика, погода серая... Подождали до другого поезда. <...> И буфет закрыли. Выпили чая в трактире у Зернова, сдали вещи <...>

Неласково встретила меня родина. Взяли под мышку свёрточек с насущным: Паустовский брюки с новой тужуркой, я — белое платье, и попёрли.

Посидели у мельниц, собрали букет васильков и часов в 11 были уж у о. Алексея. Хотя я и предупредила его письмом, о чём мне первым делом сообщила Лидия Петровна, но всё же наше нашествие вызвало <...> суматоху: позатворили все двери, но-

силась Надичка, что-то шептались, возились, целый час высидели мы в зале, не раздеваясь, полные недоумения (я уже забыла, что и в Екимовке всегда так бывало). Наконец вышел о. Алексей, поздравил меня с «нареченным», похвалил, что не забыли родины в такой важный момент, но о венчании, говорит, в тот день речи не может быть: погостите до завтра. Целый день пробродили по моим любимым местам. Лидия Петровна закармила нас пирожками и печеньями — видно, что ждали. Вели разговоры о войне и моментах действительности. Были у Аксюты.

Утром 26-го простояли обедню, отслужили панихиду. Паустовскому всё казалось небывалым и всё очень нравилось, выбрали свечи — я их так и забыла купить, о <...> вспомнили в самый последний момент, когда уже закрывались магазины. Кольца, впрочем, мы купили за день у Хлебникова и даже <...> выгравировать. Но форма не та, что мне очень нравится, — обычные венчалные, червонного золота. Широкие, толстые теперь 100 рублей стоят, наши самые обыкновенные — 72 рубля.

Венчание было 26-го в 5 ч. дня. Выглянуло солнце. Паустовский — весь в чёрном, я вся белая, подошли с Лидией Петровной и Надюшей к могиле мамы, и сейчас же нам вышел навстречу из бокового входа о. Алексей с крестом в белых ризах. Горела люстра, блестели новые, самые лучшие венцы, полили нас чистым вином, Л.П. шептала, чтобы мы крестились вместе, откуда-то <...> зрители, девчонки с



Открытка времён Первой мировой войны

утра дежурили у церкви. В общем, всё было на редкость просто и по-слободскому необычно торжественно. Обоим нам казалось, что действительно над нами совершается таинство и точно высшая благодать озаряла нас.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

«ЖИВУ ПО-ПОХОДНОМУ»

Письма 1915–1916 гг. к Екатерине Степановне Загорской

1915 г., 31 июля
в Крым
м. Л-ы, 5 часов

Пишу в местечке Л. к югу от станции В. около Бреста. Здесь питательный пункт для беженцев, которым я заведую. В 15 верстах южнее, в местечке В. стоит со своим пунктом Романин. Работа хорошая, славная. Беженцев тысячи. Сегодня у нас не хватило хлеба, хотя было около 200 пудов. Много стариков, детей, больных, многие не ели по 5–6 дней — все плачут и не знают, что делать.

Сегодня с полудня всё растёт и растёт канонада. Видно несколько пожаров. Евреи все бегут — над местечком многоголосый рёв, крики, суматоха разрастается. Много интересного, о чём напишу сегодня вечером подробнее, о многом можно только рассказать. Живу в реквизированной комнате бывшей еврейск. чайной. Клопов тьма. За стеной весь день и ночь ссорятся и дерутся евреи. Когда надоест — стучу шашкой в стену. Сразу стихают. Гей авек! Фарштанд!¹ Всё это интересно, хорошо, — но надо всем каждый час, каждую минуту стоит моя подчас доходящая до сумасшествия тоска.

Твой Константин

В. горит — боюсь за Романина.

* * *

1915 г., 1 августа
Крым (Таврич. губ.) Новый Симеиз
до востребования
м. Л-ы, 5 часов утра

Вчера не мог написать «настоящего» письма — вечером стало слишком тревожно. Разгорелись пожары. Было столько слёз, криков, просьб — приходилось распределять беженцев, давать им дальнейшее направление. К ночи Л-ы как-то быстро и незаметно заполнились войсками. Романин, по слухам, снялся и ушёл в С-п, на восток.

Сегодня бодрое, яркое утро. Местечко словно вымерло. Глубокая тишина, только тяжёлым кольцом громыкает близкая канонада. К вечеру придёт-ся уходить в мест. [П-ц] к северо-востоку.

Живу по-походному. Три дня без спичек, курю махорку. За папиросу платят двугривенный. Живу чаем.

Поручителями у меня был Ив. Лукич и ещё кто-то, а у Паустовского — церковный сторож, крестьянин дер. Аксеновой и рядовой Сергей Аникин. Венцов никто не держал, и было что-то царственное, говорят, в наших лицах, когда надели их прямо на головы.

Сейчас над местечком низко и мирно идёт аэроплан. Начали обстреливать. Я тоскую. Особенно глухими ночами так тревожно. Я боюсь думать о тех долгих и ненужных днях, которые ещё впереди. Я живу, словно в чуждом мне, непонятном мире. Все чужие. А там — солнце играет и волны, дует ветер. Писем из Бреста нет.

Константин

* * *

1915 г., 26 августа
в Москву
Барановичи

Недавно уехал в Москву наш уполномоченный Чемоданов. С ним я отправил письмо. Я боюсь, что мои письма не доходят. К нам тоже письма попадают редко, последнее я получил от 4-го августа. С тех пор нет ничего, я жду каждый день, и у меня растёт тоска. Теперь, спустя месяц — каждый день у меня, как кошмар. Я боюсь оставаться здесь, вблизи войны. Я боюсь отчаяния, огрубения, звериности. Это тяжёлая и мутная волна. Надо скорей уйти. Осталось ещё 29 дней, т.к. 23 сент. я еду. Ещё много, много дней. И сейчас у меня кружится голова, я словно помешался, до того страшно и, вместе с тем, тупо то горе, которое обступило вокруг. Быть здесь — это медленно, но верно, даже слишком верно убивать в себе всё ценное, исключительное. И вдруг всплывает образ прошлого, вспомнится, как нежится вечернее море. И такая тоска, Хати-дже.

Константин

Писать надо — действ. Армия, Штаб 4-ой Армии, Лазарет 1-го Сибирс. о-да. Уполномоченному Вронскому, для меня.

* * *

1915 г., 1 декабря
Фольв. Своятычи, 11 ч. веч.

Солдат из Подвижного Склада привёз мне сегодня утром три твоих письма. Я не мог прочесть их до вечера, — у меня сидел Гуго Ляхман, с которым мы собирались ехать в Своятычи, нам уже подали осёдланных лошадей. Дорогой у меня на душе всё волновалось и пело. Был яркий влажный день весь в синих тенях, словно в марте. В лесах звонко капали капли, и сладким дымом соломы тянуло из

¹ Гей авек! Фарштанд! (идиш) — Пошёл прочь! Понятно?

заброшенных деревушек. Я не знал, кому выразить свою углублённую радость. Я трепал по шее и гладил своего коня, — он тихо ржал от удовольствия, оглядывался и тёрся мордой о мою ногу. Конь у меня славный, — очень добродушный и спокойный. За Сновом проезжали по узкой лесной тропинке. Совсем близко звонко с протяжным мелодичным звуком рвалась шрапнель. Я первый раз попал так близко к линии обстрела. Тяжело и глухо били где-то тяжёлые воюющие снаряды. Странно-спокойны и даже радостны были мои думы о смерти. Я чувствовал глубокое спокойствие, какую-то особую тишину на душе. Я понял, я знал, что моё я, моя вечная сущность, моя душа так неразрывно слилась с тобою и нет силы, способной...

... Киев, мне необходимо видеть его несколько дней. Во мне так много нового.

Из Киева я приеду или в Ефремов, или сначала заеду в Москву.

Новое, до сих пор незнакомое чувство нежной радости и горечи вызвали твои письма. Мне стало больно. Я знаю, девочка, что много, очень много я делаю того, что недостойно меня, — но теперь все мои силы, вся воля — на то, чтобы создать себя, чтобы подавить всё, что мешает цветению, красивому росту души.

Маме я писал несколько раз. Вчера я получил от неё хорошее, хорошее письмо. Мне всегда бывает очень горько, когда я не могу писать. Я часто в разъездах. Мне надо объехать весь район около Замирья, на протяжении тридцати вёрст. Я уже нашёл около 4 тысяч беженцев. Их кормят у меня на пункте. Здесь голод, живут по землянкам, начался сильный сыпной тиф. Дети мрут, как мухи. Ночую я часто по деревням, в избах, где даже писать не на чем. В отряде — дела скверные.

Приехал какой-то солдат с пакетом к Ляхману. Пришлось его будить. Помешали...

* * *

1916 г.

(даты нет, но судя по всему — январь-февраль)
из Москвы в Ефремов

<...> Снова взглянула Москва воспалёнными глазами, снова звенят трамваи и город живёт вокруг меня своей громадной и сумрачной жизнью.

Дома холод и скука. Меня назначили в Киев на снарядный завод. Я буду бороться, я сделаю всё, чтобы остаться, чтобы жить так, как я хочу, чтобы не принимать пассивно и безропотно всё то, что испепеляло меня так долго. Я весь налит жаждой высших расцветов, пересозданий.

В ту ночь, когда я ехал в Москву, я словно увидел свою душу, всю её молодость, нежность и грусть, всё то, что было скрыто от тебя, — и я впервые понял, понял ясно до острой боли, почти до слёз, что долго и упорно я всё самое чистое и радостное в себе скрывал и глушил. Понял, что это преступно.

По тебе тоска особая, какой я раньше не знал. Ушли из жизни все краски, солнце, смех, давит небо — нет тебя.

Будь покойна, девочка. Я хочу, чтобы твой каждый час был пронизан радостью, молодой любовью, светом солнца и снегов. Так манит издали Ефремов, снежность улиц, колотушки сторожей, перезвон часов, уют твоей комнаты не могу я забыть, никогда не забуду ту ночь, когда в комнату, залитую серебристым дымом — отсветом снегов, — глядел поздний, золотой, умирающий месяц. Твоих глаз, твоих призывных, небывало радостных глаз я не могу вспомнить без тонкого, нежного томления.

Жди. Моё время настало. Напиши — как здорово.

Твой Кот

Вечером напишу тебе много, обо всём. Был у Нины. Отослал в Севастополь пышные дипломы. А сейчас мне хочется съездить к Мар. Сев.

Эмма пишет. Грустит и ждёт.

* * *

1916 г., 26 марта
в Севастополь
пос. Юзово, Екат. губ.

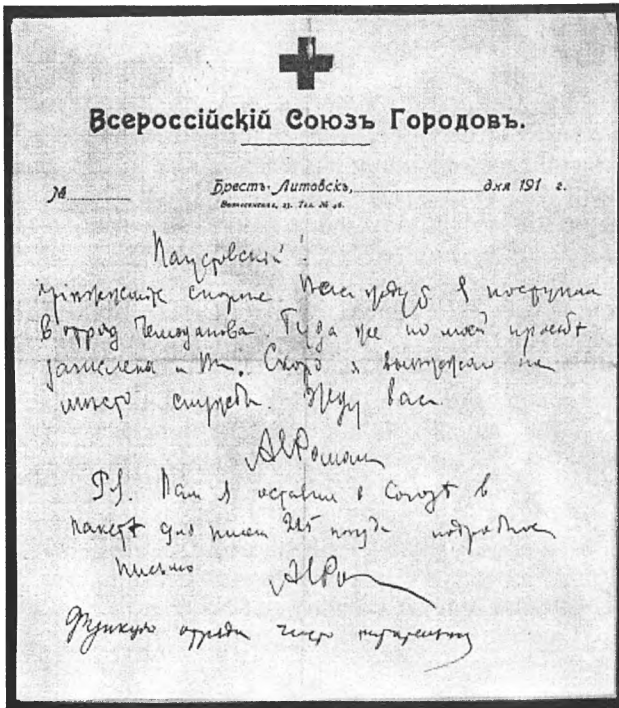
Сегодня я очень устал, уже поздний вечер и меня клонит в сон, но я не могу лечь и уснуть, раньше, чем напишу несколько слов тебе, моя родная. Как мальчику, как ребёнку, мне хочется спрятать своё лицо у тебя на груди и повторять тебе, вечно говорить о том, как я люблю тебя, что я не могу ни на минуту забыть твоё лицо и глаза в эти севастопольские дни, забыть солнце над Чуфут-Кале и последний вечер.

Хатидже, у меня теперь другой стала душа. Ведь до последних дней я был усталый, безвольный, с душой, которая медленно холодела и гнила, сталкиваясь с жизнью. Ещё в Киеве началось это страшное для меня умирание. Много тяжёлого было во мне, много скучного, много болезненного. Каждый день приходило ко мне сознание, что жизнь, моя жизнь проходит впустую, тогда как я верил и знал, что создана она для чего-то неизмеримо высшего и радостного. Я не жил, я только ждал. Я ждал, должно быть, Вас, миледи.

А теперь... Ты знаешь, маленькая девочка, что я не могу сейчас рассказать тебе о том, что со мною, до того это хорошо, до того глубоко. Есть вещи, которые я не могу передать.

Ещё немного — и жизнь станет опьянять меня, — никогда со мной не бывало этого. Ты чувствовала когда-нибудь, как где-то глубоко, там внутри цветет, начинает цвести душа солнечно, ярко, причудливо? Всё растёт и ширится волна высшей духовной радости.

Дети верят в Бога по-своему, по-детски. Есть особая красота и очарование в их вере. Красота в том, что они любят Бога, знают его в голосе мамы, запахе яблонь, прозрачности воды и огнях лампадок, во всём. Бог открывает им всё и даёт особую



Записка А.Романина К.Г.Паустовскому на бланке Союза Городов... «Паустовский! Приезжайте скорее. Вас ждут. Я поступил в отряд Чемоданова. Туда же по моей просьбе зачислены и Вы. Скоро я выезжаю на место службы. Жду Вас. P.S. Вам я оставил в Союзе, в пакете для писем 225-го поезда, подробное письмо. Функция отряда чисто питательная (приписка, по свидетельству В.К.Паустовского, сделана рукой Е.С.Загорской). Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского)

силу их хрупкой ласковой жизни. И я люблю тебя так же, как дети верят в Бога. Это непередаваемо, но ты поймёшь, Хатидже.

В другое время, если бы я попал сюда в Юзово, — был бы новый провал тоски, которая обессилила бы меня и испепелила бы многое во мне.

Ты права, — нам везёт — или, вернее, тебе везёт — почему-то теперь каждый день, каждая мысль, каждый поступок, даже каждый пустяк делает меня озарённое и увеличивает мою любовь. Когда я говорю с заводской работницей, когда я делаю немного добра тем бледным, молчаливым девочкам, что работают в мастерской, когда я встречаюсь с чистильщиком сапог или лакеем и стараюсь, чтобы каждое моё слово было просто и показывало бы им, как ценю я в них человека, потому что это действительно так, когда я ласкаю животных, читаю и вдумываюсь в изумительную книгу Уайльда «De profundis», когда я один и с людьми, — вечно я думаю только о тебе, я хочу создать и возвысить себя, потому что ты любишь меня, и я должен быть достоин твоей любви, Хатидже. Ты знаешь, высшее счастье сознания, что ты возвысился, стал лучшим. Сейчас это со мной. Мир стал новым для меня, и я принял его, я вошёл в него, словно ребёнок.

И после того, как я знаю, что ты возродила меня, дала мне всё, что осмысливает жизнь и делает её прекрасной, после того, как я поверил, что мой единственный ответ перед Богом это ты, что ты — оп-

равдание всей моей жизни, мне становится смешно при мысли, что это может пройти.

Знаешь, я нашёл в жизни новый мир небывалого и прекрасного, меня волнует многое, в чём раньше я не видел и не знал ничего. Больно, что нет твоих писем, — теперь твои письма так нужны мне, так дороги, каждая маленькая строчка, даже адрес на конверте, написанный твоей рукой.

Напиши, как проходят твои дни. Писали ли тебе мама и Эмма? Я хотел бы написать Марусе Зеленовой, но не знаю, куда писать ей.

Спокойной ночи, Хатидже. Сейчас я так спокоен, словно ты поцеловала меня перед сном.

Кот

Я забыл написать свой адрес (до 3-го апр.). Пос. Юзовка, Екатеринослав. губ. Гостиница «Великобритания» — мне.

После 3-го я снова в Таганроге.

1916 г. 5 апреля
из Юзовки в Севастополь

Сегодня твоё письмо от 31.

Как только всё выяснится, я дам телеграмму «Остаюсь в Юзовке» или «Выехал в Таганрог, приехать не могу». Если буду молчать — значит, у меня будет надежда и слабая возможность приехать и, хотя бы несколько часов, быть около тебя.

Если меня не будет до четвёртого дня — значит, я не смог вырваться отсюда.

Я предчувствовал приезд Елены Степановны, и, может быть, потому я молчал так долго. Мне будет слишком скверно на душе, если я буду знать, что Елена Степановна считает меня тем чужим и ненужным, что встанет между нами. Мало красоты в этом, Хатидже, но много жизненной повседневности и мелочи. Я знаю, как надо ценить людей, которые смотрят выше себя и широко берут жизнь. Я знаю, как мало их. Мне больно, когда ты говоришь о злобе и ненависти, — ведь нет у тебя этого, у нежной, искрящейся радостью.

Я сделаю всё, чтобы вырваться отсюда. Я так истосковался.

Сегодня в мастерской произошло маленькое событие, — и это мешает мне писать, — лопнула газовая труба, всех обдало удушливым горячим газом. Я, должно быть, много вдохнул его — кружится голова, холодно и усталость — я весь вечер лежу.

В большой, опустевшей перед праздниками гостинице я остался один. Мёртвая тишина кругом. Зарева над заводами, чёрные мёртвые улицы. По ночам шуршит дождь о стёкла, воют во дворах собаки и ноет медленный, ровный ветер. Что-то глухое, непроглядное, зловещее в этих мокрых мгlistых ночах, словно кошмары Гойи.

Будь светлой, Хатидже, будь ласкова к сестре — ведь любит она тебя. Ты ведь не забыла, — «Если кто-нибудь любит тебя, ищи его годами, найди, склонись перед ним в слезах на колени».

Звонкая тишина — она даже пугает меня. Я пишу при свече, уже поздно, и электричество погасло.

Завтра я напишу. Мне хочется лежать, и я буду долго думать о тебе. Я засыпаю теперь почему-то всегда на рассвете, когда в комнату ползёт синий, холодный свет утра.

Прощай, Хатидже.

Ком

Ты опять не знаешь географии. В Юзовку едут из Таганрога не через Синельниково. Юзовка — между Екатеринославом и Таганрогом, около Харьковца и до Синельникова около двухсот вёрст.

* * *

1916 г., 3 мая

Е.С. Загорской

из Таганрога в Севастополь

«Склонись к зеркалу души своей: ты испытаешь непередаваемое блаженство. Тогда, быть может, ты станешь думать только об обязанностях своих по отношению к Богу. И душа твоя, окрылённая любовью, смирится и вознесётся к тем далёким вершинам, где правда светоносными руками своими сорвёт покрывало с твоего разума».

Я читал сегодня величавые слова Саади, шейха ширазского. Над морем, в котором купалось солнце, всё голубое. Большой парусник, шелестя парусами, прошёл мимо мола, туда к югу, в Керчь, Ялту, Севастополь. Стало так радостно, я увидел у себя в комнате на столе, среди сирени меловой конверт с тонкими ползущими буквами. Он должен быть там. Я вернулся домой. Писем нет. Пиши, Хатидже, родная. Завтра буду совсем свободен — напишу больше.

Ком

Не шути с морем, не выезжай на шлюпке без опытных гребцов.

* * *

1916 г., 4 мая

из Таганрога в Севастополь

Четвёртое мая, Хатидже.

Золотые сумерки Владимирского собора, Маринский парк с заречными, черниговскими далями, кафе на Крещатике, Купеческий сад. Ночь и огни. У Хатидже лицо было измученное, бледное, глаза большие, большие... Так томилась тогда и рвалась любовь.

Я едва сказал о ней в стихах. Было так жутко, жутко и радостно, как перед чем-то небывалым, роковым, стихийным.

И у тебя была нервная дрожь, ты много хотела сказать и не могла. И, мне кажется, первый раз пришло к тебе тогда, в Киеве это широкое ослепительное счастье любить, что больше жизни, больше смерти.

Год. Нижний <...> и солнечные Патриаршие пруды в Москве. Древняя Лавра. Капризные дни в Одессе. Потом в Воронице в полях пахло рожью, висела ржавая луна. Седлец. Слезы в Гомеле. Дни в

Москве — странные, смутные. Царицыно. Тоска переходов, пыль и пожары, война, гнев, утомление и всё растущая, невыразимо чистая любовь. Тогда она пугала меня.

Октябрь. Москва. Осень, звонко и холодно. В Расторгуеве. В трактире в Архангельском. Я говорю только о внешнем, об узоре этого года. Зима. Снова война. Ночи в избах, среди оспы, тифа, холеры. Угрюмое Полесье.

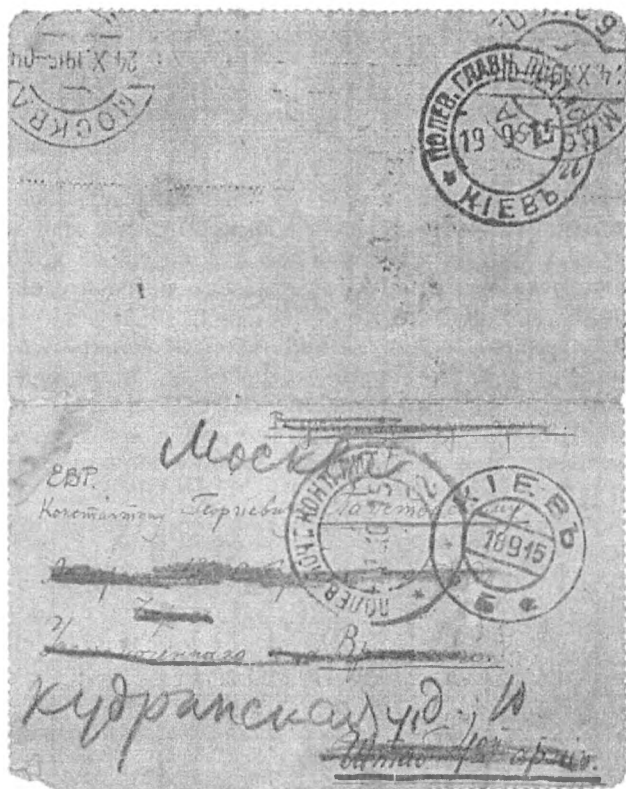
Ефремов. Звоны церковей. Снег. Я у тебя. Лунный полусвет. Гудят телеграфные проволоки. Тишина, уют жизни.

Москва — задымленный Минск. Боль за человека. С Николашей обратно. Заводы. А у тебя Севастополь — весеннее море.

Екатеринослав. Чёрные ночи. Одиночество. Бахчисарай. Звон воды. Чуфут-Кале. Севастополь. Туланы, блеск моря, цветы в твоих руках. Закат в Херсонесе.

Юзовка. Степь и угар. Кошмары Гойи. Дожди. Много дум. Пасха. Помнишь — три странных дня. Заводы, угрюмые дымы, доменные печи. Летаргия — перед прощаньем.

Таганрог. Лазоревое море, акация — солнце — дни грёз, прозрачной, светлой тревоги. Сегодня — море всё белое, словно прозрачное до дна. В свете луны. Словно узорные грузы, вязь воды и света,



Конверт письма Эм.Шмуклера к К.Г.Паустовскому, 17.09.1915 г. «Где ты и что с тобой?.. В Киеве людно и шумно. Медики и медички остаются, все прочие переводятся. Большинство гимназий не выезжает. Заводы работают. Монахи пребывают в страхе. Пленных австрийков гонят часто. Беженцев кормят плохо. За ботинки платят по 18 рублей. Болгар ругают и пугают...» Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского). Публикуется впервые

причудливая, мистическая, — тысячи белых зорь сплетают свои руки.

Сегодня четвёртое. Я был у моря. Быть может, я молился, смотрел в глаза Богу. А море с небом двухзвёздной стихией глядели в мои глаза.

Хатидже — твой я теперь, твой пленный, тоскующий мальчик.

Михаил РЕШЕТНИКОВ

ЗАТЕРЯННЫЙ ОЧЕРК

В книге «Беспокойная юность» есть глава «По разбитым дорогам». В ней К.Г.Паустовский рассказывает, что его спутник и товарищ по работе в полевом санитарном отряде во время Первой мировой войны — Романин — однажды сообщил ему «по секрету, что пишет очерки о войне для радикальной вятской газеты», и уговаривал его «написать для этой же газеты два-три очерка». «Я написал только один, — вспоминал Паустовский. — Это был мой первый очерк. Он назывался «Синие шинели» и был напечатан. В нём я писал о том, как был взят в плен весь многотысячный гарнизон австрийской крепости Перемышль. Мы видели этих пленных в Бресте».

Мне захотелось найти этот первый очерк в газете и прочесть его, тем более что в собрании сочинений и в отдельных сборниках произведений писателя он мне не встретился. Вопрос о названии газеты, не упомянутой Паустовским, решил просто: «радикальной вятской газетой» могла быть только «Вятская речь». Она была популярна даже за пределами Вятской губернии благодаря привлечению к сотрудничеству в ней ряда известных писателей, критиков и публицистов.

Однако, пролистав подшивку, я очерка «Синие шинели» не нашёл. Может быть, он опубликован под другим названием? Ведь писатель за многие годы, прошедшие с тех пор, мог и забыть название, данное им своему очерку. Но очерка о пленных австрийцах и взятии Перемышля в газете тоже не оказалось. Зато я обнаружил очерк под названием «Письма с войны. От нашего корреспондента». Под ним стояла подпись: «К.Паустовский». Но в нём шла речь опять-таки не о пленных австрийцах и Перемышле, а о беженцах, об их страданиях, голоде и унижении. Что это? Второй очерк Паустовского в «радикальной вятской газете»? Я написал тогда Константину Георгиевичу письмо, прося разрешить моё недоумение, тем более что в книге его определённо говорилось лишь о единственной корреспонденции, отосланной им в Вятку.

Очень скоро я получил от него ответное письмо:

Ночь сейчас, поздняя ночь, — но я не могу уснуть. Я хочу грезить о тебе. И я не знаю, где же предел, будет ли он? Должно быть нет.

Хатидже, сестрёнка, ты разве не знаешь... ты совсем не пишешь.

Кот

24 октября 1962 г.
Москва

Уважаемый Михаил Михайлович!

Спасибо Вам за разысканный старый-старый очерк. Кажется, это мой первый напечатанный очерк. Я писал его в начале сентября 1915 года в селе Горно-Городея в Белоруссии около Баранович.

Второй очерк «Синие шинели» не ищите. Память подвела меня, — я не успел отослать его в редакцию и рукопись недавно нашлась у меня в архиве...

Что касается Романина, то он, как мне помнится, довольно часто печатался в «Вятской речи». С его слов я знаю, что его отец был ближайшим сотрудником этой газеты.

Мне было бы очень интересно прочитать очерк Романина «По местам недавних боёв». Он писал его при мне, мы жили в одной избе.

Романин был человек замечательный. Он погиб в самые первые годы революции.

Ещё раз благодарю Вас за внимание и желаю Вам успеха в Вашей работе. Я никогда не был в Вятке, но этот город почему-то меня очень привлекает.

Примите мой сердечный привет.

К.Паустовский

P.S. Вскоре после Вашего письма мне прислал копию моего очерка редактор Кировской газеты «Комсомольское племя» Альберт Лиханов.

Строки письма относительно Романина вызваны моим сообщением Константину Георгиевичу о том, что в номере «Вятской речи» за 14 января 1915 года я обнаружил очерк «По местам недавних боёв», подписанный фамилией «А.Романин». К сожалению, архив «Вятской речи» утрачен, поэтому о самом Романине и о сотрудничестве его отца в этой газете найти ничего не удалось. В «Повести о жизни» Романин фигурирует как персонаж на протяжении многих страниц. Не удалось найти и сопроводительного письма К.Г.Паустовского к своему очерку «Письма с войны», которое, скорее всего, существовало.

Сам очерк датирован 8 сентября 1915 года и был напечатан в «Вятской речи», номер 205 за 25 сентября 1915 года.¹

¹ Очерк о судьбе самого М.Решетникова и его новеллы см. на стр. 143.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ПИСЬМА С ВОЙНЫ

От нашего корреспондента

За дощатой перегородкой весь день плакались и спорили еврейки. Складывали вещи, стучали молотками, заколачивая ящики, визгливо накидывались на солдат, случайно забравшихся в их комнату. Когда слишком надоедали, — я стучал шашкой в дверь. Сразу всё стихало. Но проходило полчаса, час, и снова начиналась возня, шорох, вскрикивал ребёнок, и сразу, словно прорвавшись, разрастался крик, наполняя пустые, гулкие комнаты.

Болела голова. Сквозь разбитое окно медленно ползли в комнату и оседали клубы пыли.

Всё стало серым и шероховатым.

К вечеру загромыхали, запылили обозы.

Они шли всю ночь. Свеча едва, едва мигала сквозь густо-серый пыльный туман.

Песок хрустел на зубах, от пыли тягучею болью ныли глаза.

— Стой, стой, — начиная где-то далеко впереди, кричали обозные...

Раздавался треск, задние наезжали дышлами и ломали фурманки передних. И тотчас же загоралась неистовая, злая брань. Обоз останавливался.

Трогай. Загромыхал обоз, но ненадолго. Минут через пять снова остановка.

Стоят долго и терпеливо. Обозные жуют хлеб, курят, некоторые спят. Верховые скачут вперёд с фонарями узнать, в чём дело. Впереди снова брань и крик.

— Тро-о-огай! Не отставай, задние, не давай прорываться. Чья эта повозка? Артиллерийская. Ты зачем сюда залез... сын! Право держи, держи право!

Идут часами. Железный лязг, брань, крики — всё входит острой болью в мозг, и, кажется, каждый стук колёс заставляет кровь сильно и горячо ударять в голову.

Идёт артиллерия. Снова крики.

— Держи дистанцию... — кричат над самым окном.

— Лева, лева, левая! — снова перекатывается от одного края обоза до другого. Сворачивают около дома налево.

Я выхожу. Ночь тёмная, неприветная.

Душно. Где-то вёрст за пятнадцать начались уже пожары. Мутные, пыльные зарева загораются и долго тлеют в истоптанных, опустошённых полях.

Подходят два еврея. Снимают шапки.

— Може, пан купит у мене крове?

— Зачем мне корова? Не надо.

Еврей пристаёт долго и настойчиво. Он растерялся и не знает, что делать. Надо бежать, — скоро придёт «герман», но у него хозяйство. Хозяйство надо спустить. И вот он пришёл ко мне, упорно навязывает мне какую-то корову.

Я отказываюсь. Тогда он долго и подробно рассказывает мне о своём горе. Мне скучно его слушать, — столько горя тупого, неизбежного, действительно страшного в своей простоте я видел.

Я вспомнил тысячные обозы беженцев. Нет дорог, начиная от шоссе и кончая самыми глухими и непроезжими, где бы они не стояли сотнями фурманок, загораживая дорогу, пугаясь каждого военного, шарахаясь от него в сторону.

А когда идут войска, отступая, и беженцы задерживают их своими фурманками, напоминающими дома на колёсах, их бьют. Бьют нагайками по лицу, головам жестоко и зло, бьют баб и мальчишек, бьют нещадно их лошадей.

Поэтому в глазах каждого беженца, который идёт долго — а идут некоторые по девять, десять недель, — всё ещё испуг и скрытое озлобление.

Вспомнился мне один беженский обоз. Я ехал верхом около сорока вёрст, и всё время мне навстречу тянулся обоз беженцев. Без малейшего перерыва.



Первая полоса газеты «Вятская речь» с публикацией очерка К.Паустовского. Из фондов РГБ

Письма съ войны.

Отъ нашего корреспондента.

I.

За досчатой перегородкой весь день плачались и ссорились еврейки. Складывали вещи, случая молотками, заколачивая ящики, внезапно накидывались на солдагов, случайно забравшихся въ комнату. Когда тут слыш-

— Лёва, лёва, тычется съ о другого. Свораваа'во.

Я выхожу. Нвѣтвая.

Душно. Глазцать начались у пыльная зарева глѣбую въ кстоу выхъ поляхъ.

Не оставалось места даже для того, чтобы проехать на другую сторону верховому.

.....

Евреи всё ещё стояли без шапок и ждали совета.

— Поезжайте в Белу, — сказал я утомлённо и пошёл обратно, к себе.

Они оба шли сзади и говорили, что в Белу не пускают, уж они ездили, и их вернули обратно.

.....

Я вошёл в комнату, запер дверь на расшатанный крючок и лёг. С постели поднялись облака пыли. Хотелось уснуть, но не было сна. И мысли ползли все тягучие, гнетущие.

Уйти бы отсюда, — подумал я. И вновь захлестнула меня неудержимая тоска по большим городам, трамваям, электрическим огням; зеленеющему, невытопанному, необезображенному полю, вокзалам, по вечернему, пенистому морю, по далёким, покинутым людям, по всему, что так дорого стало теперь, что не знает этой страшной в своей жестокости и сумрачности войны.

Где-то за далью глухо перекачивались одиночные выстрелы, словно кто-то катал бельё. Заходили во фланги. Надо было ехать, но трудно было заставить себя подняться, выйти, сесть на лошадь. Подожду ещё.

В полночь прошли обозы полковые, первого разряда, лёгкие, на двуколках.

Снова скакали верховые с фонарями, — усеяв всю улицу светящимися, огненными точками. Значит, до места боя оставалось вёрст десять.

Заглянул в окно. Дымным багровым заревом залило весь горизонт. У грани розовеющих, бесконечных полей, словно из жерла вулкана, вырывался густыми клубами чёрный, тяжёлый дым. Все резче и резче где-то полыхали орудийные выстрелы.

Я снова вышел. У дверей стоял казак и жадно тянул из жестяной кружки воду.

— Где бой?

— Тут же за селом наши окопы заняли. А бьются вёрст за восемь. Слышать, к утру здесь немец будет.

Он вытер неторопливо усы, влез на лошадедку и запылил в сторону пожаров.

Я оседлал коня. Он фыркнул, стриг ушами и тихо ржал. Близкие выстрелы и тревога ночи, очевидно, пугали его.

Когда я путался по кривым улочкам местечка, стараясь выехать на знакомую мне заброшенную дорогу, я заметил в темноте несколько фурманок. Это собирались бежать запоздавшие жители — евреи. Шёл тихий говор. Вытаскивали вещи. Где-то хныкал ребёнок.

— Ша, ша! Гепа век! Фердатен.

Они подозрительно всматривались в меня, — не немецкий ли кавалерист?

В полях было безжизненно и смутно.

Дымились близкие пожары, бледными молниями над горизонтом рвалась шрапнель. Раскатывались выстрелы, слева, где было тепло и тихо, вдруг блеснул разрыв и выбросило столб огня. Сразу жутко, «они» заходят с флангов. Мы в мешке.

Далеко с шоссе несся немолчный грохот, далёкий крик. Было заметно, что там началось смятение, может быть, паника. Я повернул коня и поскакал к шоссе. И тотчас же сзади что-то оглушительно лопнуло, тяжело ухнула земля. Я оглянулся. Над местечком засветилось, поползли языки огня. Начался обстрел.

На шоссе творилось что-то невообразимое. Обозы сбились около въезда на поперечное шоссе, по которому в три ряда скакала артиллерия и другие обозы. При малейшем перерыве те, которые ждали, наезжая друг на друга, ломая фуры и неистово ругаясь, бросались в прорыв.

— Стой, с...ны дети, — кричали с другого шоссе, гнали лошадей вскачь и сшибали вырвавшихся в канавы по сторонам дороги.

И над всем этим хаосом криков и брани, испуганных лошадей, сгрудившихся фурманок, обезумевших верховых медленно и зловеще загорелась и потухла на небе ракета. Потом другая. Откуда? Паника и тревога усилились.

От горевших вблизи деревень несло тёплым и едким запахом дыма.

Разъедало глаза. Одиноко чернели на перепутьях кресты на фоне мутно-рдяного неба.

По сторонам шоссе стояли согнанные фуры беженцев. Некоторые лежали изломанные на боку, и вокруг них валялись разбросанные, ненужные вещи — всякий хлам — перины, стулья, детские люльки, швейные машины. Лежали у дороги палые



Почтовая марка. «Раненым героям: санитарный поезд Вятской губернии». Из архива музея-центра

лошади, безобразно вздымаясь раздутыми животами. Жалобно мычали брошенные коровы.

Я свернул с поля. Ехал долго, долго заросшим просёлком. По обочинам дороги плелись пыльные, измождённые солдаты с коричневыми лицами. Шаг у них был мерный, тяжёлый, словно несли они на себе непосильный груз.

Шли они вперёд не останавливаясь, не разговаривая, и было видно, что позади себя они оставили много вёрст, и много вёрст осталось ещё впереди.

— Куда идёте?

— Далече. Отсюда не видно.

И больше ни слова. Снова молчание, грузный шаг, кое-где огоньки папирос. Поблёскивают дула винтовок. Винтовки какие-то маленькие, американские винчестеры.

Въехал в пустынную, загрязнённую деревню. Проехал в белые каменные ворота, попал в сумрачный, запущенный сад. В глубине сада стоял дом с террасой, с мезонином. Вился дикий виноград. Кое-где осень уже бросила по листьям яркие, пурпурные краски. Глухо скрипели двери, в пустынных комнатах непривычно звенели шаги. Бились в пыльные стёкла разбухшие мухи. На полу, на столах было разбросано много книг. Я поднял некоторые. Все божественные — жития святых, часослов, катехизис. На стене висела олеография — подвиги генералиссимуса Суворова.

Хотелось спать. Синел и вливался в окна холодный августовский рассвет, словно белый туман, легли синеватые дымки над садом, над полями.

Стояли в саду высокий, частый бурьян, какие-то лиловые цветы. Далёким грохотом слышалось

шоссе, медленно, словно утомясь, где-то за леском била наша артиллерия.

В одной из комнат на полу, завернувшись в шинель, лежал офицер. Когда я вошёл, он поднялся. Я узнал его. Это был мой давнишний товарищ по работе в санитарных поездах, наш сотрудник А.Романин. Его летучка уже отступила, он отстал и теперь догонял её, вырвавшись каким-то чудом из Словагичей, где шёл сейчас упорный и ожесточённый бой.

Я ввёл коня в соседнюю комнату, запер на крючки двери и лёг на полу, на шинели рядом с Р. Долго мы разговаривали, не могли уснуть.

.....
.....

Я забылся не то дремой, не то болезненно-чутким сном. Снился мне шум моря, и почему-то этот шум казался мне голубым, пронизанным светом. Я чувствовал, словно ветер обдувал мне лицо, тёплый, бодрящий ветер. Потом все сменялось.

Проснулся я поздно. Дребезжали тонко и жалобно стёкла, вздрагивал пол. Где-то совсем близко удар за ударом полыхали выстрелы. Р-ин сидел на окне и пил каким-то чудом вскипячённый кирпичный чай с замечательными, по его словам, сгущёнными сливками. Приспособляемость у него была удивительная.

Я лежал, согрелся, мне не хотелось вставать. Утро было серое и пасмурное.

За окном шелестели вянущей листвой деревья и шуршали о стёкла. На душе было мутно и тоскливо.

Снова начинался день, бесцветный и страшный в своей простоте, день, который, чудилось, будет отмечен и тяжёлой печатью ляжет мне на душу.

8 сен. 1915 г.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

НА ПОЗИЦИИ¹

С утра шёл крупный ледяной дождь, смешанный со снегом. Дали затянуло густым туманом. Плотными занавесами пронёсся он, цепляясь за края лесов, по временам открывая затянутые дождём унылые поля и взгорья. Широкая военная дорога, разрезанная обозами, словно мутный ручей, тянулась среди бурых каменистых холмов. По ней в глубокой грязи плелись мокрые обросшие солдаты. Оттуда, с позиций, порывами налетал резкий, отрывистый ветер. Было всё так обычно, напоминало глухую осень где-нибудь у нас в средней России, и если бы не попадались солдаты с винтовками и не громыли где-то далеко редкие орудийные выстрелы — не было бы ничего, напоминающего войну.

Прошли деревню. Тянулись по земле проволоки полевого телефона. Около халуп, как маленькие озёра, раскинулись цепью окопы, залитые мутной водой. Всюду по пашне были разбросаны пустые гильзы. Всё словно вымерло. Из некоторых халуп выглядывали солдаты, вышел военный врач в сером армяке.

— Куда вы? На позиции! В такую погоду.

Он удивился, посмотрел на нас с недоумением, как на чудаков, решившихся на ненужный подвиг, и поплёлся за нами.

Спустился вечер. Непроницаемыми, унылыми туманами заволокло студёные дали. В серой мути затемнели вдаль, по скату оврага, силуэты халуп.

У дверей одной из них трепыхался намокший флаг. Стояли осёдланные лошади, фыркали и били копытами по грязи. Рядом стоял солдат, мокрый, в сером балахоне, и курил цигарку.

— Командир дома?

— Так точно. Дома, — ответил он охрипшим, простуженным голосом и равнодушно взглянул на нас.

Мы вошли. В тёмных сенцах долго искали щёлку, наконец нашли и потянули скрипучую дверь.

¹ Впоследствии в «Вятской речи» был опубликован ещё один очерк К.Паустовского.

В халупе было дымно, тепло и людно. Рядами стояли походные кровати. Сидели и лежали офицеры. Дряхлая старуха возилась у печки, где-то шёпотом по-польски болтали дети. Часто и назойливо гудел полевой телефон.

Пили чай. Я рассматривал осколки, разрывные пули, слушал медленные рассказы офицеров о войне как о чём-то привычном, надоевшем.

— Скучно здесь. Весь день валяешься в халупе. Иногда постреляешь.

За тёмными окнами где-то недалеко стали изредка пощёлкивать ружейные выстрелы.

— Опять завели канитель!

Приехал молоденький офицер, какой-то нервный, измотанный. Показывал шинель, простреленную пулями, блокнот, разорванный шрапнелью. Смеялся.

А за окном всё чаще и чаще вспыхивали выстрелы, сливаясь в частую трескотню, в долгую, кое-где прерванную нарастающую цепь.

Загудел полевой телефон. Говорили, почти кричали на какие-то батареи о том, что где-то оборваны провода, о том, чтобы прислали прикрытия одному из полков, чтобы вестовые доложили из деревни, когда пройдёт батальон такого-то полка.

И снова пили чай, говорили о Москве, о том, что так далеко от войны. О войне говорить не хотели. Было заметно, что у людей нервы напряжены, и часто я видел, как трудно им сдержаться, чтобы не сорваться, не затеять при гостях ненужной, нелепой ссоры. Люди надоели друг другу, их утомила война, утомило то, что из Галиции их погнало на этот далёкий фронт, а отсюда погонят ещё куда-то и впереди не видно всему этому конца. Казалось, что каждый из них находился в одном из самых мучительных настроений, когда над человеком стоит неопределённость и не знаешь, будешь ли жив или убит. Каждый прожитый день может быть уже последний.

Каждый думал долго и много о своём, и поэтому, когда их спрашивали о чём-нибудь, они отвечали как-то вяло, со скрытой неохотой, словно им помешало думать, оторвали их от важного и ценного.

В сенях застучали сапогами, кто-то долго возил у двери и сморкался.

Вошёл солдат и доложил:

— Ваше благородие, отблески артиллерийского огня на западе.

Один из офицеров вяло поднялся, и мы вышли. Далеко на западе в густой черноте вспыхивали белые туманные блики и гасли. Тишина вокруг стояла глубокая, только хлопал по ветру намолкший флаг.

— Прожекторы. Нас нащупывают.

И снова тишина. Залаяли собаки. За холмом полыхнул один выстрел, другой, третий и снова замолкли. Солдат объяснил:

— Скучно им в окопах лежать — выпустят несколько патронов и опять спать. Так и время проходит.

Я остался в сенях с солдатами. Говорили они много и деловито о войне, об атаках, о том, что Сивчуку вчера вышибло осколком глаз около той

вон халупы, а на его место взяли из телефонистов Голуба. Говорили о замирении, скоро ли, сокрушались о том, что не придётся на праздники попасть домой.

— Как здесь живёте?

— Известно как. В землянках. Солому подстелешь, печку затопишь — лучше, чем в халупе. Мы в халупу не идём. Пехоте той хуже. В резерве — оно ничего, а в окопах — погано. Говорить в голос — нельзя, лежи да лежи.

К войне они были равнодушны, говорили о ней как о каком-то деле, спокойно и рассудительно. Попадались выражения — «Артелью в атаку ходили».

Вечером пошли на батарею. Замаскированная зеленью, она глубоко пряталась по скату холма. Было темно. Медленно и осторожно мы подошли к первому орудью. Высоко поднятым жерлом оно чернело на фоне изорванных, белесоватых туч. Поблёскивала сталь дула, солдаты вынимали, показывали шрапнель, разрывные снаряды. Долго объясняли, как наводят, как по телефону говорят с наблюдательного пункта с того вот холма, рассказывали, как на днях разбили двигавшуюся австрийскую батарею.

— Заметили — она движется. Решили, что передвигается замаскированная неприятельская батарея. Взяли прицел и в несколько выстрелов распотрошили.

Потом офицеры немного поговорили о том, стоит ли сейчас «пальнуть» или нет.

— Не надо стрелять, — встревожился командир. — Больше шести часов. Во времена затиший есть молчаливое соглашение — позже шести часов по возможности не стрелять.

На горизонте тучи разорвались, и оттуда разлился по полям сумрачный угрюмый свет. Там, в залитых водою окопах, лежал всю ночь продрогший, изголодавшийся врач и ждал. И здесь ждали. В окопах, на батареях. Более счастливые спали в землянках и в халупах, не раздеваясь, чутким, болезненным сном.

Я долго и напряжённо смотрел вдаль, откуда налетал порывистый ветер, словно там я мог увидеть врагов, таких близких и загадочных.

Возвращались молча. Деревня была темна и безлюдна, но слышалась в ней какая-то напряжённая жизнь. Где-то стучали копытами лошади, проскальзывали тени солдат, стояли лазаретные фуры.

По дороге чёрной густой массой проходили какие-то части, молча и не спеша, тяжёлым, усталым шагом. Куда-то передвигали.

Когда мы ехали обратно в Х-ны, снова лил дождь и плакал в полях ночной холодный ветер. В чёрной, дикой дали всё ещё падали лучи прожекторов. Что-то долго искали, молча нащупывали в бесконечных полях.

Стали полыхать ружейные выстрелы всё чаще и чаще, лихорадочно перебегая от цепи к цепи, разрываясь и вновь сливаясь в быстрый грохот. Тяжело громыхнуло одно орудие, другое, словно красными молниями перерезав дождливую даль. И вдруг сразу глухо и протяжно завывли батареи, заглушая

ружейную трескотню. Заметались прожекторы, словно спеша, боясь пропустить какой-то важный короткий момент. И когда перестрелка ненадолго странно и неожиданно стихла, — было слышно, как где-то в полях долго и протяжно кричали тысячи

голосов. Снова стали ухать орудия, и крики потонули в их грохоте и вое ветра.

Утром солдаты, ночевавшие со мной в чайной Союза городов, рассказывали о том, что немцы этой ночью вели бешеные атаки на один из наших полков.

1915 г.

газета «Вятская речь»

Александр РОМАНИН

ПО МЕСТАМ НЕДАВНИХ БОЁВ

От нашего корреспондента

После довольно продолжительной стоянки в Брест-Литовске наш санитарный поезд тронулся дальше по направлению к К.

До Бреста войны совершенно не чувствовалось — покрытые снежным покровом поля, деревушки по сторонам дороги, на станциях бабы с булками и молоком, сонные станционные жандармы — всё это настолько обычные картины мирной русской жизни, что как-то не верилось, что там впереди, за несколько сот вёрст, идёт ужасная человеческая бойня, льётся кровь, гремят пушки, трещат ружья и пулемёты. Даже в Бресте — маленьком и грязном еврейском городишке и в то же время первоклассной русской крепости — картина нисколько не менялась.

Людные кафе и рестораны, битком набиты кинематографы, толпа фланирующих по Брестским улицам — всё говорило о том, что жизнь здесь идёт своим обычным порядком. Лишь еле волочащие ноги еврейские клячи в рваной упряжи — живые символы военной реквизиции — отдалённо напоминали о великих событиях.

За Брестом картина резко изменяется. Поля не вспаханы, деревни наполовину пусты — мирные жители разбежались, испугавшись немецкого плена, на станциях разгуливают люди в военных шинелях.

Не доезжая Ивангорода, поезд останавливается на полустанке. За полустанком тотчас тянутся окопы. Их два ряда в нескольких саженях один от другого. Они тянутся далеко вперёд и скрываются за ближайшим леском. Вырытые выше человеческого роста, они теперь наполовину залиты водой. Кой-где в них вырыты землянки, покрытые дёрном. Я заглянул в одну из них: там было темно и сыро, ноги вязли — очевидно, вода из окопов проникла и туда. В углу глаза мои различили поломанные доски стола или просто ящика, заменявшего стол. Перед окопами широкая полоса проволочных заграждений.

В Ивангороде уже характер жизни военный. Снуют туда и сюда

офицеры в походной форме, маршируют взводы солдат, на станции, в зале третьего класса, набитом солдатами, ужасная грязь, накурено, за столом компания казаков в лохматых папахах тянет:

Зелененький дубик на яр похилился;
Молодий казаче чога зажурился.

Бравый пехотинец нашёптывает чего-то рябой буфетчице, та улыбается и жмётся — кокетничает.

На запасном пути стоит блиндированный поезд.

Машинист, сильно жестикулируя, рассказывает кучке любопытных о том, как этот поезд забрался в место расположения германских войск, был отрезан, подвергся жесточайшему обстрелу и прорвался обратно. Недалеко на платформе повалены австрийские зарядные ящики. Они носят ещё следы недавних боёв — дышла их поломаны, бока продавлены, на колёса налипли комья грязи. Около ящиков толпа. Разговоры на тему о недавних боях.

В толпе бойко и наперебой рассказывают:

Тел- зал- тец- тец- ча- емь- что- всё- сен- аз- кую- тво- я и- ству

По местам недавних боёв.

(От нашего корреспондента)

После довольно продолжительной стоянки в Брест-Литовске наш санитарный поезд тронулся дальше по направлению к К.

До Бреста войны совершенно не чувствовалось — покрытые снежным покровом поля, деревушки по сторонам дороги, на станциях, бабы с булками и молоком, сонные станцион-

ба. Вь кушъ деревень на высоких столбах, искусно скрытая, как огромное воронье гнёздо, — устроена наблюдательная вышка, а съ нее на землю тянется тонкая нить телефонного провода. Проводом полевого телеграфа и телефона, наскоро прицепленная к вѣтвямъ деревьевъ и мелкому кустарнику, разбѣгается во всѣ стороны.

На холмѣ, надъ братской могилей, бѣлѣтъ высокой новый крестъ.

Всѣ станціи отъ Иванъ-Города носятъ слѣды германскаго нашествія:

Станціонныя зданія сожжены, за-ночненныя стѣны вѣютъ черными от-

что- нъ- аво, - ли- кую- ос- наго- тон-) съ- ови- нки- иде- во- онъ- для- збы, - ству

Не доезжая Ивангорода, поезд останавливается на полустанке. За полустанком тотчас тянутся окопы. Их два ряда в нескольких саженях один от другого. Они тянутся далеко вперёд и скрываются за ближайшим леском. Вырытые выше человеческого роста, они теперь, наполовину залиты водой. Кой-где в них вырыты землянки, покрытые дёрном. Я заглянул в одну из них; там было темно и сыро, ноги вязли — очевидно вода из окопов проникла и туда. В углу глаза мои

онъ въ эти дни — трудно представить; довольно сказать, что онъ совершенно посѣдѣлъ.

Долго ходили мы по разбитому лесу, стараясь разыскать въ снѣгу куски снарядовъ, разсматривал расщепленные и изрѣщенные дулами стволы, а въ тихихъ сумеркахъ морознаго вечера со стороны К., какъ далекіе раскаты грома, доносились пушечные выстрѣлы. Тамъ разрушали.

Завтра въ К.

А. Романинъ.

Публикация А. Романина в «Вятской речи».

Из архива музея-центра (Фонд Т. Кармазиной, г. Киров)

«Вот за тем лесом, — говорит один, — немец встал, окопался и через лес начал жарить из пушек. Так жарил, что дома в городе тряслись. День весь из пушек стреляет, а как станет темно, так слышно, как наши вдруг заорут «ура», да из ружей и пулемётов трещат — мы уж знаем, что он в атаку пошёл».

«А наши, — перебивает другой, — в окопах сидят, а сами воду из плотин выпустили, всё затопили и сколько там немцев побили... страх!»

«Снаряды сюда в город долетали?» — спрашивает один из санитаров.

«С аэропланов бросали, а из пушек нет... где ему! Тяжёлой артиллерии не привёз, грязь была... Привёз было большие пушки да и те закопал, когда отступил... потом наши вырыли».

Здесь под Ивангородом волна соединенного австро-германского нашествия натолкнулась на непреодолимую стойкость наших серых богатырей и, разбившись о неё, стремительно покатила назад, разрушая всё на своём пути.

Тринадцать дней нашим войскам пришлось выдерживать натиск соединенных армий.

Отъехав несколько вёрст от Ивангорода, мы увидели место этого гигантского боя.

По обоим сторонам железнодорожного пути зияют чёрные круглые ямы, вырытые падающими снарядами, кругом торчат пни поломанных взрывом деревьев — очевидно, дорога подверглась жестокому обстрелу.

От пути тянутся бесконечные правильные зигзаги окопов и проволочных заграждений. Дальше правильность окопов нарушается, видно, что их рыли наспех — они малы и неглубоки и разбросаны там и сям без всякой системы. В некоторых земля выброшена на одну, в других на противоположную сторону — здесь, очевидно, враги сошлись лицом к лицу на расстоянии нескольких шагов, и из-за каждого клочка земли, видимо, шла упорная борьба. В купе деревьев на высоких столбах, искусно скрытая, как огромное воронье гнездо, — устро-

ена наблюдательная вышка, а с неё на землю тянется тонкая нить телефонного провода. Проволока полевого телеграфа и телефона, наскоро прицепленная к ветвям деревьев и мелкому кустарнику, разбегается во все стороны.

На холме, над братской могилой, белеет высокий новый крест.

Все станции от Ивангорода носят следы германского нашествия:

Станционные здания сожжены, закопчённые стены зияют чёрными отверстиями окон, крыша провалилась внутрь и лежит железной грудой.

Водонапорные башни обращены в кучи кирпичей, около валяются измятые железные баки. Особенно пострадала от нашествия ст. С.

Вокзал и железнодорожные депо и мастерские сожжены и торчат закоптелыми скелетами. Поворотные круги приведены в негодность.

На всех путях рельсы были разбиты и теперь заменены новыми. Два железнодорожных моста двухколейной дороги взорваны: один, перевернулся надвое, лежит на дне, другой, весь изодранный, сорван с места и боком навалился на первый.

За взорванными мостами лес, весь взломанный германскими снарядами.

Лесник этого леса каким-то чудом спасся, несколько недель просидев в яме. Над его головой рвались шрапнели, раскалывая в щепы огромные деревья, свистели пули. Когда же русские отступили, немцы забрали его в плен. Что пережил он в эти дни — трудно представить; довольно сказать, что он совершенно поседел.

Долго ходили мы по разбитому лесу, стараясь разыскать в снегу куски снарядов, рассматривая расщепленные и изрешеченные пулями стволы, а в тихих сумерках морозного вечера со стороны К., как далёкие раскаты грома, доносились пушечные выстрелы. Там разрушали.

Завтра в К.

1915 г.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

БЕЛОРУССКАЯ ЗИМА САНИТАРА ПАУСТОВСКОГО

Во время Первой мировой Беларусь оказалась в самом центре событий. Нескончаемо долго линия фронта проходила через Мядельский, Вилейский, Сморгонский и другие районы. Первая мировая связала с Беларусью если не роту, то добрый взвод русских писателей. В 13-й инженерно-строительной дружине служил Александр Блок. В одной с ним крестьянской хате в пинских Колбах жил поэт Юрий Туманов.

МП: Алесь Карлюкевич — белорусский критик и публицист, директор издательского центра «Литература и искусство». В настоящее время работает над книгой о белорусских адресах русской культуры.

По белорусским городам и весям путешествовал военный корреспондент Алексей Толстой. Младшим чином артиллерийской батареи надышался отравля-

ющих газов под Сморгонью Валентин Катаев, да и ранен был дважды. Свой многотомник «Народ на войне» — эпопею, стилизованную под солдатский фольклор, — начала писать в Беларуси сестра милосердия София Федорченко. И даже книгоиздатель Ми-

хаил Сабашников был на фронте, под Молодечно. А ещё — Константин Паустовский... Я попытался пройти его белорусскими фронтовыми дорогами.

Читаю у Паустовского в «Повести о жизни»: «В октябре на фронте наступило затишье. Наш отряд остановился в Замирье, вблизи железной дороги из Барановичей в Минск. В Замирье отряд простоял всю зиму...» Не ищите — Замирья, «унылого села», на карте Беларуси его не найти. Так где же провёл «чёрную осень» и «гнилую зиму» с 1915 на 1916 год будущий известный писатель? По каким таким сёлам и местечкам бродил юный правдоискатель, в заплечной сумке которого лежали черновые страницы его романа «Романтики», появившегося в печати только в 1930-е годы?

Поначалу на фронт Первой империалистической Паустовский не попал. Был освобождён от воинской повинности и работал кондуктором и вагонновожатым московского трамвая. И всё же сумел вырваться из мирной тыловой жизни. Отправился поближе к передовой — санитаром полевого санитарного поезда. Известно даже, что останавливался в Бресте в гостинице — на железнодорожном вокзале. Вскоре перешёл в полевой санитарный отряд и вместе с ним отступал от польского Люблина до белорусского Несвижа. Выходит, что в древнем родовом имении князей Радзивиллов и следует искать давние следы писателя?

Прихватив с собой последнее издание «Повести о жизни» (книгу мне подарили в Московском литературном музее-центре Константина Паустовского), отправляюсь в Несвиж. По дороге перечитываю книгу. В который раз нахожу «белорусские страницы» в «Беспокойной юности»: «В Барановичах я отряда не застал. Он уже ушёл дальше, на Несвиж. Мне не хотелось даже на короткое время возвращаться в госпиталь. Трудно было встречаться с людьми. Я переночевал под городом в путевой железнодорожной будке по дороге на Минск, а утром выехал в Несвиж...»

А в конце главы и адрес, интересующий меня, указан: «Свой отряд я догнал в селе Замирье под Несвижем». Выходит, маршрут выбран правильный, с Несвижа и начинать надо. На территории замкового комплекса, предварительно созвонившись, встречаюсь с самым сведущим здешним краеведом — Клавдией Шишигиной-Потоцкой. Учительница-пенсионерка, она, получив разрешение местных властей, продаёт у замка книги об истории Несвижа. Едва ли не десяток из них написала сама Клавдия Яковлевна. На мои расспросы она удивлённо разводит руками и поясняет:

— Замирье — это Городец. Городской посёлок и одноимённая железнодорожная станция совсем недалеко от Несвижа. Но вот о деталях ничего не расскажу. Может быть, музейщики наши вам чем-то помогут?

Музеев в Несвиже — два. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» и районный историко-краеведческий. У первого экспозиции как таковой пока нет. Вероятно, она появится

с завершением реставрации первой очереди музея-заповедника. Что касается районного музея, то в его стенах до Паустовского руки, что называется, ещё не дошли...

Заместитель директора музея-заповедника по науке Галина Кондратьевна даёт дельный совет:

— В Городее жил краевед Борис Скачко. К сожалению, не так давно он умер. Но, может быть, дома остались какие-либо материалы...

До Городеи от Несвижа — 19 километров. 20 минут езды на машине — и вот я уже у того самого железнодорожного вокзала, откуда санитар Паустовский ездил в Минск или Барановичи.

Читаю в главе «Гнилая зима»: «Поздняя осень пришла чёрная, без света. Окна в нашей хате всё время стояли потные. С них просто лило, и за ними ничего не было видно. Обозы увязали в грязи. В двери дуло. С улицы наносили сапогами липкую глину. От этого в хате всегда было неуютно. Нам с Романиным всё это надоело. Мы вымыли и прибрали хату и никого в неё не пускали без надобности...»

В Городее, городском посёлке, в котором всего четыре с половиной тысячи жителей, а прежде — местечке, носившем название Замирье, нахожу спрятанный среди яблонь и алычи дом под номером 21 по улице Залинейной. Теперь здесь живёт одна Аграфена Александровна Скачко. Вместе с ней и перебираем потемневшие и пожелтевшие машинописные листочки. Незадолго до смерти Борис Константинович закончил книгу о Городее-Замирье. Рукопись летописи отдельно взятого поселения находится в издательстве «Белорусская Энциклопедия». А в домашнем архиве — черновики, фрагменты краеведческого повествования о поселении, которое известно с XVI столетия. Перелистав сотни страниц, находим историю Городеи начала XX века. Автор рассказывает о жизни, быте своих земляков. Какой была Городея во времена Паустовского? Ещё в 1914 году по местечку в праздники маршировал духовой оркестр. На всё местечко — 5 питейных домов, 17 торговых лавок.

Среди других листочков из архива краеведа вместе с Аграфеной Александровной находим страничку с заголовком «История становления медицины в Городее»: «В годы войны и революции помощь населению оказывали военные медики. В 1914–1917 годы в Городее находился большой военный госпиталь, лечивший солдат Западного фронта». Значит, всё верно — в нём и служил санитаром Паустовский.

Интересны наблюдения писателя, которые приводятся в «Повести о жизни»: «Белоруссия выглядела так, как выглядел бы старинный пейзаж, повешенный в замызганном буфете прифронтовой станции. Следы прошлого были ещё видны повсюду, но это была только оболочка, из которой выветрилось содержимое.

Я видел замки польских магнатов — особенно богат был замок князя Радзивилла в Несвиже, — фольварки, еврейские местечки с их живописной теснотой и запущенностью, старые синагоги, готические костёлы, похожие здесь, среди чахлах болот,

на заезжих иностранцев. Видел полосатые верстовые столбы, оставшиеся от николаевских времён.

Но уже не было ни прежних магнатов, ни пышной и бесшабашной их жизни, ни покорных им «хлопов», ни доморощенных раввинов-философов, ни грозных Судных Дней в синагогах, ни истлевших польских знамён времён первого «повстанья» в костельных алтарях. Правда, старые евреи в Несвиже могли ещё рассказать о потехах Радзивилла, о тысячах «хлопов», стоявших с факелами вдоль дороги от самой русской границы до Несвижа, когда Радзивилл встречал свою любовницу авантюристку Кингстон, о многошумных охотах, пирах, самодурстве и шляхетском чванстве, глуповатой спеси, считавшейся в те времена паспортом на вельможное «панство». Но рассказывали они об этом уже с чужих слов...

В одной из поездок санитар Паустовский попал под обстрел. Был сильно ранен в ногу. Выпал из седла. Лошадь, к счастью, вытащила ухватившегося за стремя раненого поближе к своим. Константин успел зажечь фонарик. Затем потерял сознание. По свету фонарика его и нашли солдаты-телефонисты. Месяц Паустовский пролежал в госпитале в Несвиже. Там и узнал — случайно, из старой газеты, —

что на фронте погибли два его брата: «Убит на Галицийском фронте поручик сапёрного батальона Борис Георгиевич Паустовский». «Убит в бою на Рижском направлении прапорщик Навагинского пехотного полка Вадим Георгиевич Паустовский».

Константина отпустили в Москву, к матери. Из Несвижа он уезжал через Замирье. В Белоруссию потом вернулся, только чтобы уволиться. Причиной стало его прежнее письмо из Городеи-Замирья. На Западный фронт приезжал император. Как писал Паустовский: «Он «посетил» и Замирье. Ко времени его приезда было приказано привести село в порядок. Это выразилось в том, что из лесу привезли много ёлок и замаскировали ими самые дрянные халупы». Письмо, где санитар рассказывал штатскому приятелю о визите императора, попало в военную цензуру. Больше Паустовского, предупредив, что он отделался лёгким испугом, на фронт не пустили.

А Замирье-Городея, Несвиж, минские и гродненские просёлки остались в судьбе и памяти Константина Паустовского на всю жизнь. И «всплыли», как адреса художественного и жизненного опыта, только через тридцать лет, когда писатель начал работу над «Повестью о жизни».

Минск — Несвиж — Городея

Константин ПАУСТОВСКИЙ

«ТАМ ХОЛОД И ГИБЕЛЬ...»

Из стихов военных лет

* * *

Ночевали в сараях. Дожди застилали
Хмурым утром суровую польскую даль.
Ругань. Злоба. По грязным шоссе громыхали
Днём и ночью обозы. Всё крепла печаль.

Где-то за лесом дальним назойливым громом
Батареи ворчали, трепался наш флаг
Над покинутым барским ограбленным домом.
И всё близился твёрдый, испытанный враг.

Дети плакали ночью. Их бросила мама.
Кто-то трупы убитых спешил хоронить,
И пугала глубокая скользкая яма.
Здесь не надо жалеть, здесь не надо любить.

Вспоминались мне радуги зыбкого моря,
Яркий смех, плен узорных сентябрьских садов,
Предзакатные сны, светлоокие зори,
И в заре — опьянённая мукой любовь.

*Местечко Снов
Сентябрь 1915*

* * *

Плакал тихо старик, — он не может уйти из деревни —
Слишком стар, утомился, припал у могильной плиты.
Брошен белый костёл. Образ юноши кроткий и древний
Осквернили, — сорвали с него золотые листья.

Старый сад осыпает холодное золото вязов.
Кто-то бродит, грустя, в одичалом костельном саду,
Чьи-то шпоры звенят. Вспоминается много рассказов
О старинных боях, словно виденных в смутном бреду.

Все ушли далеко. Только лёгкой пугающей тенью
Бродит кошка в саду, и так близко стучат молотком
По железным листам. И склоняется ветер осенний,
Одевая в туманы леса и разрушенный дом.

Ночью кто-то придёт, загорятся пустынные хаты,
Небо снова нальётся кровавым тяжёлым вином
И пройдут, отступая, устало и мерно солдаты, —
Ружья ярко сверкнут под огнём.

Будут пить из колодцев холодную, мутную воду
И не вспомнят о тех, кто в тревоге и муке ушёл.

Плакал тихо старик и шептал про тоску и невзгоду,
Бился сморщенным лбом о костельный истоптанный пол.

*Местечко Пиццац Холмской губернии
Август 15 г.*

* * *

Далёко в полях умирают на мёрзлой земле —
И дымным кольцом загораются мирные сёла,
И тусклым опалом горит в опечаленной мгле
Взгляд солнца большой и тяжёлый.

Там холод и гибель. Там медленный верный угар
Тоскливого горя рождает бессонные думы,

Там юноша светлый становится скучен и стар,
Как нищий немой и угрюмый...

И гаснут восторги, и в сердце таится печаль,
Как зимняя тяжесть, как слёз заглаженное бремя,
И острою болью, как яркая синяя сталь,
Дарит быстротечное время.

Москва
1914

Пылят дороги. Белым зноем
Вздохнула серая земля.
Собаки рвутся с диким воем,
В дыму удушливом поля.

Играет даль тяжёлым звоном
Железным гулом канонад,
И грозовым и испуганным
Разрывом падает снаряд.

Обозы, парки, гарь пожаров,
Тоска истоптанных песков,
В дыму губительных угаров
Мерцает огненность крестов.

Глаза блуждают, хрипло дышат,
Винтовка давит на плечо.
Враги таятся, видят, слышат,
Шрапнель в окоп, ещё, ещё.

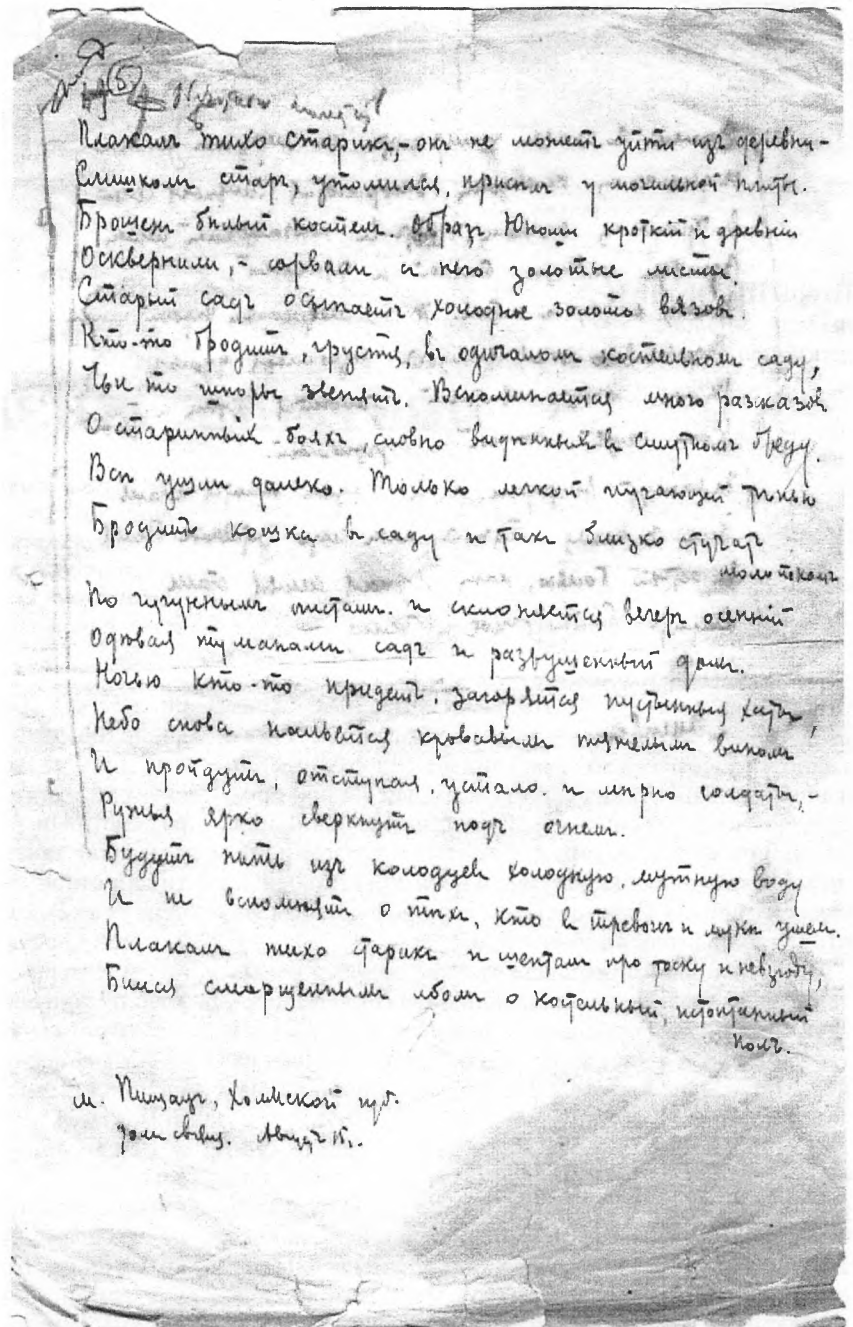
Далёкий крик больной и дикий
И ураган свинцовых пчёл,
И кто-то смотрит многоликий,
И каждый дик, и каждый зол.

Алеют раны, кости белы,
Зелёной бледностью маня,
Томятся лица. За пределы
Уходят, мучая меня.

Зачем земля дрожит и дышит?
И снова крик, огонь и взрыв.
Он где-то там, он не услышит
Мой страшный мстительный призыв.

Иди, смотри. Смотри как пули
Сверлят мозги и черепа.
Смотри как скорченно уснули,
Дрожит отбитая стопа.

А в ней играет солнце с кровью.
А дикий вопль, а смертный хрип...
Ты где-то там с своей любовью,
Ты был иль не был, жив, погиб?..



Рукопись стихотворения «Плакал тихо старик...».
Из архива музея-центра (Фонд В.К.Паустовского).
Публикуется впервые



ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПАУСТОВСКОГО

Игорь ШТОКМАН

прозаик, критик,
кандидат филологических наук

ЦВЕТЕНИЕ ЖИЗНИ

Признаюсь сразу — эти заметки очень субъективны. Что делать — всё на белом свете субъективно и более всего тот счастливый, безобманный и взволнованный отклик сердца, который словно пробуждает нас, отрешая от обыденщины, наполняя жизнь иным светом, иным зрением, чувством и пониманием. Это и есть любовь, и речь пойдёт о ней... О моей любви к Паустовскому, его прозе и о том, за что ценю её столь высоко и благодарно.

Явственно помню, какое чувство радости испытал, когда впервые, ещё мальчишкой, читал «Мещёрскую сторону». Городская асфальтовая жизнь растаяла, пропала — я, находясь в ней, словно ушёл из неё. Мир средней полосы России волшебным образом приблизился, принял в себя.

Я переписывал в особую тетрадку целые куски из «Мещёрской стороны», получая от этого наслаждение почти физическое. Было такое чувство, будто рядом со мной родной и близкий человек, знающий, любящий то, что люблю и знаю я, и вот он говорит мне сейчас об этой моей любви, и в монологе его нет ни одного лишнего, случайного и пустого слова. Оно и понятно — любовь не умеет лгать, её слова идут от искреннего, правдивого сердца, память которого и впрямь сильнее рассудка памяти печальной...

Когда я переписывал страницы из «Мещёрской стороны», мне казалось, что это написал я, — настолько всё совпадало и было подлинно моим!

«Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие масляки, облепленные хво-

...уже давно я стремлюсь замечать скрытое...

Жизнь каждого — безвестного и великого, безграмотного и тонченного — всегда таит саднящую тоску о другом, более радостном существовании.

Константин Паустовский. «Романтики»

ей, жёсткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и наконец лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо... Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснёт, наконец, озеро, как чёрное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его тёмную воду — ночь, полная звёзд».

Меня восхищала и потрясала выверенность этих слов, их безошибочно найденная точность, незаменимость. Я знал, по себе знал, что всё — именно так.

Если долго идти старым, заматеревшим сосновым бором, то это и вправду будут километры «тишины и безветрия» — ветер гудит, шумит ровно лишь поверху, в кронах сосен, в их тёмно-зелёных шапках, а внизу тихо... И сильно, ощутимо пахнет вокруг грибной прелью, шляпки маслят и валуёв и впрямь в хвойных иглах, белые грибы, плотные, крепкие их пузики, всегда прохладны в горячей ладони, земляника и крупные бледно-лиловые лесные колокольчики всего обильнее растут именно на полянах с жёсткой травой, а листья осины дрожат, трепещет постоянно, даже при самом небольшом ветерке — таков уж черенок у её листа.

Счастливая радость узнавания переполняла меня — книга отдавала то, чем уже успела одарить жизнь. Одарить самым дорогим в ней: своей красотой, своим цветением...

Потом пришёл черёд памятного, часто перечитываемого шеститомника Паустовского. Я получал его по подписке в известном всем москвичам магазине на Кузнецком мосту, за каждым новым томом стояло в очереди много людей, я смотрел на них и думал, что все мы — братья, братья по духу и голосу сердца, разбуженного, навсегда уж околдованного волшебной прозой Паустовского.

Всё, что было прочитано мною после, пало, как плодородное, быстро прорастающее зерно, именно на эту почву... И Бунин, с его ястребиным зрением, жёстким, будто опалённым жаром души психологическим рисунком, и мудрый — весь внутри! — Пришвин, и тонкий, ранимый Казаков, так страстно любящий жизнь, так мучительно ищущий счастье её, отчего-то всё никак не дающееся в руки... Много, много их было потом у меня любимых, заветных, читаемых и перечитываемых, но первым был всё же Паустовский, и это он, его проза, научили меня понимать иных мастеров, видеть и ценить в их вещах главное, стержневое.

Паустовский, можно сказать, был моим первым и главным учителем, лоцманом и штурманом в безбрежном и прекрасном море русской литературы, самой великой литературы на свете. С него начались любовь и тяга к слову, к его силе и волшебству, преобразующим мир и жизнь, творящим их словно бы заново, открывая в них первородство.

Нельзя объять необъятное, невозможно в одной статье рассказать, чем велика, чем берёт в полон твоё сердце проза Паустовского, и потому я попытаюсь объяснить лишь то, за что люблю, ценю её я (уж сказано: заметки эти очень субъективны). Материалом тоже строго ограничусь и возьму за основу лишь «Романтиков».

Отчего именно их? Это — первый роман Паустовского, самая молодая его вещь, а я, признаться, давно уж и еретически полагаю, что писатель со всем своим «нутром», с тем, что есть в нём главного от Бога и природы, полнее, лучше всего виден именно в ранних и молодых, первых своих произведениях.

Ещё не наработано технологической умелости и ставшей потом привычной манеры в самой структуре письма, его «лепке»; строка, абзац ещё дышат вольно, как хотят, и держатся, живут более всего чувством, голосом сердца. Оно, молодое, стремится сказать читателю то, что более всего хочет, ничего кроме, и в этой святой и наивной открытости, распахнутости видно так много! Видно, полагаю, главное: кто пишет и ради чего, зачем... Такова, за редкими исключениями, молодая проза таланта; за это и люблю её и всегда предельно к ней внимателен. Потому — «Романтики»...

Мне думается, что в этом романе особенно отчётливо и ярко видно «сердце, переполненное свыше меры ощущением жизни». Это определение — из «Повести о жизни», вещи куда более поздней и, можно сказать, автобиографической, итоговой. Но Паустовский всегда был очень целен, неподатливо, упрямо верен кодексу, принципам своей творческой веры и в «Повести о жизни», произведении, вовсе

не похожем ни внутренним строем, ни духом на «Романтиков», сказал тем не менее именно об этом: о человеческом сердце, о том, что подлинно живое, оно всегда переполнено ощущением, когда счастливым, когда мучительным, земного бытия. Переполнено, но жадно хочет ещё, ещё! Неупиваемая чаша...

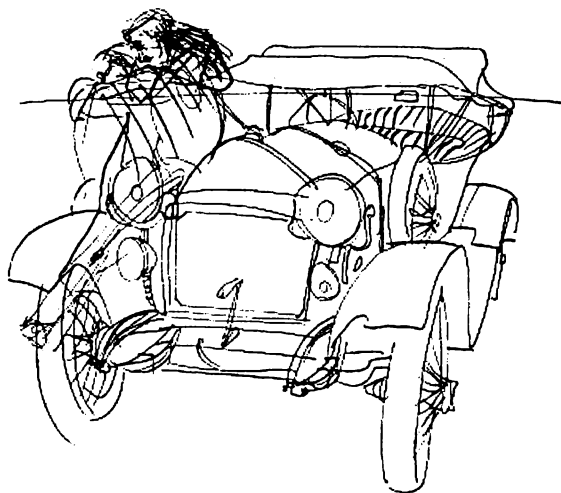
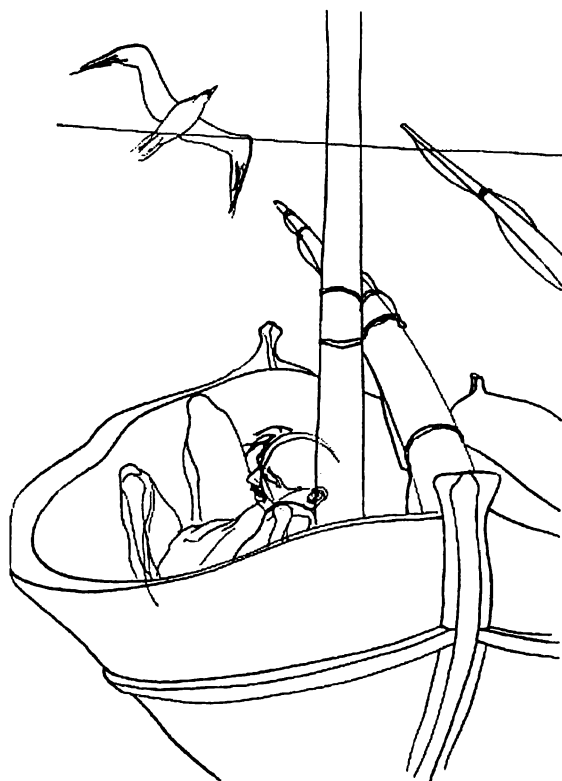
«Романтики» таковы и есть; в горячей жадности к жизни его героев — смысл и пафос этого романа. Эта жадность понятна и психологически очень точна: и Алексей, и Шашевский, и Винклер, и сам Максимов, главный герой повествования, внутренне очень близкий Паустовскому, его alter ego, — очень, завидно молоды... Зрение их ещё беспощадно зорко, само восприятие жизни так остро, и более всего на свете не хотят они жизни-рутины, жизни-сна, мерно и ровно бредущей всё по одному и тому же замкнутому кругу, как старая и заезженная кляча на шахтном дворе.

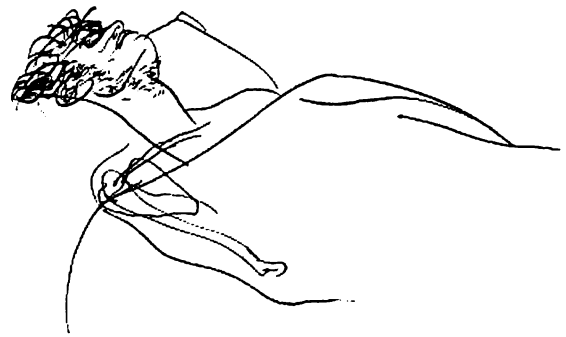
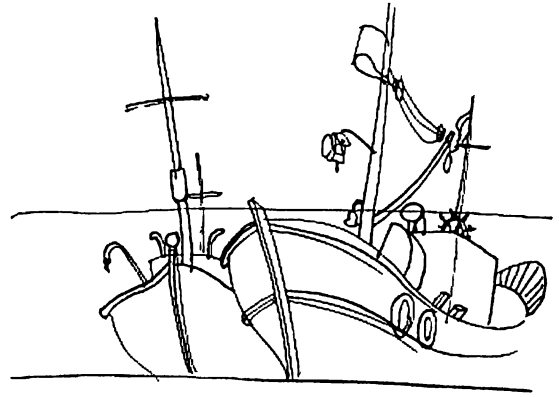
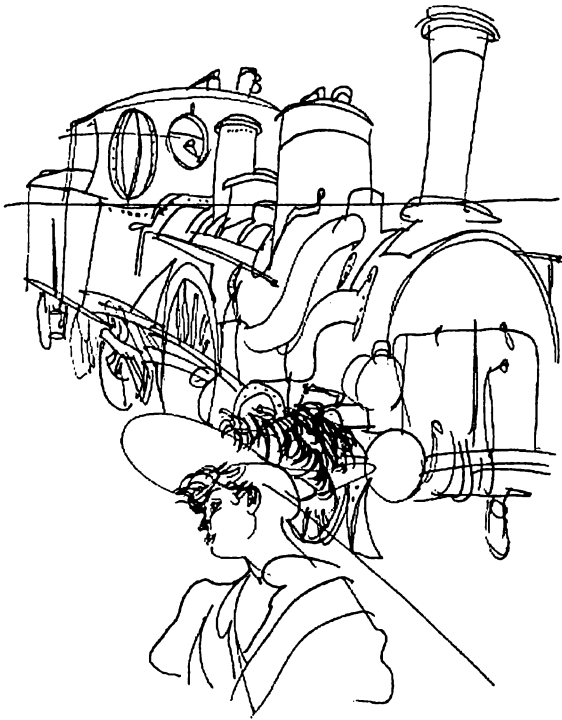
Вот о чём, к примеру, с тревогой и горечью, думает Максимов: «Мы живём, как живут тысячи, — в кругу обедов, болезней, службы, смерти и чада. Мы боимся ярких слов. Пафос пугает нас больше, чем револьверный выстрел. Но иногда в этот привычный мир входит тоска и раскалывает сердце. Тогда я думаю о белых ночах — не о затасканных вдоль и поперёк ночах Петербурга, а об иных, совсем новых ночах, когда огни полощутся столбами в широких и туманных заливах. Они должны быть, эти ночи, когда в белом молоке едва видны зелёные звёзды, сырые паруса обвисают на мачтах, губы женщин становятся влажными и гавани и города погружаются в великое безмолвие, одеваются в серебряную седую печаль» (подчёркнуто мной. — *И.Ш.*).

Вот он, контрапункт «Романтиков», кредо и стремление его героев — противопоставление обыденного, затёртого и высокого, иного, рождённого молодостью сердца и поэтическим воображением... Лишь иные, «совсем новые ночи», сроднённость с ними, их понимание, их ощущение способны пробудить творческий импульс.

Максимов и даёт ему волю... Он не только не придерживает его — он прищипывает, спешит, видит и пишет зрением, красками (столбы огней в морской портовой воде, зелёные звёзды в белом молоке тумана), осязанием (тяжесть сырых, обвисших на мачтах парусов) и наконец, поэтическим и желанным, столь острым в молодости предошущением — «губы женщин становятся влажными...» Всё это прекрасно, выпукло, зримо, поскольку у Максимова, вообще у всей уже названной четвёрки, счастливо есть новые, совсем новые ночи и дни тоже есть... Герои «Романтиков» живут этим, дорожат безмерно, ставят превыше всего на свете — и, право, понятно, почему.

Ведь тогда всё вокруг и ощущается по-иному, и видится иным... Максимов, произнося тост в греческой кофейне, говорит, что нужно брать жизнь с весельем и отдавать её с ещё большим весельем, бросаясь в приключения, как в холодную воду. Он пьёт «за всех, кто любит искать (исток следующего





1. Život
ЖИЗНЬ

2. Počátky a konce
Начала и концы

Борис Йирку. Рисунки к главам «Жизнь» и «Начала и концы»
из чешского издания романа «Романтики»

молодого романа Паустовского, «Блισταющих облаков!» — *И.Ш.*), но редко находит». Важен азарт, жар поиска, а вовсе не находка, не результат. Главное — чтобы сердце жило вздохом... И Максимов пьёт за греческую мастику, сжигающую горло, за девушек в кофейне, за её хозяина папашу Днестропуло, за кефаль и «наконец... за человечность, которая сопутствует любящим, и за любовь, рождённую вдохновением».

Каков, однако, пробор этого тоста, этой речи — от крепкой греческой мастики и кефали до человечности, которой владеют лишь влюблённые и (внимание!) «любви, рождённой вдохновением!..»

Взгляд поэта и романтика равно приемлет, равно приветствует всё, и в этом широком объятии, раскрытом жизни с её цветением, со всем манящим и прекрасным, что в ней есть, герой уж не замечает нюансов, противоречия в последнем пассаже самому себе, своему пониманию связи жизни, любви к ней и творчества... Помните о новых, совсем иных ночах и о том, что они могут дать творчеству, как дать?

Вначале — всё же любовь к жизни, жадность к ней, острота восприятия и лишь потом творческий импульс, «вдохновение», исписанные листы, проза самого Максимова.

Но посыл, но тост, его пафос и смысл! Будто «конспект» романа, сконцентрированный его смысл и ключ к нему. Ведь основное в «Романтиках», полагаю, не трудная раздвоенная любовь Максимова к Екатерине-Хатидже и Наташе, мучающая его до отворачивания к себе, до обморока; не «военные будни», описанные в третьей части, с их грязью, кровью и постепенной остудой сердца Максимова, а щедро разбросанные в тексте картины жизни (неслучайно роман, который пишет главный герой «Романтиков», называется «Жизнь!»), волшебны, поэтически преобразённой.

«Была такая тишина, будто весь город спал. Я сел к столу и написал несколько строк. Я толком не знал, о чём я буду писать. Обо всём. Об этой осени, о том, что кровь туго бьётся в сердце и мокрый песок в саду пахнет зимой».

«Осень у моря, чёрная осень, как девушка, вымокшая под дождём, блестела лиловыми глазами. Ветер шуршал по палубе ворохом жёлтых листьев, и музыка из приморского «поплавка» рассказывала короткую повесть об огнях, зажжённых высоко над морем, о дожде, пахнущем винной пробкой, о хохоте женщин, выпивших горячего вина».

«Я ждал у ворот монастыря Наташу. Она была за оградой. Громко капала вода около каменного колодца, со стен душно свешивалась сирень».

«Я вспомнил долгие ночи у простого стола, голос Наташи, севастопольский день, как хрустальный стакан, налитый синей водой».

Внимательный и благодарный читатель, не чуждый романтики, несомненно, заметит, оценит в приведённых отрывках и мокрый песок, пахнущий зимой, и душную сирень, и хрустальный стакан синего дня — всю эту неожиданную, застающую врасплох

точность поэтической прозы, её экспрессию и выразительность.

Строгий ценитель, любящий «нагую» прозу, без каких бы то ни было романтических «прикрас», может, допускаю, скептически отнестись к чёрной осени у моря, похожей на вымокшую под дождём девушку с блестящими лиловыми глазами... Тут и впрямь есть некоторая выпренность, но ведь и этот экзотический цветок возрос всё из той же почвы «Романтиков»!

То лишь «застрявшая невзначай золочёная нитка экзотики» (определение самого Паустовского) в основной и романтической канве романа.

Вдобавок (и это очень существенно!) автор «Романтиков» куда выше ценил и более любил картины, краски и голоса реальной, подлинной жизни.

«Жадность, ненасытная жадность тянет меня к жизни. Я могу без конца говорить вам о каждой минуте, о каждом из прожитых дней. Я нахожу во всём, что вижу, чудесный «вкус и запах», постоянную прелесть».

Только что мы два часа говорили о керченской сельди, о бычках, о том, как сула идёт в донские гирла, о браконьерах, коптильнях и рыбачьих артелях. Я почему-то вспомнил стакан крепчайшего кофе в грязном портовом кабаке, то утро, когда я пил английскую водку с капитаном Шевченко, пряные турецкие папиросы и груды мокрой синеватой камсы. И я не знаю, почему, но стало так хорошо жить, двигаться, ощущать на своём лице прикосновение солнца, ветра и женских губ...

Как щедра жизнь, как полон каждый день. Вы это знаете лучше многих» (письмо Максимова Хатидже).

Всё попеременно в единой оправе жизни — и «высокое» и «низкое»; мудра и счастлива способность видеть одно в другом, не разделяя их, не отдавая чему-то предпочтения, а чем-то высокомерно и недалеко пренебрегая.

«Романтики», первый роман Паустовского, названный кратко, точно и мудро, говорит именно об этом, учит — этому... Его нужно читать в молодости, чтобы потом войти в мир с этим багажом, этим пониманием, чувством и любовью. Тогда жизнь распахнётся широко, вольно и одарит воистину щедро.

Своей красотой, цветением своим воздаст она открытому сердцу, острому и внимательному к ней зрению, а главное — чувству единства и родства со всем тем, что вокруг... Этой неразрывности, без которой нет ни ощущения полноты жизни, ни любви к ней, так много в «Романтиках»!

Свет молодости, жадной, нетерпеливой и горячей, исходит со страниц этого романа — герои его и впрямь берут жизнь с азартом, с весельем и совсем не боятся того, что осмотрительные, осторожные люди именуют «иллюзиями». Ведь жизнь, лишённая их, «вызывает в самом потаённом уголке души первую человеческую боль». Боль о том, «чего не было, но что должно было быть».

Страшно понять это, когда уж непоправимо поздно...

Валентина БАЗИЛЕВСКАЯ

«КАК МИР ХОРОШ В СВОЕЙ КРАСЕ НЕЖДАННОЙ...»

Чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, — чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

К.Паустовский

Собираясь на литературный праздник «Липовый цвет» в село Рёвны Брянской области, я задумалась о месте «рёвенских» и «брянских» страниц во всей «Повести о жизни» К.Г.Паустовского. Кажется, что ответ о роли этих страниц настолько прост, что и размышлять не о чем: детство — начало жизни, выражение «мы все родом из детства» стало штампом.

Но повесть Паустовского завораживает с первых страниц неповторимостью, и, когда кончаешь первую книгу, хочется скорее окунуться в следующую. Литературное произведение строится по своим законам, и за внешне обычными событиями в нём может жить глубокая мысль. Однако и знакомство с литературоведческими работами вызвало сомнения в правомерности моего вопроса.

В литературной критике распространено суждение, что «Повесть о жизни» распадается на два разных по жанру произведения: три первых книги образуют автобиографический цикл, в котором читатель наблюдает рост и становление героя, а три последние представляют собой мемуары, написанные от лица уже взрослого, сложившегося человека. Возможно, случайно, в силу стечения обстоятельств, но такой подход поддержан и раздельным изданием первых книг (Паустовский К. Повесть о жизни. — М.: Современный писатель, 1992) и последних (Паустовский К.Г. Время больших ожиданий. Повести. Дневники, письма. Т. I–II. Нижний Новгород: «Деком», 2002). Значит, бессмысленно определять не только роль каких-либо страниц, но и всей повести «Далёкие годы» в шестичастной эпопее?

С другой стороны, сам Константин Георгиевич воспринимал все книги как одно произведение, дав им общее название — «Повесть о жизни». Сопоставляя пять написанных к тому времени повестей с драматическим произведением, писатель говорит: «Первая книга («Далёкие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая («Беспокойная юность») даёт развитие действия; третья и четвёртая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку». Правда, потом появляется шестая книга — «Книга скитаний» (первоначальное название — «На медленном огне»); планировалось и продол-

жение эпопеи. Это до какой-то степени нарушает описанную Паустовским структуру произведения в целом, хотя не должно менять в ней роли первой повести.

Но «Далёкие годы» не укладываются в рамки того, что обычно называют экспозицией, то есть вводной части, в которой происходит знакомство читателя с местом, временем действия и главными персонажами книги, — в последующих повестях и места, и времена другие, да и с большинством героев читатель уже не встретится. Что же имел в виду Паустовский, определяя «Далёкие годы» как экспозицию «Повести о жизни»?

Само название — «Повесть о жизни» — можно истолковать по-разному. Во-первых, это изложение жизненного пути главного героя. Во-вторых, это повествование о жизни многих людей (и главного героя в том числе) в сложное переломное для страны время. Именно с таким отношением к повести связаны интереснейшие исследования Вадима Константиновича Паустовского, сына писателя.

Но возможно и третье толкование: это повесть о жизни вообще. В повести по закону жанра главная роль принадлежит повествователю.

Увлекаясь событиями и людьми, о которых рассказывает сквозной герой, читатель сочувствует ему, доверяет, порой отождествляет его с автором. Хотя вообще-то в повести не один, а два основных голоса: юноши Кости, который на наших глазах становится взрослым человеком, писателем, и лирический голос, непосредственно передающий авторские чувства и мысли. (Конечно, в разные моменты повествования включаются голоса и других персонажей, но они в основном их и характеризуют.)

Содержание повести «Далёкие годы» — это рассказ юноши, стоящего на пороге взрослой жизни, о своей семье, о себе, воспоминания о своём детстве. Автобиографический герой, конечно, близок автору, похож на него наблюдательностью, склонностью к романтическому восприятию жизни, умением тонко передать оттенки переживаний. Он лаконичен в описаниях: «Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане». Так же лаконично, но ёмко рассказывается об извозчике-балагуре, ксёндзе, похоронах отца, деде по отцу... Рассказ, не прерываясь, ведётся от первого

лица, но со слов «Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру...» начинается лирическое отступление о лире, лирниках и украинских базарах, безусловно, принадлежащее непосредственно автору. Это голос из другого времени — середины XX века, когда писалась книга, а не времени повествования героя. О лирическом характере этого отрывка говорит и обращение к читателю («видели ли вы»). В лингвистике текста это означает смену точки видения. В повести «Далёкие годы» она обусловлена, прежде всего, возрастной сменой сознания повествователя.

Тематика лирических отступлений чрезвычайно разнообразна. Это и оценка детских увлечений («Они научили меня многому»), и выводы об истоках формирования характера и мировоззрения главного героя («Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но всё же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, — как говаривал дед, — другая препорция»). Иногда это — раздумья о значении для людей поэзии, театра, полотен художников («Впервые я понял, что созерцание таких картин не только даёт зрительное наслаждение, но вызывает из глубины сознания такие мысли, о каких человек раньше и не подозревал»). Конечно, в лирических отступлениях в книге Паустовского много говорится о благотворном воздействии природы на человека, о необходимости беречь её («...И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы»).

Лирические отступления в повести всегда тесно связаны с изображением конкретных эпизодов жизни героя (например, «страх перед фанатизмом и отвращение к нему» вошли в сознание автора после богомольной поездки в Ченстохов). Причём они обязательно содержат обобщение, выношенную жизненным опытом сентенцию, поэтому размышление одиночного «я» часто заменяется рассуждением обобщающего «мы» или столь же неопределённо общего «ты» («Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаем взрослыми. В детстве всё было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и всё нам казалось гораздо более ярким...») «Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и

каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу...»).

Суждения в лирических отступлениях категоричны. Но они соотносятся с мастерским изображением конкретной жизни, одушевленной природы, поэтому оказываются убедительными. («Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймёт нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и спустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснётся и не узнает об этом».)

Сентенции не кажутся нравоучительными, даже когда включают слова «надо» и «должны». Читатель принимает их, потому что подсознательно чувствует, что их произносит не семнадцатилетний наивный юноша, а человек, умудрённый опытом долгой и очень нелёгкой жизни.

Именно лирический голос автора выводит повествование на уровень серьёзных размышлений об основах жизни.

И за главным героем, и за изображением других персонажей и событий, и за лирическим героем стоит один автор — Паустовский, — и, чтобы понять, какой замысел вложил он в «Повесть о жизни», надо соотнести все голоса, звучащие в ней.

На последней странице повести «Далёкие годы» изображены молодые люди, разговаривающие на краю обрыва в осеннюю тёплую ночь. Впереди у них целая жизнь.

— Ты о чём думаешь, Костик? — спросил Глеб.

— Так... вообще...

Герой не находит слов, чтобы выразить свои ощущения от окружающей красоты и смутные мечты о будущем. За него говорит лирический голос автора: «Я думал, что никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь, с её любовью, стремлением к правде и счастью, с её зарницами и далёким шумом воды среди ночи, лишена смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда — до конца своих дней».

Эта жизненная и писательская программа героя оформилась у Паустовского, вероятно, в процессе работы над повестью «Далёкие годы». В ней мир увиден чистыми глазами ребёнка, в ней (не только на «рёвенских» и «брянских» страницах) художественно дан процесс формирования идеала человеческого поведения и отношения к жизни. Поэтому писатель мог назвать её экспозицией «Повести о жизни».

Все книги объединяет не только обаятельный главный герой, но, прежде всего, авторское мироощущение.

Чудо состоит в том, что и первая, и все последующие книги действительно реализуют сформулированную будто бы в юности программу. Паустовского течение жизни не сносит вниз — и в этом притягательная сила его произведения.

Иван ИВАНОВ

ОДЕРЖИМОСТЬ ПОЭЗИЕЙ

Круг чтения молодого Паустовского

Всем, кто прочёл автобиографические книги Паустовского («Повесть о жизни»), не могла не броситься в глаза одна их особенность: книга и жизнь у него нерасторжимы. Говоря о жизни, он здесь же упоминает о книгах, вечных спутниках её, своих собеседниках и советчиках, неизменных друзьях во всех скитаниях — и в горе, и в радости. «Повесть о жизни» так богато насыщена ими, что может служить своеобразной антологией истории культуры первой четверти двадцатого века. Уже один их перечень — великолепное свидетельство исключительно богатой духовной жизни будущего писателя. Не было, кажется, ни одного более или менее выдающегося явления в культурной жизни, особенно в литературе, мимо которого прошел бы молодой Паустовский.

И это было не просто чтение, когда «писатель пописывает, а читатель почитывает». Это было «мудрое чтение», при котором мысли автора прочитанной книги становятся органической частью мира читателя, перерабатываются, дополняются и обобщаются им собственными духовными сокровищами. Такое чтение и помогло Паустовскому стать не только большим писателем, но и выдающимся явлением человеческой культуры.

Всё это невольно заставляет пристально всмотреться в облик Паустовского-читателя, которого можно смело отнести к числу самых великих читателей.

В книге Эммануила Миндлина «Необыкновенные собеседники»¹ есть удивительный рассказ об одном литературном споре. Хочется полностью привести характерную для облика Паустовского-читателя сцену.

«Время в Дубултах, — пишет Миндлин, — было доброй порой бесед обо всём на свете — и весёлых воспоминаний, и шуточной болтовни, и философствований о жизни и смерти, о старости, о книгах, о живописи, о музыке и бог весть ещё о чём. Однажды о поэзии мы заспорили с ним (с Паустовским. — И.И.) даже в бане. Не о поэзии вообще, а о поэзии Фета... В жарко натопленной баньке, в пару и в ключьях мыльной пены, когда тёрли друг другу спины, он вдруг стал читать фетовские стихи. Мыльная пена хлопьями срывалась с моей мочалки и шлёпалась на мокрые стены, пузырчатые белыми струйками стекала на шашечки пола. Я замер с мочалкой в руках, чтобы звонкое поскрипывание мочалки и всхлипывающие шлепки мыльных ключев не перебивали родниковой музыки фетовских поэтических строк. И хотя в баньке, плотно набитой паром, трудно было читать, а голос Паустовского и на чистом

воздухе был глух и хрипл, родниковый звон стихотворных строк не мерк, не тускнел: ни банный пар, ни хриплый голос чтеца не глушили эту прозрачную музыку. Дочитав, Паустовский спросил: люблю ли я Фета?

...Я сознался, что много раз пытался приблизиться к Фету, но от Тютчева к Фету прийти не мог. Тютчев приучил меня к философской лирике, а после Тютчева, как бы я ни любовался Фетом, как бы ни вслушивался в него, он оставался для меня бездушным мастером и не становился моим. Стоило мне это сказать, как Паустовский прислонился к деревянной перегородке и тяжело задышал. И тут только я спохватился и вспомнил, что ему запрещено всякое напряжение, и я не должен был позволять Паустовскому тереть мне спину мочалкой.

По счастью, всё обошлось — и он уже более спокойным голосом заговорил о Фете. Нет, он не понимает моего отношения к Фету, хотя разделяет и признаёт моё отношение к Тютчеву: Тютчев прекрасен, Тютчев мудр. Но Фет мудр, потому что прекрасен. В мудрости — красота. Но ведь и в красоте своя мудрость! Для Паустовского неприемлемо противопоставление художника-философа художнику «чистому». Раскрывая картину мира, художник тем самым решает нравственную задачу, а стало быть философскую.

По Паустовскому, чистый художник Фет — философ только потому, что он прекрасный поэт. Мы зорче, чутье благодаря ему. Значит, нравственно совершеннее — и тоже благодаря ему...»

А вот свидетельство самого Паустовского: «Я был ещё только в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня:

Из царства льда, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!»

Гимназист Паустовский даже свой жизненный путь видит в поэзии Фета! (Эти стихи он выписывает неоднократно.)

Дальше, рассказывая о своих увлечениях литературой, Паустовский в числе наиболее близких поэтов (Пушкин, Гейне, Лермонтов, Леконт де Лиль) называет и имя Фета.

В голодном послевоенном Севастополе, истощённый от недоедания, Паустовский видит странные сны. Но и здесь он вспоминает Фета, его поэзию, отрицает её и всё же повторяет про себя очаровавшие его когда-то строки: «После таких снов я начинал понимать, что моя жизнь непомерно длинна, тогда как до тех пор она представлялась мне быстролётной и не оставляющей заметного следа.

¹ Эм. Миндлин. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. М., 1968.

Просыпаясь и перебирая в памяти эти сны, я повторял про себя стихи Фета:

Жизнь пронеслась без явного следа
 Душа рвалась — кто скажет мне куда?
 С какой заране избранною целью?

Всё в этих стихах сейчас уже было неверным и неправильным для меня, но я повторял их с наслаждением. Должно быть, потому что они составляли резкую противоположность всему, что происходило рядом со мной».

Позже, уже в Батуми, вместе с обретенным другом, тоже влюбленным в поэзию, будущим писателем Рувимом Фраерманом Паустовскому вспомнятся уже совсем другие стихи Фета: «Измучен жизнью, коварством надежды...» — вершина философской лирики Фета. Паустовский нашёл для них изумительное определение: «ясные и свободные, как возвращающееся солнце».

Интересно отметить, что в понимании поэзии Фета Паустовский на десятилетия опередил нашу критическую мысль. Лишь сравнительно недавно поэзия Фета нашла себе достойное истолкование, близкое к идее Паустовского. Я имею в виду исследование Льва Озерова «Мастерство и волшебство», где Фету посвящена самая глубокая, умная и вдохновенная статья. Для таких исследований в украинском языке есть чудесный термин — «розвідка». Перевести его можно так: исследование сокровенных глубин данного явления.

О Тютчеве Паустовский вспоминает, приводя наиболее дорогие ему строфы разных поэтов. «Меня покорила, — пишет он, — музыка стихов. Только в стихах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка...»

...Я мог без конца повторять отдельные любимые строфы. Каждый день они менялись. Одна строфа уступала место другой.

То я вспоминал Лермонтова: «Немая степь сиенет, и венцом серебряным Кавказ её объемлет»; то пушкинские слова о том, что «каждый день уносит частицу бытия», то тютчевский весенний гром, напоминающий о том, как «ветренная Геба, кормя Зевесова орла, громкокопящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила», то фетовскую весну: «Из царства льдов...»

Говоря о лучезарном воздухе Одессы, он приводит тютчевские строки об осени первоначальной («И лучезарны вечера»); природа в окрестностях города Ливны, где он жил некоторое время, воспринимается им через пейзажную лирику Тютчева («есть в светлости осенних вечеров»).

Это все упоминания о Тютчеве, которые можем встретить на страницах «Повести о жизни». Все они — о «лучезарных вечерах» скромной русской природы (наивысшие достижения тютчевской пейзажной лирики!), о расцвете весны (хрестоматийная «Весенняя гроза»). Нет здесь упоминания ни о «последней любви», ни о ночном ветре («О чём ты воешь, ветер ночной...»), ни о других тютчевских шедеврах, окрашенных настроениями тоски, печали,

разочарования, даже пессимизма. Но это и неудивительно: в «Повести...» перед нами молодой человек, полный сил и надежд. Весенние грозы, тихие, ясные вечера ему, разумеется, ближе тяжёлых раздумий о бренности земного, о печальных сторонах жизни; и хотя он раздумывает и об этом, но эти думы откликаются на стихи других поэтов — Лермонтова и Блока. Тютчевская философская лирика придёт к нему позже, её мотивы зазвучат в других произведениях уже зрелой поры.

Тот же Эм. Миндлин, рассказ которого я приводил раньше, пишет затем об отношении Паустовского к родной природе и писателю: «Для него верность русского писателя пейзажу родной страны — это верность нравственному началу русской литературы. Нравственную силу великих русских писателей, всю их поразительную способность влиять на людей объяснял прежде всего их верностью природе, родной русскому человеку. Только любя, чувствуя, слыша, умея видеть природу и только оберегая её, люди становятся нравственно совершеннее. Невозможно нравственное совершенствование человека, равнодушного к окружающей природе. И невозможно нравственное воздействие русского писателя на русского читателя, если этот писатель равнодушен к русской природе».

Очень хорошо и верно сказано!

Значительно большее место в жизни и раздумьях юного Паустовского занимает поэзия Блока. Блок был подлинным «властителем дум» лучшей части интеллигентной молодёжи первой четверти прошлого века. Паустовскому была особенно близка основная идея Блока — идея служения Родине, народу. Неудивительно поэтому, что во всех раздумьях о Родине юноша Паустовский ищет отклика в поэзии любимого поэта.

Уже первое упоминание о стихах Блока в «Повести...» связывается у Паустовского с Родиной и личными раздумьями о её судьбе. Шли годы Первой мировой войны: «В те годы, во время службы моей на санитарном поезде, я впервые ощутил себя русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе...»

А чуть выше он записал: «Без чувства своей страны — особенной, очень дорогой и милой в каждой её мелочи — нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему. Александр Блок написал в давние тяжёлые годы:

Россия, нищая Россия,
 Мне избы серые твои,
 Твои мне песни ветровые —
 Как слёзы первые любви!

Блок был прав, конечно. Особенно в своём сравнении. Потому что нет ничего человечнее слёз любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце, и нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, её прошлому, настоящему и будущему, к её языку, быту, к её ле-

сам и полям, к её селениям и людям, будь они гении или сапожники».

Высокие мысли, не утратившие актуальности и в наши дни. Паустовский признаётся: «И вещими казались слова Блока:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!»

Вещи они потому, что Русь для него, как и для Блока, это — жизнь его, нечто сугубо личное, то, с чем вместе маяться: и жить, и любить, и страдать, и умереть — маяться. Неудивительно, что поэма «Двенадцать» произвела на Паустовского «потрясающее впечатление».

Стихи Блока поражают его своей силой, мощью, своей былинной удалью: «Пели широкие и светлые, как дыхание утра, строки Александра Блока:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!»

Следом за этой цитатой Паустовский напишет слова, мимо которых не может пройти ни один исследователь его творчества. В них не только констатация факта биографии писателя — в них разгадка родниковой чистоты, хрустальной прозрачности, очарования творческой манеры самого Паустовского: «Стихи были для меня такой же реальностью, как хлеб, работа на заводе, как солнце и воздух. Они заставляли меня жить в постоянном напряжении, в неожиданном и разнообразном мире. Они несли меня, как пенный поток несёт оторванную от дерева ветку. Я не мог сопротивляться им.

Всё окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов. Сначала мне казалось, что это окружающее приобретало иной раз от соприкосновения поэзии то содержание, какого в нём и не было, приобретало преувеличенный блеск.

Но это было не так. Ни тогда, ни сейчас я ни на минуту не жалею о своей юношеской одержимости поэзией. Потому что знаю, что поэзия — это жизнь, доведённая до полного выражения, раскрытие мира во всей его глубине, трудно охватываемой нашим ленивым взглядом».

Такой поэзией и была проза Паустовского — доведённая до полного выражения, до раскрытия жизни во всей её глубине.

Поэзия Блока была вечной спутницей Паустовского. Это можно сказать, не боясь преувеличений. Почти на каждой странице его автобиографической прозы зримо или незримо присутствует Блок и его поэзия. Блока читают и перечитывают, о Блоке размышляют постоянно, вдумчиво, упорно. И не только в одиночестве, о Блоке Паустовский любит размышлять в кругу друзей, столь же страстно влюблённых в блоковскую поэзию, как и он сам. А вот как воспринял Паустовский известие о смерти поэта: «Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, просил:

— Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвётся в груди и кровь отливает от головы. Но всё же я пошёл к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошёл обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока».

А дальше в «Повести...» идёт глава «Близкий и далёкий» — одна из лучших глав. Вся книга создана на очень глубоком поэтическом дыхании, но эта глава почти целиком посвящена Блоку.

Ей предшествует эпиграф из Делакура: «Я видел, как ты сошёл в тесное жилище, где нет даже снов. И всё же я не могу поверить этому».

Не имея возможности привести здесь всю главу целиком, это заняло бы очень много места, выписываю её начало, где особенно хорошо сказано, что читали и — главное — как читали Блока Паустовский и его друзья: «На побережье долго стояли молчаливые дни. Море, как литое, тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берега прямо и пыльно пахли давно перезревшей и осыпавшейся лебедой. Изя Лившиц вспоминал стихи Блока:

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора...

В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на тёмной террасе. Ночной ветер потрескивал в ссохшихся листьях винограда.

Багрицкий сидел, поджав по-турецки ноги, на старом и плоском, как лепёшка, тюфяке. У него начинался приступ астмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном.

Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал в его больных бронхах.

Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его.

Багрицкий долго успокаивал самого себя и бормотал: «Сейчас пройдёт. Сейчас! Только не разговаривайте со мной». Потом он всё же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого постепенно начала утихать, и сквозь неё всё яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос.

Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это.

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?

И стихи и этот голос Багрицкого почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слёзы.

Снова вернулась тишина, тьма, непонятное мерцание звёзд, и опять из угла террасы слышался торжественный напев знакомых стихов:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо.
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, тоскую и люблю.

Так прошла вся ночь напролёт. Багрицкий читал, почти пел блоковские стихи о России, «Скифы», «Равенну», что спит «у сонной вечности в руках». Только ближе к рассвету он сам уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы, и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне.

«С трудом сдерживал слёзы...» Это о «Шагах Командора» — едва ли не самой трагической вещи Блока. Образное воплощение раздумий поэта о судьбе интеллигенции, она перекликается с известной статьёй, только сила чувств здесь значительно напряжённей, выводы ещё более исполнены трагических предчувствий. Лишь одно стихотворение, пожалуй, может поспорить с «Шагами» по глубине пессимистического настроения — имею в виду стихотворение «Я сегодня не помню, что было вчера...»

У Паустовского удивительно точное выражение: «стихи... почему-то казались мне непоправимо трагическими». Изумительно!

После этого эпизода с чтением стихов Блока Багрицким в «Повести...» идёт не менее замечательный рассказ Бабеля о встрече с великим поэтом, оценка Бабелем значения Блока для нашей литературы. И хотя рассказ ведётся от имени Бабеля, нельзя не заметить, что его мысли не только пересекаются с мыслями самого Паустовского, но выражают, формулируют их — и очень точно.

Вот первые слова Бабеля:

«— Ну что ж, сироты, — с горечью сказал Бабель, — что же теперь мы будем делать? Второго Блока мы не дождёмся, живи мы хоть двести лет».

Это — очень точная формулировка дум самого Паустовского: именно «сироты», именно «что же теперь нам делать, как жить» — «второго Блока не дождёмся», а без Блока — «зияющий провал», пустота, всё стало «непоправимо трагическим».

Характерна и такая фраза: «Я был лишён чувства зависти. Но всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго». Бабелю Паустовский завидовал. Каким же тот видел Блока?

«Он вовсе не падший ангел. И не воплощение изысканных чувств и размышлений. Это седеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый, человек. Он очень воспитан и потому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями... Красно-

та духа, такая, как у Блока, обойдётся без золочёных рам... У него даже в глазах была пророческая твёрдость. Он видел роковую судьбу старого мира. Семена гибели уже проросли. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неуютный, резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «Двенадцать». И он был, конечно, провидец. И в своих видениях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи.

Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую. Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем — розы, в разгар лета, в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зажечь на земле новые, небывалые розы. И он делает это:

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы
На белом, на лёгком снегу!

<...> если бы у меня было даже самое ничтожное воображение, то пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможна, всё, что сказал Блок хотя бы в этих четырёх строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы ко мне одной из своих скрытых и замечательных сторон. И в этом мире жил бы и пел свои стихи удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берёт нас, ничтожных и искалеченных «правильной» жизнью, за руку и выводит на песчаные дюны над северным морем, где — помните? — «закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок» и «руки одна заря закинула к другой». Там такая чистота воздуха, что отдалённый красный бакен — грубое и примитивное сооружение — горит в сумерках, как «драгоценный камень фероньеры».

«— Вот, — сказал Бабель, подумав, — Блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно, гигант! Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арф».

Если в этих словах Бабеля мы не услышим голоса самого Паустовского, если не почувствуем его поэтическое credo, особенно зрелого периода, то для нас многое останется непонятным в его творчестве.

Но так прочесть Блока в те годы могли только великие читатели. Для большинства он был «падший ангел» — певец «Прекрасной Дамы», запевший почему-то не своим голосом на частушечный лад песню о двенадцати солдатах, которым «на спину надо бубновый туз», да ещё осыпавший их каторжные фигуры образом Христа.

«Блок и Паустовский» — богатейшая тема для исследователя. Завидую тому, кто займётся ею: его ожидают интересные открытия и озарения. Ведь недаром на вопрос Горького: «А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь? Из современных поэтов», — Паустовский ответил: «Блоком. И Пастернаком». — «Богато живёте!» — заметил Горький.

И это было действительно так: в поэзии Блока и Пастернака сосредоточились основные «алмазные фонды» нашей тогдашней литературы, её поэтические «восьмитысячники». И Паустовский весь был пронизан светом их вершин, их поэзии.

«Да вы кто, — удивленно воскликнул Горький в разговоре с Паустовским, — прозаик или поэт?» И заключил, не дожидаясь ответа: «Пожалуй, поэт». Интересно и напутствие его молодому поэту, прозаику-поэту: «Валяйте! Живите так, как начали. Чёрт не выдаст, свинья не съест».

И Паустовский «жил, как начал»: не изменяясь. У него, у его творчества удивительная судьба: не изменяясь, он шёл по стопам романтики, от «блистающих облаков» до самого последнего рассказа. В самых простых, обыденных очерках и рассказах он оставался романтиком. Романтизм Паустовского — громадная и волнующая тема — тоже ожидает ещё своего исследователя.

О Пастернаке Паустовский пишет очень скупое, да это и понятно, если вспомнить, что в годы, когда писатель работал над «Повестью...», на имя Пастернака было наложено временем «табу». И всё же Паустовский не побоялся поставить его имя рядом с именем Блока, называя своих любимых поэтов, не побоялся дать цитату из его стихов и отзыв о них Горького («Точно сказано»).

До сих пор я умышленно обходил стороной Паустовского как читателя Пушкина и Лермонтова. Дело в том, что эта тема, пожалуй, самая трудная из всех, что касаются читательских интересов Паустовского. Он мог любить или не любить тех или иных поэтов, он мог стихи одного поэта предпочитать стихам другого, он мог, наконец, каждый свой шаг в жизни поверять поэзией Блока. Но Пушкин и Лермонтов так прочно вошли в душу Паустовского, что без них он вообще немислим. Он весь погружён в стихию их творчества, он мыслит их образами, живёт их идеями, одним дыханием дышит.

Вот и попробуй отделить Паустовского от его «вечных спутников» — Пушкина и Лермонтова! Да и не спутников даже, а святая святых его души.

Началось это ещё в раннем детстве, «когда нам были новы все впечатленья бытия». Восьмилетний Костик гостит у бабушки Викентии Ивановны. «Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне всё объясняла.

Религиозность удивительным образом уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Перценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича висели в её комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она во время погромов пряталась у себя революционеров-студентов и евреев».

А вот поездка в Смелу: «Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская (подруга тётки Паустовского. — И.И.) сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин был для меня существом

легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустьев».

— Рядом Каменка, бывшее имение Раевских, — пояснила Лиза Яворская. — Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

— Какие? — спросила тётка Надя.

— Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали...

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, — всё это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны».

Так, вместе с «праздником тихой и пустынной весны», вместе с Мицкевичем и рассказами бабушки, с её религиозностью и сочувствием передовым идеям в жизнь Паустовского, в душу его вошла поэзия Пушкина, певучая, хотя ещё и непонятная.

А затем произошла и встреча с поэзией Лермонтова. Характерно, что Лермонтов, как и Пушкин, вошёл в душу Паустовского через природу.

Это было во время поездки на Кавказ, жизни в Геленджике. Геленджик, в те времена пыльный и грязный, разочаровал Паустовского. Но вот Паустовские всей семьёй отправились в горы, на Михайловский перевал.

Дикая, почти не тронутая человеком природа, непроходимые чащи, бесконечные ручьи, потоки ледяной воды, насыщенный озоном воздух, громады гор и таинственные дольмены среди огромных валунов — всё это оставило в душе подростка неизгладимый след.

«С тех пор, — пишет Паустовский, — я сделался в своём воображении владельцем ещё одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем...

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о своих детских увлечениях. Они дали мне очень много».

Очень!

Вот зимой 1911 года он стоит в Третьяковской галерее возле врубелевского «Демона». «Она (картина. — И.И.) жила в зале галереи холодом прекрасного, величием человеческой тоски.

...Я вспоминал Лермонтова. Мне представлялось, как он, осторожно позванивая шпорами, входит в Третьяковскую галерею. Входит, ловко скинув внизу, в вестибюле, серую шинель на руки швейцару, и потом долго стоит перед «Демоном» и разглядывает его сумрачными глазами.

Это он написал о себе горькие слова: «Как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я». Но, боже мой, как он ошибался! И как нужен миру этот мгновенный пламень падучих звёзд! Потому что не единым хлебом жив человек.

Он считал себя пленником земли. Он растратил жар души в пустыне. Но пустыня расцвела после этого и наполнилась его поэтической силой, его гневом, тоской, его постижением счастья. Ведь это он застенчиво признался: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой». И кто знает, может быть, острый и режущий воздух горных вершин, забрызганных кровью демона, наполнен очень слабым, очень отдалённым запахом этого приветливого лесного цветка. А он, Лермонтов, как и этот поверженный демон, — просто ребёнок, не получивший от жизни того, к чему он страстно стремился: свободы, справедливости и любви».

Это сказано очень горько и очень лично. Так написать может только тот, кто всем существом своим чувствует слово и мысль поэта, в кого поэзия вошла органично и навсегда. Счастлив поэт, нашедший такого читателя, счастлив читатель, умеющий так глубоко проникнуться думами и чувствами поэта!

О стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» Паустовский сказал: «Я давно считал, что нет ничего более гениального в русской поэзии, чем эти лермонтовские стихи».

О Пушкине Паустовский говорит сдержаннее, строже. Но за этой сдержанностью чувствуется всё та же личная нота сопричастности к «жизни творчески-прекрасной».

Вот он описывает уроки литературы в гимназии, которые вёл Селиханович. «Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира и чувством прекрасного, — жизни Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рыльева, Чехова... и ещё многих лучших людей человечества. Это наполняло нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства».

По окончании гимназии Паустовский поселился «у бабушки на зелёной окраине Киева, Лукьяновке... Бабушка... сердилась... говорила, что я провожу время без всякого «сенсу», иначе говоря — без смысла... Но что могла поделаться бабушка с моими новыми друзьями? Что могла возразить бабушка Пушкину или Гейне, Фету или Леконтю де Лилю, Диккенсу или Лермонтову?»

Это имена тех, чья поэзия, овевая прелестью ночей киевской ранней осени и ароматами бабушкиного сада, сливалась с душой юноши, стоящего на пороге лучезарной, как ему казалось, жизни. Среди этих друзей имя Пушкина названо первым.

Первым осталось оно и на всю его последующую жизнь. Осталась поэзия, остались слова, полные красоты. А в красоте, по мнению Паустовского, залог торжества правды и справедливости, залог светлого грядущего: «Они не умирали, все эти слова, все эти напевы, начиная от Жуковского и Пушкина. Они жили среди голода, болезней, перестрелок, среди энтузиазма, казней, самопожертвования, гнева, невообразимой нищеты и непоколебимой веры в будущее и утверждали для меня простую

истину, что сердце советского народа не повреждено и народ этот не может быть уничтожен ни физически, ни морально...»

Не могла пройти мимо пристального внимания Паустовского и поэзия Ивана Бунина с его острым чувством родины. Вот что он сам говорит об этом: «С юных лет я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к России и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой, за зоркость, за ясное бунинское ощущение, что счастье находится всюду и дано только знающим. Уже в то время Бунин был для меня классиком. Я знал наизусть многие его стихи и даже отдельные отрывки из прозы. Но выше всего по горечи, по страданию, по безошибочному языку я считал маленький рассказ — всего в две-три страницы — под названием «Илья Пророк».

...Много лет спустя я прочёл «Жизнь Арсеньева». Некоторые главы этой книги стали для меня чем-то более высоким, чем самая совершенная поэзия и проза. Особенно то место, где Бунин говорит о костях своей матери, зарытых в глинистой и холодной елецкой земле, о неизбежной потере единственно любимых людей, об отчаянии этой любви и бедном сердце, тяжело бьющемся в пустоте жизни. Он знал простые слова, разрывающие наше сердце:

Плакала ночью вдова:
Нежно любила ребёнка, но умер ребёнок.
Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,
Звёзды светили, и плакал в закуте козлёнок.

Плакала мать по ночам.
Плачущий ночью к слезам побуждает другого:
Звёзды слезами текут с небосклона ночного,
Плачет Господь, рукава прижимая к очам».

Любовь Паустовского к Бунину была так велика и так скромна, что однажды, когда Бунин вошёл в редакцию газеты «Современное слово», где в то время сотрудничал Паустовский, он побоялся сказать при Бунине хотя бы слово. «Мне было просто страшно. Я опустил голову, слушая его глухой голос, и только изредка взглядывал на него, не решаясь встретиться с ним глазами». А по уходе Бунина он не мог работать, править безграмотные записки одесских репортёров, ушёл бродить по городу, раздумывая о своей жизни.

Не каждый читатель умеет так переживать встречу с любимым писателем.

Впоследствии он выступит на вечере памяти Бунина с прочувствованной речью, напишет о нём строки, едва ли не самые значительные из всего, что было написано у нас о большом поэте.

Интересно, что Бунин также ценил талант Паустовского. Прочитав его «Корчму на Брагинке», он написал Константину Георгиевичу восторженное письмо, а это спокойному и холодноватому Бунину было совершенно несвойственно.



ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ ПАУСТОВСКОГО

АФАНАСИЙ ФЕТ

Я мог без конца повторять отдельно любимые его строфы...

К.Паустовский

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснётся» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов.

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитья вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Золотая роза
(Молния) 1955–1964*

* * *

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов;

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитья вдруг неведомым, родным,

Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец, —
Вот чем певец лишь избранный владеет!
Вот в чём его и признак, и венец!¹

28 окт. 1887

Москва

Спускаясь по шоссе, Швейцер внезапно открыл, что, пожалуй, со времени поездки в Михайловское его жизнь стала как-то украшена, полна. За несколько недель он испытал больше, чем за многие годы. Впереди его ждут немногие радости, детские надежды, разочарования, но никогда больше не будет пустых, скучных дней. Никогда!

Он вспомнил о своих годах, о седине. Ну что же! Об этом сказано давно, и сказано превосходно. Он вслух прочёл несколько строк из любимых стихов:

Всё, всё моё, что есть и прежде было, —
В мечтах и снах нет времени оков.
Блаженных грёз душа не поделила —
Нет старческих и юношеских снов.

Зади гулко запел автомобильный рожок...

Машина вынырнула из-под деревьев только через несколько минут. Шофёр круто затормозил, открыл Швейцеру дверцу и сказал:

— Вам записка.

Швейцер развернул её. Татьяна Андреевна писала, что остаётся в больнице, и просила Швейцера прислать её чемодан.

¹ Стихи поэта приводятся по изданиям: Фет А.А. Вечерние огни /Отв. ред. Д.Д.Благой. — М.: Наука, 1971. — 800 с. — (Серия: «Литературные памятники»); Фет А.А. Соловьиное эхо: повесть Н.П.Суховой о жизни и творчестве А.А.Фета и избранные стихотворения поэта /Сост., примеч. Н.П.Суховой; Рис. Л.Д.Бирюкова. — М.: Дет. лит., 2005. — 206 с.: ил.

Записка кончалась словами: «Спасибо за всё, но, если можно, не приезжайте дня два».

ПАУСТОВСКИЙ К. *Дым отечества*
(Часть первая) 1944

* * *

**Всё, всё моё, что есть и прежде было,
В мечтах и снах нет времени оков;
Блаженных грёз душа не поделила:
Нет старческих и юношеских снов.**

За рубежом вседневного удела
Хотя на миг отраднo и светло;
Пока душа кипит в горниле тела,
Она летит, куда несёт крыло.

Не говори о счастье, о свободе
Там, где царит железная судьба.
Сюда! сюда! не рабство здесь природе —
Она сама здесь верная раба.

17 июля 1887

Прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего толком не сделано. Всё написанное — только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но ещё ни разу ему не удалось передать тот лёгкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.

<...> В избу вбежала Феня — дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С её волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, всё кончилось, и он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолётных капель.

А Фет распевал в своих стихах: «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук хватает на лету и закрепляет вдруг и тёмный бред души, и трав неясный запах...».

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как подёнщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Повесть о лесах*
(Скритичие половицы) 1948

* * *

Как беден наш язык! — Хочу и не могу. —
Не передать того ни другу ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною.
Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.

**Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И тёмный бред души и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,**

Летит за облака Юпитера орёл,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

11 июня 1887

Дожди в Батуме могли длиться неделями...

Всё-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнувший кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый, низкий свет и зажжённые днём лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется особенно уютным, помогает читать, а то даже вспоминать стихи.

<...> Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролёт в моей комнате-редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру, голодные, но счастливые.

<...> мы читали... стихи — ясные и светлые, как возвращённое солнце:

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днём и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

Ещё темнее мрак ночи вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Мерцают звёзд золотые ресницы...

Я всегда любил стихи, но никогда ещё они не входили в жизнь с такой естественностью, как тогда в Батуме.

Стихи теряли свою словесную сущность и становились такими же явлениями жизни, как дождь, человеческие голоса, крики измученных ночными дождями ишаков, как рождение и смерть.

Все эти «стихотворные» ночи сопровождал немолчный гомон дождя, а изредка и шум морских волн, проникавших в порт.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Бросок на юг*
(Весёлый попутчик) 1959–1960

* * *

*Die Gleichmässigkeit des
Laufes der Zeit in allen Köpfen
beweist mehr, als irgend etwas,
dass wir Alle in denselben Traum
versenkt sind, ja dass es Ein
Wesen ist, welches ihn träumt.¹*

Shopenhauer

I

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днём и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

¹ Из книги Шопенгауэра «Parerga und Paralipomena». «Равномерность движения времени во всех головах доказывает больше, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон, что все, видящие этот сон, являются единым существом» (нем.).

Ещё темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность,
И пламя твоё узнаю, солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мироздания курится,
В его дыму, как в творческих грёзах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

И всё, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный,
Твой только отблеск, о солнце мира!
И только сон, только сон мимолётный.

И этих грёз в мировом дуновенье,
Как дым, несусь я и таю невольно;
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.

II

В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милый,
И в звёздном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

Трава поблекла, пустыня угрюма,
И сон сиротлив одинокой гробницы,
И только в небе, как вечная дума,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И снится мне, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела,
И снится, снится, мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

1864

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса... Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чём бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь, в этих четырёх стенах, но прорывается во вселенную.

<...> Пока я ещё и сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне, как волнение, как желание передать другим всё то, что наполняет мой разум, моё сердце, всё моё существо. Мысль живёт во мне, но во что она выльется, какие найдёт пути для своего выражения, мне неясно ещё самому...

<...> Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты, — сказал Тургенев, — недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но

«только песня зреет», прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать, — ещё не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют «приближением бога». Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок всё то, что носится в голове, когда приходится излагать всё это на бумаге, — тут-то и начинается мучение».

ПАУСТОВСКИЙ К. Золотая роза
(Животворящее начало) 1955–1964

* * *

Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, — но только песня зреет.

1843

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить её силу и степень её совершенства, чтобы почувствовать её дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создаёт бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в заветной лире мой прах переживёт и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много других таких же высказываний писателей, поэтов, художников и учёных всех времён и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

ПАУСТОВСКИЙ К. Золотая роза
(Словари) 1955–1964

ПОЭТАМ

Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи, и руки воздеты,
Здесь на коленях я снова невольню,
Как и бывало, пред вами, поэты.

В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья,
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.

Только у вас мимолётные грёзы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.

С торжищ житейских, бесцветных и душевных,
Видеть так радостно тонкие краски,
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки.

5 июня 1890
Воробьёвка

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озёра.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе. —
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

С этим временем у меня была связана первая влюблённость — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, — застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнажённое ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — всё это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

ПАУСТОВСКИЙ К. Золотая роза
(Цветы из стружек) 1955–1964

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа;
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа.

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе. —
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вот оно, как дым.
За ним! за ним! воздушною дорогой...
И в вечность улетим!

<1870>

Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что он хочет поскорее уйти из ресторана.

Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шёл он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.

Ядов показал мне тростью на гряде облаков и неожиданно оказал:

И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака...

Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.

— Это Фет, — сказал он. — Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить всерьёз, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач.

ПАУСТОВСКИЙ К. Время больших ожиданий
(Полотняные удостоверения) 1958

* * *

Как здесь свежо под липою густою —
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.

А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колбясь, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.

За мглой ветвей синенют неба своды,
Как дымкою подёрнуты слегка,
И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

1854

ФЁДОР ТЮТЧЕВ

— Вот вам Москва, — радостно сказал Семёнов. — Есть в этом городе великая правда. Здесь, в Москве, чувствуется вся хлебная Россия, крепкий запах берёз, бескрайность и сиротство нас, русских. К Москве, как и ко всей стране, я чувствую свою сыновность, как к старенькой няньке. Помню, во Франции я жил в маленьком бретонском городке. Как-то утром я проснулся и в зелёном тумане увидел тяжёлый океан. Я испугался, и у меня была одна мысль — скорее уехать домой в Россию, в осень, в лесные поляны, заросшие вереском и дикой гвоздикой.

Мы медленно шли обратно. У заставы зашли в трактир Гусева. Внизу гудели извозчики. Наверху, в «дворянских комнатах», гремела машина...

Дребезжали стёкла. Напрягая голос, я рассказал Семёнову о книге, которую пишу. Называться она будет просто — «Жизнь».

Жизнь каждого — безвестного и великого, безграмотного и утончённого — всегда таит саднящую тоску о другом, более радостном существовании. Так рождается тоска по стране обетованной, грёзы поэтов, системы философов, переливающееся из одной эпохи в другую томление по недостижимым краям. «О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, о, как ты бьёшься на пороге как бы двойного бытия!..»

ПАУСТОВСКИЙ К. *Рамантики*
(Вот она, Москва!) 1916–1923

* * *

**О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..**

Так, ты — жилища двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пушай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.¹

1855

В 1827 году Кипренский вновь уехал в Рим. Ему всё казалось, что в Риме вернётся былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван.

В Риме Кипренский скучал...

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Работа быстро утомляла его, а без неё не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджо и Микеланджело для богатых иностранцев. Он часто писал по за-

казу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умирание художника. «Всё тот же тёплый ветер верхи дерев колышет, всё тот же запах роз, и это всё — есть смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его окликали.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Орест Кипренский*
1936

MAL'ARIA²

Люблю сей Божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всём разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима.
Всё та ж высокая, безоблачная твердь,
Всё та же грудь твоя легко и сладко дышит,
Всё тот же тёплый ветр верхи дерев колышет,
Всё тот же запах роз, и это всё есть Смерть!..

Как ведать, может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,
Предвестники для нас последнего часа
И усладители последней нашей муки.
И ими-то Судеб посланник роковой,
Когда сынов Земли из жизни вызывает,
Как тканью лёгкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!

1830

«Каждая осень может быть последней в жизни», — говорил я себе и старался не вспоминать огорчённое лицо редактора, напрасно дожидавшегося моего рассказа в шумной и асфальтовой Москве.

Осенняя печаль. Говорят, она вызывает желание писать, но случилось совсем иначе. Я бродил по лесам и с невыразимым наслаждением вспоминал всё, уже написанное другими об осени. Я вспоминал Пушкина... и Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...» и ещё много других прекрасных стихов, и мне казалось, что все они написаны об осени в тех местах, где я жил, — около села Солотчи, в Мещёрском крае, к северу от Рязани.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Предательская осень*
(Вместо предисловия) 1936

¹ Стихи публикуются по изданию, приуроченному к 175-летию со дня рождения поэта: Тютчев Ф.И. Стихотворения и письма / Вступ. ст., сост., примеч. Е.Н.Лебедева; Худож. Ф.Домогацкий. — М.: Современник, 1978. — 415 с.: ил. — (Классическая б-ка «Современника»).

² Заражённый воздух (*итал.*).

Я был тогда уверен (да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим), что из всех осенних времён, пережитых мной, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на Фонтанах с их опустевшими садами, но и в самом городе.

<...> По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, ещё погружённых в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкой, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробегал, крадучись, через степные бахчи, наполняясь сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбацких лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры.

Всё это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, — освежающий и чистый...

<...> Я назвал одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово ещё в юности («лучезарные вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.

Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный, бестрепетный, всё озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.

Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но ещё и оттого, что солнце шло над горизонтом всё ниже, свет его постепенно терял силу и окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Время больших ожиданий*
(«Прощай, моя Одесса, славный Карантин!») 1958

* * *

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...

22 августа 1857

Вскоре я уехал из Ливен, но эти несколько дней весны я долго не мог забыть. Есть такое слово «светлость». Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осенних вечеров...» Все дни в Ливнах были наполнены этой светлостью, как солнцем.

<...> Алексей Дмитриевич скупно и странно рассказывал мне о Кара-Бугазе. В его рассказе действительность была спутана с лёгким бредом. Но это,

пожалуй, только усиливало мой интерес к этому неведомому месту...

<...> Так впервые в тихом провинциальном доме, где застенчиво цвёл на окнах бальзамин, родилась мысль о книге, целиком взятой из реальной и суровой, даже жестокой жизни. Я начал много думать об этой книге и готовиться к поездке на Мангышлак и в Кара-Бугаз.

А когда через три года мне удалось совершить эту поездку и начать писать книгу, я второй раз приехал в Ливны...

<...> Мне легче было писать о Кара-Бугазе в дремоте старого дома, под непрерывную переключку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку, поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам нежаркое и безопасное солнце.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Книга скитаний*
(*Девонский известняк*) 1963

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, лёгкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землёю,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветер порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всём
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовём
Божественной стыдливостью страданья.

1830

Труднее, всего, пожалуй, привыкнуть к стремительному движению времени... Давно ли мы, шумные юнцы, делали первые неуверенные шаги — выражаясь несколько старомодно — на литературном поприще?..

И вот настал день, когда те из моих сверстников по литературному ремеслу, кому посчастливилось дожить до наших дней, достигли такого почтенного возраста, что их сажают за литературный стол в качестве свадебных генералов. Некоторым из них эта роль до того пришлась по душе, что они охотнее занимают место в различных президиумах, чем за письменным столом.

<...> Пуще всего мы, «почтенные» писатели, должны остерегаться старческого брюзжания. Об этом очень хорошо сказал Тютчев:

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять,
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —
Спаси тогда нас, добрый гений.
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства загаённой злости
На обновляющийся мир,

Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознания,
Что нас поток уж не несёт
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперёд.

<...> Они, молодые писатели, должны доделать
то, чего мы не успели...

За ними, за молодыми писателями, сегодня слово.

ПАУСТОВСКИЙ К.
Будущее нашей литературы
1967

* * *

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаённой злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознания,
Что нас поток уж не несёт
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперёд;

Ото всего, что тем зазорней,
Чем глубже крылось с давних пор, —
И старческой любви позорней
Сварливый старческий зазор.

Начало сентября 1866

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

В Брянске я заехал к своим часа на два и тотчас же уехал в монастырь. Белые берега, верстах в двадцати от города, в лесах. Сутки прожил в монастырской гостинице. Была там тишина, лес, бродили монахи, под окнами моей комнаты поблескивала лесная, быстрая речушка, на столе стоял букет полевых цветов, синих и белых. Я так много думал о тебе. Читал Северянина. «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твоё...»

Я стал немного иным. Полусознательно, пока я ехал в Москву в пыльных вагонах, днём и ночью шёл во мне какой-то внутренний процесс, который завершился в то утро, когда я приехал в Москву.

Лежала Москва вся в туманах, в дождливой мгле. Когда я ехал по Бородинскому мосту, словно марево взглянула на меня застава, потянулся Арбат, Смоленский рынок, Кудрино — и всё это было уже моим, родным и близким. И простой, широкой и свободной показалась мне моя любовь, словно я видел те радости и страдания, на которые она обречена. Странно, по-моему, даже загадочно встретились наши жизни. Я увидел тебя, в начале такую недостижимо далёкую, озарённую, и я — бродяга, нищий, поэт с непонятной мне самому душой — полюбил тебя так чисто, так глубоко и больно, что даже если пройдёт любовь, пройдёт её опьянёность, то останется на всю-всю жизнь жгучий след, дающий какую-то горькую сладость.

ПАУСТОВСКИЙ К. Из письма к Е.С. Загорской
из г. Ходынка (лагерь) 23.05.15 г.

Сила жизни такова, что переламинает самых фальшивых людей, если в них живёт хотя бы капля поэзии. А в Северянине был её непочатый край. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его зазвучал человечнее. В стихи его вошли чистый

воздух наших полей, «ветер над раздольем нив», а изысканность сменилась лирической простотой: «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твоё».

ПАУСТОВСКИЙ К. Беспокойная юность
(Медная линия) 1954

К ЧЕРТЕ ЧЕРТА

Какою нежностью неизъяснимою, какой
сердечностью

Осветозарено и олазорено лицо твоё.

Лицо незримое, отождествлённое всечертно
с Вечностью,

Твоё — но чьё?

В вагоне поезда, на каждой улице и в сновидении,
В театре ль, в роще ли — везде приложится
к черте черта,

Неуловима, но ошутима, — черта-мгновение,
Черта-мечта!

И больно-сладостно, и внешне-радостно! Жить —
изумительно.

Чудесно всё-таки! Ах, сразу нескольких — одну
любить!

Невоплощённая! Невоплотимая! Тебя пленительно
Ждать — это жить!¹

ноябрь 1914

Весенняя тишина стояла между взрывами —
сырая, чёрная, печальная.

Я чувствовал тугую неприятную усталость.
Ворочаясь под шинелью, я услышал, как Козловский радовался и пел вполголоса «Голубое письмо» Северянина:

¹ Северянин Игорь. Стихотворения /Сост., вступ. ст., примеч. В.А. Кошелева. — М.: Сов. Россия, 1988. — 464 с. — (Поэтическая Россия).

«И веют жасмины, и реют гобои, И реют гобои,
и льётся луна».

ПАУСТОВСКИЙ К. Романтики
(Панна Гелена) 1916–1923

ПОЭЗА ОТКАЗА

Она мне прислала письмо голубое,
Письмо голубое прислала она.
**И веют жасмины, и реют гобои,
И реют гобои, и льётся луна.**

О чём она пишет? Что в сердце колышет?
Что в сердце колышет усталом моём?
К себе призывает! — а больше не пишет,
А больше не пишет она ни о чём...

Но я не поеду ни завтра, ни в среду,
Ни завтра, ни в среду ответ не пошлю.
Я ей не отвечаю, я к ней не поеду, —
Она опоздала: другую люблю!

июнь 1915

Через несколько дней я освободился вечером от
работы и поехал в Политехнический музей на по-
эзо-концерт Игоря Северянина.

«Каково же было моё удивление», как писали
старомодные литераторы, когда на эстраду вышел
мой пассажир в чёрном сюртуке, прислонился к сте-
не и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут
восторженные выкрики и аплодисменты.

К его ногам бросали цветы — тёмные розы. Но
он стоял всё так же неподвижно и не поднял ни од-
ного цветка. Потом он сделал шаг вперёд, зал за-
тих, и я услышал чуть картавое пение очень салон-
ных и музыкальных стихов:

Шампанское — в лилию, в шампанское — лилию!
Её целомудрием святее оно!
Миньон с Эскамилло, Миньон с Эскамилло!
Шампанское в лилии — святое вино!

В этом была своя магия, в этом пении стихов,
где мелодия извлекалась из слов, не имеющих смыс-
ла. Язык существовал только как музыка. Больше
от него ничего не требовалось. Человеческая мысль
превращалась в поблескивание стекляруса, шурша-
ние надушенного шёлка, в страусовые перья вееров
и пену шампанского.

ПАУСТОВСКИЙ К. *Беспокойная юность*
(Медная линия) 1954

ШАМПАНСКИЙ ПОЛОНЕЗ

**Шампанского в лилию! Шампанского в лилию! —
Её целомудрием святее оно.
Mignon с Escamillio! Mignon с Escamillio!..
Шампанское в лилии — святое вино.**

Шампанское, в лилии журчащее, искристо —
Вино, упоённое бокалом цветка.
Я славлю восторженно Христа и Антихриста
Душой, обождённо восторгом глотка!

Голубку и ястреба! Ригсдаг и Бастилию
Кокотку и схимника! Порывность и сон!

В шампанское лилию! Шампанского в лилию!
В морях Дисгармонии — маяк Унисон!
1912, октябрь

...Было дико и странно слышать эти слова в те
дни, когда тысячи русских крестьян лежали в зали-
тых дождями окопах и отбивали сосредоточенным
винтовочным огнём продвижение немецкой армии.
А в это время бывший реалист из Череповца, Лота-
рев, он же «гений» Игорь Северянин, выпевал, грас-
сируя, стихи о будущем тоскующей Нелли.

Потом он спохватился и начал петь жеманные
стихи о войне, о том, что, если погибнет последний
русский полководец, придёт очередь и для него,
Северянина, и тогда «ваш нежный, ваш единствен-
ный, я поведу вас на Берлин».

ПАУСТОВСКИЙ К. *Беспокойная юность*
(Медная линия) 1954

ЭПИЛОГ

1.

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоён:
Я повсеградно озкранен!
Я повсесердно утверждён!

От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провёл.
Я покорию литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Я — год назад² — сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — мечь.

«Я одинок в своей задаче!» —
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.

Нас стало четверо³, но сила
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.

Она росла в своём единстве,
Самодержавна и горда, —
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатёр орда...

От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот,⁴
У каждого в плече заноза, —
Зане⁵, болезни вечный взлёт.

Я их приветил: я умею
Приветить всё, — божий, Привет!

¹ Mignon — персонаж оперы А.Тома «Миньон». Escamillio — персонаж оперы Ж.Бизе «Кармен».

² В 1911 году Северянин провозгласил в поэзии новое течение, названное им «эгофутуризмом».

³ Эгофутуризм И.Северянина приняли Г.Иванов, Грааль-Арельский (С.Петров) и К.Олимпов.

⁴ Г.Иванов и Грааль-Арельский вскоре присоединились к груп-
пе акмеистов.

⁵ Ибо, так же.

Лети, голубка, смело к змею!
Змея, обвей орла в ответ!

2.

Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным на удачу
Завоевателя порыв.

Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли стряхиваю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.

Схожу насмешливо с престола
И ныне, светлый пилигрим,
Иду в застенчивые доли,
Презрев ошеломлённый Рим.

Я изнемог от лстивой свиты,
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.

Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечётся в примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!

Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдёт, как солнце,
Моя вселенская душа!

октябрь 1912

НЭЛЛИ

Константину Олипову

В будуаре тоскующей нарумяненной Нэлли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де-Кок,
Где брюссельское кружево... на платке и фланели! —
На кушетке загрезился молодой педагог.

Познакомился в опере, и влюбился, как юнкер.
Он готов осупружиться, он решился на всё.
Перед нею он держится, точно мальчик, на струнке,
С нею в парке катается и играет в серсо.

Он читает ей Шницлера, посвящает в кокстэбли,
Восхвалив авиацию, осуждая Китай.
И, в ревнивом неверии, тайно метит в констэбли...
Нэлли нехотя слушает, — «лучше ты покатай».

«Философия похоти!..» Нэлли думает едко:
«Я в любви разуверилась, господин педагог...»

О, когда бы на “Блерио” поместилась кушетка!
Интродукция — Гауптман, а финал — Поль де-Кок!!
1911

В Брюсселе я убедился, что привычка вспоми-
нать стихи с годами у меня не прошла. В Брюсселе
я часто повторял прочитанные ещё в 1914 году сти-
хи Северянина:

О, Бельгия, ты светозарна!
Твоих городов карусель
Под строки Эмиля Верхарна
Кружит, кружевея, Брюссель.

Но перед нами Брюссель промелькнул отнюдь
не в светозарном, а в несколько туманном простран-
стве. И я понял, что этот туман и есть постоянный
воздух Фландрии. Может быть, поэтому особенно
яркими, будто только что вынутыми из прозрачной
воды, представлялись цветы в корзинах у цветоч-
ниц и в брюссельских садах...

...В кафе, куда я зашёл, медленно танцевала с
мальчиком тончайшая девушка с синими фламандс-
кими глазами.

На стене кафе висело скромное объявление. Оно
извещало посетителей, что в этом кафе бывали Вер-
харн, Ван Гог, писатель Роденбах — певец умираю-
щих фламандских городов — и великий и туман-
ный Метерлинк — создатель «Синий птицы».

И снова мне вспомнились слова из полузабы-
тых стихов:

О, Бельгия, синяя птица
С глазами принцессы Мадлен...

Наутро мы вылетели из Брюсселя в Москву.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Итальянские записи
1962*

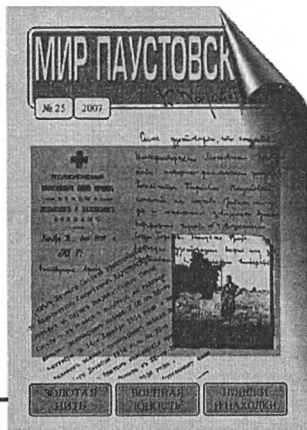
ПОЭЗА О БЕЛЬГИИ

Кто знает? — ты явь или призрак?
Ты будешь ли? есть ли? была ль?
Но лик твой прекрасный нам близок,
В котором восторг и печаль...

**Волшебница! ты — златодарна!
Твоих городов карусель,
Под строфы Эмиля Верхарна
Кружа, кружевеет Брюссель.**

Не верим — не можем! не смеем! —
Что в брызгах снарядовых пен
Смертельно-ужаленный змеем
Сгорел бирюзовый Лювэн...

Составитель Илья КОМАРОВ



ИССЛЕДОВАНИЯ

Леонид КРЕМЕНЦОВ

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ ПОИСКА

Творческая индивидуальность Паустовского складывалась медленно. Раз найденный принцип или приём подвергались многократным повторным испытаниям. Но возвращение происходило на новом — неизменно — уровне.

Между первым напечатанным рассказом — 1912 год — и выходом в свет «Кара-Бугаза», книги, принесшей Паустовскому широкую известность, прошло двадцать лет. Это были годы огромного напряжённого труда. «Горьковские университеты» не приостановили творческой деятельности писателя. Но из написанных в это время увидели свет очень немногие произведения. «В течение 12 лет, примерно с 1914 по 1924 годы, я писал, но сознательно не печатался, считая, что ещё рано. Всё написанное за эти двенадцать лет я отложил в сторону, забыл и начал писать сначала. Длительная лабораторная работа научила овладевать материалом и выработала в известной мере чувство языка...»

Из этих слов делался иногда неверный вывод, что сам писатель не принимал всерьёз свои произведения, напечатанные до «Кара-Бугаза», что рассказы, вошедшие в сборники «Морские наброски» (1925), «Минетоза» (1927), «Встречные корабли» (1928), романы «Блестящие облака» (1929), «Романтики» (1916–1923) — все это своего рода учебный полигон, на котором оттачивалось мастерство, вырабатывался стиль, что самостоятельной художественной ценности они не имеют. На литературном пути писателя эти произведения — что-то вроде «Ганца Кюхельгартена» в судьбе Н.В.Гоголя или сборника «Мечты и звуки» в судьбе Н.А.Некрасова.

Правомерно ли такое суждение? Прежде всего оно опровергается оглавлением прижизненного пер-

вого собрания сочинений, в отборе произведений для которого Паустовский проявил высокую требовательность. Из написанного до «Кара-Бугаза» сюда вошли оба романа и ряд рассказов из названных сборников. В заметке «Несколько отрывочных мыслей», открывающей это собрание сочинений, писатель заявил: «Первой моей «настоящей» книгой был сборник «Встречные корабли» (1928)».

После выхода этой книги пройдёт семь лет. Паустовский станет автором ряда многих известных произведений, но первый раздел очередного сборника рассказов и повестей, который выйдет в свет в 1935 году, составят в основном произведения из «Встречных кораблей», куда они попали — этого нельзя забывать — со страниц журналов и газет первой половины двадцатых годов.

Систематическая публикация написанного в период с 1914 по 1924 год началась с 1926 года, причём основное произведение этого времени — «Романтики» — дождалось своей очереди только в 1935-м. Правда, опубликованные произведения так и остались лишь незначительной долей написанного за то время. Но напечатанное не нуждается ни в каких скидках.

Критика упоминала произведения, созданные до «Кара-Бугаза», главным образом для того, чтобы на их фоне подчеркнуть успехи Паустовского в тридцатые годы. Такое отношение к ним, за редким исключением, сохранилось и по сию пору. Распространено убеждение, что выход «Кара-Бугаза» собственно и означает начало творческого пути писателя. Нет слов — эта книга получила такую прессу, о которой её автор в двадцатые годы мог только мечтать. Это — действительно — значительное произведение. И всё же 1932 год — год появления «Кара-Бугаза» — рубеж не столько в творчестве Паустовского, сколько в отношении к нему.

Внимательное чтение ранних произведений писателя приводит

МП:

Леонид Павлович Кременцов — доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета, специалист по русской литературе XIX и XX веков,

член редколлегии журнала «Мир Паустовского». Его перу принадлежит «Книга о Паустовском. Очерки творчества» (Москва, «Московские учебники», 2002), фрагменты из которой мы публикуем.

к выводу о необходимости пересмотреть утвердившуюся оценку как их самих, так и их места в наследии художника.

1

Опубликовав в 1912–1913 годах свои первые рассказы, Паустовский приходит затем, как известно, к выводу, определившему его дальнейшую судьбу: «В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краёв».

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушёл в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми».

С 1917 года Паустовский — журналист. Теперь скитания для него — и склонность души, и «производственная необходимость». В сентябре этого года в еженедельнике «Народный вестник» печатаются его очерк «Лейтенант Шмидт» и статья «Искусство и революция».

Привязанности и симпатии Паустовского, воспитанного на демократических традициях, определились ещё в юности. События помогли выбрать правильный путь. «Народ учится ходить, делает первые, неуверенные шаги, и единственное, что нужно сейчас, — это только поддержать его, идти к нему, говорить простые, понятные слова о его жизни и счастье, его доле и будущем, помочь ему найти самого себя», — писал он за полтора месяца до октябрьских событий 1917 года, утверждая, что золотой век искусства не позади, а впереди, что «своими образами, выплавленными на революционном огне, своими порывами, созданием новых ценностей» искусство поможет человеку решить задачу «по творчеству самого себя, самой жизни во всём её целом, жизни трепетной, одухотворённой, прекрасной». Теперь, — считал молодой писатель, — «под знаком красоты должна быть создана вся, даже будничная, повседневная человеческая жизнь».

Нельзя не согласиться с литератором А.Ионовым, который указывает на переключку этих мыслей Паустовского из статьи «Искусство и революция» (1917) с положениями известной статьи Александра Блока «Интеллигенция и революция».

В это время Паустовский уже работал над первым крупным произведением «Романтики», где в меру тогдашнего мастерства и таланта пытался реализовать свои принципы.

Октябрьский переворот писатель встретил в Москве, «стал свидетелем многих событий 1917–1919 годов... жил напряжённой жизнью газетных редакций».

Следующие пять лет снова прошли в скитаниях: Киев, Одесса, Сухум, Батум, Тифлис, Армения, Персия — и только в 1923 году снова Москва. В это время Паустовский печатался (имеются в виду художественные произведения) мало. С трепетным уважением ещё с юности относился он к литературе, необыкновенно высоко ценил её роль в жизни общества и человека. Отсюда высо-

кая требовательность к себе, неудовлетворённость написанным. К тому же только с начала тридцатых годов писатель смог целиком посвятить себя художественному творчеству. Может быть поэтому он фактически не участвовал в литературных боях двадцатых годов и не примыкал ни к одной из многочисленных противоборствующих литературных группировок.

Труден будет путь художника, сложна его творческая эволюция. Не сразу найдёт он нужные художественные принципы, приёмы, краски. Но надёжной поддержкой, опорой всегда будет ему оптимистическое убеждение, выстраданное в молодости: «Жизнь человека станет величайшей ценностью, красотой, отражением сокровенной мудрости».

Первая книжка писателя — «Морские наброски» — появилась в 1925 году.

В неё вошли рассказы и очерки, частично опубликованные ранее в одесской газете «Моряк» и в московском журнале «Рупор», который был приложением к газете «На вахте». В те годы в них сотрудничали В.Гиляровский, Вс. Иванов, Р.Кармен, Д.Лухманов.

Произведения Паустовского двадцатых годов — это очерки и рассказы, созданные на материале богатого жизненного опыта писателя, путевые заметки, истории «бывалых людей» и т.п. Романтическая настроенность в них ощущается в тяготении к необычным, ярким характерам. Экзотические элементы встречаются редко, как исключение. На них нет никакого налёта книжности. Они тесно связаны с действительностью, отражают её пафос.

В известной мере противостоят им «экзотические» рассказы: «Белые облака», «Лихорадка», «Жара» и другие. Их немного, но они важны для понимания природы художественного таланта писателя и характера его творческой эволюции. На её новом этапе, в двадцатые годы, вновь обнаружилось противоборство двух начал, впервые заявившее о себе в самом раннем творчестве Паустовского. Пройдёт ещё немало времени, пока они образуют в книгах писателя гармоническое единство.

2

Уже в конце творческого пути, став автором книг о Левитане, Кипренском, Шевченко, Лермонтове, рассказов и очерков, посвящённых Чайковскому, Пушкину, Чехову и многим другим, Паустовский признался: «Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей». Добавить к сказанному писателем следует только одно — необязательно ставших знаменитыми.

Рассказ «Слава боцмана Миронова», написанный в 1921 году, рисует образ человека, поразившего воображение писателя. Редакция газеты «Моряк» получила задание — сообщить сведения о русских пароходах, уведённых интервентами за границу. Сотрудники встали в тупик, и тогда появился боцман Миронов: «Три дня с утра до вечера он, дымя папиросами, диктовал список всех судов русского торгового флота, называя их новые имена, фамилии

капитанов, рейсы, состояние котлов, стоянки, состав команды, грузы... Вся морская Одесса взволновалась, слух о чудовищной памяти боцмана Миронова распространился молниеносно...»

К этому образу писатель вернулся в тридцатые годы в рассказе «Инкубатор капитана Косоходова», а впоследствии писал о нём в «Повести о жизни».

По-своему замечателен и одесский репортёр Крыс. Рассказ о нём был написан в 1922 году и напечатан впервые в 1925-м с подзаголовком «Воспоминания 1921 г.».

Крыс — человек, фанатически преданный своей профессии. Ему, мальчику из типографии, открылась возможность стать журналистом. Рассказ звучит как гимн профессии журналиста, и в этом гимне отчётливо слышатся автобиографические нотки: «У каждого есть своя точная и замкнутая профессия. У журналистов профессия — всё, вся жизнь. В небольшом комке нервного вещества, который зовётся мозгом, они должны соединить знание многих профессий, всех областей жизни, всех научных теорий и политических систем».

Как и характер боцмана Миронова, тип человека, преданного газете, будет представлен писателем и в последующих книгах — «Блестящие облака», «Чёрное море», «Повесть о жизни».

Одним из самых любимых героев Паустовского был лейтенант Шмидт, человек, соединивший в себе героизм и мужество борца с удивительной деликатностью, благородством и любовью к прекрасному. Ещё в 1917 году писатель опубликовал коротенький очерк о нём, воспользовавшись возможностью, возникшей после февральской революции, напомнить читателям о героях 1905 года. В очерке лишь намечен облик Шмидта как личности, борца и оратора: «Шмидт — это воплощённая воля, это та непреборимая сила духа, перед которой или склоняются, или бледнеют от стыда за своё безволие. Безоружный, он приезжал на военные корабли и призывал к восстанию. Его выслушивали, его молча, почтительно провожали старые адмиралы, невольно преклоняясь перед его смелостью, доходившей до безумия».

Во второй раз Паустовский обращается к образу Шмидта в рассказе «Три страницы», написанном в 1924 году и опубликованном в журнале «Рупор» (1925, № 12). Здесь он развивает поразившую его мысль о параллельности и контрастности двух судеб — лейтенанта Шмидта и его палача, предателя Ставраки. Рассказ как бы выхватывает три момента из их жизни, три страницы из их биографии.

К образу лейтенанта Шмидта писатель вернётся в повести «Чёрное море» и в «Повести о жизни».

Теме человеческого благородства и мужества посвящён и двухстраничный рассказ «Рапорт капитана Хагера». Повествование в нём ведётся от лица сотрудника батумской газеты «Маяк». Ради спасения товарищей, в зимний шторм, на верную гибель капитан вышел в море. О героическом единоборстве со стихией скромно рассказывает затем его рапорт:

«Если капитан Хагер и не сделал больше ничего в своей жизни, то всё же один этот рапорт говорит о спокойном и благородном мужестве, которое ещё живо среди моряков».

В творчестве Паустовского двадцатых годов представлен и жанр небольшого путевого очерка — зарисовки. Таковы «Письма с пути», «Вишня и степь», напечатанные в газете «Моряк», а также очерки, связанные с поездкой по Закавказью. В этих очерках, в известной мере, уже проявляется та сила предметной изобразительности, проникнутой лирическим настроением, какая будет свойственна зрелому мастеру.

Стоит ещё раз подчеркнуть — все названные произведения написаны на материале жизненных впечатлений писателя, его богатого личного опыта.

3

Появление «экзотических рассказов» в творчестве Паустовского двадцатых годов, на первый взгляд, кажется неожиданным и неоправданным.

Откуда, в самом деле, взялась экзотика в творчестве писателя, начавшего было свой творческий путь реалистическими рассказами в духе А.Чехова и И.Бунина? Почему в начале двадцатых годов ему вспомнились экзотические увлечения юности?

Как уже говорилось, он не мог, конечно, не ощущать веяний эпохи. Мощная романтическая стихия, властвовавшая в молодой литературе, не могла не оказать на него своего влияния. Это было время, когда «пересматривалась миров основа», когда даже опытные сложившиеся художники испытывали жгучую потребность в новых формах, ощущали своеобразное давление литературной моды. Интересен в этом плане эпизод из творческой биографии Фёдора Гладкова. В 1921 году он приехал в Москву с новым рассказом, написанным в обычной для него реалистической манере: «тогдашние деятели союза писателей накинулись на него и разнесли рассказ в пух и прах. Это старомодно, — говорили эстеты. — Вы пишете по старозаветным реалистическим канонам, разве можно это делать, когда у нас есть такие мастера, как Ремизов, Андрей Белый, Пильняк? Поучитесь у них».

Александр Фадеев вспоминал: «В литературе имело место тогда сильное влияние школы имажинистов. Важнейшей задачей художественного творчества имажинисты считали изобретение необычных сравнений, употребление необыкновенных эпитетов, метафор. Под их влиянием и я старался выдумать что-нибудь такое «сверхъестественное». В первой повести и получилось много ложных образов, фальшивых, таких, о каких мне стыдно сейчас вспоминать...»

Паустовскому не пришлось стыдиться: он сознательно использовал экзотику как художественную форму, наиболее соответствовавшую, по его убеждениям, духу времени. Очевидно, свою роль сыграло и место работы. Положение «морского» журналиста обязывало к экзотике. Впрочем, вполне возможно, что тяга к морю и была результатом юно-

шеских увлечений и что место работы было подобрано в соответствии с душевными склонностями.

Однако недаром всё-таки в своё время Паустовский жёг литературные «грехи» молодости и без всякой жалости смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата (как ему думалось тогда) «пенные хрустали», «сапфирные небеса», «таверны и пляски гитан».

В двадцатые годы возвращение к экзотике произошло, естественно, на другом уровне, и отношении к ней у писателя иное: он не в экзотике, а над ней. Излюбленный композиционный приём в экзотических произведениях — рассказ в рассказе. Экзотические повествования — все они написаны от первого лица — Паустовский поручает вести своим героям. Ранняя экзотическая проза, которую он сам позднее назовёт «туманной и цветистой», характеризуется присутствием эгоцентрического эрудированного персонажа, человека исключительной впечатлительности и благородства, размытостью, нечёткостью контуров описываемых предметов, насыщенностью шумными эмоциями, избытком ярких изобразительных средств языка: «Ударом ноги я распахнул дверь каюты. Запах горького миндаля и ливня, пышной листвы и приморских бульваров хлынул в лицо. На губах была горечь полыни. Вечера не было. Был полдень. Нестерпимый блеск воды, широкий пламень ожёг мои руки. Я повернулся к величавому, затопленному зорями городу, к розовому мрамору его колоколен, к золотой статуе на башне таможни и сказал: «Ну да, это Антииллы».

Но представление об этой прозе будет неполным, если не указать, что рядом с феерическими кусками, подобными процитированному, непременно соседствуют вполне реалистические картины, возвращающие читателя «на землю»: «Я очнулся. По лужам на пристани расползлся сырой рассвет. Пахло угольным дымом, и виновато мигал огнями французский миноносец, уползая из порта».

Типологические черты экзотического рассказа хорошо прослеживаются в «Лихорадке».

Полностью это произведение впервые было напечатано в журнале «Сибирские огни» (1925, № 2) под названием «Минетоза» и в дальнейшем входило во многие сборники и собрания сочинений Паустовского.

Его пафос в противопоставлении безумного лихорадочного мира капиталистической наживы с его жестокой эксплуатацией человеческого труда — миру творчества, вдохновенного созидания ради человека.

Действие рассказа развёртывается сначала в южноамериканских джунглях, на каучуковых плантациях Амазонки, где от непосильного труда и лихорадки гибнут рабочие разных национальностей. Доведённые до отчаяния, они решаются на протест. Во главе их становится русский инженер Миронов.

Рассказ «Жара» был напечатан в журнале «Тридцать дней» (1928, № 3).

Редакция предупредила читателей: «Глухая вражда между матросами французского крейсера

«Примоге» и его командным составом, вражда, едва не вылившаяся в восстание и только притушенная, — вот тема настоящего рассказа К. Паустовского».

Повествование ведётся от имени лейтенанта Жиро, который сочувствовал матросам. Они победили. Крейсер, пришедший из Портсмута в Шанхай для защиты французских колоний, вынужден возвратиться по требованию команды — «воевать мы не будем».

Рассказ «Жара» — своеобразный двойник «Лихорадки». И здесь актуальная тема международной солидарности пролетариев всех стран оказалась отеснённой на второй план бьющей через край экзотикой — Мадагаскар и Массова, фиолетовые дни, лиловая рыба, золотая страна, игра звуками — жара-Жиро, размытость чувств и мыслей, «красный песок, который вонзался в чёткий горизонт лезвием бритвы», и тоска по реке, где плещется рыба, по свежему утру.

В рассказах немало художественных достоинств: великолепны описания экзотической природы — физически ошутима, например, липкая жара на Амазонке; незаурядное мастерство обнаружил Паустовский в построении диалога — стремительного, точного, выразительного.

Но в ряде эпизодов писателю изменяет чувство меры: джинн экзотики вырывается из-под его власти и наносит ущерб замыслу.

Этот недостаток преодолевается отчасти в рассказе «Этикетки для колониальных товаров». Его главный герой — гравёр Шифрин.

Рассказ написан в излюбленной в те годы писателем манере беседы рассказчика с персонажем.

Шифрин изготавливал этикетки для колониальных товаров, и дома у него настоящий музей: «Я... взглянул на стены, и тонкие пальмы, ананасы, полинявшие фрески, старинные фрегаты и чашки с дымящимся кофе затанцевали в глазах».

Шифрин рассказывает историю своей жизни. Речь повествователя и речь героя близки друг другу и по структуре, и по интонациям. Индивидуализация языка персонажа осуществлена очень мягко, ненавязчиво, за счёт немногих профессионализмов и характерных ударений.

Судьба Шифрина сложилась трагически. Погружённый в свои миражи, отрешённый от жизни, он проглядел болезнь жены, а потом потерял и дочь. Человек, поглощённый экзотической мечтой, потерпел крушение. Погиб и его талант, растраченный на этикетки. Можно ли яснее выразить отношение к экзотике? Принимая её в известной мере как форму восприятия и ощущения жизни, Паустовский решительно возражал, когда она становилась всепоглощающей страстью и мешала человеку трезво и ясно оценивать действительность.

В стиле рассказа «Этикетки для колониальных товаров» наблюдается характерный излом. Картина похорон жены Шифрина описана подчёркнуто натуралистически. Такое причудливое соединение экзотики с натурализмом — редкое явление в поэтике писателя.

Тяготение к натурализму было присуще ряду художников того времени. Оно наблюдается в творчестве Исаака Бабеля, Лидии Сейфуллиной, Бориса Пильняка и ряда других. Но в творчестве Паустовского это было явление мимолётное, не свойственное природе его художественного таланта.

Какова же роль экзотики в формировании творческой индивидуальности писателя?

В «Повести о жизни» писатель вспоминает: «я много писал и потому жил двойной жизнью. Вымышленный мир захлёстывал меня, и я не мог ему противиться. Мои тогдашние писания (Речь идёт о начале двадцатых годов. — Л.К.) были больше похожи на живописные и никому не нужные исследования. В них не было цельности, но было много лёгкости и беспорядочного воображения.

Я мог, например, часами описывать разнообразный блеск, где бы он ни присутствовал, — в осколке бутылки, медном поручне на пароходном трапе, в оконных стёклах, стакане, росе, перламутровой раковине и человеческих зрачках. Всё это соединялось в неожиданные для меня самого картины.

Подлинное воображение требовало резкости, но это удавалось мне редко. Большею частью картины были расплывчатые, я в ту пору мало ещё заботился о том, чтобы придать им ясность реальности, и бывал о грубой жизни.

В конце концов у меня самого создался непреложный канон этих описаний. Но вскоре я открыл, что перечитывать их подряд — скучно и приторно. Я испугался. Сила и строгость, необходимые прозе, превращались в щербет, в рахат-лукум, в лакомство. Они были очень липкие, эти словесные щербеты. От них трудно было отмыться.

Отмывался я от туманной и цветистой прозы с ожесточением, хотя и не всегда удачно.

К счастью, эта полоса быстро прошла, и почти всё написанное в то время я уничтожил. Но даже сейчас я иногда ловлю себя на пристрастии к рядным словам».

Ценнейшее признание! Однако ряд исследователей — Е.Дюжий, Н.Воробьёва, В.Яценко — не обратили внимания на фразу — «почти всё написанное в то время я уничтожил». А ведь это оценка! Вспомним также иронию писателя по отношению к «чистой» экзотике в рассказах «Белые облака» и «Соус керри», вспомним, что экзотические повествования чаще всего ведут сами персонажи — для нашего писателя это тоже оценочный момент, — вспомним, наконец, выразительный финал судьбы Шифрина.

Естественно, что исследователи, полагающие экзотику в раннем творчестве Паустовского всезахватывающей и всепоглощающей стихией, приходят к ошибочным выводам. На самом деле доля экзотических произведений в нём незначительна. Да и в них писатель не выступает апологетом экзотики.

Содержание и форма ранних рассказов свидетельствуют о настойчивых творческих поисках. Вторично вступив в литературу после долгих скитаний

по России, после «жизненных университетов», Паустовский стремился к овладению и романтическим, и реалистическим стилями письма.

4

Первоначальная, исходная мысль, которая так удачно сформулирована А.Пушкиным, — «драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным», — далеко не всеми критиками, а тем более читателями, принимается во внимание. Именно этим обстоятельством объясняется та странная аберрация зрения, в результате которой большинство исследователей и по сию пору считает первое крупное произведение Паустовского романтическим, в то время как «Романтики» — реалистическая книга, хотя и необычная. Главным объектом изображения в ней является романтическое сознание молодого русского человека накануне и в первые годы Первой империалистической войны. Герои книги — Максимов и его друзья — решили посвятить себя искусству. Максимов мечтает о писательстве, Винклер — живописец, Сташевский — эссеист.

Объект изображения, естественно, повлиял на поэтику. В «Романтиках» много приёмов и местами обнаруживается стиль романтического искусства. Эти приёмы служат средством характеристики персонажей, их индивидуализации. Однако относить эту книгу к сфере романтического искусства вряд ли возможно.

Действие «Романтиков» начинается осенью 1913 года и длится в течение трёх лет. Внимание автора сосредоточено в основном на фигуре главного героя. Его цель — показать духовную эволюцию Максимова, человека, судя по всему, из интеллигентной семьи, пришедшего в искусство не от жизни, а от искусства же, от книг.

«Романтики» — это надо оговорить сразу — рассказывают не об исканиях и жизни Паустовского, хотя в судьбе, в облике Максимова есть и автобиографические черты. Однако значение этого обстоятельства преувеличивать не следует: Паустовский изобразил себя в Максимове не в большей степени, чем И.С.Тургенев в Рудине.

«Романтики» — это книга о русской жизни, как её воспринимали и оценивали молодые, романтически настроенные люди в переломную эпоху накануне 1917 года, о судьбах какой-то части русской интеллигенции. К этой же теме обращались А.Н.Толстой, К.А.Федин и другие писатели.

Структура «Романтиков» достаточно сложна. Книга состоит из трёх частей: «Жизнь», «Начала и концы», «Военные будни».

Повествование ведётся от лица Максимова. Во второй части заявлено: «я рассказал Семёнову о книге, которую пишу. Называться она будет «Жизнь». Есть основания думать, что первая часть «Романтиков» имитирована как рукопись Максимова. Это доказывается анализом её художественных средств. Язык «Жизни» изобилует яркими экзотическими оборотами в духе той поэтики, которой придержи-

вался начинающий писатель и которую метко характеризует его приятель Сташевский: «Ты весь в своём, выдуманном. Увидишь апельсиновую корку — и уже думаешь о небе цвета этой корки, которого никогда не увидишь. Чудак!»

В следующих частях книги выявляются мотивы поведения персонажей. Максимов едет в Одессу, потому что он командирован туда своим начальством за фурами для отряда. Не то — в «Жизни». Куда, зачем, почему едут, о чём говорят, спорят герои книги — неизвестно. Романтикам не нужны причины и следствия. Всё неожиданно и подчеркнuto диктуется не соображениями выгоды, пользы, а движениями души. Но это служит Паустовскому — хочется подчеркнуть ещё раз — средством характеристики героя, а не является «собственным» художественным приёмом.

С чем же и для чего пришли Максимов и его товарищи в жизнь?

Они ненавидят пошлость, мещанство, самодовольство, расчётливость. Они не носят жёлтых кофт, но не упускают случая совершенно в духе времени эпатировать буржуа.

Какова же их положительная программа? Максимов пишет своеобразный манифест совсем в духе тех многочисленных литературных групп и группочек, которые в изобилии плодились и умирали в России в те годы. Его писательские принципы на этом этапе духовного развития изложены в маленькой главке «О творчестве»: «Я пишу о сером и тёплом вечере, когда от пасмурной воды ещё сочится запоздалое тепло и запах подводных трав, о капризах детей с изумлёнными глазами. Всё это небрежные слова, наброски, но эти образы преследуют меня.

Я пишу о тёплом женском дыхании, сумраке приморских кафе, о Шелли, о снежной музыке Грига, о жёлтых берегах Эллады и смерти Байрона. Судорожно, словно боясь опоздать, я бросаю эти мазки из слов.

В лабораториях университета я наблюдал процесс кристаллизации. Из мутного раствора слагаются тонкие плоскости и растёт прозрачный и твёрдый кристалл, преломляющий солнце. То же сейчас и со мной.

Я много пишу. Меня волнуют самые звуки слов».

Не стоит забывать, в какое время начинал свой путь Максимов. Влияние декадентства на молодого писателя очевидно. Он — тоже юноша бледный со взором горящим и тоже исповедует индивидуализм. Может ли быть для такого художника что-нибудь важнее, чем свободное выражение своей души, рассказ о своих впечатлениях, никак не скорректированных окружающей жизнью?

Т.Хмельницкая права, назвав бунт Максимова «бунтом внутри системы», бунтом, выражающим тот же «деградирующий быт». Но упрекать Паустовского — как это делает исследовательница за эпатирующие сравнения и головокружительные образы, которые звучат «как пощёчина общественному вкусу», — неправомерно. Напротив, можно порадовать

искусству писателя, блестяще стилизовавшего манеру своего героя, молодого художника, на том этапе его творческого развития, когда он ещё находился во власти идеалистических представлений об искусстве. Ведь это его начальные, исходные позиции, и, будем справедливы, даже в это время он уже ощущает известную неудовлетворенность своими писаниями. «Всё, что я пишу, — баловство. Так говорит Сташевский. Но из этого тумана рождаются иногда простые и свежие образы».

В этом слове «иногда» — все дело. Кстати, в редакции 1935 года его нет.

Жизнь предоставляет Максиму немало фактов и событий для размышлений об искусстве, о художнике и его долге перед людьми. Меняются и обстоятельства личной жизни героя. С экзотического юга Максимов уезжает в Москву. Служебные обязанности газетчика — вместо вольной южной жизни. В этих новых обстоятельствах здоровое демократическое чувство выводит его на иные писательские дороги: «Часто я спрашиваю себя — достаточно ли я страдаю, чтобы быть писателем. Мне нужна была затерянность среди сотен тысяч.

Я всюду искал страдание. Оно мне нужно было больше радости... Всё было неприветливо. Вместо человеческих лиц были треухи, вместо тел — лоснящиеся салопы. Это вызывало печаль, но от неё я рос, и новые крепкие мысли всё чаще приходили мне в голову».

Максимов точно уловил своё состояние — он рос.

Следующий этап его духовного развития связан с примечательным самонаблюдением: «Когда я думаю плохо о людях, я не могу писать».

Максимов переживает период мучительных сомнений. Как расставание с прошлым заканчивает он свою книгу «Жизнь». Его друг, газетчик Семёнов, — а в иных его словах слышится голос автора — довольно точно определяет своеобразие восприятия и художественного мышления Максимова в это время: «Вам, очевидно, нравится самый ход мыслей, а не истина. Вы думаете образами и никогда не стараетесь оправдать их логикой».

В первой части «Романтиков» внимание было сосредоточено в основном на проблемах искусства, во второй — тематические рамки произведения начинают расширяться.

В жизни Максимова происходит важное событие — он встречает Наташу. Его юношеская любовь к Хатидже подвергается серьёзному испытанию. Этот узел, как и многие другие, разрушает начавшаяся мировая война.

«Военные будни» — так называется третья, заключительная часть «Романтиков». Максимов ни минуты не сомневался как ему поступить. Он уезжает на фронт: «Здесь среди солдат, длинных эшелонов, раненых и пленных, вблизи войны я начинаю понимать, как она тягостна. Я думаю о том, что в ста верстах отсюда лежат в глине, на загаженных полях, наши орловские и курские мужики, люди со всей России, за спинами которых родная Москва, и

стреляют в ночь и ветер, а там, за тысячу вёрст, — немцы, французы, бельгийцы, шотландцы, и за ними Париж, Мюнхен, мёртвый Брюгге».

Нет смысла пересказывать все перипетии фронтовой судьбы Максимова. Здесь к нему приходит зрелость, человеческая и художническая.

Паустовский не говорит о переломе в мировоззрении Максимова, о его новых творческих позициях. Но это и не нужно. Ведь история романтика, каким он был до войны, закончилась.

Военные картины, нарисованные Паустовским в «Романтиках», безусловно, имеют особую художественную и историческую ценность. Они образуют самостоятельный раздел романа, в котором действуют уже иные художественные законы. Есть основания говорить здесь о зоркости жизненных наблюдений Максимова, о точности и силе образов и, главное, об ощущении сопричастности героя со всем, что происходит в огромной стране и её народом.

Книга заканчивается на оптимистической ноте: «Максимов не умрёт, он не смеет умирать — жизнь только начинается».

«Романтики» и по сей день ещё так и не оценены по достоинству. Ссылаясь на эту книгу, некоторые исследователи утверждают, что в 1916–1923 годах Паустовский идеалистически трактовал искусство, отрицал объективную реальность как главный источник художественного творчества. Это решительно противоречит фактам! Зачем же начинающий писатель, прервав успешно начатую литературную деятельность, «ушёл в люди»? Вспомним, как сам Паустовский объяснял это своё решение. Вспомним основные положения процитированной выше статьи «Искусство и революция». Наконец — всё творчество писателя начала двадцатых годов опровергает подобные выводы: процент «экзотических» рассказов в нём незначителен. Да и сама экзотика выступает лишь как форма романтической настроенности его прозы, а отнюдь не как объект творчества.

Строго говоря, можно заступиться не только за Паустовского, но и за Максимова. Ведь идеалистическая трактовка искусства — это только первый этап его эволюции, смысл которой и состоит в сближении с жизнью, в уходе от экзотики. Процесс этот долгий и трудный, и результат его в книге не показан, но направление движения сомнений не вызывает. Идеалы Максимова, когда читатель с ним расстаётся, ещё довольно абстрактны: он стремится к добру и любви. Однако возникли эти идеалы на почве реальной действительности. Их вызвали к жизни сначала кошмары мещанского прозябания, затем — империалистическая война.

Хотя сатирические, лирические, экзотические, реалистические компоненты не образовали в этой книге единого целого, тем не менее «Романтики» — интересное и значительное произведение. Рассмотрение его в контексте русской литературы начала двадцатых годов позволяет выявить новые грани. В литературном процессе этого времени «Романтики»

вовсе не стоят особняком, как это может показаться на первый взгляд. Более того, именно в тенденции изолировать произведение Паустовского от современной ему литературы и кроется причина его недооценки.

«Романтики» и тематически, и стилистически многими точками соприкасаются со многими современными произведениями. Книга ставит те же проблемы, что волновали всю нашу молодую литературу. В это время снова остро зазвучала традиционная тема русской классики — обличение мещанства. Своё «славословье» мещанам провозгласил В.Маяковский. К ней же обратились А.Толстой, К.Федин, Л.Леонов, М.Зощенко и многие другие писатели.

Споры о гражданской позиции художника, о сущности и назначении искусства в те годы отличались особенной остротой. В противоборстве многочисленных литературных группировок наблюдались полемические крайности, воскрешались далеко не лучшие образцы декадентской эстетики.

«Ничевоки», например, (была и такая литературная группа) объявляли: «Фокус современного кризиса явлений мира и мироощущений Ничевоком прояснён: кризис — в нас, в духе нашем... Наша цель — истончение поэтпроизведения во имя Ничего. На словесной канве вышить восприятия тождества и прозрения мира, его образа, цвета, запаха, вкуса и т.д.».

На фоне подобных манифестов особый смысл приобретала эволюция героя «Романтиков», ушедшего из экзотических замков полудекадентского искусства к жизни, к обыкновенным людям.

В первые послереволюционные годы остро стоял вопрос об отношении к классическому наследию. Паустовский не разделял того нигилистического отношения к русской классической литературе, которое исповедовали пролеткультовцы и футуристы. Самый стиль писателя, несмотря на отдельные уступки литературной моде, складывался, в основном, в русле традиции русской классики.

5

В числе принципиальных отличий новой литературы от предшествующей, в том числе и от русской литературы XIX века, надо указать на особенные условия её функционирования — возник новый читатель. Влияние этого обстоятельства на ход литературного процесса в послереволюционное время в должной мере ещё не учтено.

Читатель первого послеоктябрьского десятилетия — явление уникальное. Уходили в прошлое те отношения между литературой и обществом, о которых с горечью говорил М.Е.Салтыков-Щедрин: «Русский читатель, очевидно, ещё полагает, что он сам по себе, а литература сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего».

Глубокую заинтересованность в развитии литературы обнаруживали самые различные слои общества — от ещё неграмотных, но уже тянувшихся к художественной книге крестьян топоровской комму-

ны до высокоинтеллигентных, начитанных, культурнейших людей ещё дореволюционного воспитания. Наверное, никогда в истории мировой литературы писателю не приходилось сталкиваться с подобным многообразием требований, вкусов, суждений.

При изучении творчества Паустовского разговор о читателе как фигуре, оказывающей своё влияние на писателя, совершенно необходим.

Сам Паустовский постоянно — на всех этапах творческого пути — размышлял над тем, как разумно сбалансировать стремление к исповеди, заложенное в природе его лирического таланта, и требования времени, потребности читателя. Написанная в 1916–1923 годах книга «Романтики» не была опубликована сразу после окончания: писатель считал её «недостойной печатания». Особенно внимательно Паустовский учитывал запросы читателей в тридцатые годы, наступая иногда «на горло собственной песне», что сплошь и рядом приходилось делать и не по своей воле. Особенность его творческой манеры — постоянное возвращение к излюбленным темам и образам. Поэтому писателю было важно всякий раз находить новый ракурс, при котором те же факты, события, лица приобретали для читателя новый интерес, выглядели свежо и оригинально. Ему, в основном, это удавалось. Вспомним для примера различные истории о судьбе лейтенанта Шмидта в целом ряде его произведений.

Паустовский придавал большое значение общественному резонансу художественного произведения. То обстоятельство, что его ранние произведения не получили широкого признания, вызывало у писателя чувство неудовлетворенности своей работой. Не учитывая этого, нельзя понять его произведений, непосредственно предшествовавших появлению «Кара-Бугаза».

Ответственным моментом в творческой эволюции Паустовского в конце двадцатых годов была работа над двумя романами — «Блистающие облака» (1929) и «Коллекционер» (1930). Они интересны и с точки зрения того, как искал писатель дорогу к своему читателю.

Те, кто был знаком с предшествующим творчеством художника, прочитав «Блистающие облака», испытают двойственное чувство. Старыми знакомцами покажутся им некоторые герои романа.

Это — морской капитан Кравченко, человек с огромным жизненным опытом, «громоздкий и простоватый», преданный друг и неутомимый рассказчик. Это — писатели Батурина и Берг, много думающие о своей профессии, люди острой наблюдательности, склонные к анализу и размышлениям. Их мучит сознание невыполненного долга перед людьми. Это — журналист Глан, беспредельно влюблённый в свою профессию, много путешествующий в поисках новых материалов и впечатлений.

Но читателя подстерегают и неожиданности: прежде всего, авантюрно-приключенческий сюжет романа — случай в творчестве Паустовского единственный в своём роде.

Знаменитый летчик Нелидов разбился во время агитполета в Чердынских лесах — «это была смелая и светлая голова. Он любил литературу не меньше своего лётного дела». Нелидов был талантливым учёным-изобретателем. После его гибели на руках сестры остался дневник лётчика. Его друг, инженер Симбирцев, убеждён в огромной ценности этого дневника для «русской литературы и воздушного флота». Но дневник попадает в руки мужа Нелидовой американца Пиррисона. Вот и вторая неожиданность — в романе действуют «злодеи». В книгах Паустовского они встречаются нечасто.

Симбирцев уговаривает Батурина и его друзей принять участие в спасении дневника, и они пускаются в погоню за Нелидовой и Пиррисоном. Их маршрут лежит в места хорошо знакомые и Паустовскому, и его читателю. Берг едет в Одессу, Батурина в Ростов и Таганрог, Кравченко — в Батум. Затем Батурина встречается с Бергом в Керчи и вместе с Нелидовой и присоединившимся Гланом едет к Кравченко. Поиски сводят героев с широким кругом самых различных людей. Они оказываются участниками неожиданных событий.

Батурина и его товарищи — люди, глубоко переживающие всё, что происходит с ними и вокруг них. Осмысление человеческих судеб, раздумья героев над своим призванием занимают важное место в романе.

В конце концов шпион Пиррисон и его соучастник Ли Ван арестованы. Дневник спасён. Сюжет романа развивался по всем законам детективного жанра — с преследованиями, засадами, перестрелкой и т. п.

Но в итоге оказалось, что поиски дневника Нелидова — на втором плане. Главная находка — не дневник. Главное — это то, что произошло в сознании героев. Путешествия, встречи с людьми, участие в человеческих судьбах изменили их. В начале романа герои были на перепутье. Они утратили веру в героическую романтику революции и гражданской войны, участниками которых были, но ещё не открыли для себя романтики буден, не сумели разглядеть этой романтики в окружающем. Теперь они обрели новый смысл жизни, встали на новый твёрдый путь. Так им казалось тогда. Шёл 1928 год, и в России ещё оставалось немало людей, не разобравшихся в истинных целях правителей и находившихся во власти утопических лозунгов.

Капитан вернулся к любимой работе, а главное — открыл для себя всё многообразие и красоту жизни и искусства, к которому раньше относился пренебрежительно.

Берг написал новый роман. Но гораздо интереснее происшедшее с Батуриным. В начале романа о нём сказано: «Больше всего тяготило Батурина то, что он чувствовал себя вне общей жизни. Ни одно из её миллионных колёсиков не зацепляло его. Он жил в отчуждении, разговоры с людьми были случайными».

Паустовский не касается вопроса, как это случилось, что герои романа оказались «вне общей

жизни». Это его право художника, перед ним были иные цели. «Блистающие облака» — роман о людях, нашедших своё место в новой действительности. Это — светлая оптимистическая книга. Она лишена настроений разочарования и даже пессимизма, которые владели частью общества в середине двадцатых годов. Вспомним стихотворения В. Маяковского, боровшегося с этими настроениями, вспомним нашумевший диспут 1927 года «упадочничество и есенинщина», вспомним книги Л. Леонова, А. Толстого, Ю. Либединского и других писателей, касавшихся этой темы.

В «Блистающих облаках» впервые начинает реализовываться тот творческий принцип писателя — выявление необыкновенного в обыкновенном, — который позже станет у Паустовского одним из основных. Книга убеждает, что не в «Мещёрской стороне» заговорил писатель впервые о красоте природы и талантливости народа. Это — мотив, пронизывающий всё его творчество, от первого рассказа «На воде» до «Ильинского омута».

В «Блистающих облаках» много страниц, доставляющих истинное наслаждение любителям литературной живописи. Эпитеты «ледяная и горькая» осень достойны встать в один ряд с теми словесными находками классиков, о которых сам Паустовский рассказал в «Золотой розе».

Пафос романтического утверждения красоты и глубокого смысла жизни определил звучание книги.

Роман состоит из небольших главок. Каждая представляет вполне законченный фрагмент и имеет своё выразительное название. Внутри этих глав нередки эпизоды, не «работающие», на первый взгляд, на замысел книги. Сюжет сцепляет эти главки чисто внешним образом, объясняя лишь передвижения героев, но не способствуя соразмерному, гармоническому изложению материала: обилие вставных эпизодов, боковых сюжетных ходов ослабляет композицию романа, приводит к известной растянутости. Правда, такая композиция диктуется сложными, извилистыми путями духовного развития героев.

В сознании персонажей романа идёт напряжённая работа. Но ценности, к принятию которых они приходят, — это ценности романтиков. Батури и его друзья — гуманисты по своей человеческой природе. Их поступки и суждения продиктованы бескорыстием и стремлением к справедливости. Оценивать «Блистающие облака» с точки зрения расхожего «здорового» смысла и «житейской» логики бесполезно. Сам писатель предупредил об этом в начале своего произведения: «Искушённый читатель прочтёт эту историю и пожмёт плечами, — стоило ли так волноваться. Он скажет слова, способные погасить солнце: «Что же здесь особенного?» — и романтики стиснут зубы и отойдут в сторону».

Умение видеть особенное, необыкновенное и радоваться ему — неперемное условие плодотворного чтения «Блистающих облаков», книги, созданной человеком-романтиком и писателем-реалистом. Именно на такое восприятие ориентиру-

ют читателя название романа и его эпиграф: «Блистающие, или светящиеся, облака наблюдаются очень редко. Их часто принимают за ненормально яркие зори. Они слагаются из мельчайших частиц вулканической пыли, носящейся в воздухе после сильных катастрофических извержений. Учебник метеорологии».

Контраст между суховатыми словами из учебника, несущими точную, проверенную информацию, и романтическим названием произведения, которое в сознании читателя могло ассоциироваться с названием книги А. Грина «Блистающий мир», — очевиден. Этот контраст как бы подтверждает: в «Блистающих облаках» изображаются романтика и романтики, но реалистический характер письма не должен вызывать сомнения.

«Блистающие облака» не добавили Паустовскому популярности. По-прежнему он оставался неизвестным массовому читателю. Весьма немногочисленная критика была почти единодушна в своём отрицательном отношении к роману.

Паустовский не согласился с её приговором и через четверть века включил книгу в собрание своих сочинений. Роман, несущий на себе черты своей эпохи, интересен общечеловеческим содержанием. Призыв к постижению прекрасного в жизни, к благородству и честности не может устареть, тем более, что высказан он в оригинальной и безусловно художественной форме.

6

Герой романа «Коллекционер» гидролог Карцев попал за границу. Он был в Одессе, когда отступающие белые бросились на пароходы, спасаясь от большевиков. Карцев не испытывал к белым ни малейшей симпатии. Он оказался на «Святом Николае» из-за любимой женщины.

Стамбул, Марсель, Париж — до дна испита горькая чаша эмигрантского существования. Много горя и нужды пережил Карцев, прежде чем удалось вернуться на родину. Республика остро нуждалась в специалистах, и его назначили в экспедицию по промеру и исследованию Кара-Бугазского залива на Каспийском море.

Но Карцев не простой инженер. Паустовский пишет: «В романе «Коллекционер» шла речь о человеке, который, стремясь стать писателем, как бы коллекционирует жизнь, свои встречи и отношения с людьми, часто меняет обстановку своего существования, меняет профессии и накапливает таким образом большие запасы наблюдений для своих будущих книг».

Духовная и нравственная близость главных героев всех трёх произведений — «Романтиков», «Блистающих облаков», «Коллекционера» — не вызывает сомнения. Настойчивое возвращение к образу писателя, несущему отдельные автобиографические черты, может быть объяснено, среди других причин, и желанием рассказать о специфике писательского труда и его высокой общественной ценности. Впоследствии это желание приведёт Паустовского сна-

чала к созданию «Золотой розы», а позднее — сборника «Наедине с осенью». Во многих очерках, рассказах и повестях писателя в качестве персонажей выступают литераторы. Тема писательского труда — одна из тех, что проходят через всё творчество Паустовского и определяют его своеобразие.

В сознании большинства читателей Паустовский — это прежде всего тонкий лирик, прекрасный пейзажист, влюблённый в природу и в искусство. Но понять особенности его художественного мира невозможно, не отдав должного настойчивости в разработке темы писательства.

В начале творческого пути постоянное возвращение к разговору о том, как работает писатель, шло в какой-то мере и от непризнания широким читателем произведений Паустовского, от надежды разъяснить ему, как следует воспринимать и оценивать литературный труд. Но этот искусственным образом внесённый рационалистический момент не оправдал возлагаемых на него надежд. В «Золотой розе» о подобных случаях писатель расскажет известную аллегорию: когда тысяченожку спросили, в какой последовательности переставляются её бесчисленные ноги, она задумалась — и разучилась ходить.

«Коллекционер» оказался неудачей. Отдельные куски из него вошли в «Кара-Бугаз». Кроме того, — рассказывает Паустовский в предисловии к книге «Потерянные романы», вышедшей в Калуге в 1962 году, — я взял из «Коллекционера» несколько эпизодов. Они превратились в самостоятельные рассказы и даже в главы автобиографической повести, как, например, в главу «Прощай, моя Одесса, славный Карантин» из «Времени больших ожиданий», в главу «Гетман наш босяцкий» из «Начала неведомого века» и в несколько рассказов, в частности, в рассказы «Сардинки из Одерна» и «Средство от проказы». В общем я даже не пытался напечатать этот роман целиком. Я разобрал его по частям и так напечатал, подобно тому, как земледельцы в засушливых областях разбирают воду из арыков.

Почему я так сделал? Не знаю. Очевидно, из-за мозаичной композиции романа. Он легко распадался на самостоятельные куски. Несколько глав из этого романа вообще было потеряно. Сохранилось только пять глав, рассказывающих о жизни героя в эмиграции и его возвращении на родину».

Читатель получил возможность познакомиться с этими главами через тридцать лет. Знакомое ощущение охватывает вас, когда вы читаете эти отрывки. Вы наслаждаетесь гармоничным живописным языком, вы радуетесь редкому дару образительности, которым наделён художник. Вот она — литая проза! Так почему же всё-таки произведение «не состоялось»?

Мозаичная композиция — конечно же, не причина: по этому структурному принципу построены фактически все крупные произведения писателя.

Главный недостаток «Блистающих облаков» — искусственность сюжета — в «Коллекционере» преодолён. В опубликованных пяти главах действие

развивается в естественной пространственно-временной последовательности, во вполне логичных причинно-следственных связях. Но Паустовский, видимо, просто не решился отдать его на суд критики, не решился ещё раз подвергать риску в её глазах свою писательскую репутацию.

Невнимание критики двадцатых-тридцатых годов к попыткам Паустовского создать образ писателя, ищущего свою дорогу в новых условиях, ещё как-то может быть объяснено и оправдано. Но литературоведение более позднего времени, исповедующее системный подход к явлению литературы, явно обедняет себя, не используя этот поучительный, интересный материал. Он важен даже и в том случае, если принять ошибочную точку зрения, что образы писателей, созданные в «Романтиках», «Блистающих облаках» и «Коллекционере», — целиком автобиографичны. В конце концов, Паустовский в литературном процессе своего времени — фигура достаточно значительная.

Но дело в том, что в этих книгах отразились общие объективные процессы, происходившие в сознании художников романтического склада, исследовавших эволюцию романтического начала в действительности двадцатых годов. Эта тема ещё ждёт своего исследователя.

7

После сборника «Встречные корабли» (1928) новых экзотических рассказов Паустовский не публикует. Почему?

Дело не только в отсутствии широкого читательского признания. Большое значение имели изменившиеся обстоятельства самой жизни. Особое внимание литературы в течение ряда лет привлекала фигура участника революции и гражданской войны, романтика, который мучительно искал свое место в будничной мирной жизни. Об этом писали Ю.Либединский, Л.Леонов и — особенно ярко — А.Толстой: «Голубые города» и «Гадюка». К ним примыкает и неопубликованный рассказ Паустовского «Девонский известняк». Его герой — геолог Беспалов — приезжает к сестре в Дивенск. Картины здешней мещанской дикости, ограниченности, тупости, пьянства потрясают его — он сходит с ума. Ему кажется, что жители города поражены психической энергией из слоёв девонского известняка, на которых стоит город: «Представьте себе дикую, зачаточную жизнь той эпохи. Тогда не было ни морали, ни справедливости, ни науки, ни любви. Сонное, скользкое, едва просыпающееся сознание бродило в панцирных рыбах, ракушках и слизняках. Злоба, страх и голод тяготели над миром».

Мотивы этого рассказа впоследствии обнаружатся в «Кара-Бугазе», «Золотой розе», «Повести о жизни» и в других произведениях писателя.

Критика, в начале двадцатых годов восторженно приветствовавшая «космические» стихи пролеткультовцев, восторгавшаяся «Падением Даира» и «Ветром», круто изменила ориентацию. В.М.Фриче начал поход против романтизма как искусства

идеалистического, появилась статья А. Фадеева «Долой Шиллера!» Таково было требование времени. Страна превращалась в огромную стройку. Читатель ждал от литературы немедленного и документального отклика на происходящие события. Бурно расцвёл жанр очерка.

Паустовский расставался с экзотикой не без сожаления. Большинство исследователей, как уже говорилось, настаивает на том, что экзотика мешала творческому развитию Паустовского, была его слабостью, недостатком. Но как быть тогда с таким признанием писателя: «Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем».

С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, лёгкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

Это лёгкое вмешательство вымысла помогало мне в работе над «Кара-Бугазом», «Колхидой», «Чёрным морем» и другими повестями и рассказами.

С экзотикой было покончено. Её сменило стремление к правде и простоте».

Писатель специально подчеркнул, что экзотика его ранних рассказов — экзотика придуманная, что сам он никогда не видел тисовых лесов, не слышал золотой арфы. Но ведь есть экзотика, реально существующая, и нет никаких разумных оснований отказываться от неё в принципе. Конечно, увлечение стихией выдуманной или, как называл её сам Паустовский, «чистой» экзотики, подчинение только её власти привели к художественным просчётам в отдельных произведениях. Но, во-первых, это — единичные случаи, во-вторых, экзотика вовсе не была определяющей формой романтической настроенности его прозы даже в двадцатых годах. А главное — польза, какую извлёк Паустовский как художник-реалист из своих экзотических увлечений, несравненно значительнее, чем тот ущерб, который они нанесли его писательской репутации в глазах строгих критиков. Тем не менее сам писатель считает освобождение от власти «чистой» экзотики существенным моментом своего творческого развития. Как это произошло?

В заметке «Несколько отрывочных мыслей» Паустовский вспоминал: «Не без внутреннего сопротивления я порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием «Морская прививка»».

В этом разрыве последним толчком было посещение московского планетария. Его только что открыли. (Московский планетарий был открыт осенью 1929 года. — Л.К.) Строитель планетария архитектор Синявский повёл меня на первый показ искусственного звёздного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.

Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым лис-

том. И вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звёздами небо. Дым лёгких облаков пролетал в вышине, но не застилал звёзд. Казалось, чёрный воздух осени усиливал пылающие небесного свода.

И вот — почти всё, написанное мною до этого вечера, представилось мне таким же искусственным, как небо планетария — бетонный купол с фальшивыми созвездиями. Вначале оно поражало, но в нём не было глубины, воздуха, объёма, слияния с мировым пространством.

После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы».

Во всех сборниках и трёх собраниях сочинений рассказ датируется 1935 годом. Но в архиве журнала «Тридцать дней» хранится ненапечатанный рассказ «Лето», принятый редакцией 3 октября 1930 года. Это — первый вариант «Морской прививки». Если не знать этого, трудно объяснить, почему уже после «Кара-Бугаза», «Колхиды», «Судьбы Шарля Лонсевилля» Паустовский изобразил такого героя: «Он думал, что надо забыть всё написанное прежде и начать писать по-новому».

В суровости осенних ночей, в далёком крике паровозов на Северной дороге родилось чувство новой эпохи...»

Конечно же, «чувство новой эпохи» родилось не в 1935 году, а гораздо раньше, но подчеркнуть это, видимо, было важно именно тогда.

После 1928 года Паустовский много работает в жанре очерка. К этому времени им уже был накоплен значительный опыт в этой области. Его дала писателю многолетняя работа в газетах и журналах. Ведь половина первой «настоящей» книги «Встречные корабли» была отдана очерку. Позднее, за 1928–1932 годы им было опубликовано около двадцати очерков на самые различные темы. Их содержание позволяет вычлестить маршруты поездок Паустовского-журналиста: Абхазия, Мещёра, Калмыкия, Эмба, Березники, Саратов, Соликамск, Астрахань, Кара-Бугаз, Москва. Его очерки не изолированы от остального творчества. Они тесно связаны с рассказами, повестями, романами, как с теми, что писались в эти же годы, так и с теми, что будут написаны позже. Очеркист фиксировал, подвергал первичному осмыслению материал, который позднее вновь использовался уже художником.

В очерках Паустовского ощущается дыхание времени. Они вошли в летопись первых пятилеток. Они — исторический документ эпохи. Их литературное значение прежде всего в том, что они явились для писателя своеобразным инструментом познания жизни, помогли ему вырабатывать свой стиль, обогатили язык: «Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг».

В 1928–1932 годах Паустовский опубликовал всего четыре рассказа. Они дают интересный и важный материал для понимания путей, какими шло формирование творческой индивидуальности писа-

теля в этот ответственный момент его художественной биографии.

В рассказе «Записки Василия Седых» впервые осуществлён тот принцип сочетания документа и вымысла, который станет основным в работе над «Кара-Бугазом» и рядом других произведений.

Начиналось освоение Арктики. Человечество с замиранием сердца следило за экспедициями Нобиле и Амундсена. Впереди были эпопеи челюскинцев и папанинцев. Журнал «Тридцать дней», где был напечатан рассказ, предпослал ему предисловие: «Записки Василия Седых» основаны на подлинном материале и представляют собой интерес в наше время в связи с обострившимся вниманием к последним полярным экспедициям».

Стремясь совершенно уверить читателя в подлинности описанного, редактор журнала В.Регинин приписал в конце рассказа фразу о том, что сейчас Василий Седых работает в таганрогском порту.

Пафос рассказа Паустовского — в гимне человеческому мужеству и воле в единоборстве со стихией, преклонение перед бескорыстной страстью к познанию.

На покинутом корабле, потерпевшем крушение, найдена тетрадка. В ней записи Василия Седых — участника экспедиции капитана Скотта к Южному полюсу. Англичане, не умея управляться с собачьими упряжками, пригласили В.Седых какюром. Дневник содержит историю экспедиции и гибели её участников.

Захватывающая увлекательность чтения объясняется прежде всего великолепным знанием материала, которое обнаруживает автор. Документальная часть произведения обеспечена глубоким изучением обстоятельств и деталей экспедиции. Поистине научное исследование вопроса вооружило Паустовского знанием мельчайших подробностей путешествия и мотивов поведения участников этой героической драмы.

Но сама фигура Василия Седых, его дневник — всё это прекрасно выдуманно писателем. И в этом тоже причина успеха произведения. В 1970 году С.Зальгин писал: «Нынче многие читатели — в том числе наиболее квалифицированные — все чаще и чаще предпочитают беллетристике мемуары, документы, исторические исследования».

Увы, писатель прав. Отношение к художественному вымыслу как к некоей безответственной выдумке довольно широко бытует даже в наши дни и даже среди хорошо подготовленных читателей. Это свидетельствует о существенных изъянах в литературном образовании. Казалось бы, что ломиться в открытую дверь: у документальной литературы свой резон и смысл, у художественной — свой. Ведь вымысел — это инструмент художника, который позволяет ему глубоко проникнуть в суть вещей и событий и создать свой особенный мир, без чего, собственно, нет и не может быть подлинного искусства. Можно понять удовлетворение, с каким Паустовский воспринял известие о розысках Василия Седых сначала таганрогским журналистом, а затем

и ростовской милицией. Аналогичный случай произошёл после опубликования «Кара-Бугаза». Учёные обратились к писателю с просьбой сообщить, где он нашёл письмо лейтенанта Жеребцова, одного из первых исследователей залива, письмо, которого в действительности не существовало.

На стыке документа и вымысла родились многие произведения Паустовского. Принципиально нового в этом ничего не было, но открытое провозглашение вымысла необходимым компонентом литературного творчества в то время, когда в литературе властвовала стихия документальности, вызвало многочисленные критические нападки, которые не ослабило даже всеобщее читательское признание «Кара-Бугаза».

Успех рассказа «Записки Василия Седых» позволил напечатать его в 1930 году отдельной книжкой. Это был один из немногих в те годы моментов счастливого равновесия между тягой писателя к фантазии, воображению и социальным заказом.

В январских номерах журналов за 1930 год были опубликованы сразу два рассказа Паустовского: «Чёрные сети» — в «Борьбе миров», «Драгоценный груз» — в «Тридцати днях». Оба, с одной стороны, продолжали традицию морских рассказов, оба впоследствии входили в сборники тридцатых годов и в собрания сочинений. Наибольшим изменениям при этом подвергался второй рассказ. Ему было дано другое название — «Ценный груз», — и он был значительно сокращён.

Оба произведения, с другой стороны, имели принципиальное значение. «Чёрные сети» оказались у истоков той тенденции в творчестве Паустовского, которая выразила себя впоследствии в лирических рассказах настроения типа «Дождливого рассвета», «Телеграммы», «Ильинского омута» и им подобных. «Ценный груз» предвосхитил отчасти круг идей и образов, воплощённых позднее в «Доблести», «Музыке Верди», «Поводыре».

Рассказ «Чёрные сети» — одно из немногих произведений писателя, построенных на контрасте. В нём отлично передано настроение светлой печали, возникшее прозрачной осенью при виде некогда бурливших и кипевших площадей Флиссингена, «торговавшего в старые времена чёрным бархатом, золотом и бочками для испанских вин», а теперь обречённого на увядание. С этим настроением гармонируют раздумья героев: Семёнова — о том, что наблюдательность требует неторопливости; капитана Лобачёва — о том, почему умирают порты, от Карфагена до Таганрога.

Семёнов — один из излюбленных характеров Паустовского — человек, склонный к созерцательности, болезненно реагирующий на всякую несправедливость, умеющий видеть и радоваться прекрасному.

В этом рассказе обращает на себя внимание своей выразительностью цветовая гамма эпитетов. Колорит создаётся двумя параллельными рядами цветовых определений: чёрные сети, чёрный бархат, чёрные облака, чёрный ветер и зелёная вода,

зелёные дома, зелёные глаза, зелёный воздух. И на этом чёрно-зелёном фоне рассказа запоминаются одиночные мазки жёлтого и синего цветов. Болгарскому исследователю К.Попову принадлежит наблюдение: около 40% всех эпитетов у Паустовского — цветковые. «Чёрные сети» могут подтвердить этот вывод.

Прошло почти два года, прежде чем был опубликован очередной рассказ Паустовского — случай беспрецедентный в его творческой практике. Эти два года — 1930 и 1931 — шла та перестройка художественного сознания писателя, которая сделала возможным создание «Кара-Бугаза». Ни в романах «Блестящие облака», «Коллекционер», ни в рассказах «Чёрные сети», «Драгоценный груз» — социальное и лирическое сплавить воедино писателю не удалось, несмотря на ряд художественных достоинств и принципиальную значимость этих произведений.

К началу 1932 года ситуация складывалась поистине драматическая. Близило сорокалетие Паустовского. Ему удалось реализовать многие из своих планов. Огромен был объём проделанной писательской работы. Но!!!

Из трёх написанных романов один лежал в столе, другой был единодушно отвергнут критикой, третий — самим автором разобран на куски. Из трёх книг, опубликованных к этому времени: «Морские наброски», «Минетоза», «Встречные корабли», — ни одна не получила широкого признания. Художник испытывал в это время неуверенность в своих силах, состояние какой-то «писательской неприкаянности». И действительно, с одной стороны — содержательно прожитые годы, ряд интересных значительных — писатель не мог не понимать, не чувствовать этого — художественных произведений: именно в эти годы произошёл знаменательный уход от чистой экзотики («Морская прививка») и в сознании художника определились два важных направления его последующего творчества («Мещёрская сторона» и «Золотая роза»). А с другой — настороженное молчание, редко прерываемое возгласами хулы или восхищения.

Разрешилась эта драматическая ситуация в 1932 году — появился «Кара-Бугаз».

8

Мнение некоторых исследователей о «незрелости мировоззрения» и об «идеалистической основе романтизма раннего Паустовского» не соответствует действительности.

Уже в первых опубликованных рассказах и особенно в ряде произведений начала двадцатых годов, в «Романтиках» при очевидных реалистических тенденциях отчётливо просматривается продуманная программа художника, поставившего своей целью помочь человеку решить задачу «по творчеству самого себя», «самой жизни во всем её целом, жизни трепетной, одухотворённой, прекрасной». Отдельные творческие неудачи этого времени не могут, не должны быть основанием для недооценки всех ранних произведений писателя.

Творческий путь Паустовского до «Кара-Бугаза» заслуживает самого серьёзного внимания и как время, когда формировалась его творческая индивидуальность, и как период, когда писателем были созданы определённые художественные ценности.

Паустовский пришёл в литературу своим особенным путём. Этот путь лежал и через страну «Фантазия». Но главной питательной почвой его творчества всегда была действительность. Как и некоторые другие писатели, он «окончил» традиционную и ценную для художника двадцатого века школу журналистики. Его художественные искания отражали ту же ориентацию «на предельно полное представительство в литературе революционного народа», что характеризовала творческую деятельность большинства писателей двадцатых годов.

Чем дальше в историю будут уходить двадцатые годы, тем яснее, очевиднее выявится значительность творческой судьбы раннего Паустовского, художника, который, осваивая все новые сферы в меняющемся мире, отстаивал свою творческую самобытность в трудных поисках дороги к новому читателю.



ПИСАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Ким БАКШИ

АННА ВАСИЛЬЕВНА

Недалеко от деревни Бояково, где мы живём, находится Таруса — Паустовского, Заболоцкого, Марины Цветаевой и так далее... и так далее... Районный центр, наша столица. Летом доходим до неё минут за тридцать-сорок — через речку Таруску по узкому мостику без перил, потом через городское кладбище.

На кладбище у Анны Васильевны лежит муж — Иван Петрович Жиров. К нему надо идти как раз до могилы Паустовского, бросить взгляд на её широкий деревянный крест над речным и луговым простором, сквозящим меж сосен. Вдохнуть и повернуть направо. Там железная оградка, прямоугольник земли, быстро зарастающий сорной травой. В могилу воткнуты искусственные цветы. Их постоянно воруют бомжи и продают у входа на кладбище.

Зимой пешком по колена в снегу до Тарусы не доберёшься. И нынешней весной — многоснежной.

Я приехал в Бояково и еле пробился в дом: на пороге лежала снежная гора, при оттепелях соскользнула с крутой металлической крыши. Взялся за лопату, наверно, час откидывал снег и лёд. В доме была плюсовая температура, но сыро и промозгло. Пока дом разогревался, как всегда, зашёл навестить Анну Васильевну, любимую мою соседку.

Поднял крючок, согнутый из большого гвоздя, калитка навстречу раскрылась-упала. Прошёл по натоптанному с грязью снегу, отвалил ещё одну калитку — ветхую, из худых штакетов. Завернул за угол дома во двор с гуляющими курами и знакомым петухом. Единым взглядом окинул привычный мир старушечьего хозяйства. Под ногами дорожкой лежат плоские ржавые батареи центрального отопления, у порога резиновый коврик, аккуратная мешковина вытирать ноги. Веник — обметать.

Дверь не поддаётся, вспучило пол от зимних морозов, знаю, так бывает каждый год. Приподнял дверь, вломился кое-как в тамбур. Кисюльки — их много у Анны Васильевны — прыснули во все стороны — по стенам, на чердак. Одичали, людей не видят.

Ещё одна дверь, в тёплую избу...

— Хозяйка дома? Можно?

Отвечает откуда-то издали. Оправдывается: только на минутку прилегла, что-то нехорошо.

Разулся. Вошёл в горницу. За сатиновой полинявшей от стирок занавеской — кровать, на ней лежит Анна Васильевна в юбке, вязаной кофточке, байковых шароварах, заправленных в шерстяные носки.

Оказывается, она уже какую неделю нездорова. Больше лежит. Выйдет наружу, выпустит кур и уток, задаст им корм и снова в дом, печку топить, суп варить. Хромает, на ногу не наступишь. И ещё давление, голова кругом идёт, шатает. Да что же делать?.. Какую нестерпимую жизнь прожила, мужа схоронила. Одна. Хозяйство не бросишь. Опять же девять котов, на улицу не выгонишь и с собою в Тарусу к дочке не заберёшь. Дочка приезжает раз в неделю, привезёт хлеба, продуктов, да на беду у зятя старая-престарая машина опять сломалась. Чинит...

Как раз я подоспел к обеду. Анна Васильевна, перемогаясь, хромая, поставила на стол кастрюлю с куриной лапшой, сковороду жареной картошки. Из-под табуретки достала трёхлитровую банку с огурцами своего засола. Туда и чеснок брошен, и хрен наструган, и укропу набито, и лист чёрной смородины, и ещё какие-то горошины на дне. Да вот, говорит, рассол что-то помутнел. Сейчас слажу в подвал, принесу другую банку.

Знаю, ведь ползет, если соглашусь. А подвал глубокий, лестница приставная, крутая.

У меня на руках насильно устроился кот, красавец и наглец. Знакомой бледно-рыжей масти, откликается на Чубайса. Притворно мурчит. Положил тяжёлую голову на мой локоть, а сам оглядывает, что съедобного на столе. И лапой незаметно из-под руки тянет куриное крыло. И тут же спрыгивает. Уже я не нужен ему.

Анна Васильевна рада, что хоть живой человек появился в доме, есть с кем поговорить. Решаю заночевать у неё, диван знакомый, спал на нём, когда строился. Мало того, что она меня приютила тогда, она ещё следила, чтобы в моё отсутствие плотники

не крали материал, ловила их, корила. А когда они запивали, загуливали, давала опохмелиться, заставляла снова браться за топоры и пилы.

Вечер и начало ночи мы провели в разговорах. Анна Васильевна рассказывала знакомые мне истории, добавляла новые подробности. Вспоминала, как во время войны вместе с отцом совсем ещё девчонкой работала в шахте, золото копала. В резиновых сапогах, брезентовой робе, вода течёт на голову и за ворот. Шахтёр держит длинный бур, поворачивает, а подручная Аня бьёт тем временем по торцу бура кувалдой. А он всё проворачивает. Так постепенно растёт шурф, глубина каждого — метр. Лет Анюте, когда она первый раз спустилась в шахту, было неполных пятнадцать. Хоть на руках были толстые рукавицы, кровавые мозоли никогда не заживали.

— Вот видишь? — Анна Васильевна протягивает мне длинные узкие морщинистые ладони. Щупаю. Там, где должна быть линия жизни и линия судьбы, под кожей чувствую твёрдый валик.

Когда шурф углубится на метр, пробивали другой, третий, четвёртый. Потом взрывники закладывали патроны динамита и спешили на поверхность. Их, как и всех, поднимали в бадьё с помощью ворота. Одну неделю Аня «робила» в шахте, одну — на поверхности, крутила ручки ворота, поднимала породу, людей. Здоровая была деваха, о себе говорит: сама статная, волос кучерявый, густой...

Раз принесла с собой небольшой красивый камешек с проблеском золота. Отец строгий был, взял вожжи — у них был свой конь — пригрозил: «Ещё раз увижу, наступлю на одну ногу, а другую дёрну, раздеру тебя на две половинки!» С тех пор Аня не брала ничего чужого. И так по сей день.

Жили они на Южном Урале — свой дом, хозяйство: корова с телёнком, овцы, куры, шесть пуховых коз — мать вязала платки на продажу. В степи есть где пасти скот, травы богатые. Я знаю эти места — сначала мягко круглящиеся предгорья, поросшие лесом. Неожиданный выход скальных пород — какой-нибудь острый камень торчит из земли. Железная дорога вьётся меж каменных лбов и ветвится на восток и на юг.

Южная ветвь уходит в неоглядные плоские пространства мимо круглых берёзовых рощ — колков с подлеском из дикой вишни. Одиноким ниткой тянется она по богатым чернозёмам, где осенью под ветром волнами ходят ковыли, а когда успокоятся, кажется — как будто серебряные обручи врыты в землю.

На одной из маленьких станций той железной дороги и жили они с отцом-матерью. Во время коллективизации от голода умерли первый муж и шестеро детей. Мать вышла второй раз, родилась у них Аня, единственное дитя. Раз мать с отцом поехали на дальнюю ярмарку в большой город и взяли с собой дочку, лет десять ей было. Мать захватила с собой ворох пуховых платков, погрузили на телегу бочку солёных груздей, свитые в косы связки лука, выехали затемно.

На ярмарке были к середине дня. Оставили Анюту сторожить лошадь с подводой, положили ей

под зад мешок с овсом для коня, накрытый татарской кошмой. Наказали никуда не уходить. Она и не уходила. Но тут то медведя на цепи ведут, то двое милиционеров тащат мужика с разбитой физиономией. Интересно! И, вроде, она всё время сидела на овсе, и никого рядом не было. А пришли отец с матерью, стали собираться в дорогу, надо кормить коня. А овёс-то утащили!

— Как же ты не почувяла, что у тебя из-под зада тянут?..

Как тут быть? Конь голодный не повезёт.

За целый день Аня проголодалась, попросила хлебца. У матери в сумке был пышный каравай, сама пекла. Но отец сказал: «Будем без хлеба. Пойду сменяю на овёс. Всех ты нас голодными оставила, дочка».

Мать вступилась: «Да, разве ж она нарошно? Ты тоже, Василий... Оставил телегу и коня на девчонку. Ты чо не знаш, как люди коней стреноживают на базаре, передние им ноги на два замка и цепь замыкают... А то девка на телеге! Сбросили бы её и увели бы нашего Рыжего. Не знаш, какой теперь народ?.. Вот и пошли бы домой пешкодралом».

Крепко помнила тот случай Аня. Крепче даже, чем работу в забое и то, как она с отцом жила в бараке. Было это в голой плоской степи, посреди неё вырыли шахту (видно, Урал со всеми его рудными богатствами продолжался под тонким слоем земли и в тех местах). Рядом с шахтой барак — тяжённое деревянное строение, крытое рубероидом. Внутри — сплошные нары по обе стороны от прохода. Одна длинная печка, топится углём. Можно готовить. Живут семьями, лежат бок-о-бок, даже занавесками не отделяются друг от друга. Аня спала у стены, потом — отец. Он укрывал её, прижимал к себе, когда барак настудится под зимними ледяными ветрами.

Так они жили четыре года войны, копали золото. Им было ещё куда ни шло — раз в неделю приходили домой. А люди издалека месяцами не покидали барак — только в шахту и обратно. Аня с отцом из дома несли и сметану, и творог, и мясо у них было — скот свой. Мать тушёнку делала. Зимой привозили замороженные пласты молока. А рядом люди жили впроголодь. Клявлин, к примеру, тоже из их посёлка, в барак теснился со своими шестерыми детьми и женой, которая не могла работать в шахте, ходила за детьми.

Аня варит мясо, отец подходит: «Вынь-ка!» — «Да оно ещё жёсткое...» — «Вынь, вынь, отдай вон Клявлину». Аня с недоумением опускает кусок в огромную кастрюлю по соседству. А у печи стоят многочисленные клявлинские ребятишки и голодными глазами глядят на мясо. «Дочка, — мягко говорит отец, — мясо немного поварилось у нас, засыпь лапшичкой, будет славный суп. У нас ведь и масло есть, и творог, живём слава Богу...» А Клявлин: «Спасибо тебе, Василий! Честное слово — спасибо...» Ребята прыгают вокруг: «Дядя Вася, дядя Вася!..»

Доставленную на поверхность руду дробили и затем отделяли золото от породы с помощью ртути.

— Но это же так вредно! Наполеона, слышал, отравили парами ртути, — говорю я, отягчённый поверхностными знаниями истории и медицины. — «Да кто тогда обращал внимание...» И впрямь, чего это я говорю... Отношение к людям у нас всегда было и сейчас известно какое. Тем временем Анюта продолжает: «Отец наберёт в отвале камней, сам раздробит, размельчит, несёт на речку, там промывает в решётах, потом как-то смешивает со ртутью. Наберёт золотишка сколько-то граммов — едем в большой город, в Торгсин. За золото дадут боны, а на боны те можно продуктов купить, какую-никакую мануфактуру. Мать что-нибудь сошьёт. Ведь девка я была не по годам крупная. Всё время в конторе на доске в списках была наверху, как ударница...»

В субботу под выходной Анюта приезжала к себе в посёлок.

Через дом от них стояли солдаты хозкоманды, косили, заготовливали сено. Грузили в вагоны. Их начальник был лейтенант, то ли контуженный, то ли раненый, после госпиталя. У солдат по вечерам играла гармошка, собирались девки. Танцевали с солдатами, перекрикивались частушками.

Помнит Анна Васильевна, как одна пава из эвакуированных пела:

Я на Севере была, золото копала,
Если б не было п... с голоду пропала...

На лавочке перед домом к Анюте всё подсаживался весёлый кудряш-повар. Однажды она услышала, как лейтенант прошипел ему: «Пшёл отсюда! И что б твоей ноги... Рядом ещё увижу, пристрелю!..»

Ложилась Анюта поздно, а в три часа ночи уже вставала. В понедельник к семи надо было успеть на смену в шахту.

Однажды, когда она была в забое, ей передали, мол, поднимайся, тебя кто-то спрашивает. Наверху её ждал лейтенант на коляске, сержант правил парой коней. Сразу повёз к родителям, просил руки дочери. Она не знала, что сказать, как ответить, отец с матерью были в затруднении, но возражать не стали. Анюте шёл восемнадцатый, лейтенант был крепко старше её. На следующий день они расписались. Так Анна Васильевна до смерти мужа звала его Иваном Петровичем или просто Петрович.

Она сначала крепко боялась, что ей запишут прогул за тот день, когда Иван Петрович её забрал в середине смены, тогда за прогулы судили. Но Петрович сам приехал к начальнику шахты за её трудовой книжкой. Начальник, крупнотелый татарин, только покачал головой: «И почему ты, лейтенант, взял девушку отсюда, — он показал на верх списка, где были имена передовиков, — а не отсюда...» — он ткнул в самый низ, где было много девичьих имён.

У Петровича и Анюты родилась дочь, потом сын и снова дочь, ныне медицинская сестра, живёт с мужем-врачом в Тарусе.

Если бы меня спросили: на ком держится Россия? Я бы указал на Анну Васильевну: вот на таких, как она, и держится — честных и безотказных, вечных труженицах. Я бы вспомнил, как после войны

муж привёз её в свой родной городишко Погар на Брянщине, как она «робила» на консервном заводе, не хуже шахты: в резиновых сапогах, в вечной сырости, на конвейере. Как таскала неподъёмные ящики с трёхлитровыми банками, полными солёных огурцов, помидоров, сока. А после смены ещё вкалывала на своём участке, да ещё куры, поросёнок, корова. Ухаживала за больной матерью Ивана Петровича до самой её смерти, обмывала её. А ещё было — с осени и зимой она работала в школе, где учились её ребята, нянечкой, техничкой — мыла классы, топила печи — по две на каждом этаже. Понатаскай-ка угля на второй и третий этаж!..

Так она и жила в вечном труде сверх сил, поставила детей на ноги, заботилась о своём Иване Петровиче. Хозяйства он чуждался, не офицерское это дело. Всё переложил на жену. В Погаре где-то необременительно служил за необременительные деньги, в одной из районных организаций, которые были с приставкой «рай» — райтоп, райгаз, райзаготскот. К тому же он сильно попивал, увлекался рыбной ловлей, стал прихварывать. Анна Васильевна безропотно и заботливо ухаживала за ним. Правда, собутыльников жестоко преследовала — тех, кто соблазняет.

Я ещё застал его в Боякове, он с палкой в руках важно гулял по деревенской улице, останавливался поговорить с соседом о положении дел в стране. Заходил ко мне пропустить рюмочку. Однажды он поехал в Погар навестить родные места, не послушал предупреждений, что опасно ездить в город, накрытый радиоактивным облаком от Чернобыля. Видимо, схватил там дозу, поел облучённых огромных помидоров с огорода брата и вскоре заболел раком.

— А как же там люди живут? — спрашиваю я Анну Васильевну.

— А так и живут. Болеют, умирают от рака. Недавно один доктор в Тарусу приехал, рассказывал. У него жена оттуда...

Я вспомнил, как добывали золото с помощью ртути, и замолчал, больше не спрашивал.

Анна Васильевна постоянно и с любовью вспоминает своего Петровича, который при жизни, сказать правду, немало ей досаждал, жалеет его. Вот и накануне вечером рассказала мне, как он ей снился и снится до сей поры. В каком настроении является, про что говорит...

Утром, после завтрака, я пришёл в свой дом, набравший за день и ночь летнее тепло. Открыл ставни и сел у окна. На подоконник прилетели две бабочки. Всю зиму они спали где-то в укромном месте, может быть, прижавшись к книгам на полке у самого потолка. И вот теперь, почуяв тепло в доме, решили, что уже пришла в мир весенняя майская благодать и рвутся наружу, трепещут крыльями. То поднимаются по оконному стеклу, то опадают на нижнюю раму. Не видят ни пятен снега за окном, ни жёлтую прошлогоднюю траву ещё без зелени.

Солнце ярко светит, жарит всюю. Ствол черёмухи под окном окрасился в оливковый цвет, острые почки отошли от веток, напряглись, торчат.

Облепиха усыпана коричневыми зёрнами, а сирень — крупными набухшими почками.

Развёл сладкой воды, дал бабочкам. Они развернули скрученные шлангом хоботки, застыли, пьют. Крылья слегка дрожат. У одной они оранжевые с темной каймой на концах, изящно обрезанные. У другой на крыльях две пары глазков, как у павлинов на хвостах, и ещё красные, жёлтые пятна, которые природа расположила так гармонично, что диву даёшься, зачем такая красота.

Над этим задумывался Иосиф Бродский. Есть у него длинное стихотворение «Бабочка». И в нём важные строки:

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
Кривят уста:
не высказать ясней,

что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы...

Сижусь с этой недоумённой мыслью.

А через два глухих, необитаемых до тёплых дней дома живёт Анна Васильевна. И вовсе не задумывается над такими вопросами. Просто живёт. По вечерам мажет больную ногу мазями, которые ей привозит дочь из Тарусы. Утром встаёт со стонами. «А что делать? Надо двигаться, пока Бог даёт». Постоянно поминает детей, внуков, недавно появившихся правнуков, всех разбросала жизнь — Таруса, Домодедово, Екатеринбург, Дальний Восток. Живёт в постоянной заботе — как они? Крестит меня перед дорогой: «Сохрани, святой Николай угодник!»

Так — хоть и с перебоями, с замираниями — бьётся в постоянной тревоге её сердце.

Юрий КУРАНОВ

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Я родился в то время, когда развитию нашего искусства, нашей русской литературы, как и всей нашей культуры вообще, был положен предел. Ещё не развернулось движение вспять, но кровавый маховик этого движения уже делал первые обороты. Моя мать, сотрудница Русского музея и одна из любимых учениц Павла Филонова, в 1928 году подготовила большую выставку работ этого художника и уже развесила их в залах. Необычный художник, певец антиинтеллектуальных интуитивных напряжений масс, уже воспроизводил на своих полотнах те обезличенные реки вымотанных непосильным трудом и всеобщим заблуждением толп, которые вгонялись в железобетонные шлюзы новой социальной системы. Но Филонов пел их. Вскоре он сам станет жертвой этого потока. А пока его работы год провисели на стенах Русского музея и без всякого открытия выставки были с них сняты. А его лучшая ученица довольно скоро забудет, что была любимицей гениального живописца и провозвестника эпохи всеобщей обезличенности.

Это было время, когда имена недавно лишь знаменитых творцов и толкователей культуры стали не только немymi, пустыми и умерщвлёнными, но имена эти опасались произносить вслух. Когда я поступил в университет Москвы, никто из моих однокурсников не имел представления не только о Сомове, Головине, Мережковском или Рерихе, но многие из нас никогда не слышали имён Бунина, Нижинского, Фешина, Борисова-Мусатова и Стравинского. И никто из нас тогда ещё и не подозревал, что мы не только юные невежды, мы не подозревали, что в будущем для нас возможно какое-то прозрение. Мы были забиты, но самоуверенны, мы были молоды, но уже

состарились. Мы не просто ничего не знали, но порою и не хотели знать.

Нам казалось, что знание возможно только там, где ты идёшь с завязанными глазами, а творчество это нечто такое, что должно быть понятно с первого взгляда самому необразованному человеку. Сотни и тысячи молодых поэтов учились писать по газетной рекомендации Маяковского «Как делать стихи», а Сергея Есенина считали хулиганом, певцом ушедшей в небытие реакционной деревни, а о великом русском поэте Николае Клюеве никто из нас и услышать-то не мог.

Мы росли недорослями, и нам казалось, по крайней мере очень многим, что путь творческого поиска — это путь взыскания расположенности к себе сильных мира сего. Как следствие этой расположенности мы понимали разного рода поощрения, отличия и награды как действительные творческие достижения. И так получилось, что распоряжаться нашими пристрастиями, вкусами и представлениями отдали мы право тем, кого истинный характер творчества заинтересовать не мог, кого интересовало только утилитарное значение творчества вообще и нашего дарования в частности.

В результате этого самые талантливые и самые достойные дарования погибли на корню, либо в самом начале своего расцвета, от духовной безвоздушности. Так случилось и с Николаем Рубцовым, и с Юрием Казаковым. Так произошло со Шпаликовым, да и с Шукшиным. Признание у них было, но признание ещё не всё, да и не самое главное. Главное в искусстве — право и возможность быть самим собой и больше никем другим. Истинный художник, будучи сам терпимым, не терпит похоти своей на кого бы то ни было другого. Инстинкт стад-

ности, стремление сбиться в стаю, в юшку для настоящего таланта неприемлемы, более того — они для него смертельны.

Выживали только самые нетребовательные, самые изворотливые и самые напористые. Таким образом творческие трибуны нашего времени превратились в арены жесточайшей борьбы за существование именно в том виде, в каком это проповедовал Дарвин. Да по-другому и быть не могло, если художник и поэт с детства вырастает с уверенностью, что он произойдёт от обезьяны.

Потом времена как будто изменились. Наступала как будто бы свобода, пиши — что хочешь. Но, как и раньше, все пишут на одном довольно сером уровне, за исключением полутора-двух десятков человек. Да и тех насчитаешь ли? Вместо жажды угодить начальству распахнулась жажда сенсаций. Все, кто некогда хвалили Сталина и его пристрастия, теперь бросились его ругать, разоблачать и поносить...

Где-то в стороне от этой столбовой дороги остались, каждую минуту рискуя за это поплатиться, немногочисленные Пришвины и Паустовские, над которыми потешались все, кому не лень.

Позже ситуация вроде бы повторилась, восхвалители Брежнева, купавшиеся при нём в неудержимых потоках дач, зарубежных поездок, орденов и медалей, теперь оказались его хулителями. Они, оказывается, всё знали, всё видели, но... мудро ждали мгновения, чтобы высказаться. Они заговорили в полный голос. Им есть что сказать, они видели многое. Еще бы! Одни хлебали прямо с барского стола и видели все лица, другие подбирали крохи под столом и подглядывали оттуда. Сегодня они развернули новый тур борьбы за ордена и медали, за депутатские и всякие прочие должности! А если времена опять изменятся, им опять будет что выложить на всемирную ярмарку сплетен: они так много знают! Им не до мастерства, не до поиска, им успеть бы высказаться. Они профессионально наблюдательны.

Но в творчестве ситуация уже иная. Она ещё более трагичная. Ни Паустовских, ни Пришвиных уже нет. И никто из последней волны литераторов даже и припомнить-то не хочет, да и не может, что же это такое, свободный художественный поиск, и с чем его едят. Но все хорошо знают, что за него уже давно нигде не платят. Ни у нас, ни за границей. Место поиска заняла наглость.

Да, пришло странное время. Впервые это почувствовали где-то в семидесятые годы. По всем литературным инстанциям открыто стала ощущаться недоброжелательность к мастерству, к высокой, к изысканной художественности. Даже в страшные «сталинские» времена здесь и там удавалось встретить почтение к фразе, к образу, к построению сюжета. Вопреки всем избиениям по издательствам, журналам, по так называемым творческим инстанциям в тридцатые-сороковые годы, даже в пятидесятые, сохранились ещё те самые остатки, отзвуки великой русской культуры и искусства, которым положила видимый и невидимый предел гражданская война. Ко времени, о котором я говорю, изменился и читатель.

Если на публикацию «Осенних рассказов» в «Литературной газете», этих стихотворений в прозе, я получил около двух тысяч писем со всех концов страны, от людей самых разных по возрасту и по социальному культурному положению, то к семидесятым годам такие изысканности стали раздражать.

Летом 1968 года я оказался в гостинице «Юность» вблизи Лужников. Там собирали молодых писателей России, чтобы поехать в Вёшенскую к Шолохову. Одним из организаторов этого мероприятия был молодой инструктор ЦК комсомола Алик Лиханов. Это был вежливый, собранный, доброжелательный молодой человек, с глазами, таинственно уходящими от прямой встречи.

— Вы знаете Василия Белова? — спросил меня Алик.

— Нет, — сказал я. — А кто это?

— Это очень интересный молодой прозаик из Вологды, — сказал Алик, — он хочет с вами познакомиться.

Не успели мы познакомиться, как этот коренастый мужичок с лицом опростившегося Николая II, с живописной вязкой речью бросился терзать меня за то, что я пишу рассказы, в которых кроме красоты ничего нет. Он, правда, не скрывал, что рассказы эти ему нравятся, но уверял, что они никому не нужны и что свой талант я трачу впустую.

Я тогда не придавал особого значения запальчивым утверждениям обаятельного и узловатого вологжанина, но довольно скоро начал ощущать, что он прав. В литературную жизнь страны, в её культурное дыхание начали приходить и прочно обосновываться в ней совершенно новые люди. Таких людей на духовных скрижالياх наших ещё не бывало. Эти существа словно прилетели в свои кресла откуда-то из безвоздушности, они как бы заново открывали жизнь на земле и первое, с чего начали, это с жажды насытиться, насытиться едой, питьём, телесным удовольствием и грубоосязаемыми знаками почестей, дородности, прямого и решительного завоевания права на всё, что даёт официальный регламентированный быт. Конечно, тут было не до изысканностей, не до бряцания на лире многозвучной...



Юрий Куранов, 1999 г.
Из архива музея-центра (Фонд В. П. Стеценко).
Фотография Геннадия Беглова (Москва)

Некоторые из этих людей всё же порою стремились приоткрыть хотя бы какой-то уголок правды над наглухо запечатанной от всякой информации действительности. Я хорошо знал из личного опыта, что ни о какой правде не может быть и речи. Говорить об этом было некому, да и незачем. Никто ничего не хотел знать. Во всяком случае те, кто хотел хотя бы прикоснуться к правде, были неизмеримо лучше и выше тех, кто самозабвенно и заливисто холуйствовал во всё горло.

Оставался выход: если нельзя сказать правду, то хотя бы не нужно лгать. Если нельзя жить на полном дыхании, то нужно хотя бы сохранить само дыхание от осквернения. Не на гульбищах же, конечно, и не в спёртых подвалах, где раздают житейские блага для ожесточённой очереди, можно было сохранять это дыхание и не отравиться выхлопными газами машинизированной псевдочеловеческой ретивости.

За тысячу двести лет до наших дней одинокий китайский поэт Ли Бо говорил так:

Плывут облака
отдыхать после знойного дня,
стремительных птиц
улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
и горы глядят на меня,
и долго глядим мы,
друг другу не надоедая.

Меня всегда смущало неистребимое желание подавляющего большинства людей как можно больше взять от жизни благ. Поэтому Ли Бо всегда мне был близок, с его стремлением к уединённой красоте. Другой великий поэт, Иван Бунин, в изгнании, под дыханием Средиземноморья размышлял несколько иначе:

В полночный час я встану и взгляну
на бледную высокую луну,
и на залив под нею, и на горы,
мерцающие снегом вдалеке...

Он страшным для поэта признанием заключил эти великолепные и трагические стихи:

Познал я, как ничтожно и не ново
пустое человеческое слово,
познал надежд и радостей обман,
тщету любви и терпкую разлуку
с немногими последними, кто мил,
кто близостью своею облегчил
ненужную для мира боль и муку,
и эти одинокие часы
безмолвного полуночного бденья,
презрения к земле и отчуждёнью
от всей земной бессмысленной красы.

Впервые о том, что был когда-то на свете Иван Бунин, я узнал зимой 1952 года. Я обнаружил в библиотеке общежития МГУ на Стромынке какую-то потрёпанную книжку. Меня поразило в ней короткое стихотворение, которое мне показалось есенинским:

Синий ворон от падали
алый клюв поднимал и глядел...

Стихотворение называлось «Степь» и написано было в 1912 году. Кто такой Иван Бунин, я узнал

через три года в Ленинграде от Всеволода Рождественского, придя к нему со своими стихами, по звонку друга моей матери.

Я не принимаю прозы, в которой нет поэзии. Такая проза для меня мертва. Между прочим, те страшные ночные стихи в Приморских Альпах Бунин написал гораздо позднее того, как Достоевский провозгласил, будто красота спасёт мир.

А за полтора тысячелетия до них великий пустынный Макарий сказал так: «Были праздные мудрецы в мире: одни из них показали своё превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым правилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах... И все сии, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства».

О том, что на свете жил когда-то сей великий человек, я узнал только к пятидесяти годам моей жизни. Так каждый из нас, прибывший в Москву, только к концу своей жизни узнавал, что в другие времена и на других концах земли узнавали будущие поэты и художники ещё в детстве. Само собой разумеется, что ничего достоверного не зная о культуре или имея о ней превратное мнение, мы не могли реализовать и сотой доли тех возможностей, которыми были наделены от рождения.

Никому из нас долгое время не приходило даже в голову, что талант даётся совсем не для того, чтобы, расторгивая его, художник отдавал себя в рабское услужение невежественному хозяину основных благ жизни.

И уж кому из нас даже сегодня придёт в голову сомнение в том, будто путь самовыражения во что бы то ни стало и есть самая достойная и верная дорога для таланта. Также многим из нас, если не всем, отнюдь не приходит в голову, что совсем не наше дело не только воспевание кумиров, но и низвержение их. Кумиры, вожди и тираны живут по своим законам, которых, кстати, они не придерживаются, и всякая попытка для человека талантливого и бескорыстного вступить в их сферу притяжения — гибельна для дарования.

Я с глубочайшим теплом вспоминаю наше совместное пребывание с Алексеем Козловым в его избе на хуторе Трошинцы, когда он писал свои композиции на сеновале, а я свои на чердаке его избы. Над нами горело осеннее созвездие Возничего, в желудках было пусто, ни о каком признании не было и речи, а на душе было легко и свободно. Позднее я прожил замечательные дни и ночи, восходы и рассветы на берегу озера Глубокое под Опочкой, которые протекали под пение ласточек, цветение клёнов и под музыку Шопена да Вивальди.

Я не сделал и сотой доли того, что мог бы сделать, но совсем об этом не жалею.

Конечно, было бы лучше, если бы в редакциях почаще попадались мне люди, которых бы интере-

совала именно творческая сторона дела, поиск, открытия. А может быть, это и хорошо? Ведь теперь, с расстояния прожитых мною лет, я так отчетливо вижу суетность и претенциозность многого из того, что мною написано. Да и не только мною. Конечно, я не лгал, как это было модно все промелькнувшие годы. Я никогда не прислуживал сильным мира сего, я никогда не боролся за награды и отличия, наоборот — избегал их. Но разве это меня оправдывает? Если говорить по большому счету: кто дал мне право писать о том, чего никогда не было вообще и выдумывать людей, которых свет не видел. Что это такое? Ложь или чрезмерная самонадеянность, безответственная назойливость? И вообще имею ли я право на так называемое творческое воображение, которым я так упивался и так им гордился порою.

Седьмой десяток лет размениваю я. Я люблю землю и небо, и реки, и горы. А особенно я любил облака... и ветер... Во времена моей юности, когда я много ходил по стране в моих стоптанных ботинках, пел ветер, но облака ещё не были смертоносны. Они были прекрасны во всех отношениях. Человек ещё не осквернил их, они ещё не дышали смертью в сердца людей и животных... Мы останавливались в горах и долинах, у ручьёв и ключей и пили прекрасную воду, которой можно было доверять. Её не стоило бояться. И я воспевал всё это и в стихах, и в прозе. И не жалею об этом. Теперь я знаю, кого благодарил моё сердце, когда я шагал по земле. Я благодарил Того, Кто всё это создал и дал мне безвозмездно всё это вместе с моею собственной жизнью. Трудно сказать, пошёл ли бы я в литературу, если бы с юности знал правду о том, куда я так рвусь, если бы с ранних лет имел доступ к тем знаниям, которые проливают истинный свет на жизнь и смерть.

Правда, нужно быть благодарным за то, что я хотя бы к концу жизни кое-что узнал из того, что должен был бы знать с детства. Конечно, я слишком поздно услышал горькие слова Григория Богослова о языке: «Кто исчислит все те огорчения, какие причиняет язык? Если захочет, без всякого труда, в одну минуту заставит враждовать дом с домом, город с городом, народ с властелином, царя с подданными, как искра, мгновенно воспламеняющая солому. Плывущих на одном корабле, сына, родителя, брата, друга, супругу, супруга — всех удобно вооружает одного против другого. Злого делает добрым, а доброго, напротив того, погубит, и всё это опять переиначит. Кто переможет слово? Язык мал, но ничто не имеет такого могущества. О если бы он тотчас омертвел у людей злых».

Теперь я знаю, куда летят те удивительные лебеди на картине Рылова «В голубой дали», написанной им в разгар гражданской войны, самой ужасной из всех войн, перенесённых нашим народом. Их семеро перекликающихся в небе белоснежных птиц, над океаном. И вдалеке парусник, как образ чистоты человеческих устремлений. Я знаю, куда стремятся эти величественные и такие кроткие птицы. Они уходят от смерти, их зовёт к себе жизнь. И не всё заковано льдами на таких далёких, почти безжизненных островах. Во всём этом синем воздухе

неба, в облаках, в безбрежной дали волн дышит ощущение надежды.

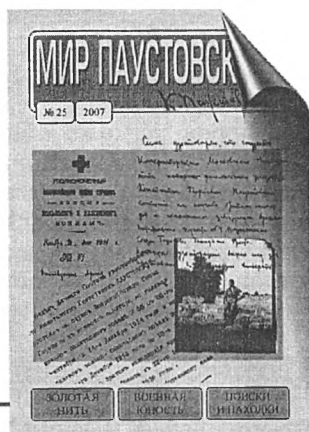
Время летит, как летят порою высокие и быстрые облака, подгоняемые мощным и благотворным дуновением. Мы постепенно начинаем догадываться, что высокохудожественное творчество имеет значение и смысл тогда, когда оно не обслуживает те или иные интересы и инстинкты доминирующих в обществе лиц и группировок. А под облаками летят лебеди, полные надежд.

Теперь, когда меня спросят, чему я хотел бы уподобить своё перо, я знаю, что ответить. В 1585 году вблизи Оки, недалеко от Белёва, Святой Макарий Жабинский основал монастырь. А в 1615 году был монастырь истреблён польским отрядом пана Лисовского. Но Макарий вернулся на пепелище и возродил пустынь. Он часто уходил в лесную глушь, чтобы предаться в одиночестве молитве. И вот однажды он услышал стон и увидел обессиленного поляка, рядом с которым валялась сабля его. «Пить», — просил тот слабым голосом. Святой Макарий возмолился ко Господу и ударил своим посохом в землю. И тотчас же хлынул из земли родник, чтобы утолить умирающего. Вот и я хотел бы, чтобы перо моё уподобилось этому посоху. Но для этого я должен был бы прожить совсем другую жизнь.

Для того чтобы приблизиться к такой надежде, у человека должно было бы произойти в жизни нечто хотя бы подобное некоему замечательному событию из жизни уже воспоминавшегося нами Макария Великого, великого и святого пустынножителя. Непорочность во все времена вызывала зависть и раздражение. И вот одна блудливая девица, объявила, будто бы она беременна от пустынножителя. Окрестные жители воздвигли на подвижника ликующую брань и злословия. Макарий не счёл нужным оправдываться. Он, как и прежде, плёл в своей келье корзины, а деньги, вырученные за них, стал отсылать беременной. Но вот клеветнице пришло время родить, и разрешиться от бремени она оказалась не в состоянии. Тогда она назвала истинного творителя бесчестия.

Если бы я хотя бы отдалённо был способен на подобное, конечно, жизнь моя была бы совершенно другой.

Прошли довольно-таки многие годы, вполне достаточные для обыкновенной человеческой жизни средней продолжительности. За эти годы моей жизни произошло многое, многое удалось осмыслить. И среди самых дорогих моему сердцу ощущений я всё чаще и чаще вспоминал одно. В шестилетнем возрасте я оказался в ссылке с родителями моего отца. А сам он заключён был на Соловки. И вот впервые попал я в настоящий цветущий лес. И какая-то деревенская девочка показала мне в глубине лесной ароматно расцветший огромный цветок. Я поражён был этим цветком настолько, что мне даже не пришлось в голову сорвать его. Я лишь склонился над этим цветком и долго смотрел в него, чувствуя, как он светит мне в лицо, я дышал его благоуханием. Там, среди сосен и елей, среди берёз и осин, в прохладе леса. В чистоте его.



ЛЮДИ, ГОДЫ, СУДЬБЫ

Вадим ВЫСОЧАНСКИЙ

О СУДЬБЕ Н.Г.ВЫСОЧАНСКОГО

Документы и публикации

Журнал «Мир Паустовского» №15–16, посвящённый родственным семьям писателя, вызвал многочисленные отклики читателей. В частности, одна читательница пишет: «Многое для меня явилось открытием. Ведь ничегошеньки о К.Г.Паустовском, о его близких и родных я, по сути, и не знала». Цитата из другого письма: «Отраднo, что на страницах «МП» появились Высочанские, Тенновы, Гули...»

В том номере были опубликованы и воспоминания моего отца, двоюродного брата Константина Георгиевича, Сергея Высочанского: «Наша семья. Её прошлое». Отец, в основном, написал о своём отце и моём деде, любимом дяде К.Г.Паустовского — Николае Григорьевиче Высочанском, в доме которого Костя Паустовский подолгу жил. Константин Георгиевич посвятил ему (дяде Коле) в «Повести о жизни» много страниц.

Судьба моего деда трагична. Трагична, как и судьбы тысяч людей, которым довелось жить в то время. Воспоминания моего отца заканчиваются словами: «Но с 1927 года работать становилось значительно труднее... Подходила сталинская эпоха...»

Одна из характеристик того времени из юбилейного сборника Казанского порохового завода¹:

«В апреле 1929 г. Сталин начал величайший эксперимент XX века, сопровождавшийся ломкой человеческих судеб в достижении революционным путём в кратчайший срок великого будущего. Он сломал сопротивление деревни и объединил беднейшее крестьянство в коллективные хозяйства... Он заставляет рабочих забыть о положенной за свой труд зарплате и отдыхе.

Революционный энтузиазм при невероятных лишениях будет поддерживаться и направляться партией и органами ГПУ.

Сталин заранее наметил виновников неудач и лишений народа — виноваты вредители и враги народа. Ими на первых порах были специа-

листы, получившие образование ещё при царе, которые, естественно, ненавидят диктатуру пролетариата и вредят ей. Он точно рассчитал — тёмная ненависть полуграмотной массы к образованной интеллигенции только и ждала клича «бей»».

В книге А.Н.Яковлева «Сумерки»², в частности, показано, как на самом высоком уровне организовывались процессы по «шпионажу» и «вредительству». Приводится выдержка из телеграммы Сталина Менжинскому 27.07.27:

«3) хорошо бы дать один-два показательных процесса по суду по линии английского шпионажа, дабы иметь официальный материал для использования в Англии и Европе...

б) обратить особое внимание на шпионаж в военном, авиации, флоте».

Далее А.Н.Яковлев пишет:

«В конце 20-х годов в материалах следствия и приговорах, наряду с обвинениями в монархизме и контрреволюции, начинают фигурировать обвинения в шпионаже и во вредительстве.

В июле 1929 года по докладу ОГПУ принимается следующее решение Политбюро о контрреволюционной деятельности в оборонной промышленности: а) разослать обвинительное заключение ОГПУ членам ЦК и ЦКК, а также хозяйственникам, в том числе директорам заводов, в особенности в военной промышленности; б) предпринять расстрел руководителей контрреволюционной организации вредителей в военной промышленности, а самый расстрел отложить до нового решения ЦК о моменте расстрела; в) предложить ОГПУ представить список лиц, подлежащих расстрелу, и материалы.

¹ Казаков В.С. 1788–1988. Казанский пороховой завод. 210 лет на службе родине. Казань, 1998.

² Яковлев Александр. Сумерки. М.: Материк, 2003.

Итак, списка ещё нет, но расстрел предре- шён. Вскоре Политбюро утверждает список лиц, подлежащих расстрелу. Его состав состоял в основном из бывших чинов царской армии: Михайлов В.С. — генерал, дворянин; Высочанский Н.Г. — генерал, дворянин; Дымман В.Л. — ге- нерал, дворянин; Деханов В.Н. — генерал, дво- рянин; Шульга Н.В. — генерал-порученец при князе Сергее Михайловиче».

Сретенка 26, квартира 9 — это последний ад- рес Николая Григорьевича в Москве. Мартовским утром 1929 года он вышел из дома, чтобы идти на работу. Но в Селиверстовом переулке около дома его уже ждали — Николай Григорьевич был арестован...

И до сих пор моя семья не располагает досто- верными сведениями о том, как сложилась судьба моего деда после ареста.

Ещё в 1956 году жена Николая Григорьевича, а в 1987-м его дочь обращались в Прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации Н.Г.Высочанского. В об- ращениях, кроме того, отмечалось, что все члены его семьи, основываясь на ряде фактов и свидетельств людей, хорошо знавших Николая Григорьевича, сомневаются в исполнении приговора и поэтому про- сят сообщить об обстоятельствах, дате его смерти и о месте захоронения. Ответов от Прокуратуры на свои обращения ни жена, ни дочь не получили.

Никого из Высочанских не уведомили и о его реабилитации. Об обстоятельствах ареста Николая Григорьевича и о реабилитации я узнал из материа- лов уголовного дела, с которым был ознакомлен в 1990 году после обращения в соответствующую спецслужбу. Одновременно я узнал, что были реа- билитированы все (!) осуждённые по этому делу о «вредительстве», а это более 80 человек.

После опубликования воспоминаний отца у меня возникла потребность уточнить некоторые факты:

Награждение деда орденом Почётного легиона.

Присвоение ему генеральского звания (я с до- лей недоверия относился к этому факту, полагая, что звание было выдуманно властью, чтобы более есте- ственно обвинить Николая Григорьевича во вреди- тельстве).

Учреждение в МВТУ стипендии имени Н.Г.Вы- сочанского.

Хотелось также понять, почему такое значение придавалось производству снарядов по французс- кой технологии (по французскому образцу).

Получить подтверждение о награждении оказа- лось несложно. Потребовалось только сделать неко- торое психологическое усилие, чтобы написать По- слу Российской Федерации во Франции и изложить свою просьбу. Спустя некоторое время МИД РФ при- слал мне ответ Канцелярии ордена Почётного легио- на, подтверждающий факт присвоения в соответствии с Декретом от 16 июня 1916 года этой высшей награ- ды Франции Николаю Григорьевичу Высочанскому. С другими вопросами было сложнее, однако кое-что всё-таки удалось узнать, о чём скажу позже.

Но главное, я хотел выяснить, был ли приве- ден в исполнение приговор ОГПУ или после 1929 года дед работал в какой-либо спецтюрьме — «ша- рашке», как их стали потом называть. Хорошо из- вестно, что многие специалисты прошли через них. Например, авиаконструкторы Туполев, Мя- сищев, Петляков; пороховщики Бакаев, Шнегас... Этот вопрос был самым сложным. Долго я не знал, с чего начать.

Прочитав книгу А.Н.Яковлева, я счёл возмож- ным обратиться к нему уже как к Председателю Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий. Моё обращение с перечнем фактов, известных всем членам семьи Николая Григорьевича и противоречащих офици- альной версии об исполнении приговора, Комис- сия переадресовала в Главную военную прокура- туру. Из Прокуратуры мне сообщили, что ни подтвердить, ни опровергнуть мои сомнения они не могут. Мне же рекомендовали обратиться в Рос- сийский центр хранения и изучения документов новейшей истории /РЦХИДНИ/ — там хранятся архивы ВКП(б). Полученные мною документы дали основание при обращении в другие архивы и другие организации говорить о том, что я веду по- иск следов деда, который, возможно, трудился в какой-либо «шарашке». (По реакции сотрудников, к которым я обращался, я видел, что их удивляет не только содержание этих документов, но и то, кем они выданы.) После длительной беседы с руковод- ством одного из подразделений РЦХИДНИ я по- лучил право ознакомиться с материалами «особых



Москва, ул.Сретенка, дом 26.
Фотография Анастасии Высочанской (Москва)

192

Приложение № 3
к п. 22 (о. п.) пр. ПБ
№ 105.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

(Принято ПЕ ЦК ВКП(б) 21.Х.29 г.).

Органами ОГПУ раскрыта и ликвидирована контр-революционная вредительская и шпионская организация в военной промышленности СССР. Организация ставила перед собой задачи - путем вредительства и шпионажа ослабить оборонно-способност^и страны и содействовать иностранным интервентам.

Личный состав ее состоял в подавляющем большинстве из бывших высших чинов царской армии - бывш. генералов и полковников. В связи с этим, Коллегией ОГПУ приговорены к расстрелу: Михайлов В.С. - бывш. генерал, дворянин; Высочанский Н.Г. - бывш. генерал, дворянин; Дымман В.Л. - бывш. генерал, дворянин; Деханов В.П. - бывш. генерал, дворянин; Шульга Н.В. - бывш. генерал-порученец при бывш. великом князе Сергее Михайловиче.

Приговор приведен в исполнение.

Все остальные обвиняемые по указанному делу приговорены на разные сроки заключения в концентрационные лаг^{еря}.

папок», относящихся к 1928—1930 годам. Несколько дней работы — и я обнаружил протоколы заседаний ПБ ЦК ВКП(б), суть которых изложена в книге А.Н.Яковлева.

Из материалов этих папок со всей очевидностью следовало, что идеологическая установка, провозглашённая в 1919 году группой старых большевиков, как их стали называть позднее, продолжала действовать:

«В борьбе с контрреволюцией следует руководствоваться не какими-либо юридическими нормами, а лишь “принципом политической целесообразности и правосознанием коммунистов”, основанном исключительно на социальной и классовой принадлежности обвиняемого, без доказательства его прямой вины по отношению к Советской власти».¹

Видимо, руководствуясь «политической целесообразностью и правосознанием коммунистов», главный рупор страны газета «Правда» в 42 и 43 номерах за 12 и 13 февраля 1929 года отвела место для пространной статьи «Вредительство — как оно есть», написанной не абы-кем, а известным учёным (с 1929 года полным академиком) Г.Кржижановским. Он не мог не понимать, что творит. Поэтому приходится считать, что содержание статьи соответствовало его правосознанию, его пониманию политической целесообразности. Ещё до суда он обвиняет конкретных людей в тяжелейшем преступлении — во вредительстве. И это на всю стра-

ну! (Обвинение в адрес Высочанского прозвучало за полтора месяца до его ареста.) Ниже привожу выдержки из этой статьи.

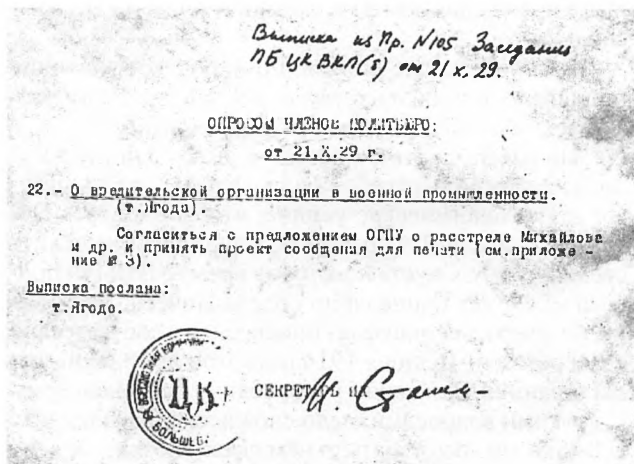
«Анализируя личный состав раскрытых до настоящего времени вредительских организаций, мы видели, что бывшие капиталисты являются генеральными фигурами антисоветской деятельности.

Помимо бывших капиталистов, политическую физиономию личного состава организаций определяли в значительной степени военные инженеры, занимавшие видное положение при старом режиме.

Среди вредителей в военной промышленности насчитывается 10 бывших генералов и 19 полковников. Совершенно ясно, что эти бывшие люди по своему воспитанию в царской армии являлись надёжными ландскнехтами капитала и непримиримыми врагами пролетарской диктатуры. Весьма сложный комплекс самых разнообразных мотивов — идейных, служебных, материальных и кастовых — толкал их на борьбу за реставрацию капитализма теми методами, которые прямо вытекали из их технической специальности, а именно — вредительством и срывом индустриализации страны...

<...> С момента перехода вредительских организаций на новую тактику особое значение, с точки зрения конечных целей, приобретала военная промышленность Союза. Начиная с 1918 г. вредительская организация под руководством бывших генералов Михайлова, Высочанского, Дыммана и Кургуева вела систематическую работу по подрыву оборонно-способности страны. В силу специфического значения этой промышленности контрреволюционная организация военных инженеров на всех этапах своей вредительской деятельности ориентировалась на будущую войну и интервенцию... По вполне понятным причинам мы не можем осветить перед читателями приёмы и объекты вредительской работы».

Только домыслы, никаких фактов. Как свидетельствует история нашей страны, «принцип политической целесообразности...» оказался живучим и «плодотворным». (Основное впечатление от прочтения газет того времени — все статьи и заметки пронизаны страхом. Регулярно публикуются материалы о «чистке» в тех или иных предприятиях и



¹ Данишевский, Крыленко, Лацис и др. Известия ВЦИК 1919, 3 янв. Все трое расстреляны в 1938 году.

конторах, заметки о саморазоблачении, о покаянии. Дети отрекаются от родителей — «врагов народа».)

Мне было известно, что инженеру Рамзину, осуждённому по «делу Промпартии» в 1930 году, расстрел был заменён на работу в «шарашке». Поэтому я надеялся найти следы каких-либо «шарашек», но тщетно. Из разговоров с сотрудниками архива я понял, что они упоминаний о «шарашках» не встречали. По-видимому, в этих «особых папках» их и не должно быть. Есть ряд других секретных документов, хранящихся в других местах, в основном, в архиве Президента. В этом я дополнительно убедился, прочитав статью В.Буковского «Я вооружился копиями» («Новая газета», № 93 за 20.12.04). В ней названы шесть форм секретности в документах ЦК ВКП(б). Стало ясно, что поиск «шарашек» по этой линии бесперспективен.

По совету сотрудников РЦХИДНИ я обратился в Военный архив. Но ни сведений о «шарашках», ни сведений о присвоении Николаю Григорьевичу генеральского звания обнаружить не удалось. Я рассказал сотрудникам архива о работе Николая Григорьевича до ареста в Орудийно-арсенальном тресте. Мне неожиданно посоветовали обратиться в Российский Государственный архив Экономики (РГАЭ). Сам бы я вряд ли догадался это сделать: при чём здесь экономика?

В первые часы работы в РГАЭ я не знал, за что зацепиться. Сотрудница архива, к которой я обратился за помощью, указала на стойки с рядами карточек. Фамилия деда в них не значилась. Другая сотрудница, видя мои затруднения, посоветовала обратиться в дирекцию. К счастью, заместитель директора Сергей Иванович Дёгтев оказался на месте, сразу меня принял и внимательно выслушал. Он предложил мне изложить просьбу на бумаге, указав в ней места работы Николая Григорьевича в Москве, а также его специальности. Спустя неделю, когда я пришёл с письмом, он сразу же наложил резолюцию — поручение подобрать для меня документы, где упоминается Н.Г.Высочанский. Примерно через три месяца, когда я уже ни на что не рассчитывал, мне позвонили и пригласили познакомиться с рядом документов, находившихся в нескольких папках. Из этих документов я узнал, что Николай Григорьевич занимал ряд руководящих постов и в сферу его деятельности входили вопросы, связанные с производством взрывчатых веществ. Как будет видно из дальнейшего, эта информация оказалась важнейшей для продолжения поиска. На словах сотрудник РГАЭ добавил, что следов «шарашек» у них нет и быть не может, а личное дело Николая Григорьевича было сразу же изъято после его ареста. Мне любезно сняли копии с отобранных документов.

Обнаруженные мною документы позволяют проследить работу Николая Григорьевича в системе Главного Артиллерийского Управления (ГАУ), но, из-за его засекреченности, только в самых общих чертах. Прояснился вопрос и с генеральским званием. Рукой деда, в его анкете написано, что это звание он получил в октябре 1917 года. (!) Выяснилось, что, как и

во время учёбы в Михайловской Артиллерийской академии, он оказывается рядом с В.С.Михайловым. Вплоть до ареста и приговора ОГПУ. В Центральном правлении Артиллерийских заводов (ЦЕПАЗе) с Николаем Григорьевичем сотрудничает и Н.Н.Филипповский, известный нам из воспоминаний моего отца и также осуждённый по тому же делу.

Этап работы в архивах закончился.

Примерно пятнадцать лет тому назад я держал в руках тома уголовного дела Высочанского Н.Г., которые теперь хранятся в ФСБ. Письмо Главной военной прокуратуры дало мне повод обратиться в Центральный архив ФСБ. Уже более полугодом мы состоим в переписке. Обменялись четырьмя письмами с каждой стороны. Для иллюстрации моей аргументации привожу одно из моих писем.¹ Все

¹ От Высочанского В.С. 1928 г. р.

В Центральный архив ФСБ РФ
Заместителю начальника архива
Титову Ю.Н.
На Ваш № 10/А-В-23 от 31.01.05

Уважаемый Юрий Николаевич!

В письме от 11.01.05 (Ваш № В-48) по поводу судьбы моего деда военного инженера-технолога Высочанского Николая Григорьевича, якобы расстрелянного 21.10.29, я просил сообщить мне всё, что известно о его деятельности после октября 1929 г., а также сообщить об обстоятельствах его смерти, времени и месте захоронения.

Материалы уголовного дела Высочанского Н.Г., с которыми я был ознакомлен ещё 15 лет назад, в сочетании с другими известными фактами дают основание сомневаться в исполнении приговора. Решение о расстреле подозреваемых было принято непосредственно Политбюро ЦК ВКП(б) на основании обвинения ОГПУ, в котором отсутствовали подтверждающие его факты. Оно было принято на закрытом заседании Политбюро 13.07.29. При этом сам расстрел был отложен до нового решения Политбюро о моменте расстрела. Мало того, текст публикации в открытой печати об исполнении приговора также был составлен в Политбюро заранее, до объявления заключённым приговора ОГПУ. В этом я убедился, ознакомившись с материалами Особых папок заседаний Политбюро за 1929 г., хранящихся в фонде РГАСПИ <Российский государственный архив социально-политической истории>. Решения по делу о вредительстве в военной промышленности принимались Политбюро ЦК ВКП(б) в ряду с другими текущими делами, наспех. Так, первое из упомянутых решений шло 37-м, а второе 22-м пунктом повестки дня.

В связи с этим материалы упомянутого уголовного дела не могут вызывать доверия. Не случайно, что все осуждённые по делу о вредительстве в военной промышленности позднее были реабилитированы. А это более восьмидесяти человек.

Как следует из письма Главной военной прокуратуры (приложение 1 к письму № В-48), Прокуратура также не уверена в исполнении приговора.

Судя по всему, материалы уголовного дела носят декоративный характер, и судьба моего деда скрыта в документах, которыми я не располагаю.

Центральный архив ФСБ, которому доступны архивные фонды всех предприятий системы НКВД-МГБ СССР, может рассмотреть списки заключённых, работавших на этих предприятиях, и сообщить мне о результатах поисков. Поэтому ещё раз прошу проделать эту работу и выйти за пределы материалов Фонда, находящихся под рукой. Как следует из приложенных к письму № В-48 документов, Высочанский Николай Григорьевич заслужил внимательное к себе отношение хотя бы посмертно.

Заранее благодарю

/Высочанский/

22.02.05.

ответы архива ФСБ противоречивы. Так, в первом их письме по поводу основного вопроса, касающегося исполнения приговора, написано:

«Сообщаем, что в Центральном архиве ФСБ хранится предписание о приведении в исполнение постановления ОГПУ.... а также акт от того же числа о его расстреле».

В двух других письмах сообщается, что «дополнительных сведений о судьбе Вашего деда Высочанского Н.Г. после осуждения не имеется»... «документальные материалы предприятий (речь идёт о «шарашках». — В.С.), как правило, хранятся по месту их нахождения».

Кроме того, мне рекомендуют самостоятельно вести поиск. (Не означает ли это, что на основе имеющихся в архиве документов нельзя сделать однозначные выводы? Иначе зачем же давать рекомендации по продолжению поиска?)

За время переписки с этим архивом я уточнил, какие документы — протоколы с опознанием личностей заключённых — предшествуют исполнению приговора, какими подписями они скрепляются и каким документом-актом сопровождается исполнение. Чьи подписи, помимо подписей исполнителей, фиксируют акт. В своём последнем, четвёртом письме я запросил копии этих документов. Мне сообщили, что протоколов в архиве не имеется, а копию акта об исполнении приговора мне высылают. Однако присланный мне документ по своей сути является предписанием-приказом, предшествующим его исполнению (см. «МП» №15–16). Акт об исполнении приговора является отдельным документом, и именно так о нём сказано в первом письме из архива. То обстоятельство, что предписание подписано «присутствующими», мне известными исполнителями приговоров — Блохиным и Моггой¹, при отсутствии в качестве проверяющих других должностных лиц, а именно — начальника АХО и двух его сотрудников, лишь подчёркивает несостоятельность фактических обстоятельств, касающихся судьбы деда.

По непонятным причинам Архив ФСБ явно уклоняется от внесения ясности в судьбу Николая Григорьевича. С 1929 года сменилось четыре поколения сотрудников спецслужб, Россия признала вину государства перед всеми «вредителями», их реабилитировали, но ФСБ продолжает наводить тень на плетень. Зачем?

Так что вопрос о судьбе моего деда остаётся открытым.

О своих поисках я рассказал в «Мемориале» — объединении лиц, пострадавших от политических репрессий. Там порекомендовали обратиться в неизвестную мне организацию — Главный информационно-аналитический центр МВД.

Подготовив письмо-обращение, я приехал в этот Центр. Меня внимательно выслушали, и менее чем через месяц я узнал:

«Сведений о приведении приговора в исполнение не имеется».

Любопытно, что и Аналитический центр МВД, и Главная военная прокуратура знают, что их мнение противоречит утверждениям ФСБ!!!

В архиве «Мемориала» я попросил вспомнить, нет ли у них материалов о работе людей в «шарашках» в те годы и в той области, где могли бы использоваться опыт и знания Николая Григорьевича. При этом я характеризовал его не только как военного инженера-технолога, много лет проработавшего в области горячей и холодной обработки металла, занимавшего руководящие посты в системе ГАУ, ведавшего в ЦЕПАЗе боеприпасами и взрывчатыми веществами. Последние слова явились ключевыми. Мне сразу же дали большой конверт, содержащий материал по делу В.В.Шнегаса — человека сходной с дедом судьбы. Скорее всего они были знакомы ещё по Михайловской Артиллерийской академии, поскольку Владимир Владимирович окончил её всего годом позже. Большую часть своей жизни он проработал на Казанском пороховом заводе, т.е. заводе, находящемся в поле деятельности Н.Г.Высочанского. Будучи директором этого завода В.В.Шнегас арестован в мае 1929 года. Ему были предъявлены те же обвинения, что и моему деду. Но Шнегас был осужден на 10 лет. Через несколько лет он был освобождён, а вскоре снова посажен. Работал в закрытых особых технических бюро (ОТБ) при пороховых заводах в Тамбове, Рошале, Казани. В 1941–42 годах, находясь в заключении, руководил разработкой пироксилиновых реактивных порохов и наладил в Казани их массовое производство для «Катюш». Эта работа имела столь большое значение в битве под Сталинградом, что многие, если не все, сотрудники группы Шнегаса были освобождены и награждены орденами. Но не В.В.Шнегас. Его здоровье было так подорвано, что известия о грядущем освобождении сердце не выдержало. Он умер и на годы был забыт. Однако со временем правда восторжествовала: сегодня о В.В.Шнегасе в Казани помнят не меньше, чем помнят о Н.Г.Высочанском в Брянске.

Какой урон был нанесён Политбюро ЦК ВКП(б) военной промышленности страны, свидетельствует книга Н.Симонова «Военно-промышленный комплекс СССР в 20–50-е годы» (М.: Роспэн, 1994).²

¹ Расстрельные списки «Мемориала». М. Выпуск 1, 1993, стр. 202. М. Выпуск 2, 1995, стр. 297.

² Из книги Н.Симонова: «25 февраля 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление «О ходе ликвидации вредительства на предприятиях военной промышленности». В постановлении указывалось: «Заслушав доклад ОГПУ о ликвидации на предприятиях военной промышленности последствий вредительства, ЦК ВКП(б) констатирует, что до настоящего времени во всей военной промышленности не принято достаточных мер по ликвидации этих последствий и до сих пор имеет место выпуск военной продукции с пониженными боевыми качествами во всех военных производствах. ...Необходимы героические усилия для того, чтобы наверстать упущенное. Прод. на сл.стр.

(Следует оговорить, что разработка порохов для «Катюш» была проведена много раньше и принята на вооружение в 1937–38 годах. Был создан высокоэффективный баллистичный порох с заданными свойствами. Основоположником химии и технологии порохов для реактивных снарядов был А.О.Бакаев, разработавший их в 1926–28 годах. Но в 1930 году он был осуждён на 10 лет и работал в ОТБ-ОГПУ. В 1934-м досрочно освобождён, а в 1937-м снова посажен. В 1943 году снова досрочно освобождён и награждён орденом Трудового Красного знамени.

Однако к зиме 1941 года заводы, выпускавшие этот порох, оказались на оккупированной территории. Необходимо было налаживать новое производство при отсутствии необходимых компонентов. И заключённые в Казани сумели это сделать. Ещё в июле 1941 года немцы взяли в плен батарею «Катюш», но наладить производство необходимого пороха при всей мощи своей химической промышленности так и не смогли.)

В конверте с материалами, относящимися к В.В.Шнегасу, находилась пространная записка с описанием его жизни и арестов. Там же был телефон автора записки — внучки Шнегаса — Светланы Андреевны. Я созвонился с ней. Она приняла мой звонок близко к сердцу. Сказала, что только спустя 12 лет добилась информации о том, что В.В.Шнегас умер от паралича сердца. О Высочанском ей ничего не известно, а вот фамилия пороховщика Михайлова хорошо знакома. Обещала связаться с известным ей крупным специалистом-пороховщиком, давно работающим в этой отрасли и с увлечением занимающимся историей её развития, Иваном Ивановичем Вернидубом. Если он позволит, то она даст его телефон.

На следующий день я уже разговаривал с Иваном Ивановичем. Он сказал, что фамилия Высочанского ему знакома, но где он её встречал, не помнит. Деятельность же Михайлова ему хорошо известна. О Вадиме Сергеевиче Михайлове — видном специалисте в области производства взрывчатых веществ — он написал в своей книге «О передовой линии тыла» (М., 1993, 1994). Вот фрагмент из его текста:

«Главный инженер Самарского завода В.С.Михайлов сыграл важную роль в развитии отечественной промышленности боеприпасов. К моменту назначения в 1909 г. техническим руководителем строительства Самарского завода взрывчатых веществ он уже был известен как талантливый инженер в области технологии этих веществ. Им была разработана технология залив-

ки снарядов пикриновой кислотой без предварительной переплавки её... В.С.Михайлов и специалисты Охтенского з-да впервые в России отработали технологию изготовления тротила... Созданный им агрегат для плавки тротила и его сплавов вошёл в историю снаряжения под названием «Котёл Михайлова». Он до сих пор используется в промышленности... С 1915 г. он работает в ГАУ. С июня 1918 по февраль 1919 — нач. ГАУ. В эти годы он внёс неоценимый вклад в обеспечение Красной Армии вооружением и боеприпасами».

В нашем неспешном разговоре с Вернидубом ключевыми оказались слова: «производство снарядов по французскому образцу», более понятные ему, чем мне. Он сразу же назвал мне две книги: А.Я.Черняк «Семён Николаевич Ванков 1858–1937» (М.: Наука, 1984) и книгу самого Ванкова «История Организации Уполномоченного Главным Артиллерийским Управлением по заготовлению снарядов по французскому образцу генерал-майора С.Н.Ванкова. 1915–1918 гг.» (М., 1918). Так постепенно я погружался в судьбы сподвижников моего деда, познавая суть их дела и его значимость.

Обе книги оказались очень интересными и информативными. В книге Черняка достаточно хорошо объяснены смысл и важность освоения производства снарядов. Описаны положение с производством снарядов в России, её неготовность к войне, которая началась 19 июля (1 августа) 1914 года нападением Германии на Россию. Описана и деятельность Брянского арсенала.

Книга Ванкова была интересна для меня прежде всего тем, что в ней рассказывается о совместной работе автора и Высочанского. В обеих книгах говорится о важности расширения применения сталитного чугуна. Кстати, исследованиями в области получения и использования этого более пригодного для нужд артиллерии и более дешёвого металла независимо друг от друга занимались и Высочанский, и Ванков.

Очень интересна личность Ванкова. Родился в Болгарии. Участник сербско-болгарской войны. После отречения от престола князя Болгарского Александра эмигрировал в Россию. Участник русско-турецкой войны. Окончил Михайловскую Артиллерийскую Академию. Служил в арсеналах Ташкента, Хабаровска, Брянска. Широко образованный человек. Стоял у истоков советской цветной металлургии, промышленности лёгких сплавов и др. Имеет десятки печатных трудов. Его хорошо знали и знают сейчас в военной промышленности и в действующей армии. Достаточно сказать, что о положении на фронтах Первой мировой, об острой нехватке снарядов ему писали письма друзья-генералы П.А.Лечицкий, А.В.Самсонов и др. (Ему ничего не оставалось, как направлять копии их писем главному инспектору артиллерии действующей армии великому князю Сергею Михайловичу и в ГАУ. В ответ от ГАУ он получал упрёки, что вмешивается не в своё дело...)

<...> Кампания по борьбе с «вредительством» в военной промышленности, продолжавшаяся на протяжении 3 лет, привела к тому, что к началу весны 1930 г. в военной промышленности и на военных производствах осталось 1897 инженеров и 4329 техников (в 1928/29 г. только на 45 заводах, подчинённых ГУВП, насчитывалось 18153 служащих) при потребности более 10 тыс. инженеров и 16,5 тыс. техников. РЗ СТО в своём постановлении «О пятилетнем плане подготовки кадров для военной промышленности и военных производств гражданской промышленности» от 10 мая 1930 г. признал положение с инженерно-техническими кадрами критическим.

Но перехожу к книгам Черняка и Ванкова. Привожу выдержки из них.

А.Я.Черняк:

«В марте 1914 г. в Брянск приехал новый начальник Арсенала генерал-майор С.Н.Ванков, а в декабре того же года он был назначен и начальником гарнизона города.

Брянский арсенал основан в 1783 г. По данным на 1911 г. Арсенал имел около 600 рабочих и мастеров.

«...» По техническому оборудованию и масштабам производства Брянский арсенал занимал третье место среди других арсеналов страны. Расположен он был крайне неудачно, в центре города, зажатый со всех сторон частными владениями и р. Десной, отрезавшей Арсенал от железной дороги. В 1913 г., в соответствии с большой программой вооружения армии, решено было перевести Арсенал в другое место, за р. Десну, ближе к железной дороге. Проектом переноса Арсенала и занялся его новый начальник. В июле 1914 г. проект был готов, но он не был осуществлен: началась война, и кредиты не были отпущены.

Для начальника Брянского арсенала генерала С.Н.Ванкова война не была неожиданностью. Можно сказать, что он встретил её грудью. Молниеносно, несмотря на незавершённость реконструкции, вся работа Арсенала была перестроена на военный лад. Мобилизованы были все возможные ресурсы. Арсенал был переведён на круглосуточную деятельность. Устанавливался лишь один выходной день в месяц. Сам С.Н.Ванков работал с 6 ч. утра до 1–2 ч. ночи ежедневно».

С.Н.Ванков:

«...В октябре–ноябре 1914 г. в России определённо обозначилась страшная нужда в снарядах для действующей армии, и требовались экстренные меры для спасения страны от грозных перспектив полного снарядного голода.

Картина роста производства снарядов во Франции навела находившихся там представителей русской армии на мысль о желательности перенести в Россию производство снарядов частью промышленностью. По их инициативе французское правительство отправило в Россию миссию из французских артиллеристов, инженеров, техников и химиков.

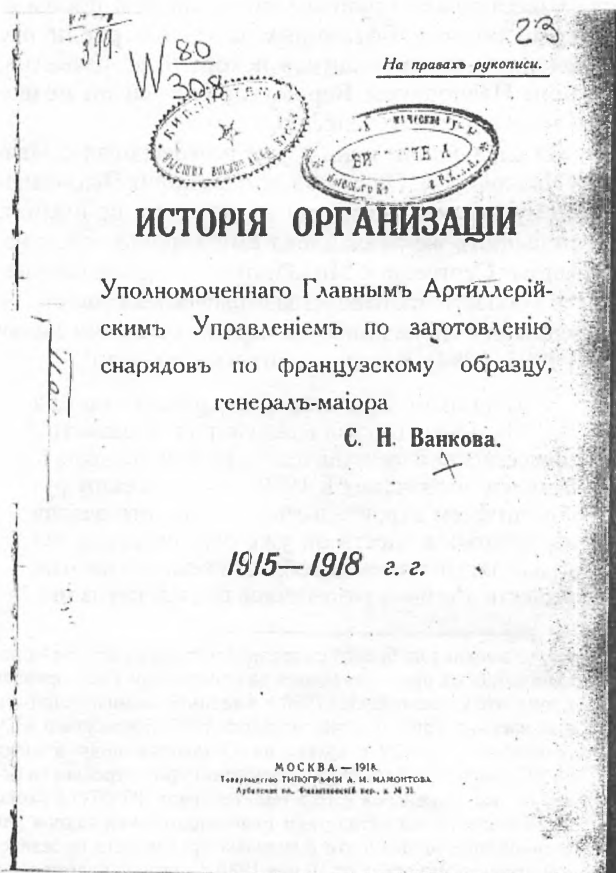
17 января 1915 г. эта миссия с начальником её майором Пию во главе прибыла в Петроград».

А.Я.Черняк:

«С.Н.Ванков в течение нескольких дней изучал материалы французской военной миссии, технологию изготовления снарядов по французскому образцу. Сущность последнего сводилась к следующему. Как известно, русская граната, взятая в то время на вооружение, состояла из двух частей: стакана и навинчивающейся на него головки. Граната же французского образца изготавливалась из одного куска металла, причём верхняя часть стакана обжималась в конус в нагретом состоянии. Важно было то, что французские гранаты изготавливались не из твёрдой угле-

родистой стали (как на русских заводах), а из более мягкой, осевой. Необходимая прочность снаряда достигалась закалкой. Устранение операций нарезания резьбы для навинчивания головки снаряда на корпус, а также замена углеродистой стали обычной давали возможность использовать станки меньшей мощности. Тем самым открывалась дорога для привлечения к производству гранат не только крупных металлообрабатывающих заводов, но и различных мелких предприятий, включая ремонтные мастерские текстильных фабрик. А именно это имело большое значение при решении острейшей проблемы снабжения действующей армии снарядами для лёгкой артиллерии. Тем более что перед войной ни один из частных заводов не готовил снарядов, и это производство пришлось вновь насаждать у нас в трудных обстоятельствах военного времени. Кроме того, выделка заготовок для снарядов из осевой стали была возможной (в отличие от заготовок из твёрдой стали) для всех рельсопрокатных заводов страны, что способствовало включению в орбиту снарядного производства многих металлургических заводов. Таким образом, в целом благодаря переходу на изготовление снарядов по французскому образцу неподготовленность русской гражданской промышленности к снарядному производству значительно уменьшалась.

Все эти несомненные преимущества С.Н.Ванков понял быстро. Но от идеи до её широкомасш-



Москва, Товарищество «Типография А.И.Мамонтова», 1918

табного воплощения было ещё очень далеко. Нужно было создать крупную централизованную производственную организацию, создать коллектив помощников, разработать массу технологических проблем, решать научно-технические вопросы по совершенствованию принятой технологии и тысячи других задач. И сделать всё это нужно было в условиях непрерывной борьбы с чиновниками из ГАУ. Однако С.Н.Ванков, движимый патриотическим чувством и захваченный перспективами нового, грандиозного дела, согласился заняться этим. Следует высоко оценить его решение. «Будучи широко образованным инженером, — вспоминал спустя почти 30 лет сотрудник главного уполномоченного А.В.Панкин, — он понял сущность французских предложений и взял на себя ответственность провести их в жизнь... Он сказал: «Я возьму на себя всё это». Это была большая смелость пойти против всех авторитетов. Он оценил положение правильно... Смелостью в таких условиях было взять на себя борьбу с крупными авторитетами и настоять на привлечении частной промышленности. Это мог сделать только *талантливый технолог и выдающийся организатор*» (курсив наш. — А. Ч.). Не боясь громких слов, можно сказать, что решение С.Н.Ванкова имело историческое значение для судеб артиллерийского снабжения русской армии.

С.Н.Ванков:

«“Организация Ванкова” ... создавалась специально для производства лёгких снарядов... Не игнорировала Организация и производство тяжёлых снарядов».

Решение новой технической задачи многократно усложнялось тем, что производство снарядов необходимо было внедрить на сотнях малых заводов и мастерских, никогда прежде не выпускавших подобных изделий. Внедрить быстро в условиях, когда в России был малочислен, слаб институт военной приёмки.

Для решения этой задачи требовались не только глубокие знания технологии производственных процессов и организаторский талант руководителей, но их энтузиазм, личный пример. Не случайно так врезалось в память моего отца время доработки и освоения выпуска снарядов нового типа, когда его отец — Николай Григорьевич — дневал и ночевал в мастерских Брянского арсенала.

Выпуск этой опытной партии снарядов вселил уверенность в успех всего дела, и менее чем через месяц, 22 апреля 1915 года последовало «Высочайшее утверждение положения Военного Совета о возложении на генерал-майора Ванкова заготовления 3" гранат французского образца».

А.Я.Черняк:

«В успехи Организации немалый вклад внёс Ванков личным примером самоотверженного труда, подчас круглосуточными бдениями непосредственно на заводах и иногда на рабочем месте, у станка. Его жена, Мария Даниловна, рассказала автору о таком случае. Приехав на один из заводов, С.Н.Ванков сделал замечание о недостаточной производительности станочников

при обтачивании стаканов для снарядов. Его стали уверять, что достигнутые результаты нельзя превзойти. Тогда Семён Николаевич снял свой генеральский мундир, засучил рукава белоснежной рубашки и стал за станок. Удивлённые присутствующие сгрудились у станка, чтобы видеть, как пожилой генерал занялся “чёрной работой”. С.Н.Ванков превысил достигнутую норму выработки в 3–4 раза».

С.Н.Ванков:

«При развитии работ Организации явилась необходимость в создании при Управлении Высшего Технического Органа, в лице помощника Уполномоченного по Технической части, подчинённого непосредственно Уполномоченному, который, работая постоянно совместно с французской миссией, объединял действия приёмщиков и давал им необходимые указания. На должность помощника Уполномоченного по Технической части был избран самим Уполномоченным полк. Высочанский.

Полковник Н.Г.Высочанский руководил всей этой работой и совершал частые поездки по заводам, исполняющим заказы Уполномоченного.

Гвардии полковник Высочанский, принимая деятельное участие в устроении жизни и внутреннего распорядка Организации, приобрёл любовь, как со стороны Уполномоченного, так и со стороны своих товарищей по службе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В настоящее время немцы энергично работают над уничтожением как казенных, так и частных заводов, работающих на оборону.

По имеющимся сведениям, Брянскому Арсеналу грозит также опасность быть уничтоженным врагом.

Ввиду этого принимаются меры к усилению охраны завода, как снаружи, так и по дворам Арсенала и на переходных верстах.

Обращаюсь ко всем рабочим Арсенала с предложением принять участие в охране завода от покушений, внимательно наблюдая за всеми лицами, какие будут внушать подозрение. Вместе с тем, предупреждаю рабочих о необходимости точно соблюдать все правила по впуску в Арсенал и выпуску из Арсенала, и все правила для предупреждения пожара, как бы стеснительными они не казались, так как только соблюдение этих правил даст возможность Арсеналу предупредить злой умысел и сохранить для пользы Родины Арсенал, так и самые жизни рабочих.

Всех сторожей предупреждаю, что от их внимания и их добросовестности в несении своих обязанностей зависит сохранность завода. Нарушение правил охраны буду рассматривать как признак, что нарушивший правила не дорожит заводом и не думает о своих обязанностях перед Родиной. По отношению к таким лицам мною будут приняты самые решительные меры.

Начальник Брянского Арсенала
Вячеслав Высочанский.

Приказание из Брянского Военного округа № 314 от 7 июля 1918 г.

Учетная карточка.

Фамилия: Высочанский
 Имя и отчество: Николай Григорьевич
 Занимаясь в настоящее время должности и с какого числа, местом и года: полковник артиллерии, Брянский Арсенал, с 1-го июля 1918 г.
 Какое образование и на основании чего назначены на эту должность: Брянский Арсенал, с 1-го июля 1918 г.

Какое высшее образование и когда (год): <u>Техническое училище в Москве 12 августа 1902 г.</u>	О с е б е
Или какое специальное образование высшей и средней ступеней, кем, когда и в каком городе: <u>Машина. Спец. Ч. в 1902 г.</u>	
Или какую службу в артиллерии и когда (год): <u>Полковник 1-й артиллерии в мае 1918 г.</u>	
Какого звания и когда: <u>полковник.</u>	
Получены ли награды, ордена и знаки отличия, кем, когда и в каком городе: <u>Орден Св. Станислава 3-й степени, знак за окончание курса школы Михайловской Артиллерийской Академии. На основании приказа по В.В. 1900 года за № 40, имеет право на военский награжденный знак за выслугу 50 лет. Знак отличия ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЩЕВОДСТВА Генерала-Фельдцейхмейстера Великого Князя Николая Александровича.</u>	
Или какие отличия в качестве гражданского лица: <u>Знак отличия за выслугу 50 лет.</u>	
Или какие награды, ордена и знаки отличия, кем, когда и в каком городе: <u>Орден Св. Станислава 3-й степени, знак за окончание курса школы Михайловской Артиллерийской Академии. На основании приказа по В.В. 1900 года за № 40, имеет право на военский награжденный знак за выслугу 50 лет. Знак отличия ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЩЕВОДСТВА Генерала-Фельдцейхмейстера Великого Князя Николая Александровича.</u>	

Подпись: Николай Григорьевич Высочанский
 № 1318

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКЪ
 Гвардии Подполковник ВИСОЧАНСКАГО.

I. Чин, шаг, отчины и фамилия:	Гвардии Подполковник Николай Григорьевич ВИСОЧАНСКІЙ.
II. Должности на службе:	<i>И. Гвардии Подполковник Николай Григорьевич Высочанский, Брянский Арсенал, с 1-го июля 1918 г.</i>
III. Ордена и знаки отличия:	<i>Орден Св. Станислава 3-й степени, знак за окончание курса школы Михайловской Артиллерийской Академии. На основании приказа по В.В. 1900 года за № 40, имеет право на военский награжденный знак за выслугу 50 лет. Знак отличия ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЩЕВОДСТВА Генерала-Фельдцейхмейстера Великого Князя Николая Александровича.</i>
IV. Где родился:	1974 года Января 2-го.
V. Из какого уезда происходить в какой губернии уезденцем:	Из потомственных дворян Киевской губернии.
VI. Какого исповедания:	Православного.
VII. Где воспитывался:	Во Владимирской Гимназии, Киевской Гимназии, Артилл. Училищ. по Тараз. и окончил Мил. Арт. Школу, с 2-го года курсов по 1 разряду.
VIII. Полученные на службе награждения:	Медальон за выслугу 50 лет. 1900 г. Орден Св. Станислава 3-й степени. 1899 г. Крест ордена Св. Станислава 3-й степени. 1898 г.

Всю свою трудную и многосложную работу он выполнял с искренней любовью и полным знанием дела, принимая самое деятельное участие во всех деталях её.

<...> За смертью помощника начальника Брянского арсенала, генерал-майора Лукашѣва, гв. полковник Высочанский получил назначение на эту должность, в силу чего принужден был оставить службу при Управлении Уполномоченного, сдав должность заведующего по технической части старшему технику Брянского арсенала, подполковнику (а впоследствии полковнику) Н.Н. Филипповскому 3 июня 1917 года.

За все труды гв. полковнику Высочанскому была принесена от Уполномоченного искренняя и сердечная благодарность от лица службы, с выражением глубокого сожаления по поводу ухода из Организации столь ценного работника и товарища. От благодарных и любящих сослуживцев по Организации ему был преподнесен адрес, и решено было учредить стипендию его имени».

К этому времени были полностью освоены все задействованные производственные мощности.

Даже эти скудные сведения о людях, с которыми Николай Григорьевич учился, работал, взаимодействовал, позволили намного расширить мое представление о том, каким человеком и специалистом был мой дед.

Поражает масштабность задачи, поставленной перед С.Н. Ванковым. Поражает его способность быстро набрать команду необходимых помощников. Их умение наладить высокий темп работы на заво-

дах центральной и южной России, организовать производство, которое ранее им было мало известно. В самом деле:

- середина января 1915 — обсуждение проблемы,
- 26.02.1915 — выпуск 1-й партии снарядов на Брянском арсенале,
- начало апреля 1915 — размещение 1-го заказа снарядов в 1 млн. штук,
- сентябрь 1915 — выпуск 66000 шт. гранат (снарядов),
- декабрь 1915 — выпуск 223000 шт. гранат,
- июль 1916 — выпуск 688000 шт. гранат,
- декабрь 1916 — 783000 шт. гранат. Достигнут максимум производства.

Всего с сентября 1915 по ноябрь 1917 выпущено 12 900 000 штук корпусов 3" гранат. (Здесь не указаны снаряды больших калибров. Снаряжение корпусов гранат также производилось Организацией С.Н. Ванкова.) В марте 1916 года месячная продукция Организации составила 28,2% от суммарного производства снарядов на заводах, выполнявших заказы ГАУ!¹

Мной была сделана попытка получить сведения о преподавательской деятельности Николая Григорьевича в МВТУ, а также узнать, реализовано ли намерение С.Н. Ванкова учредить в МВТУ стипендию

¹ Михайлов В.С. Очерки по истории военной промышленности. М., Издание Главного Военно-Промышленного Управления ВСНХ СССР, 1928.

имени Н.Г.Высочанского. Но во время войны все архивы института погибли. Не сохранились они и в музее МВТУ.

Приведённые материалы свидетельствуют о безразличии, а точнее о враждебности нашего государства к судьбам его граждан, к судьбам людей, арестованных по заведомо ложным обвинениям. Многие же арестованные были настоящими патриотами, которые в тяжелейших условиях продолжали отдавать свои силы и знания укреплению обороноспособности страны, борьбе с реальными, а не выдуманными врагами. Эти «враги народа», будучи дворянами, честно служили своей стране и при советской власти. Многие, работая в «шарашках», способствовали нашей победе в Великой Отечественной войне.

Изучая архивные материалы, я был поражён тем, как этим людям удавалось творчески работать вопреки всем обстоятельствам. У них остро проявлялось чувство собственного достоинства, твёрдость духа. Некоторым, как например пороховщику А.С.Бакаеву, удавалось и в заключении наращивать свой творческий потенциал и по выходе на свободу занимать высокое положение в учебных институтах и КБ. Есть и другие примеры. Здесь же я коснулся лишь судеб людей, учившихся вместе с дедом в Михайловской Артиллерийской Академии и связанных с ним по службе в военной промышленности.

Занимаясь поиском нужных мне сведений, со стороны сотрудников архивов и библиотек я чаще

встречал поддержку, а не безразличие, к чему был готов. Только благодаря содействию этих людей я смог собрать эти материалы. Большую помощь оказали сотрудницы архива «Мемориала» А.Г.Козлова и Г.О.Бувина.

Всем им я выражаю искреннюю признательность и благодарность. Хочу отдельно поблагодарить Светлану Андреевну Шнегас и Ивана Ивановича Вернидуба. Их помощь в ряде вопросов оказалась решающей.

В заключение вынужден признать, что напряжённая работа в архивах и библиотеках в течение нескольких месяцев не дала желаемого результата. Мне так и не удалось добиться не противоречащих друг другу сведений, касающихся судьбы моего деда после приговора. Надеюсь на продолжение работы в архиве «Мемориала» — возможно, удастся обнаружить материалы о людях, чьи судьбы пересеклись с судьбой Н.Г.Высочанского. Надеюсь также на помощь читателей журнала «МП», чьи родные попали в сходную ситуацию. Быть может, они смогут дать полезную информацию, прислав её в редакцию журнала. Заранее благодарен.

11 января этого года Вадим Сергеевич Высочанский трагически погиб. Он ушёл из жизни полный сил и стремления продолжить поиски правды о судьбе своего репрессированного деда. Мы всегда будем помнить Вадима Сергеевича, мужественного и скромного человека.
Редакция «МП»

Гвардии Подковник Николай Григорьевич ВЫСОЧАНСКИЙ.

Меморандум по теме: газет. материал. Архив-материал от октября 1947 г.

Из документов Н.Г.Высочанского



НА ПУТИ К МАСТЕРСТВУ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

«ПИСАТЬ ХОЧЕТСЯ И ПИСАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ»

Из писем 1922–1931 гг.

*Из Севастополя в Одессу
30 января 1922 г.*

Крол, родной, маленький...

До сих пор я в Севастополе — жду «Батума», который почему-то не идёт. Говорят, одесский порт замёрз, и он не может выйти.

<...> Дни мои здесь проходят очень томительно. Я брожу по знакомым местам, по Соборной, на Приморском и по Историческому бульвару и вспоминаю тебя, март 16 года, и мне почему-то очень грустно. Был я даже около Коммерческого училища... Голод здесь жуткий, под его впечатлением проходят все дни. Город мёртвый и притихший. На улицах бродят толпы голодных. Хлеб надо заворачивать и прятать под пальто — иначе вырвут. В каждой столовой есть специальный человек, который стоит у двери и отгоняет голодных палкой. В такой обстановке приходится обедать.

<...> Послал 3 радио и 3 корреспонденции.

*Из Москвы в Екимовку Рязанской губернии
начало лета 1923 года*

Теперь, слушай. Я спешу на заседание по поводу организации в Москве большой морской газеты и потому пишу коротко. В эту газету я приглашён на оклад в 12 миллиардов (дядя Коля получает 8). В газете будет много народу и потому работа будет лёгкая — в редакции я буду быть от 10 до 2. Как зацепка (материальная) это хорошо.

А тем временем начну печататься в журналах.

*Из Москвы в Екимовку
23 июля 1923 года*

У меня за эту неделю — куча новостей. Я только что возвратился из Петрограда. В Петроград меня командировал союз

моряков на праздник Балтийского госпароходства по случаю отправления в кругосветное плавание старинного, но прекрасного клиппера (парусного) «Лауристон». Ехало нас в Петроград четверо (в том числе и Иванов) в отдельном салон-вагоне. В Петрограде с вокзала авто помчал нас по безлюдным, широким, поросшим травой, но изумительно чистым проспектам, мимо чудесных дворцов, чёрно-синих каналов к широкой, ветренной, прозрачной Неве. Был тёплый, солнечный день, и меня поразила цвет петроградского неба — бледно-голубой и словно лакированный, как на старинных олеографиях. И почему-то Петроград напомнил мне Мёртвый Брюгге: тишиной, пустынностью, бледным солнцем, чисто голландской чистотой и обилием каналов. Воздух над городом словно в Армении — хрустально прозрачный и прохладный.

<...> Последние три дня много работы — сегодня последний день тоже, — выпускаю журнал и весь день сижу в типографии в Чернышевском.

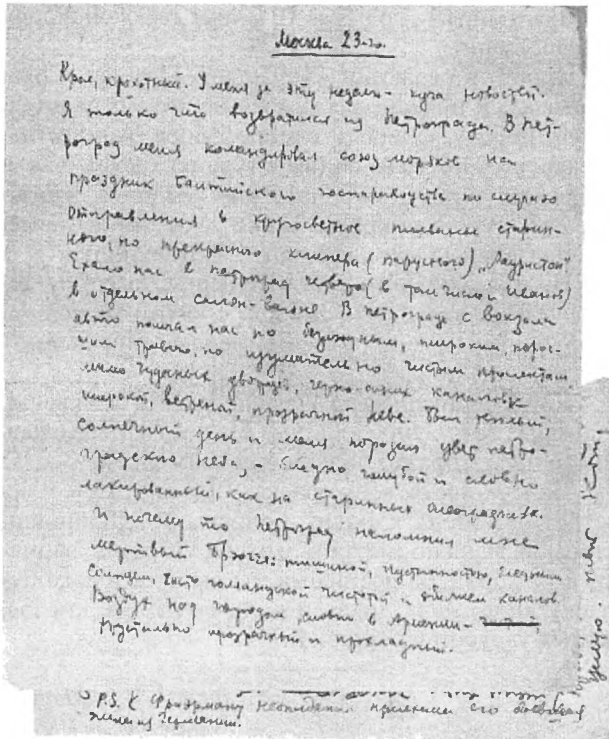
29 сентября 1923(?) г. Москва

Вчера снял комнату в Пушкине. Комната очень славная, уютная, тишина, сосны, золотая осень, милые, простые хозяева. Поезда идут почти каждые полчаса. Себе и тебе я достану сезонные бесплатные билеты. Работать там будет чудесно.

*Из Москвы в Киев
17 декабря 1923 г.*

Дорогая мама. Прости, что так долго не писал. Всё это время был в разъездах и, кроме того, было

МП: Письма К.Г.Паустовского, фрагменты из которых мы предлагаем вниманию читателей, адресованы в основном Е.С.Загорской-Паустовской; лишь три из них — матери, М.Г.Паустовской. Часть этих писем, хранившихся в архиве сына — В.К.Паустовского, не вошла в 9-й том третьего Собрания сочинений писателя.



Письмо К.Г.Паустовского из Москвы Е.С.Загорской-Паустовской в Екимовку, 23 июля 1923 года

очень много возни с комнатой. Теперь я окончательно устроился, материально окреп и буду регулярно посылать тебе денег, — пока посылаю червонец, в начале января пришлю ещё. Думаю, — к весне всё у меня сложится так, как я бы хотел, и тогда я смогу помочь тебе по-настоящему.

О том, как прошли эти три года (после Киева) я вкратце писал. В Одессе жилось очень скверно, был голод, холод (у нас в комнате зимой было 2–3 градуса мороза), приходилось и мне, и Кате очень много работать. Но физически это нас не подорвало. Сейчас я очень всевежел и выгляжу гораздо моложе и лучше, чем мои сверстники. Может быть, это объясняется тем, что уже давно я стал закалять себя, обливаюсь каждый день холодной водой, одеваюсь тепло, но очень легко, в море (в Сухуме и Батуме) я купался круглый год без перерыва. В результате я окреп и забыл о простудах и насморках.

Из Одессы пришлось бежать в Сухум от голода, в январе 22 года. Я уехал вперёд, на разведку и десять дней наш пароход носило штормом по Чёрному морю, занесло в Босфор, мы уже дали радио о гибели, но, в конце концов, всё обошлось.

В Сухуме я устроился быстро, хотя и не на газетную работу (в Одессе я в последнее время редактировал морскую газету «Моряк»). Сухум — места фантастические, русские тропики, жили мы на даче, окружённой пальмами, кактусами, бамбуком. На Пасху угощали гостей апельсинами из своего сада, рвали их прямо с деревьев. Из Сухума часто ходили пешком в Новый Афон, Дранды, на главный хребет. Из Сухума я решил возвращаться в Москву, но так как не было денег, то пришлось добираться посте-

пенно, кружным путём, — сначала в Батум, потом в Тифлис, а оттуда в Москву. В Батуме прожили немало, месяцев 5–6. Я работал в местной газете. Было много интересного, нового, прекрасного материала для наблюдений, но всё испортила тропическая лихорадка, которой сначала заболела Катя, а потом и я. Первые несколько дней, пока мы не устроились в городе, мы жили у знакомых в турецком городке Барцханы (в 2 верстах от Батума), среди кукурузных заболоченных полей, по ночам под окнами стаями выли шакалы и шла непрерывная пальба, — две большие мусульманские семьи поссорились и по ночам обстреливали друг друга чуть ли не пулемётным огнём.

Тропическая лихорадка сильно изнурила и Катю, и меня. В Тифлисе она прошла, но месяца через три возобновилась с ещё большей силой, особенно у Кати. Припадки с жаром до 42° перемежались у неё через день.

В Тифлисе я редактировал большую газету, жили мы сравнительно хорошо. Почти каждый день у нас бывал Гюль-Назаров (ты его должна помнить). Из Тифлиса я ездил в Баку, в Муганскую степь, в Армению (Александрополь, Эривань, Джульфу) и в Персию (Тавриз). Впечатление от этой поездки у меня осталось громадное, на всю жизнь. Особенно поразил меня Арарат, — это действительно что-то сказочное, непередаваемое.¹

В Персии мы чуть не погибли от пустякового и смешного случая, — в городе Маку (на границе Курдистана) мы сидели в чайхане (кофейная) с глинобитными стенами и мирно пили кофе. Вдруг стены со страшным треском обрушились, мы едва выбрались из-под развалин, со страшными криками и гамом к чайхане сбежался весь город. Мы долго не могли понять, в чём дело, — потом выяснилось, что об угол чайханы почесался чесоточный верблюд и стены не выдержали — рухнули.

Из Тифлиса мы проехали в рязанскую деревню, к родным Кати, — поправиться и отдохнуть. Только в Рязани нас окончательно бросила лихорадка.

Я уехал в Москву устраиваться. Первое время было довольно трудно. Теперь я работаю в двух журналах и газете, где редактирую общий и литературный отдел. Кроме того, работаю, но случайно, в нескольких других журналах.

¹ Здесь уместно привести фрагмент из не публиковавшегося ранее письма Е.С.Загорской-Паустовской, посланного сестре Елене Загорской весной 1918 года из Москвы:

«...Самая неожиданная новость: мы летом м.б. поедem в Персию вместе с Никитинскими. Поэтому ещё один лишний довод за необходимость твоего приезда к нам на Пасху. И это не шутка. Дело в том, что Коту по делам газеты часто приходится бывать в Комиссариате по Восточным делам. Каким-то образом, несмотря на крайность партийных воззрений, он там сошёлся с комиссаром Вознесенским и настолько своей любовью к Востоку пробудил в том к себе симпатию, что тот предложил ему ехать консулом в один из персидских городов. «Партийные воззрения, говорит, ни при чём, нам нужны люди такие, как вы», записал очень подробно его адрес и просил его серьёзно подумать о его предложении.

Кот так захвачен этим, что теперь отыскивает у букинистов путеводители по Персии».

За последние годы (Киев — Одесса — Тифлис) я довольно много написал чисто художественных вещей и решил этой зимой начать всерьёз печататься. Сначала я отдал мелочь в журналы. На днях, между прочим, будет мой рассказ в «Красной Ниве» (я тебе пришлю и, кроме того, пришлю кое-что уже напечатанное в Москве и Тифлисе — надо собрать). На Рождество еду в Петроград для окончательных переговоров с издательством «Петроград» об издании больших вещей (вероятно, выйдет 2–3 книги). Предварительные переговоры я уже веду.

Часто приходится сталкиваться и поддерживать связь с новыми писателями (Пильняк, Яковлев, Мандельштам, Ал. Толстой и др.). То, что я напишу тебе дальше, я не хотел бы, чтобы знали Проскуры и вообще кто-либо, кроме тебя и Гали. Дело в том, что все, кто читал мои вещи в рукописях, а также редакции, куда я сдаю их в печать, говорят, что помимо их «поразительного, красочного» стиля, помимо богатства образов они очень глубоки по содержанию. Наиболее смелые утверждают, что как содержание этих вещей (конечно, не пустяковых, которых у меня много, а крупных), так и моя манера письма — совершенно исключительно в русской литературе. Я не люблю говорить об этом и пишу это только тебе, чтобы ты поняла, чем отчасти вызваны скитания, и не сердилась на меня за то, что я живу, может быть, не так, как ты хотела бы.

Я смотрю на самого себя, быть может, немного странно с общепринятой точки зрения. Я думаю, что если мне правда дан талант (а это я чувствую), то я должен отдать ему в жертву всё, — и себя, и всю свою жизнь, чтобы не зарыть его в землю, дать ему расцвести полным цветом и оставить после себя хотя бы и небольшой, но всё же след в жизни. Поэтому теперь я много работаю, пишу, много скитался, изучал жизнь, входил в жизнь людей самых различных общественных слоёв.

В этих скитаниях я физически не мог поддерживать связь с тобой, хотя это очень мучило и мучит и сейчас. Но теперь мне надо подождать, привести всё в порядок, отстояться, и, я думаю, очень скоро я смогу приехать в Киев...

*Из Батума в Москву
27 июля 1925 г.*

Крол, мохнатый. Приехали в свой конечный пункт — Батум и застряли, как в мышеловке. Идут ливни со шквалами и ураганами, все реки вышли из берегов, на море — жестокий шторм. Пароходы не идут, путь размыт, поездка тоже не идет, и я не знаю, когда ты получишь это письмо, должно быть, на день-два раньше моего возвращения. Отсюда едем прямо в Москву и будем дома числа 4–5 августа. Я очень соскучился, с радостью думаю о Москве.

<...> По пути в Батум налетел ураган с ливнем, пароход («Севастополь») положило на борт, сорвало все тенты, на палубу хлынула вода, и мы уже со-

брались умирать, но через 10 минут всё окончилось благополучно.

Живём в редакции «Трудового Батума». Спим на столах. Я почернел, как кочегар, несмотря ни на какую погоду, купаюсь в море. Море, как всегда, прекрасно. По утрам сидим в турецких кофейнях, я наблюдаю турок и окончательно убедился, что во мне есть турецкая кровь. Турки такие же ленивые, созерцательные и гордые, как я. Вот видишь.

На пляжах и в городе я больше смотрю на детей, чем на взрослых, смотрю с каким-то новым, необъяснимым чувством. Временами они бывают трогательны до слёз.

Когда вернусь, слегка переделаю все свои вещи, в которых есть Сухум и Батум. Эта поездка мне очень много дала, гораздо больше прошлогодней.

Напечатана ли «Лихорадка»? Здесь в газете меня встретили очень хорошо, прибежали наборщики, чтобы на меня посмотреть, хотели устроить выпивку, но я удрал. За всё время мы выпили только бутылку вина, жара дикая и вино почти всё кислое, пахнет уксусом и бурдюком.

*Москва
5 августа 1925 г.*

С рождением малыша совпала ещё одна, но уже маленькая радость — пришли «Сибирские огни» с «Лихорадкой». Я ещё не видел книгу, сегодня доставлю и завтра пришлю тебе. Те, кто видел, в частности Мускатблит, говорят, что она занимает 1½ листа, значит — пустили без сокращений. Мускат в восторге.

*Москва. В родильный дом Грауэрмана
на Большой Молчановке.
9 августа 1925 года.*

Малыша я сегодня утром зарегистрировал. В твоём паспорте вписано — «сын Вадим Паустовский, родился 2-го августа 1925 г.». Заполнял тысячу вопросов в анкетах и давал подписку, что ребёнок действительно наш и мы от него не откажемся. И всё это стоило 3 копейки.

<...> Как только всё уляжется, начну писать. Писать хочется и писать по-настоящему. До сих пор я писал шутя, урывками, почти не работал. Много думаю о тебе, малыше, нашей жизни, и постоянно на глазах у меня слёзы. Когда малыш окрепнет, надо будет повезти его на осень в деревню, в Екимовку или на дачу, пусть дышит берёзовым воздухом и холодом. Тянет меня почему-то в тишину, в осень.

*Из Москвы в Богово
4 июня 1926 года*

Асеев сам взял у меня «Этикетки» для издательства «Мол. Гвардии» (прислал ко мне Гехта за рассказом в один лист, я дал «Этикетки»), так что «Этикетки» пойдут или в «Нови» (через Лежнева) или в «Мол. Гв.» (отдельной книжкой) через Асеева. От «Огонька» деньги надеюсь получить к отъезду.

Сейчас отделал первые три главы «Мёртвой зыби» («Старый Оскар», «Мысли о творчестве» и

«Пакость» — о смерти Оскара), отнесу их завтра в «30 дней» Регинину.

*Из Москвы в Богово (через Ефремов)
9 июня 1926 года*

Почти каждый день бывает Гехт. Он предлагает мне войти в кружок писателей (Гехт, Асеев, Катаев, Кипен, Эренбург, Югов и я) для того, чтоб самим начать издавать свои книги.

Издательства лопаются, в связи с режимом экономики почти прекратился выпуск художественных вещей, — издают только учебники и политическую литературу.

Ты знаешь, 7-го на рассвете на Тверском бульваре застрелился Соболев. Третьего дня его хоронили. Он оставил письмо, в котором пишет, что настоящая литература сейчас не нужна, её не печатают, лгать же и подхалимничать он не хочет, голодать тоже не хочет. Смерть его очень взволновала всю Москву (литературную). В общем, тяжело.

*Из Москвы в Богово
21 августа 1926 года*

Крол, родной. Не сердись, что долго не пишу, — сейчас в РОСТе много работы, время уходит незаметно. Снова хорошие, жаркие дни, и я думаю, тебе не захочется приезжать. Здесь пыль, вонь по-прежнему, грохот и лязг, к которому я до сих пор не могу привыкнуть. Димушке первое время будет плохо.

Все жалуются на скуку. Действительно — скучно. Какая-то апатия, массовый маразм, серость во всём. Нет ничего интересного и впечатление такое, что ничего яркого и свежего не будет ещё долго. Литература совсем заглохла, обезличилась, газеты противно читать. Москва напоминает мне какой-то крысиный город — лица злые или озабоченные, серые, помятые, какие-то непроветренные люди.

Из книг за это время прочёл только одну интересную, но небольшую — Пьера Ампа «Свежая рыба». Посылаю её тебе.

Очень тянет меня в деревню, в поля, на воду.

*Из Москвы в Богово
30 августа 1926 года*

Можешь поздравить себя и Димушку, — Воронскому «Этикетки» очень понравились, они пойдут в октябрьской книжке «Кр. Нови». Я рад, и сразу ушла моя апатия и нерешительность. Я рад не только тому, что «Этикетки» будут напечатаны в лучшем журнале, но ещё и тому, что в литературу я вошёл не с заднего хода, без рекомендательных писем, друзей и подготовки, вошёл как человек совершенно неизвестный.

Встретил Багрицкого. Он также оборван и нелеп, — нёс в чемодане птиц, купил на Миуссах. Вчера с Синявским был у Митницкого. Митницкий очень восторженно отзывался о моих вещах (напечатанных). Говорит, что в писательских кру-

гах меня знают и многие хотели бы посмотреть — какой такой я.

*Москва
<август> 1928 г.*

Я писал тебе уже, что в «Мол. Гвардии» вышли пробные экземпляры моей книжки.¹ Издана она прекрасно, обложка (папка) очень красивая, но не цвета сольферино, как я говорил, а синяя (светло-синяя, матовая). Шрифт красивый, формат мне очень нравится. Я держал её в руках, и мне даже не верилось почему-то, что это моя книжка. На днях получу авторские экземпляры и сейчас же пришлю тебе.

Звонил Митницкий, — он теперь редактор «Крокодила», зовёт в «Крокодил» писать очерки. Вряд ли что-нибудь выйдет, — к юмористике я не склонен.

*Из Москвы в Озерицы
29 августа 1928 года.*

Регинин просит, чтобы я написал предисловие к «Облакам», в котором ярко показал бы своё (автора) ироническое (?) отношение к героям повести. Всё это, кажется, кончится тем, что я заберу у него «Облака» — он мне надоел своей трусостью.

*Из Москвы в Озерицы
6 сентября 1928 года.*

С «30 днями» покончено, — я взял рукопись обратно. Регинин с каждым днём увеличивал совершенно нелепые требования (он редкий трус). Например, — сделать Соловейчика, Абакяна и прочих евреев, греков и армян — русскими. Аванс я им не верну — уже условился.

*Из Москвы в Киев
январь 1929 года.*

Дорогая мама. Не сердись на меня за молчание, — жизнь в Москве идёт с такой скоростью и с таким напряжением, что не замечаешь времени.

Посылаю тебе с Лерусей свою первую (первую, если не считать книжки, изданной «Огоньком») книгу. В ней — всё старые вещи, тебе уже знакомые. В феврале выходит первая моя повесть «Блестящие облака» — книга большая, её, должно быть, будут сильно бранить (советские критики).

Книги дают мне, пока, только литературное имя и моральное удовлетворение, материально же дают мало, т.к. издательства платят через час по чайной ложке, по 50–60 руб. в месяц. Жизнь же в Москве в материальном отношении очень трудная. Сейчас пишу пьесу, — если она пойдёт в театрах, то материально я окрепну и смогу выручить и тебя.

<...> Пиши. На меня за молчание сердись, но не очень, — я всё время занят. Хотелось бы бросить РОСТу, — служба мне очень и очень мешает писать, но пока это, к сожалению, невозможно.

¹ «Встречные корабли», книга рассказов и очерков.

*Из Москвы в Балаклаву
24 июля 1929 года.*

Кролик, сегодня, наконец, получил первое твое письмо и открытку и перестал волноваться. Пиши почаще.

Прежде всего — здешние новости, большие и маленькие.

1) Был у меня Гаврилов. Он на днях заходил в отдел печати ЦК партии и случайно подслушал совещание по поводу «Блестающих облаков». Некий Розенфельд (он же Рыльский), тот, что травил в «Вечёрке» Иванова, Леонова, Пильняка, Мандельштама и др., поднял вопрос о конфискации «Бл. облаков» как книги «очень вредной в идеологическом отношении, особенно для молодёжи». Большинство с ним не согласилось, и решено было книгу не трогать, но за мной, как за писателем, очевидно, будут следить. Всё это очень тупо и характерно для времени.

2) Я уже писал, что ГИЗ заключил со мной договор на «Записки Василия Седых». Это пустяк, но дало мне знакомство с ГИЗОм.

3) «Записки» вышли в шестой книжке «30 дней». Завтра я её достану и пришлю тебе бандеролью.

*Из Москвы в Балаклаву
Конец лета 1929 года.*

Крол, очень давно не писал тебе, — все дни занят: утром работаю, а каждый вечер бываю на чистке партии у нас в ТАСС и РОСТА. Это даёт уйму материала. Чистка напоминает одесскую, — масса анекдотов, нелепого и смешного. Например, редактору Наги (из Инотасса) объявили выговор за то, что он написал и издал фантастический роман «Концессия на крыше мира». По словам председателя комиссии по чистке, «интеллигент-партиец всё свободное время должен изучать Ленина, а не заниматься чепухой, — писанием романов». В общем о писательстве Наги на чистке говорили как о гнуснейшем преступлении. Обстановка чистки отвратительная: доносы, каверзные вопросы, издевательства, трусость и подхалимство. Задают такие вопросы: «Любите ли вы вашу жену, а если любите, то в чём это выражается», «На каком основании вы, партийка, пудритесь» и т.п. На чистке — обстановка больших уголовных процессов.

Новостей больших нет. Некая слезливая девица, друг Валентины Сергеевны, — Гита (та, которую мы как-то встретили в Болшеве) была в отпуску в Харькове, познакомилась с Бабелем, привезла от него привет тебе, мне и Диму и рассказывала, что Бабель больше часу расспрашивал её обо мне и сулил мне большое будущее.

<...> Я пишу и стараюсь побольше быть на воздухе: езжу на лодке на пляж у Новодевичьего монастыря, — там хороший песок.

*Из Москвы в Балаклаву
2 сентября 1929 года.*

Я пишу, до сих пор купаюсь (вода уже ледяная), в общем живу свободно и просто. Перемену в тебе

и во мне я воспринял как перелом, который нам надо обязательно сберечь и закрепить.

Сделать это можно только одним путём — мне уйти только в писательство (бросить службу), тебе — в живопись. Поэтому я решил сентябрь и октябрь работать бешено, чтобы к ноябрю у меня была новая книга — «Коллекционер» и, кроме того, — к ноябрю я соберу новую книгу рассказов (я подсчитывал — выйдет книжка листов в 6–7). Тогда я брошу РОСТу и, м.б., на месяц уеду зимой в Севастополь работать — там зимой работать чудесно. Только теперь я понял, какая, в сущности, сила у нас в руках (у меня, в частности) и как преступно я с ней до сих пор обращался. Вот, заяц!

*Астрахань
24 мая 1931 г.*

Крол, наконец осталось свободное время, чтобы написать тебе большое письмо.

<...> Поездкой я очень доволен — она даёт мне большой опыт и много материала. Ездить совсем не так страшно, как думают. Даже я, при всей своей непрактичности, ухитрился получить в Элисте полкило сахара и папирос. Нужна только выносливость и невзыскательность. Думаю, что Р. бы не выдержал. Одна поездка в Элисту на грузовой машине с пьяными шофёрами, в самумах пыли привела бы его в трепет.

Калмыцкая степь прекрасна. Впервые я видел в ней миражи. Был полдень, шофёр остановил машину и сказал — «Мираж дорогу закрывает, нельзя ехать». Шагах в ста степь переходила в море, в нём были видны пышные, зелёные острова. Потом мираж растаял, а острова оказались вершинами курганов. Второй мираж был ещё интереснее — в воздухе, выше горизонта, шли сотни верблюдов исполинского роста. Потом мы видели этих верблюдов километров за 70. В степи она вся вся покрыта ковылём и полыньёю) изумительный воздух, особенно утром. Видно на десятки вёрст. Пенё жаворонков превращается в сплошной гром. Журавли стоят генералами вдоль дороги, орлы сидят на горах костей (вдоль дороги очень часто попадаются скелеты верблюдов и овец — последствия суровой зимы). Над степью необыкновенные облака, радуги, отдалённые грозы, а у калмыцких кибиток — стаи борзых. Я был в кибитках, и при мне калмыки варили похлёбку из сусликов и калмыцкий чай (спрессованный из целых листьев, его рубят топором). Народ дикий, с загадочными бесстрастными лицами, очень молчаливый и мрачный. Ночевали мы в пути в сторожевых кордонах — глинобитных мазанках в степи — и расписывались в дорожной книге (совсем как в пушкинские времена).

*Москва
26 октября 1931 г.*

Дорогая мама. Завтра — 27 октября — я уезжаю на два месяца в Соликамск и Березники (Северный Урал), и в связи с отъездом столько возни,

что нет даже времени написать подробное письмо. Напишу с дороги — ехать придётся трое суток. Еду я от газет.

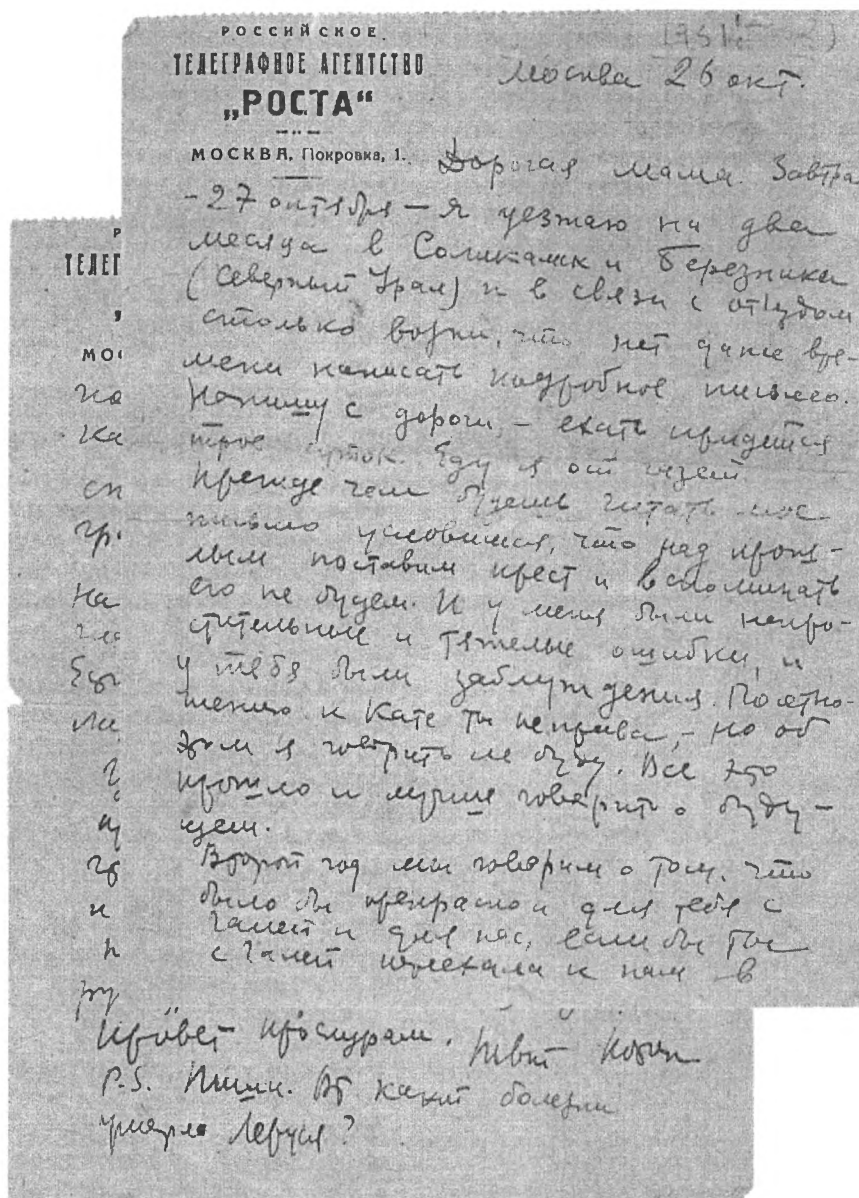
<...> Теперь о себе, — я с весны с большим трудом освободился от службы в РОСТА и теперь стал «чистым писателем», т.е. нигде не служу. Первое время было трудно, но сейчас жизнь входит в норму, и к Новому году мы совсем окрепнем материально. До сих пор этого не было, т.к. РОСТА брала очень много сил, но почти ничего не давала. Сейчас я много пишу, езжу, ушёл целиком в свою писательскую работу. Имя у меня уже есть, и как будто бы достаточно широкое, — пишу это не из хвастовства, но совершенно беспристрастно. Этой весной я ездил на восточное побережье Каспийского моря (в Кара-Бугаз, Эмбу и Калмыкию), потом три месяца мы жили в Ливнах (быв. Орловская губ.). Там я написал книгу о своей поездке.

Березники
28 ноября 1931 г.

Глупый родной мой, единственный Крол...

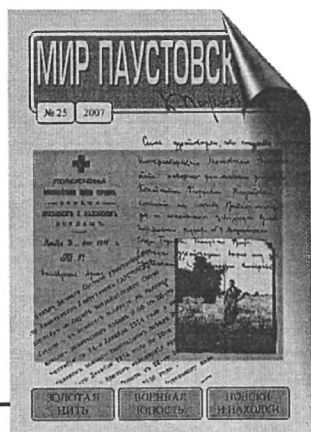
<...> ...как писатель я рос очень медленно и только теперь, сбросив с себя шелуху всяческих РОСТ и галиматъи, я чувствую, как я созрел. Перелом дался мне нелегко — после весенней поездки я чувствовал себя, как писатель, мертвецом — новое пугало меня, давило, и я не знал никаких путей, чтобы вложить в него весь тот блеск, который я чувствую и знаю в себе. Мне казалось, что как писатель современности, как писатель новых поколений — я ничто, я кончен, мой удел — более или менее удачное эпигонство. Так было в Москве после поездки — в Ливнах я старался ни о чём не думать — так я чувствовал себя то недолгое время в Москве, между приездом из Ливен и Березниками. Я не бежал из Москвы, но оставаться в Москве было немислимо, бесплодно, нужен был толчок, чтобы наконец произошла кристаллизация.

<...> В прошлом было много страданий, в прошлом я был недостаточно умён (не в смысле обыкновенной глупости), я неумно подходил к жизни, неумно её брал, неумно на неё реагировал — отсюда и неудачи, и неверие в себя, и чувство своей



Письмо К.Г.Паустовского из Москвы матери М.Г.Паустовской в Киев. 26 октября 1931 года

«случайности» в этой жизни. Я брал неглубоко, стараясь заменить отчётливую мысль блеском и не умея придать этой мысли тот блеск, которого она заслуживает. Понимаешь ли ты меня? До сих пор я чувствовал таких людей, как Роскин, тот же милый Югов, Асеев, даже Гехт, несравненно выше себя — именно потому, что они глубже знали и брали жизнь, чем я, потому что они — цельные люди. Превосходство моего стиля — и только стиля — не давало мне полной уверенности в своих силах. В этом и был разрыв между творчеством жизни и творчеством художественным, и это портило и мою жизнь, и моё творчество. Теперь пришло время говорить «во весь голос».



В МОЕЙ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ...

Валентина ФРАЕРМАН

ГОДЫ РОСТА

Вспоминается 1923 год. Тусклый октябрьский вечер. Я работала в то время секретарём в редакции провинциальной информации РОСТА. Дежурство моё кончилось, и я собиралась домой. Вдруг дверь в редакцию открылась, и вошёл Р.И.Фраерман, а с ним незнакомый мне человек невысокого роста. И очень элегантный одетый: серое в стрелку английское пальто, синие брюки клёш (по моде того времени) и на голове фуражка с крабом. Он был близорук и шурился, рассматривая нашу крошечную, не очень уютную редакционную комнату.

Элегантность посетителя особенно подчёркивалась небрежной одеждой Фраермана, на нём были старые, партизанские широкие брюки и коричневая сатиновая, очень поношенная толстовка, перепоясанная чем-то вроде верёвки.

Эта элегантность мне не понравилась — мы считали в те годы её признаком буржуазным.

— Позвольте вам представить, — прервал мои впечатления Фраерман, — Константин Георгиевич Паустовский, превосходный журналист и молодой писатель. Я его рекомендовал редактором в вашу редакцию. С начальством вопрос уже согласован. А вас, как предместкома, я прошу поддержать кандидатуру при её обсуждении на месткоме.

Через несколько дней Константин Георгиевич приступил к работе. Пришёл он рано. Комната была ещё не убрана. Новый редактор сам вычистил пепельницу. Аккуратно разложил справочники и взял папку свежих телеграмм — они горкой лежали на столе. Я предварительно объяснила ему, как мы классифицируем информацию, и дала тематический вопросник. Он просмотрел его внимательно и стал читать телеграммы. Быстро сделал разметку по вопроснику и попросил вызвать машинистку. Диктовать он стал сразу, не делая никаких поправок на оригинале, часто искажённом на телеграфе.

Быстрота его работы удивляла всех. И нередко другие редакторы этим пользовались: трудные, не очень срочные сообщения они подбрасывали к дежурству Паустовского. Он приходил в своё время и

быстро ликвидировал завал, никогда не обижаясь ни на кого за эту лишнюю работу.

В те годы телеграф нередко искажал текст телеграмм. Об этом в своё время писали в «Известиях» Ильф и Петров («Высыпай кокументы»).

Паустовский обладал каким-то необыкновенным даром быстро догадываться и восстанавливать правильный текст. Конечно, если в тексте сообщалось о «полярной курочке», то ясно было даже начинающему редактору, что вопрос идёт о полярной курочке. Или когда академик Кулик нашёл тунгусский метеорит, то, конечно, никто его не называл именем «поппель», так как это была фамилия нашего красноярского корреспондента Дмитрия Поппеля.

Вспоминаю кропотливую работу, которую вёл в те годы Константин Георгиевич с репортёрами и корреспондентами с мест. Он учил их любить слово, уважать слово. На редакционных совещаниях, на которых всегда присутствовали представители московских газет — «Правды», «Известий», «Экономической газеты», «Труда», — Паустовский постоянно напоминал о необходимости бороться с искажением и засорением языка нелепыми сокращениями (шкрабы, Уотнароб) и т. д.

Он не уставал напоминать, что слово, отдельное слово — само по себе «художественное произведение».

Слово надо понимать, чувствовать, ценить и уважать. У слова свой характер, и, как актёр на сцене, слово требует хорошего партнёра, который помогает оттенить этот характер.

Константин Георгиевич считал, что газета — лучший воспитатель народа, что газету в советское время не читает только слепой, и добивался, чтобы информация — будь то скромная репортёрская заметка о погоде или важный отчёт о торжественном заседании — была образцом стиля, формы и звучания, а написана точно, кратко, последовательно, чтобы слово было свежо, выразительно и музыкально.

Известно, что язык всегда находится в движении и непрерывно обновляется. Язык своенравен, он порой отбросит своё исконное слово (например, брадобрей), а возьмёт чужое *парикмахер* (которое к тому же означает мастер париков). А слово живёт и живёт.

Паустовский следил за жизнью языка и советовал прислушиваться к его изменениям, вдумываться, как народ — рабочие и крестьяне — вбирает в свою речь новые понятия, новое мировоззрение, потому что жизнь перевернула весь старый, затхлый уклад жизни. Считал, что среди огромного потока новых слов обязательно рождаются и такие, которые обогатят русский литературный язык. А какая-то часть отсеется.

Он не отрицал достоинств и преимуществ сказа, которым в те годы многие писатели увлекались. Но сам к сказу не прибегал и предпочитал не слова «новотворки», а *слово* верное, много испытывшее и поумневшее. Записывать эти слова он не любил, а все держал в своей памяти. В голове его умещались самые разнообразные знания о ремёслах, о спорте, о быте одесских биндюжников с Молдаванки (фольклор этот Константин Георгиевич очень любил, как любил слушать и богатую образами крестьянскую речь). Любил читать словари, справочники по ботанике, фармакопее и др.

Он привлекал всех своей непринуждённой, обильной, живой речью.

Рассказчик он (и тогда уже) был превосходный. Настоящий мастер прихотливого, порой непокорного, но всегда великолепного русского языка, учился языку везде — и неустанно учил этому своих многочисленных друзей. Он говорил: каждый, самый скромный журналист обязан знать строй и выразительную интонацию родного языка, чувствовать характер каждого слова и особенно внимательно изучать русский глагол.

Часто приводил пример краткости, точности и огромной поэтической силы стиха Пушкина. «Вы послушайте только, — бывало, говорил Константин Георгиевич, — как это ясно, звучно и грозно: «Но силой ветров от залива переграждённая Нева обратно шла, гневна, бурлива, и затопляла острова».

— Нельзя, — продолжал он, — писать сереньким, будничным языком о торжественном событии. Вспомните «Пророка» Пушкина. «Встань, пророк! И виждь, и внемли!»... Неужели же слова «смотри и слушай» были бы здесь уместны! Не бойтесь церковнославянских слов. Обогащайте свой словарь! Но помните: счёт — мера вещей. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше — и вся красота померкнет.

Он показывал, что значат красота, гибкость, изящество и глубина русского языка.

Природу он любил как поэт и художник. И сердился на «горожан», которые в выходной едут за город и раздражаются, если неожиданно начнёт крапать дождик.

Он любил природу во всех её проявлениях: и «осенний мелкий дождичек», и холодный туман, и сизую росу. Особенно он любил осень и золотой

листопад. И часто повторял в письмах пушкинские строки: «И каждой осенью я расцветаю вновь...»

С какой-то детской непосредственностью любил он воду — озерко, море, речушку и даже просто канавку, где тихо бормочет скромный ручеёк. И удивительно — он так и не научился плавать, только барахтался около берега в воде. Но воды не боялся. Бесстрашно плавал на глубоких озёрах в стареньком челне без весла, просто с помощью шеста или даже доски. А наши рязанские озёра коварны, того и гляди попадёшь в колдобину. Он шёл искать брод, словно в каждом водоёме брод должен быть обязательно.

Однажды в праздничный день предложил побывать на Истре. Мы выехали рано утром поездом и долго добирались до реки. Надо было переправиться на другой берег, где, по уверению Константина Георгиевича, всегда хорошо брали окуни и краснощёпки. Переправы никакой не было. И Коста не задумываясь быстро снял брюки, повесил их на шею и, оставшись в трусах, белой крахмальной сорочке с галстуком, вошёл в воду. Вероятно, со стороны картина эта была уморительна.

Однако нам было не до смеха. Мы его не пускали: Истра в этом месте широка и не очень приветливо на нас смотрела — небо заволакивалось серыми, холодными тучами. Но Константин Георгиевич с какой-то кривой палкой уже был в реке.

Неожиданно из-за холмика сзади нас выехал верхом на коне красноармеец.

— Гражданин, — крикнул он, — остановись, здесь сроду нет брода, а ямины такие, что даже конь не соглашается плыть. Ворочайтесь враз к берегу. А перейдёте эва вон там.

И он показал рукой вдаль, где чернелись какие-то мостушки. Едва мы добрались на противоположный берег, зарядил холодный и упрямый дождь. Он все усиливался. Мы пытались разжечь костёр, но это было бесполезно — костёр поминутно затухал. У Константина Георгиевича были такие грустные глаза, он едва не плакал — так ему хотелось порыбачить. Мы решили остаться на ночёвку под кустом большой ивы. А дождь и не думал униматься. Когда чуть забрезжило, даже Константин Георгиевич понял, что рыбалка не состоится. И мы отправились ни с чем в обратный путь. Дорога там глинистая, мы еле плелись и только к шести часам утра добрались до вокзала. Часа два ждали поезда. Пассажиры смотрели на нас неприязненно — так мы были мокры и грязны. Приехали в Москву, день был праздничный, и трамваи не ходили. И мы, усталые, продрогшие и — что скрывать — злые, пешком тащились с Рижского вокзала до нашей Большой Дмитровки.

Но когда вошли в подъезд, Константин Георгиевич посиневшими губами и виновато улыбаясь сказал: «А ведь как хорошо всю ночь мы вдыхали запах потухающего костра».

Его выносливость и терпение всех удивляли. Недаром наша деревенская прачка говорила: «Терпенник Константин Георгиевич. Ой, какой терпенник!»

Он действительно был «терпенник». Помню, у него было опасное нагноение на ноге. И наш солотчинский доктор удивлялся, как Паустовский сохранял хорошее настроение при такой боли, оставаясь ровным, милым и приветливым. Вероятно, он был хорошим санитаром на фронте в годы Первой мировой войны...

Наталья МОРОЗОВА

ВСПОМИНАЮ С ЛЮБОВЬЮ...

Димка, привет. Ты плохой Паустовский. Константин Георгиевич никогда не обманывал. Добраться ко мне очень просто... (Видимо, упрёк вызван невыполненным обещанием — навестить Н.П. — *Ред.*) Ты мучаешь меня, заставляя писать, а я буду мучить тебя, заставляя читать. Квиты!

16-летней девчонкой, через биржу труда, я поступила в Российское Телеграфное Агентство (РОСТА) ученицей секретаря. Через полтора года стала помощником секретаря, а потом и секретарём.

Константин Георгиевич работал редактором; помимо того, что сам стал писателем, заставил писать и Рувима Исаевича Фраермана, у которого была очень интересная жизнь. Ответственным секретарём была Валентина Сергеевна Фраерман — жена Р.И. Фраермана — человек огромной эрудиции, знающая несколько языков. Старый член партии. Многому она меня научила, и после её ухода из РОСТА я часто навещала её.

Девчонкой я была ужасно застенчивой. До того, что один раз, когда Паустовский довёл меня, я залезла под стол. И ещё ужасно смешливая. Стоило мне показать палец, и я уже хохотала вовсю.

Когда вечером было мало работы, репортёры и редактора со всех редакций собирались к нам на рассказы Паустовского. (Между прочим, на похоронах его Шкловский совершенно правильно сказал, что рассказывал Константин Георгиевич ещё лучше, чем писал, — настоящий одессит.)

Интересно отмечали дни рождений или другие события. Помню, когда мне исполнилось 18 лет, Константин Георгиевич выпустил специальный вестник, посвящённый мне. Кто-то подарил огромный свёрток, в котором под двадцатью слоями бумаги оказался... целлулоидный малыш. Была масса пирожных и мороженое. Часто мы ходили в подвальчик на улице Богдана Хмельницкого. Там было чудесное мороженое и любимая нами всеми вода «Свежее сено».

Константин Георгиевич был чудесный организатор. Зимой мы каждое воскресенье ходили на лыжах по 20–30 километров.

В РОСТА Константин Георгиевич проработал несколько лет — с конца 23-го года по конец 31-го. Сколько он воспитал хороших журналистов — репортёров, корреспондентов, молодых, начинающих писателей. И никогда никому не отказывал в помощи. Всегда был щедр, доброжелателен, прост и, как настоящий талант, обаятелен.

Единственный, кто сразу же откололся от нашей компании, был Фраерман. Мы не успели оглянуться, как увидели его шагающим обратно. Говорит — темпы не те.

Конечно, работа в редакции была сумасшедшая, но всё-таки я с любовью вспоминаю это время. Даже нашего вспыльчивого ответственного руководителя Адама Адамовича Яблоньского. Как-то вечером Константин Георгиевич нас так рассмешил, что никто не мог подойти к телефону. Вдруг бежит секретарь из ТАССа и кричит, что Адам Адамович решил, что мы все удрали с работы. Через несколько минут является он сам. Ну и была нам вздрючка, до сих пор помню. Из репортёров РОСТА больше всего запомнился Рыковский, который в вечера своего дежурства писал стихи о всех нас.

Строен, мил, учтиво строг
зав. наш А. Яблоньский,
крошит ростовский пирог
с миной Аполлонской.
А Наташа — дева май.
Спит у телефона,
Снятся ей и миа Май,
и пажи у трона.
Ей не хочется звонить
в главки концесскома.
Эх! головку б ей склонить
на подушку дома.

Ещё памятен Давид Гельман по прозвищу — «Зюзя», потому что он после каждого разноса зав. редакцией плакал. Помню и Сашу Смоляна, он потом переводил Рытхэу. Герцель Новогрудский стал писателем. Помню и редактора Ломакина — красивого молодого человека с военной выправкой, ред-

МП: Давая пояснения к дневникам К.Г. Паустовского в 2-томнике писателя, изданном «Декомом» в 2002 году, его сын, Вадим Константинович, писал: «Н., Н-ша, НМ — едва ли не наиболее часто встречающееся в дневниках середины и конца 20-х гг. сокращение. Оно принадлежит Наталье Петровне Морозовой, или попросту Наташе. Эта девушка, по свидетель-

ству моих родителей, неожиданно дополнила и обогатила образ одной из героинь «Романтиков»... Словом, как известно, годы в РОСТА прошли под знаком Наташи».

В архиве Вадима Константиновича сохранилось письмо-воспоминание Наталье Петровне о тех годах. Вадима она знала ещё мальчиком...

Письмо публикуется с небольшими сокращениями.

ко улыбающегося. Почему-то я никогда не любила красивых мужчин, и он попал в их число.

РОСТА и ТАСС помещались тогда в Армянском переулке, а на улицу выходила часть дома, где на первом этаже была кондитерская. Такого обилия крыс мы никогда не видели. Представьте себе — белая мраморная лестница, и впереди тебя не спеша шествует огромная крысица. Открываю стол — другая выпрыгивает из ящика, рядом в корзинке для мусора шевелится третья. Наконец кто-то принёс замечательного кота — полноса у него было откусано, кончика хвоста тоже не было. Я до сих пор думаю, что это подстроил Константин Георгиевич. Я этого кота подкармливала, а он в благодарность каждый вечер клал под мой стол по крысе.

У нас были бесплатные билеты во все театры, и не было недели, чтобы я два раза не побывала в каком-нибудь. Почти всегда ходила с Паустовским. У меня даже платья не было порядочного, и я ходила в театр в юнгштурмовке. Сохранилась и фотография тех лет. Когда я поступила на работу, отец сшил мне зимнее пальто и сказал, что теперь я должна одеваться на свою зарплату. А я первые полтора года получала, как ученица, 29 рублей. Через два года мне пришлось пальто перешивать, и Константин Георгиевич, получив какой-то гонорар, дал мне 40 рублей несмотря на мои протесты и ни одним словом никогда об этом не вспоминал.

Очень жаль, что у меня украли книжку Паустовского «Встречные корабли», где он написал: «Наташе Морозовой, моему самому неверному другу, который всё же мне очень дорог». Храню и книжку Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» с надписью: «Дорогой Наташе Гиришфельд (это моя фамилия после замужества) на добрую память о милых и старых днях общей работы в РОСТА от автора».

О том, что делало наше Агентство, очень хорошо сказал Паустовский в своём очерке «Говорит ТАСС...». Он писал: «Дать некоторое представление о лице ТАСС и РОСТА можно такой формулировкой: Современность + быстрый темп работы + новейшая техника + обилие незаурядных людей + хорошо развитое чувство товарищества + политическая выдержка + умение легко работать = ТАСС и РОСТА».

Информация делилась на вестники — промышленный, сельскохозяйственный, культуры и т.д. Дикторами были Володя Герцик и Моленгауер. (Многочисленные поклонницы Володи писали его фамилию Герцог.) Ещё об ответственном руководителе ТАСС — Долецком. Он ведь был членом ЦК партии, а как просто относился к людям. Вызовет меня, спрашивает, как работаете, не обижает ли кто. И обязательно сунет что-нибудь вкусенькое — печенье, апельсин или ещё что-нибудь. А бывать у него приходилось часто, потому что только у него была кремлёвская вертушка, то есть телефон, непосредственно соединённый со служебными и домашними телефонами наркомов. И я только со

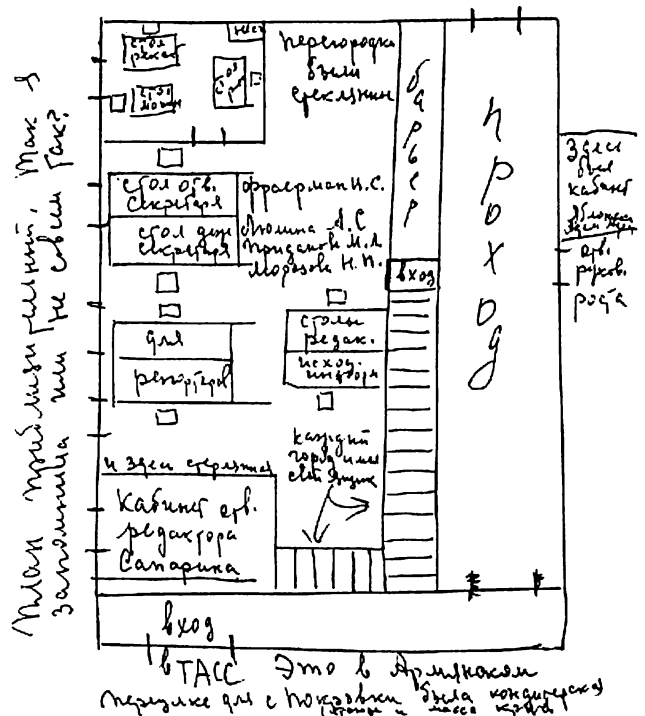
Сталиным не разговаривала лично, так как у него, даже дома, к телефону подходил секретарь. Интереснее всего было звонить домой Луначарскому. К телефону подходила его старая няня и устраивала допрос — кто и зачем и почему домой звонит и т.д. По телефону я очень подружилась с помощником Орджоникидзе Сёмушкиным. Он даже не выдержал и приехал как-то посмотреть, что я из себя представляю.

А газетчики никогда не приходили с пустыми руками. Или шоколад, или апельсины, или конфеты были у нас всегда. И все ночные редактора — Боря Белогорский из «Комсомольской правды», Боговой и Потоцкий из «Правды», Эрлих из «Рабочей газеты», Живов из «Известий» — между прочим, всегда меня кормили, когда приходилось сидеть ночью. Я же работала до восьми часов утра. После войны пыталась узнать о судьбе всех этих моих друзей, но ничего не узнала...

Димушка! А ведь в твоих кроватке и коляске выросли все мои дети. Достать это тогда было нелегко, и Екатерина Степановна отдала их мне.

Я тебя уверяю, а моему слову можно верить, что я ни перед тобой, ни перед Екатериной Степановной не так уж виновата. За всё время К.Г. только один раз поцеловал мне руку. А любить или не любить — сердцу не прикажешь. На второй книге, которую подарил мне К.Г., было написано: «Наташе Морозовой на память о незавершенной любви».

Это всё, Димка! Не могу же я писать, что он меня любил...



План-рисунок помещений РОСТА, выполненный Наташей Морозовой

Дмитрий СТАХОРСКИЙ

ПАУСТОВСКИЙ

Это было в июне 1960 года. Наша группа геологов заканчивала учёбу в Донецком политехническом, и уже было известно, что украинское Министерство геологии хочет оставить нас в Донбассе, на разведке угольных месторождений.

Однако время было романтическое, и оставаться на исхоженном и обжитом пяточке Донбасса было для нас просто невозможно — не для того выбрали мы такую профессию. Тем более, что за время производственных практик и каникул между курсами мы успели пройти на плотках и вёслах по Кубани, Северной Двине и Енисею, поскитаться с рюкзаком, ружьём и молотком по Кавказу, Крыму, Восточным Саянам и Европейскому Северу, поработать в геологических партиях на Урале, в Сибири и в Заполярье. Манили нас нехоженые тропы и великие геологические открытия в местах глухих и неизведанных...

Я специально защитил диплом на месяц раньше остальных ребят и выехал в Москву — добиваться в союзном министерстве для нашей группы назначений на Север и Дальний Восток: именно там, как мы себе представляли по книгам Арсеньева, Пржевальского, Потанина и других исследователей Сибири и Севера, именно там эти самые нехоженые места и находятся в изобилии. Вся группа сбросилась из последней стипендии на эту мою поездку...

Было очень жарко. Июньское солнце плавало асфальт, накаляло стены высотных домов, загоняло в тень. От этой липкой жары можно было укрыться только в метро — прохладный ветерок возвращал, хотя и ненадолго, бодрость и желание двигаться.

На улаживание дел с назначениями в Министерстве геологии и других, имеющих к этому отношению конторах, потребовалось всего несколько дней. Каждое утро я уходил из гостиницы с тренировочным чемоданчиком в руке (там были документы) и пиджаком (на случай дождя) через плечо и приходил обратно только поздно вечером. Я узнавал в справочных бюро адреса нужных мне учреждений, объезжал их, убеждал, доказывал, торопливо перекусывал в открытых кафе под тенистыми деревьями на свежем воздухе, а по вечерам, когда закрывались двери всех контор и москвичи спешили домой, я уходил к Москве-реке, садился на скамейку и отдыхал, думая о прошедшем дне и о том, что нужно будет сделать завтра. Мне нравилось подолгу сидеть там, у стен Кремля, обострённо ощущая себя в центре необъятной моей страны, огромность которой я, как полевой геолог, уже успел испытать. В такие минуты всё вокруг

казалось каким-то особенно торжественным и многозначительным.

«Милая Москва, — вспоминался Паустовский, — милая, грустная Москва». Я не знал, почему грустная, но я ведь тогда вообще видел Москву впервые. Я только чувствовал, как эти скупые слова близки тихим прохладным сумеркам над Москвой-рекой, мерным всплескам её воды о гранит набережной и опрокинутым в эту воду далёким огням Замоскворечья.

В студенческом общежитии над моей кроватью висели три портрета, которые я нарисовал тушью на четвертушках ватмана. Это были три моих любимых писателя, не просто любимых — три идола, три учителя жизни, на книгах которых я вырос: Джек Лондон, Маяковский и Паустовский. От первых двух остались только их книги, третий был ещё жив и продолжал писать. И я мог увидеть его, мог пожать ему руку, мог перемолвиться словом.

Практически это казалось таким же несбыточным, как пожать руку Чехову, потолковать с Буниным, посидеть в «Гамбринусе» с Куприным. Но ведь он ещё жив, Константин Георгиевич! Он не только их, этих классиков, современник, он мой современник тоже, и осознавать это было даже как-то странно...

Мы, студенты-геологи, зачитывались его «Романтиками» и «Блισταющими облаками», чуть не наизусть знали «Золотую розу», обожали пронзительные его рассказы о людях необычной судьбы — писателях, моряках, композиторах, путешественниках, написанные чистым и звенящим, как родниковый ручей, русским языком. А я так вообще мог читать и перечитывать Паустовского до бесконечности. Во время учёбы в институте, когда не ладилось ежедневное, когда падало настроение и туснела жизнь, я бросал всё и открывал «Романтиков»: «Не пристраивайтесь к жизни. Скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей». Я попал в дымное веселье греческих кофеен, я слушал гулкое дыхание моря, я дышал запахом полыни при черноморских ночных степей. И уже через полчаса забывались житейские передряги, казались смешными сиюминутные трудности и приходило ощущение

МП: Дмитрий Стахорский родился в 1937 году в Харькове.

После окончания в 1960 году Донецкого политехнического института работал геологом в Забайкалье — на поисках золота, а с 1966 года — в Воркуте на разведке угольных месторождений Печорского бассейна.

В 1974 году окончил Литературный институт имени Горького. С 1982 года — член Союза писателей. Автор нескольких книг художественной прозы, театральных и радиопьес, многих публикаций в журналах, альманахах, коллективных сборниках.

С 1994 года живёт в Трубчевске Брянской области.

ние, неоднократно озвученное героями этого мастера: «А всё-таки жизнь прекрасна!».

Уехать из Москвы, не увидев любимого писателя, я не мог.

Я тогда уже знал, что буду писать. Но в то время, на заре 60-х, когда кроме юношеских стихов, опубликованных в студенческой газетке и областной молодёжке, у меня не было за душой ничего, я понимал, что ещё — не литератор. Но я верил, что буду им. Непременно буду...

Паустовский прожил долгую и, судя по тому, что он писал, очень интересную жизнь. Опыт его безмерен, думал я, он знает людей и знает, как никто, писательский труд. Есть какие-то истины, какие-то секреты мастерства, до которых мне нужно будет доходить самостоятельно, но которыми он, маститый писатель, овладел в совершенстве. И мог бы передать, как эстафету, сократив мне тем самым период самостоятельного их постижения...

Так думал я тогда, наивный мальчишка, на пороге будущей творческой жизни, не зная ещё, что ничего такого «передать» нельзя, что через всё нужно пройти самому и что писательский труд — это как раз и есть собственное постижение того же самого, что в той или иной мере постигли собственной жизнью и опытом твои предшественники...

Я знал, что Паустовский серьёзно болен. В каком-то журнале мне попала случайно статья, в которой он благодарил создателя ионизатора — прибора, якобы вернувшего ему, почти умиравшему, не только жизнь, но и силы. Значит, дело плохо. Нужно спешить, раз уже сейчас требуются уникальные средства для поддержания жизни этого столь дорогого для меня человека...

— Паустовский Константин Георгиевич. — Девушка в кабинке «Справочного бюро» вертела в руках заполненный мною бланк. — Сколько лет?

— Это писатель, девушка, Константин Паустовский! — Я не мог представить, что в справочной, как и вообще в любом другом месте, нужно что-то ещё говорить о Паустовском. Я искренне полагал, что Паустовского должны знать все.

Но девушка не знала Паустовского. Пришлось указать примерный возраст, исходя из того, что «Романтики» были начаты 24-летним писателем в 1916 году. Впрочем, я по сей день так и не понял, почему, чтобы по справочнику найти адрес человека, нужно знать его возраст...

Через два (!) часа, которые я просидел на бульварной скамейке напротив будки «Справочного бюро», у меня в руках был долгожданный адрес: Котельническая набережная, дом 31В, квартира 84 и телефон — Б7 48-49.

Я поехал на набережную. Было ещё светло, но дневная жара заметно спала. Запах остывающего асфальта и сухой пыли всё ещё напоминал, однако, о раскалённом дне.

Дом 31 — высотный, огромный дом. У него несколько корпусов: А, Б, В (не помню уж, были там или нет Г, Д и т.д.), соединённых между собой переходами.

Я нашёл корпус В, нашёл нужный подъезд. Сухая старуха — лифтерша, видимо, или консьержка — молча подняла на меня глаза от книжки и вновь уткнулась в неё, ничего не спросив. Я стал пешком подниматься по лестнице на пятый этаж. Лифт был исправен, но мне хотелось собраться с мыслями. С чего начать? Потом, в разговоре, я буду задавать вопросы, их у меня накопилось немало. Но что я скажу в первый момент, когда увижу живую легенду своей юности и услышу: «Ну? Что вам угодно?» — или что-нибудь в этом роде?

Я так ничего и не придумал...

Тяжёлая резная дверь с барельефным номером 84. Никогда не забуду торжественно-нерешительный этот момент — я стоял перед дверью, за которой был ОН, и стоит мне позвонить...

Я позвонил.

Щёлкнули какие-то щеколды, и массивная дверь приоткрылась — ровно настолько, чтобы можно было увидеть... странное создание. Это была миниатюрная старушка с птичьим лицом, покрытым слоем белой пудры. Мне показалось, что и рука её, которой она придерживала дверь, тоже была в пудре чуть не до локтя.

— Я вас слушаю, — сказала она неожиданно хриплым, похоже, прокуренным голосом. — Ну! Что вам угодно?

Спихватившись, я попытался объяснить. Без всякого выражения выслушала она несколько моих сбивчивых фраз, которые в конечном счете сводились к одному: я хочу видеть Паустовского.

— Это невозможно, — сказала она бесстрастно, — он нездоров и в Москве не живёт.

— А где же он живёт?

— На даче.

— Вы можете дать мне адрес дачи? Я приехал специально из Донбасса, чтобы его увидеть, — соврал я, хотя не так уж и соврал, — и поэтому разыщу его где угодно.

— Нет, этого сделать я не могу. Вы можете позвонить утром, и если его жена найдёт нужным, она сообщит вам этот адрес. Я в этом доме чужой человек и ничего не могу для вас сделать. Скажите мне вашу фамилию.

Я назвал фамилию. Дверь закрылась.

Несколько минут я стоял на лестничной площадке, соображая, что делать дальше. Паустовского нет в Москве. Оставаться ждать его или искать где-то в пригородах я не смогу — у меня кончались деньги. И так последние дни я жил впроголодь.

Я долго спускался по лестнице, медленно перебирая перила и глядя под ноги. Лестничные пролёты были длинными, и их было бесконечно много — гораздо больше, показалось мне, чем по пути туда...

Внизу сидела на стуле все та же худенькая старушка в очках и читала, склонившись, свою книжку. Я прошёл мимо, спустился на асфальт. Спешить было некуда, и я остановился, соображая, куда теперь деваться, — до утра надо было дожидаться...

— Вы что хотели, молодой человек?

Я не сразу сообразил, что это ко мне.

Голос был приветливый, тёплый какой-то, старушка заинтересованно смотрела на меня поверх очков. Я подошёл. Она улыбнулась, и мне вдруг захотелось всё ей рассказать. Она слушала, иногда кивала, как бы соглашаясь со мной, и когда я закончил, вдруг сказала, вздохнув горестно:

— А ведь Паустовский дома.

Я опешил.

— Как дома?! Ведь эта женщина...

— Дома, дома. Берегут его, сынок. Больной он. Часов в девять они с женой прошли наверх, и я слышала, как он отослал шофёра домой. Стало быть, сегодня уже никому ехать не собираются. Да и трудно ему. С сердцем у него что-то сильно неладно или с лёгкими, я уж не знаю. Но сильно неладно, сынок. Так-то вот...

Ну что ж, думал я, это правильно, что его берегут, ограждают от волнений, от посторонних людей, от переутомления. Только как же мне быть теперь?

Старушка будто бы прочла мои мысли.

— Я, сынок, давно тут живу, да здесь, видишь, на вахте подрабатываю, вижу всё. Оно, может, и верно, надо побережь человека, да ведь люди-то едут к нему, повидать хотят. Не убудет ведь... Я судить не берусь, а всё ж нехорошо как-то. Человек вон откуда приехал, а она ему — «нету дома». Я, знаете, ученица Марии Ильиничны Ульяновой. Да, сынок, не удивляйтесь. Все мы у неё учились — людей уважать, понимать душу человеческую. Двести человек нас у неё было, а немногие из них остались ей верными до конца. Сколько раз говорила она мне: «Ты, Наталья, никогда не считай себя лучше какого ни на есть человека. У каждого внутри своя жемчужина есть, её только расшевелить надо. Подойди к человеку душевно, помоги, чем можешь. Глядишь, и проявится в нём жемчужина эта, скрытая грубой жизнью. И всегда верь в хорошее в людях». Да... Мария Ильинична. Сейчас, поди, мало осталось, кто её знал, — большой души был человек.

Давно стемнело. Тёплые ступеньки подъезда, на которых я сидел, постепенно остывали. Наталья Ермолаевна замолчала, задумалась. Я верил ей. Дом престижный, в центре Москвы, наверняка населён людьми непростыми.

— Весной, — снова заговорила она, — приезжали тоже, кажется из Донбасса... ну, может не из Донбасса, но тоже... молодые, три парня и девушка. «Хотим увидеть его, хоть ненадолго». А он жил тогда на даче. Я этих ребят к их домработнице по секрету послала, а она, тоже по секрету, адрес дачи им раздобыла. Они уж благодарили — винограду ей, яблочку, ещё чего-то, я уж позабыла, накупили, заставили взять. Поехали, стало быть, туда, а он в саду за оградой гулял. Увидели они его, позвали. Только он к ограде-то подошёл, а она, жена его, тут как тут: «Костя, Костя, иди сюда!» Ну, и в дом его. Он сказал им: «Сейчас приду», да так и не вышел — не пустила, видно. Ждали они, ждали — ни с чем пришлось уехать. Вот я и говорю — нехорошо это. Если люди специально приехали — ничего, хоть и боль-

ной он, ему не будет от разговора с ними. Правильно говорю?

Да, я тогда тоже думал, что правильно. Сейчас так не думаю, ибо знаю, как тягостны эти разговоры «за литературу» для человека, прожившего в этой литературе жизнь. Тягостны и неинтересны...

Утром я позвонил из гостиницы. К телефону подошла, видимо, жена — голос был молодой, приятный и, против ожидания, приветливый. Я сказал ей примерно то же, что и той белой старушке в дверях, но волновался меньше и получилось доходчивее. Во всяком случае, она не бросила трубку, не пресекла категорическим «нет!», хотя я, честно говоря, этого ожидал. Она выслушала меня и сказала, что он каждое утро ещё до жары уезжает и приезжает вечером, когда уже сравнительно прохладно. Она посоветовала мне позвонить именно в это время, после девяти, и тогда, возможно, он поговорит со мной... по телефону.

— Это всё, что я могу для вас сделать, — сказала она и повесила трубку.

Нет, это не то. Это вовсе не то, что мне нужно. Мне нужно увидеть его! А по телефону... Для этого и в Москву-то не надо было ехать, по межгороду можно... Нет, такой вариант меня не устраивал.

Но я напал на след. Из первых, что называется, уст я узнал теперь, что после девяти вечера он будет дома. И уже нельзя будет меня обмануть. Я настаиваю, я должен добиться этой встречи!

До вечера делать было нечего, все вопросы в министерских кабинетах я уже порешал — мне удалось добиться назначений в геологические управления Новосибирска, Красноярска и Читы, ребята не зря скидывались мне на эту «командировку». Я пошёл на Котельническую набережную — пешком, потихоньку, просто так.

Наталья Ермолаевна ещё не сменилась. Мы встретились как старые знакомые, и я узнал, что Паустовские только что, «пяти минут не прошло», уехали на дачу. Шёл я сюда более получаса. Значит, во время телефонного разговора он ещё был дома. Опять меня обманули...

День тянулся невероятно долго. Я бродил по Москве, я весь день бродил по Москве, и уже начинало темнеть, а я всё сидел на бульварной скамейке и тянул время — хотелось наверняка застать его уже дома.

В ветвях деревьев мотнулся ветер, они глухо зашумели. Зашелестел редкий дождь, всё гуще и гуще покрывая асфальт крупными рябинками капель.

Я поехал на набережную. Было какое-то решительное и взволнованное настроение — такое бывает, когда идёшь на экзамен, зная, что подготовлен неважно.

На звонок вышла пышная женщина в блестящем голубом халате. У неё был низкий приятный голос и приветливое лицо. Да, это был тот же голос, и примерно так я её себе представлял.

Я представился.

— Это вы звонили сегодня утром? — спросила она, впуская меня в прихожую. Здесь у небольшого

круглого столика стояли два чёрных мягких кресла. Мы сели.

— Да, я не только звонил сегодня, я приходил вчера. Мне сказали, что Константин Георгиевич живёт на даче.

— Это правда. — Она улыбнулась.

— Но вы же... Вы же утром сказали мне, что после девяти вечера он будет здесь, дома...

Она сделала нерешительный отрицательный жест, но я не дал ей возразить. Я понимал, что сейчас всё зависит от того, смогу ли я уговорить эту женщину. За дверью слышались мужские голоса.

— Мне необходимо его увидеть, — горячо заговорил я. — Я специально для этого приехал из Донбасса и просто не могу уехать обратно, не повидав его. Я прошу вас...

— Да, но вы понимаете, что сейчас он не может читать ваших произведений...

Ах, вот оно что! Она думает, что в этом чемоданчике у меня куча рукописей, и мне нужно, чтоб он их прочёл и что-то вынужден был говорить мне о них. Как я сразу не догадался!

— Что вы, нет! — поспешил я её успокоить. — Я обещаю вам, что не покажу ему ни одной строчки!

— Это правда?

— Клянусь.

— Я даже не знаю, что мне с вами делать. — Она улыбнулась с видимым облегчением. — Я пропускаю к нему людей, а потом мне за это от него же и попадает... Ну, хорошо, — решила она, наконец, и встала с кресла. — Подождите здесь.

Она ушла в глубину квартиры. Мужские голоса смешались, затихли, потом послышались снова. Я напряжённо ждал.

— Пожалуйста, пройдите!

Женщина стояла в дверях и улыбалась. Боже, как шла ей эта улыбка!

Хорошо помню, что, вставая с кресла, я потянулся за чемоданчиком — по инерции, как все эти дни на вокзалах, в метро, в учреждениях и везде, где приходилось сидеть и ждать, а потом подниматься и идти, прихватив чемоданчик с документами. Мало того, нужно было оставить пиджак в прихожей.

Это моё секундное замешательство очень почему-то запомнилось. Как, впрочем, и всё, что происходило тогда со мною в этой важной для меня квартире...

Я вошёл. Комната средних размеров. Посреди не стол — кажется, круглый. И у стола — он, Паустовский. Небольшой человек с крупной головой, в лёгкой рубашке.

— Здравствуйте. — Он протянул мне руку. Помню эту руку — худая, в веснушках, рукав рубашки казался непомерно широк для такой тонкой руки. — Сюда, пожалуйста!

Он указал на стул у письменного стола в дальнем правом углу комнаты.

Мы сели друг против друга. Горела настольная лампа, хотя верхний свет достаточно освещал комнату.

Я смотрел в это лицо, такое знакомое по фотографиям и в то же время такое неожиданно новое. Высокий лоб, редкие седеющие волосы, зачёсанные назад, крупный нос, но вовсе не такой крупный, как на портретах. Голубые глаза пристально смотрят из-под нависших бровей.

«Люди редко смотрят, — вспомнились мне слова Хатидже, обращённые к Максиму. — Они или уставятся... или скользят по вас взглядом... А вы как будто видите в человеке то, чего он сам в себе не видит...»

Поражали брови и губы. Брови от переносицы до половины были чрезвычайно густыми и длинными, как-то взлетали чуть вверх и торчали в стороны, как у хищной птицы. Губы... Более выразительных губ я тогда ещё не встречал у людей. Сейчас я не берусь чётко выразить, в чём именно таился их секрет, но в разговоре почему-то хотелось всё время на них смотреть, и мне приходилось делать над собой усилие, чтобы оторвать от них взгляд, смотреть в глаза собеседнику...

На диване справа сидел молодой человек с усиками, молчал. Его Паустовский попросил подождать, назвав по имени, как хорошего знакомого. Жаль, не помню этого имени, да и лицо подзабылось — может, сейчас это известный писатель, тоже проходивший тогда у мэтра свои университеты. Впрочем, не обязательно...

Я не помню, с чего я начал разговор. Кажется, я сказал, что буду писать, что геолог, что уезжаю надолго в Сибирь и перед дальней этой жизненной дорогой хочу получить что-то вроде напутствия от него...

Он спросил, писал ли я уже что-нибудь или только собираюсь. Да, сказал я, стихи, и они печатались даже, но с собою у меня нет ни строчки, я сознательно не взял никаких рукописей, чтобы не утомлять его незрелым своим творчеством. Я хотел просто увидеть его и получить напутствие. Мне показалось, что глаза его подобтели.

Мы сидели с ним около получаса. Жена входила и выходила; потом встал с дивана и вышел молодой человек с усиками. Мы остались вдвоём.

У меня было много вопросов, но от волнения в голове всё смешалось, я торопился успеть спросить хотя бы самое главное, самое нужное мне, как казалось тогда, сокровенное самое. Как писалась удивительная проза его, велись ли дневники, по которым потом рождались и строились рассказы и повести...

— Нет, дневников я никогда не вёл, — отвечал он. — Память — лучший помощник писателя. Она отсеивает всё, что второстепенно, и оставляет главное. Всё написанное мною — по памяти. Только по памяти.

Я спросил, помнится, о журналистике — совместима ли она с писательством, помогает или мешает, на что Паустовский отвечал неожиданно категорично — неожиданно, потому что я знал, что сам он начинал именно с журналистики.

— Если вы хотите писать, бойтесь журналистики. По двум причинам. Во-первых, вы никогда не

сможете писать правду, вам придётся кривить душой, а с настоящей большой литературой это несовместимо. Во-вторых, газетная работа выхолащивает язык, делает его казённым и мёртвым. Единственное достоинство здесь — постоянная связь с жизнью. Журналист всегда должен быть в центре событий. Но вы едете в Сибирь и у вас такая профессия, что жизнь всегда будет рядом и без этого. Идите в жизнь. И не наблюдайте её, а живите сами.

Я слушал его, затаив дыхание, ловил каждое слово, пытаюсь ничего не пропустить, всё запомнить, чтобы потом, в собственной практике, всему этому следовать. Я искренне полагаю, что это мне, только мне раскрывает учитель секреты мастерства, это было почётно и ответственно, как особая миссия наследника тайн и духовных богатств великих предшественников твоих. Мне было 23 года...

Много лет спустя, уже серьёзно занимаясь литературой и участь в Литературном институте, я узнал, что Константин Георгиевич несколько лет вёл там семинар прозы и внушал своим студентам именно эти элементарные вещи, без которых вообще писатель не может состояться. Вот, например, он говорил мне тогда:

— Ещё одно важнейшее правило для литератора — будьте щедрым. В ту вещь, которую пишете, вкладывайте всего себя без остатка, ничего не оставляя «про запас». Только в этом случае можно создать действительно ценное произведение. Ничего, что первое время после этого вы будете ощущать определённую пустоту. В такие моменты кажется, что весь «выписался» и что уже ничего дельного никогда не напишешь. Но проходит несколько дней, и опять появляются образы, замыслы, сюжеты. Кроме того, писать нужно каждый день...

— Ни дня без строчки? — ввернул я знаменитую фразу.

— Да. Именно так. Один писатель каждый день писал по одной строчке в специальную чёрную тетрадь. Потом из этих записей он собрал книгу, издал её и посвятил своей жене.

Пока Паустовский говорил, я не отрываясь следил за его лицом, и потому смутно запомнились мне детали комнаты, письменного стола, одежды писателя. Но вот лицо... Лицо я и сейчас, закрыв глаза, ясно вижу перед собой.

Говоривший поначалу как бы вынужденно, по обязанности, в ходе разговора Паустовский постепенно увлёкся, оживился, и я видел, что ему самому всё это хочется мне внушить. Хочется, чтобы я понял и запомнил, и не наделал ошибок, столь характерных для начинающих свой путь в литературу. И неважно, что видел он меня впервые и вряд ли увидит ещё, и скорее всего так и не узнает, усвоил ли я этот его урок. Он приводил смешные примеры из газет, где коверкали русский язык, и улыбался. Я и сейчас помню эту его улыбку: мелкие морщинки от прищуренных близоруких глаз к вискам, крупный рот и эти удивительные губы...

Но вот он вспоминает что-то дурное, к чему уже нельзя отнестись снисходительно, и тогда губы смы-

каются неожиданно жёстко, над переносицей залегает глубокая вертикальная морщина.

— Не спешите печататься, — говорит он. — Это приводит иногда к довольно неприглядным вещам. Очень часто ко мне приходят рукописи начинающих писателей и письма с просьбой: «Помогите напечатать!» или «Исправьте, что нужно, чтобы опубликовать!». Это чудовищно! Я вспоминаю, как мы, наше поколение, приходили в литературу. Если бы у меня возникла мысль послать Горькому или, скажем, Алексею Толстому, или Бунину рукопись с просьбой «помогите напечатать» — да я бы застрелился! Разве это путь в искусство... путь к мастерству? Вещь должна говорить сама за себя... и не нуждаться... ни в каких... рекомендациях...

Голос Паустовского стал глуше, стал прерываться паузами, а затем и кашлем. Он прижал руку сквозь распахнутый ворот рубашки к груди, согнулся над столом, кашель перешёл в хрип.

Я спохватился — пора уходить. Оглянувшись, встретил укоризненный взгляд жены, стоявшей в дверях, кивнул ей и поднялся со стула.

— Подождите, — остановил меня Паустовский, убрав руку с груди и тяжело переводя дыхание. — Простите, даже говорить стало трудно. Скажите мне вашу фамилию, я запишу.

Я сказал фамилию.

— Если напишете что-нибудь... важное для вас, да? — присылайте, — говорил он, делая пометку в настольной записной книжке, похожей на перекидной календарь.

— Хорошо... если успею, — вырвалось у меня. Я осёкся, с ужасом осознав, какую бестактность ляпнул, но он понял меня и принял это спокойно.

— Да, если будем живы, — сказал он и грустно улыбнулся.

Я готов был провалиться сквозь землю.

Писатель встал, подал мне руку. Я почти не слышал последних его слов — кажется, он желал исполнения замыслов и ещё чего-то хорошего. А я думал о том, что вижу его в последний раз, что эти глубокие голубые глаза под густыми бровями через какую-то минуту навсегда уйдут из моей жизни. Я ничего не видел, кроме этих глаз — мудрых, пронзительных, доброжелательных...

Жена писателя проводила меня до выхода. По её лицу было видно, что она понимает моё состояние. Я поблагодарил её, попрощался и вышел.

Внизу сидела на своём стуле седая ученица Марии Ильиничны. Увидев меня, она отложила книгу, спросила:

— Ну как, видели?

— Видел.

— Ну и слава Богу. Повезло вам.

Да, мне повезло. Я шёл пешком до самой Таганской площади и размышлял о том, как неразумно (тогда мне так казалось) устроен мир. Человек живёт, долго живёт, постигает какие-то тайны — ремесла, искусства, самой жизни, и когда, кажется, постиг и способен на многое — жизнь кончается. Сейчас бы только работать, создавать, творить, од-

нако нет — астма, усталость, смерть. Даже если ещё не смерть, силы уже не те. А у кого и силы, и молодость, и кураж — тот болван неумелый, ему всё с нуля начинать, с чистого, как говорят, листа. И повторится этот цикл неумолимо...

Я шёл мимо тёмных силуэтов больших и малых домов, переходил широкие и узкие улицы, оставлял позади площади и перекрёстки. Фонари сгущали темноту над домами, и небо казалось неестественно чёрным.

Я прощался с Москвой. Прощался надолго, как час тому назад прощался с любимым писателем, величайшим романтиком времени, певцом моря, скитаний, певцом жизни, наполненной смыслом...

С тех пор я прожил жизнь.

Она была нелёгкой и по-своему интересной, а временами — и переполненной той самой романтикой скитаний и всяческих преодолений, о которых

мечтал в юности под влиянием книг любимых писателей. Я догнал по возрасту Паустовского, каким он был во время нашей встречи, и я уже намного старше Джека Лондона, кумира моей юности. Я многое видел в жизни, многое понял, многому научился, хотя достигнуть вершин, о которых когда-то мечтал, так и не удалось.

Всё сказанное мне тогда Паустовским я помнил всегда, но это мало повлияло, я думаю, на то, как сам я писал свои книги. И вовсе не потому, что советы были неверны. Верны, очень верны, и я сам об этом же, и о многом другом говорил уже теперь своим ученикам, которых в жизни моей было немало. Просто приходит время, когда понимаешь, что и как нужно делать, и вопрос лишь в том, хватит ли на это сил и таланта.

Научить писать книги нельзя. Научиться — можно. Именно на это и уходит целая жизнь — на то, чтобы научиться писать...

Виктория ТУБЕЛЬСКАЯ

Я СМЕЮСЬ...

Ночью Ника замёрзла. Она накрылась вторым одеялом, но одеяло вовсе не грело. Непонятно, где сидел этот холод, — кожа была горячая. По рукам и ногам ползали муравьи, вызывая дрожь прикосновением лапок. Ника разбудила маму и попросила прогнать муравьёв.

Больше она ни разу не бредила, несмотря на очень высокую температуру — это было воспаление лёгких. Она только потеряла чувство времени и не знала, сколько дней или лет она лежит вот так и видит одно и то же — ствол сосны и голубое небо. В окно проскальзывал солнечный луч, перемещался по полу, забирался на кровать, грел сквозь одеяло, потом поднимался по стене и исчезал за кафельной печью.

Небо постепенно блекло, наливалось темнотой, которая вбирала в себя ствол сосны. Вместо него появлялись две звезды, жёлтая и зелёная. Они мерцали до тех пор, пока мама не зажигала настольную лампу.

Но Нике не было никакого дела до этого внешнего мира. Он существовал сам по себе, а Ника сама по себе, и безразличие Ники к нему увеличивалось с каждым днём или годом, и никто ничего не мог изменить — ни мама, ни врачи, ни сестра, приходившая делать уколы.

Однажды ночью во внешнем мире что-то случилось. Там кричали тысячи голосов и трубили звонкие трубы. Они звучали всюду — ближе, дальше, навстречу, внизу, и не было секунды, чтобы замолчали все. Хоть одна да оставалась, звала, и ей откликались другие.

Ника — теперь это уже была я — слышала переливы трубы, но такой простой, естественный вопрос: «Что это такое?» — не возникал: чтобы почувствовать ин-

терес к внешнему миру, нужны были силы, а их сжирала все без остатка температура.

Наутро пришёл худенький, небольшого роста человек в очках и сел на стул у кровати. Сказав, как его зовут, он протянул мне руку. Я пожалала её, но имени не запомнила.

— Птицы прилетели, — сказал он радостно. — Хорошо, что накануне был сильный ветер и море поломало лёд. Вот, слышишь?

Над морем опять запели трубы.

— Это лебеди, — сказал человек в очках. — А звук пониже, монотонный — это дикие гуси. А уток, наверно, ты сама узнала...

Я думала, что он — знаменитый профессор, о котором говорила мама, и стала привычно расстегивать пижаму, ожидая прикосновения холодного стетоскопа.

— Нет, нет, — остановил он меня. — Я не собираюсь тебя выслушивать, я не умею. Я тебе лучше расскажу одну историю.

Он застегнул мне пуговицы и натянул одеяло до подбородка.

Если б я могла вспомнить, что он рассказывал... Эта история наверняка запрятана в клетках мозга, она не могла исчезнуть бесследно, так не бывает. Ей нужно так много и так мало, чтобы пробиться ко мне — ассоциация, случайное совпадение жеста, звука, света или запаха... Анисового запаха микстуры или горь-

коватого запаха вербы — красные ветки с цветущими барашками стояли тогда на тумбочке.

Сперва я не могла сосредоточиться, но было что-то в глуховатом голосе этого человека, в добрых его глазах за стеклами очков,

МП: Тубельская Виктория Леонидовна — писатель, переводчик. Автор книги прозы «Дворец», лауреат премии «Литературной газеты». Член Союза писателей. Живёт в Москве.

что захватывало внимание, и вот я смеюсь, я хохочу до слёз, я кашляю от смеха. Человек в очках хлопает меня по спине, мама наливает микстуру. Ложка в её руке ходит ходуном от смеха, и микстура расплёскивается.

А дальше так весело, что человек в очках и сам не может удержаться от хохота, и мы дружно смеёмся.

— Ты не устала? — спрашивал он.

Я мотала головой в ответ, чтобы не тратить времени на слова. Потом, прощаясь, он протянул мне руку, и я так боялась, что он больше не придёт, что осмелилась спросить:

— А вы расскажете ещё?

— Конечно. — Он немного удивился, как будто само собой разумелось, что он меня навестит, и, прислушавшись к тревожным крикам птиц, добавил: — Пойду посмотрю на лебедей.

Смех всё разбирал меня, но сил хватало только на тихое повизгивание, и, что самое загадочное, мне впервые не хотелось лежать..

Много позже я убедилась, что в самые тяжёлые моменты жизни, в самых критических ситуациях, на помощь приходят вовсе не те, на которых рас-

считываешь, а совсем другие, совершенно неожиданные люди, не имеющие к вам никакого отношения. И мы, взрослые, трезвомыслящие, тут же начинаем искать причины этой доброты. Может быть, от нас им что-нибудь нужно?

Нет, ничего им не нужно. Вам помогли просто так, и их доброта, драгоценный дар, уже принадлежит вам. Теперь ваша очередь передать её другим.

Человека в очках звали Константин Георгиевич Паустовский.

Когда я выросла и поняла, что сделал для меня Паустовский, меня не покидала мысль поблагодарить его. Я уже прочла его книги, и он стал моим любимым писателем. Но общих знакомых у нас не было, а писать письмо мне казалось глупым. Так эта встреча беспечно и расточительно всё откладывалась и откладывалась. Я никогда не думала, что будет поздно...

Так я и не успела его поблагодарить. Но невыказанная, не дошедшая моя признательность Паустовскому — навсегда: за книги его, за ту весну, когда слишком рано прилетели птицы, и ещё за то, что смех, которым он отвоевал меня у болезни, остался во мне.

Я смеюсь.

Юрий КАЛИНИН

САЛАТНЫЙ ТОМИК

Человек я книжный, и на эту тему готов рассуждать бесконечно. Но тут случай особый...

Обычно под содержанием книги подразумевают её текст, ну и иллюстрации, конечно, если они есть. К тому можно приплюсовать особенности переплёта и даже выходные данные. Последние как-никак фиксируют издателя, место и время выпуска, тираж. Однако всем этим содержание книги далеко не исчерпывается, если иметь в виду книгу прочитанную.

С особым чувством беру я в руки книгу истрёпанную, особенно, набранную в старинной орфографии. Помимо шрифта с «ятями» и основательного полиграфического исполнения, превращающего её не только в источник информации, но и в обожаемый предмет культурного обихода, она накапливает в себе следы прикосновения сотен, а порой и тысяч читателей. Возникает некая аура ушедшего от нас времени. Такая книга несёт в себе ещё и волнующую загадку — кто её читал? где? когда? и почему? Поэтому рыться в книжных развалах для меня не просто удовольствие, я испытываю при этом охотничий азарт. Старые книги интересны их вторым содержанием, ни в тексте, ни в оформлении не отражённом.

Это требует пояснения.

Книголюбством я «заболел» рано, ещё в далёкой Алма-Ате (так тогда писали название города), куда в 1945 году моего отца — начальника жарминской дистанции пути — перевели на должность заместителя начальника службы пути Турксиба.

После скудной растительности и свирепых зимних буранов Жармы столица Казахстана ошеломила меня зеленью карагачей и пирамидальных тополей, орошаемых водой говорливых арыков, спускавшихся с близких гор Заилийского Ала-Тау, и таким разнообразием ароматных и сладчайших яблок, что они с той поры для меня лучшие из фруктов. И всё же самое острое впечатление от этого города было иного рода.

Я учился в шестом классе 25-й алмаатинской школы и уже начал запоем читать книги. Тут мне и попался в руки старинный том Александра Дюма «Три мушкетёра», выпущенный издательством Сойкина. Книга была увесистая, набранная в старой орфографии, но очень истрёпанная — передняя обложка отсутствовала, а нижний правый угол книжного блока был исключён, загнут и изломан.

Я приступил к чтению — и окружающий мир поплыл от меня в какую-то неведомую даль. Приключения д'Артаньяна и его отважных друзей были так увлекательны и так возбуждали меня, что я во время чтения вскакивал, лихорадочно метался по комнате, жестикулировал и что-то бормотал. Родители не на шутку обеспокоились, стали ограничивать меня в чтении и даже прятать книгу. Но я её, конечно, быстро находил и продолжал читать по ночам — с фонариком под одеялом.

Удержать прочитанное в себе было мне не под силу. И вот тогда я принялся пересказывать содержание книги моим однокашникам. После уроков мы

тайком спускались по чёрной лестнице в подвал, где уборщицы хранили швабры и вёдра, садились на лестнице, и я, заглёбываясь от восторга, главу за главой наговаривал притихшим одноклассникам похождения четвёрки мушкетёров, сражавшихся под девизом — «Один за всех и все за одного!».

Довольно быстро наши подвальные сборы были замечены, в них заподозрили что-то неладное и из «педагогических соображений» чёрную лестницу посещать нам запретили. Тогда мы перенесли свои собрания в квартиры — по очереди. И тут кто-то из родителей, снисходительный к нашему увлечению, подсказал, что у «Трёх мушкетёров» есть ещё и продолжение, и вообще, что Дюма таких книг написал великое множество...

Ууу!. Цель моей жизни была определена — достать и прочитать всё, что вышло из-под пера этого восхитительного писателя!

Тогда же мне захотелось отремонтировать прочитанную книгу. Не мог я видеть её такой истрёпанной!

Я отделил книжный блок от остатков обложки, разгладил горячим утюжком каждую страницу, наново прошил распавшиеся тетради, вставил новый форзац, подклеив к нему и корешку другую картонную обложку, всё это зажал струбцинками между толстых фанерок и оставил в таком виде на ночь. Утром, когда клей высох, я по жёсткой металлической линейке обрезал края книги острейшим сапожным ножом и обклеил обложки пёстрой плотной бумагой. Всё это придавил стопкой книг и едва дождался следующего утра...

Изумлённый отец моего одноклассника, которому я вернул неузнаваемую книгу, работу мою похвалил, а узнав, что у меня есть мечта прочесть все книги Дюма, обещал поискать их у своих знакомых.

И этих книг, изданных Сойкиным, в Алма-Ате оказалось много. Думаю, что всё его собрание сочинений. Тогда это мне казалось удивительным, но теперь я понимаю, как они осели в далёком среднеазиатском городе.

Город был построен ещё россиянами на базе казахского поселения Алматы и стал носить имя Верный, будучи центром Семиреченской области и Семиреченского казачества. Произошло это в 1867 году, а при советской власти его переименовали в Алма-Ату (Отец яблок), и в 1929 году он стал столицей Казахстана.

В царские времена в его гарнизоне служило много офицеров и генералов. Проживали они тут, естественно, с семьями, для которых книги служили почти единственным развлечением. К тому же за отдалённостью в город Верный стали ссылать политических осуждённых, что продолжилось и при советской власти. К примеру, сюда был сослан даже Л.Д.Троцкий. А ссыльные во все времена были людьми до книг жадными и везли их с собой, сколько могли, да и присылали им из России много.

Кроме того, во время Великой Отечественной войны в Алма-Ату было эвакуировано немало творческой интеллигенции из оккупированных немцами областей, из Москвы и Ленинграда. А уж эта ка-

тегория наших сограждан жить без домашних книжных собраний не могла.

«Королева Марго», «Графиня Монсоро», «Анж Питу», «Чёрный тюльпан»... Это обилие произведений Дюма обрушилось на меня водопадом. Я их моментально прочитывал, а затем с удовольствием ремонтировал. «Двадцать лет спустя» попала мне в руки позже других — сильно потрёпанная, но зато с закладкой в виде почтовой дореволюционной открытки с фотографией Фёдора Ивановича Шаляпина.

Тут следует сказать, что в конце войны и сразу после неё в СССР возникло некоторое потепление по отношению к эмиграции. В страну вернулся певец Вертинский, крутились пластинки Лещенко, по радио стал звучать голос Шаляпина, исполнение которым куплетов Мефистофеля я прямо-таки обожал. Но фотографию самого исполнителя увидел впервые.

Молодецкий, артистичный, уверенный в себе, породистый россиянин в итальянской шляпе сидел вполоборота и смотрел на меня весело и дерзко — красивый, не уронивший достоинства артист!

Я так увлёкся рассматриванием фотографии, что не сразу обратил внимание — на обороте её была приписка:

А это уже Федька-Зазнайка. Парень всё же ничего, душевный. Имеет двое детей. Вере не показывай, прячь.

Написано было чёрными, но уже кое-где порывевшими чернилами, округлым с наклоном чуть в обратную сторону почерком, с «ятями», но я, уже приспособившийся к старой орфографии, разобрал его без труда. И остро понял, что держу в руках, хоть и крохотную, но драгоценную строчку истории культуры моего отечества — ясно было, что это написано близким Шаляпину человеком. Но кем, я тогда и предполагать не мог.

Конечно, я вернул бы открытку хозяину книги. Если бы он о ней спросил. Но он не спросил...

Впоследствии я узнал, кто был автором той приписки, — сравнил почерка писавшего её и Максима Горького. Думаю, что не ошибся. Правда, кому адресовалось письмо с вложенной открыткой и кто такая Вера, ещё не знаю.

Открытка много лет пролежала у меня в одной из книг домашней библиотеки, но несколько переездов, суматошная жизнь по командировкам, а главное, безропотный отклик на просьбы приятелей моих и моих детей — дать почитать ту или иную книгу — сделали своё: открытка испарилась. И поделом, вещи как приходят, так и уходят...

И вот, после той — горчайшей для меня — потери потребность листать старые книги и возникла. И постепенно у подержанных книг стало для меня появляться их второе — читательское — содержание.

Кто из приобретающих у букинистов книги не сталкивался с надписями на обороте обложки типа: «Вовику от бабушки в день рождения», «Анютке с любовью», «Ветерану Ораниенбаумского плацдарма

от 10 “а” класса), «Валерий Никитич, так держать! 60 ещё не возраст!». Словом, в духе знаменитого «Киса и Ося тут были!». Смею заметить (исходя из своего опыта), что подобные «дарственные» появились после введения в советской России новой орфографии и особенно после провозглашения лозунга — «Книга — лучший подарок!». При старой орфографии дарственные надписи в книгах считались исключительной привилегией их авторов...

Но всё же больше всего о читателях говорили случайные книжные закладки — первое, что попало под руки. О безразличных к книге — загнутые уголки страниц; об относящихся к книге бережно — обёртки от конфет: книгой была увлечена женщина; тонкая расчёска — читал мужчина, рассеянно ухаживающий за своей причёской или бородой; соломинки или листок подорожника — книгу читали на природе, листок отрывного календаря — книгу читала домохозяйка на кухне, карта из игральной колоды — книга побывала на пляже...

Однако чаще всего в виде закладок попадались почтовые открытки, как правило, поздравительные — с Новым годом, с днём Победы, с 8 марта, ну, и с днями рождения, конечно, — не особо берегаемые.

Так вот, когда в новой России наступило лихое время для библиотек (оно и сегодня продолжается), они вынуждены были искать пути для своего выживания — пополнения фондов прежде всего.

Наша ломоносовская районная и городская библиотека обратилась к согражданам с призывом безвозмездно сносить в неё лишние книги из домашних библиотек. И граждане понесли их горами! Библиотекари поступили мудро — часть недостающих у них книг они отправили в фонды, а остальные пустили на продажу по символической цене — один рубль за штуку. И теперь недели не проходит, чтобы я в тех развалах не порылся.

Вот тут-то я окончательно и проникся сознанием того, что писатель — категория только посмертная. Сколько книг прижизненных «классиков» советского периода лежат в этом развале невостребованные годами! И как же я радовался тому, что среди них не оказывалось книг моего любимого Паустовского...

Но совсем недавно меня ожгло обидой. В развале я увидел корешок книги, на котором значилось — «К. Паустовский. Маленькие повести» (издательство «Карелия», Петрозаводск, 1978 год, доп. тираж 50000 (!) экземпляров).

Книга была новёхонькой. Похоже, что простояла она на полке, зажатая соседними, нечитанной. Салатный переплёт не выцвел, книжный блок ничуть не деформировался. Не листая, я вынул её из развала, заплатил рубль, решив, что подарю её кому-нибудь из знакомых.

Дома, прежде чем поставить книгу на полку рядом с восьмитомным собранием сочинений Паустовского, я всё же её листанул. И тут из неё выпали сразу две закладки — верный признак, что книгу читали.

Первой упала к моим ногам сложенная вчетверо, потёртая на сгибах блокнотная страничка

с карандашной записью начала какого-то стихотворения:

Сникло на миг море у ног.
Чайка летит над водой голубой.
После тревог, после дорог
Мне хорошо рядом с тобой...

Почерк крупный, твёрдый — не женский. Читатель Паустовского явно равнодушен к морю, стихам и женщине. Это меня не удивило, а только обрадовало — настоящий читатель Паустовского.

Второй выпала открытка с видом на море, с чайками и далёкими парусами яхт. На обороте письмо, адресованное «Ея Высокородию Эмилии Павловне Афанасьевой, г.Белозёрск, Новгородской губ.» (Ныне Вологодской области). Письмо было написано в старой орфографии:

«Дорогая бабушка, как ты поживаешь? Вчера был у папы, и он мне сказал, что ему обещали командировку в Кириллов на прежнее место, только теперь уже от военного ведомства. Было бы хорошо, если это устроилось. Я готовлюсь к экзамену, который будет в конце апреля или начале мая. Получил письмо от Миши и Любы. Миша не пишет, когда у него кончатся занятия. Здоровы ли мама и (Наташа)? Крепко тебя целую. Твой... Петроград 14 апреля 15 г.»

Идёт Первая мировая война, женщины подальше в провинции, мужчины в столице, но письмо спокойное — никаких беспорядков, молодые люди учатся, старшее поколение служит, ездит в командировки. Радость сына за отца понятна: от Кириллова, куда он ждёт командировку, до Белозёрска каких-то тридцать километров. Для родственников — не расстояние. И, между прочим, оба эти города лежат в Прионежье, о котором в томике Паустовского, хоть и вскользь, но повествуется — «Озёрный фронт». Может быть, кто-то из читавших искал в ней что-то о прошлом своей семьи?..

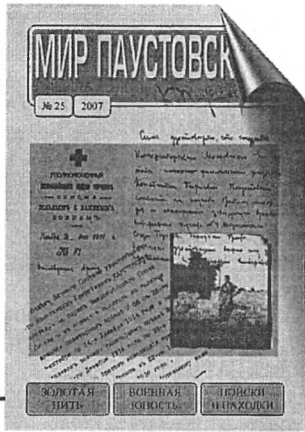
А то, что экземпляр маленьких повестей так хорошо сохранился, говорит только о том, что полки, где стоял салатный томик, были, скорее всего, застеклённые и крепко набиты книгами.

И теперь, когда я слышу высокопарные разглагольствования о том, что век книги сходит на нет, её, дескать, повсеместно вытеснит интернет, я с сомнением качаю головой и с надеждой поглядываю на ещё до конца мною не разгаданный томик Паустовского...

Книга на экране — всего лишь голый текст, исключительно жёсткий информационный источник. Читатель в нём никак не обозначается, его присутствие не накапливается. Компьютерный эрзац книги никому не преподнесёшь и не напишешь на нём дарственное слово, а между страницами не оставишь подвернувшуюся под руку закладку. Книга утратит тепло человеческих рук и не сможет достигнуть предела мудрой старости. Она перестанет нести в себе ауру берестяных грамот.

Тогда-то она, вечно молодая, законсервированная в своей неизменности на экране, и умрёт.

г.Ломоносов (Ораниенбаумь)



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Поэзия

Андрей НИТЧЕНКО

МНЕ НРАВИТСЯ СТИХОВ ПОРУКА КРУГОВАЯ...

КАЛЕНДАРЬ

И стал мне понятен земной календарь.
Матфея открыл — и повеял февраль.
И я снегопасов увидел тогда,
они с высоты пригоняли стада.

Светящийся Марк открывается: март.
И мокрые кровли, и с них — каплепад!
И малые птицы, не веря копыю,
от Марта Евангелье медленно пьют.

А после — лучи, лукоморие, луг,
оставшийся снег по овражкам растает.
Посмотрит Лука неспешно вокруг,
и тонкими стрелками лук прорастает.

Но тянется горечь осенних костров,
сиянье растёт и взрослеет туман:
с горящей земли отнимая покров,
последним идёт Иоанн.

ПАМЯТИ Ю.Ц.

*Во всём разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима.*

Ф. Тютчев

Неостановимо —
много лет назад —
некто шёл по Риму,
торопясь в сенат.

«Не ходи», — сказали, —
«Избежишь беды».
Лёгкие сандали,
хищные черты.

Нет бы задержаться,
замереть — а вдруг
больше не удастся
посмотреть вокруг?

Подивиться свету,
помянуть дела...
В небе, Цезарь, нету
никакого зла.

Ни в луче, ни в древе,
ни в свече цветка,
в человечьи двери
не войдёшь пока.

Цезарь, погоди ты!
Цезарь, не спеши:
мартовские иды
дивно хороши...

* * *

Вот дом, вот день, вот дождь, вот свет —
весь мир предметов и примет.
Ты видишь всё, но ты привык —
спокоен пульс, остёр язык.
И только слова глубина
ещё не одушевлена.

МП: Молодой поэт Андрей Нитченко живёт в Сыктывкаре. Публиковался в местных газетах и сборниках, в «Литературной газете» и различных журналах, в сборнике «Новые писатели России». Лауреат и дипломант Международного конкурса им. Максимилиана Волошина (2004), премии фонда памяти Ильи Тюринина (2004). В том же году попал в длинный список премии «Дебют». Автор книги стихов «Водомер» (М.: Алгоритм, 2005).

И отчуждения прибор
меж существами и тобой.

Но вдруг — как ливень с высоты —
откуда ты? Откуда ты?
Откуда это существо,
дороже всех, нужней всего?
И ты внезапно ощутишь
такую дрожь, такую тишь.
И с изумлением поймёшь:
Вот дом.
Вот день.
Вот свет. Вот дождь.

* * *

Смерть — это как в детстве
отъезд из деревни
С выгоном, садом, школой за поворотом,
Белым колодцем — не пил воды ледянее —
Чёрной смородиной, ковкой тропинкой
за огородом.

Так всё обжито, так приросло за лето,
И не представить, как без тебя здесь могут
Лаять собаки, дождь — идти, на дорогу
Бегать приятель с ободранными коленками.

Как без тебя облака отразятся эти
В окнах веранды. Яблоки под часами...
Нет же, неправда, ещё никуда не едем!
Ветер в окошко. Церковка исчезает.

* * *

Мне нравится стихов порука круговая —
причин, деталей, рифм внимательная связь.
Ступают не спеша, текут не торопясь,
а проза и бегом никак не поспекает.
Как молвил дурачок: «Ты опрокинь глаза,
ты опрокинь глаза, чтоб внутрь они смотрели», —
там не дробится мир — на лица, голоса.
Пусть раскачнёт гроза огромные качели!
Небесная вода ударилась в бега!
И гром колот дрова над улицей пустою.
Я шёл, но не один — меня оберегал
Блаженный гул, покой за всё пережитое.
...Я шёл как проклятый — да стопы в кровь истёр —
пустынею листа, предсказывавшей чудо.
Смотрю — издалека селение растёт,
и окна светятся — и музыка оттуда.

* * *

Вальс поливальных машин, поливальных машин,
вальс на рассвете, отбитые стёклами блики,
на перекрёстке-кольце ни души, ни души,
Гул вавилонского облака дробноязыкий —
контур червлёный растёт, раздвигающая дома,
мудро клубится, горит, оседает и дышит.
То ассирийская шапка, то башня Тамар.
Кто первозданности учит, сияние пишет?
В воздух распахнута площадь и нет голосов,
Это конверт, где нечитаным время лежало.
Не отдыхая ползёт черепашка часов.
Пересыпается ночь в табакерке вокзала.
Жизнь пробегает глазами остаток земной:
те же слагаемые — но сумма иная.
Тихо зернится листва. Слепой пятернёй
ветер ощупал лицо моё, запоминая.

* * *

И я предавал, и я смеялся, Тебя по ланитам бил!
Но всё, что однажды происходило, не кончится никогда.
И нет непричастных — любой остался, чем от начала был.
И вечно копьё прободает рёбра, и вечно течёт вода.
И вечно Пилат умывает руки и спрашивает у нас:
«Кого отпущу вам?» — И наши плотки не отвечают врозь.
За каждого Он принимает муку, и длится она — сейчас,
и каждый в Пречистую Эту Руку — своими — вбивает гвоздь.
И вечно приходим, не веря в чудо, увидеть открытый склеп,
и вечно звезда озаряет сад, касаясь Его чела.
«Не я ли? — спрашивает Иуда. — Не я ли?» — и крошит хлеб.
И место своё оставляет свободным, вставая из-за стола.

* * *

Листва глядится в зеркало травы.
На Радоницу выпал в этот год
день моего рождения. Живым
коснуться мёртвых: лёгок переход.

Но нужно так движение начать,
чтоб сразу повести с собой простор.
Кого имею право поминать?
Кто так бесплотен — не позвать за стол?

С кем праздновать и плакать мне о ком?
Живых и мёртвых мне не разделить.
Того гляди — протянет сквозняком,
но встать нельзя — и двери не закрыть.

Ты гласные не знаешь, плоть моя,
клеймо на голос мой, но ты учи,
Смотри — витраж земного бытия,
и сквозь него — окрепшие лучи.

Нам каждую секунду слышен стук,
но мы боимся вымолвить: да, да...
Открыть окно. Ещё один ненастный день потух.
И ночь при свете ветра и дождя.

* * *

Зимой ты поневоле метафизик:
стеснённость плоти холодом и тьмой.
Космическая ночь и круг от лампы.
Скреби, черкай. Что от тебя зависит?
Деревья держат небо над собой,
как страшно исхудавшие атланты.

Приснилась одноклассница, с которой
мы наяву не виделись пять лет,
и ничего не знали друг о друге.
Иду по освещённым коридорам —
и вдруг она. Но потемневший цвет
её лица, опущенные руки

в набухших жилках, утомлённость черт...
Я этого запомнить не успел.
Не может быть, чтобы в обход разлуки
уничтожала память свой пробел —
себе самой на ужас и в ущерб!

Открыл глаза и медленно ослеп.

И что-нибудь боюсь добавить — вроде:
свиданье душ, невидимая связь...
На ящик за окном накрошен хлеб.
Клюёт синица. Я пишу напротив.
Чтоб не спугнуть — почти не шевелясь.

* * *

Помнишь девочку? Ту, что кольцо
На площадке — играли в футбол —
Обронила? Десяток мальцов
Ворошили листву. Не нашёл

Ни один из нас. Может и там
Ничего не терялось тогда,
Но и всё же — работа ногам,
Пища зрению... Пришли холода,

Пал снежок, и никто не узнал,
Было что-нибудь, или она
Спohватилась не там. Подобрал
Кто-то после? Никто. Тишина.

Мы ли Бога забыли? Да нет.
Мы всю жизнь проискали Его,
Как колечко в листве, как предмет,
В мире спрятанный лучше всего:

Близко, Господи мой, горячо?
Как найти — не открыл, не сказал.
И невидимый — был за плечом.
И не найденный нами — спасал.

Наталья ОРЛОВА

В ГЛУБОКОЙ ЛАДОНИ ОКНА

СЛОВА

Голубем — вверх из-за паузы,
Ножичком — из рукава,
Верной водою — средь засухи,
С скверной бедою — да в запуски
С нами пребудут слова.

Льнут, обнимают — куражатся,
Вдруг — разбегаются вскачь,
Месяцем в тучах — покажутся,
Глядь, узелочком завяжутся,
Кренделем — свеж, да горяч!

Любят жалеть — да охаживать,
Ставить, укравши, печать,
Милое — гнать, выпроваживать,
Дикое — холить, приваживать,
да за своё выдавать.

Брать — как родное — не вынянчив,
Править своё — от души,
То же, такое ж — да иначе,
Выкрав, в суме переимчивой
Встряхивать — ах, хороши!

Милость ли, злоба ли царская —
Парусом — наискосок,
Честное слово немецкое,
Круглое слово татарское —
Ляжет монетой в песок.

* * *

Глоток голубого наркоза
В глубокой ладони окна —
И вот уже русская проза —
Как «Повесть...», как «Слово...» видна.

Сама одолеет хворобу —
Спасёт от сумы и тюрьмы,
Она — не годится на пробу,
Она — это вечные мы.

Смешно ей гордиться-рядиться
В обноски чужого тряпья,
Она — воскресает, как птица
И вылепит нас из себя.

Такую ли силу приручишь,
В кулак — неземное — зажав?
Её не возьмёшь, не научишь,
Святой не изменишь устав.

А что за судьба и дорога
И есть ли она у Руси —
Спроси у народа и Бога.
Себе ничего не проси.

МЫ

Украинская выпечка
За здорово живёшь,
И картошка из Липецка,
И родимая рожь.
Честность Пушкина, Пущина,
«Хай живе!» и «Саям!» —
Сколько силы отпущено
Небесам и полям.

Панибратской окрошкой
Были мы под пятой,
Нас сложили гармошкой,
Напоили бедой,

Дали воли с расправою,
С трёх сторон подождли,
Обманули державою
И бесславно ушли.

А над крышами, песнями
Зачастил Часослов,
Отзывается Преснями
Говорочек лесов,

Крестит снежною пажитью,
Разлетается в дым,
Всё, что прожито, нажито,
Разом стало чужим, —

Вдруг возьмёт да аукнется,
Раздавая слова, —
Всенародная супница —
Родовая Москва.

МП: Наталья Орлова окончила Литературный институт имени Горького. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир» и других. Живёт в Москве.

* * *

Какие отзвучали речи,
Словес непроходимый лес,
«Начало было так далече,
Так робок первый интерес».
И дело гибельного марта
Кровавой кашей проросло,
Январская ложится карта
Пятном на пятое число.
Столетье сгнуло, как свиток,
И целый мир — пошёл на слом,
И целый мир — сплошной убыток —
Пустым ложится рукавом,
Помимо прочего и кроме
Всего, что называем «дым»,
Как окунь травленный в затоне,
Как труп невынесенный в доме,
Уже не может быть родным.

* * *

Разбежалась ширь.
Колыма. Сибирь.
Беломор и Караганда.
Жжётся острый луч
Из Отцовских туч.
Отражается от Креста.
Ждёт Вселенский свет
Вековых побед,
Рассыпается пыль гвоздей,
А от слабых слов —
От простых даров —
Миллиарды новых людей.
Разнесла молва
По земле слова,
Отправляются вдаль века,
Верит дом и дым
Чудесам Твоим,
Плащаницей лежат снега.
...И один бандит, и другой бандит
Принимают Голгофу свою,
И сказал тому, кто рядом прибит:
«Нынче будешь со мной в раю».

ГОГОЛЬ

Гоголь считал, что Пушкин — это русский человек, каким он явится через 200 лет.

Гоголь, Гоголь — в невиданной силе,
Как слова-то твои хороши,
Не лежит скитальцу в могиле,
На Руси о тебе не забыли —
Хоть садись и с натуры пиши.
Закружились «шинели», «портреты»
По околицам «Города N.»,
Так и валят пакеты, секреты,
Хлестаковы... Ах, батюшки светлы,
Не берёт их ни убыль, ни тлен.
Чудо-Тройка! Народы — заране
Постараниваются, глядят...
Что звенит? Не струна ли в тумане?
Не Копейкин ли свищет в бурьяне?
Не чеченский ли рвется снаряд?
Поднимайся и словом побалуй,
Расскажи, чем откроется век.
Он горит — твой проект небывалый —

Вот пришёл, но не Пушкин, пожалуй,
А неведомый нам человек.

* * *

«Сколько псарей, сколько скотников», —
Думаешь, — «Быть по сему».
Много у Бога работников
В светлом хозяйском доме.
Стадо мычит многогрешное,
Топчется в тёплом хлеву.
Ноченька стынет кромешная.
Прячутся волки во рву.
Светится звёздная просека,
Детский потерянный рай.
Песнь вековая разносится,
Пухнет зари каравай,
Тычется небо сохатое
В люльку с малюткой-Землёй,
Эй, с похоронной лопатой!
Брось это дело, не рой!

МОСКВА

Раздвигая столица
Приспала свои века,
Словно бойкая девица,
Что ни дарят — всё сгодится,
Подойдёт наверняка.

И среди житья и давки
Рвётся старое трико,
Рынки, выставки, прилавки,
Билдинги, автозаправки
Разбежались широко.

И везут, везут в столицу
Кирпичи и калачи,
Фаберже и черепицу,
Километры толку, ситцу,
Сладкий обморок с бахчи.

Прут богатые проспекты
С разухабистых холмов,
Шлют прожекты и проекты,
Рвутся улиц километры
С новой выделкой домов.

Каково тебя качает
Человеческий прибор,
Он судьбы своей не знает,
Тот — взлетает, тот — нищает,
Тот — шутя переиграет
Всех обласканных судьбой.

А Москва — растёт и тает,
Как в заварке сахарок,
Всю себя перелистает,
Пропадает между строк,
И песочек подмывает
Южно-русский говорок.

СТУДЕНО

Снегопад января-февраля
Забивает подьезды и строчки,
Нет ни лампочки, ни фитиля,
Спят строения поодиночке,
И леса забредают до плеч,
Запахнувшись в дремотные полы,

И покоится девица-речь,
 В пышном саване спрятав глаголы,
 И какой-то свистящий бубнёж
 С шепоточком куделистой крыши,
 Поспешишь — и в мешок наберёшь
 Говорок ошалелых порош
 И потом — на ладони отдышишь.
 Будто кто-то читает Коран,
 И сама-то — с утра непогодишь,
 Ворожит пугачёвский буран,
 И крепчает Зима, как Роман,
 И в него по сугробам уходишь.

ПРИШЛО

Подтаяли овраги,
 Просели берега,
 Река — избытка влаги

Не чувствует пока,
 Ещё она не помнит,
 Что минул целый год,
 Но — где-нибудь в Коломне
 Плечами поведёт,
 Очнётся в стылой яме,
 Толкнётся и пойдёт, —
 Ворочая шарами,
 Откусывая лёд,
 И двинется, и грохнет
 В предместья — кулаком,
 И — за морями — охнет
 Новорождённый гром,
 И мартовское солнце
 Взлетит огнём шутих...
 И новый Кай вернётся
 На саночках своих.

Иван КУЗНЕЦОВ

Я НЕ ПРОШУ У ВЕЧНОСТИ ВЗАЙМЫ...

ПОДМОСКОВНЫЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ

*Ты вернулся сюда, так глотай же скорей...
 О.Мандельштам*

Не спеши дышать морозным воздухом
 Чёрно-белой северной зимы —
 Серые пологие холмы
 Мягкой тенью горизонта с облаком
 Не разъединяются. Шумы,

Не родившись, затихают в войлоке
 Предвечерней мягкой тишины.
 За спиною, из лесной стены
 Нас толкают две лыжни, проложенных
 Нашей жизнью. Чистой белизны

Перед нами лист лежит разложенный,
 Ожидая, что предпримем мы.
 Постоим немножечко. Сравним
 То, что делать было нам положено
 С тем, что мы бездумно совершим,

Нужное сменяя на невозможное,
 Следуя велению души.
 Нет назад пути. Запорошил
 То, что мы прошли, неосторожный
 Новый снег. Как будто предложил

Поискать дороги неисхоженной
 Посреди поднадоевших троп
 С тупиковым окончанием «Стоп»,
 Каждому созданию положенным
 Ласковой рукою смерти в гроб.

Так постой немного, замороженный
 Простотою северных полей.
 Мы пойдём дорогою своей —
 Может, мы найдём ее, нехоженую,
 Без таблички роковой на ней.

* * *

Брошу в ветхий узелок память тела:
 Фотографию, письмо, ключ от дома,
 И уеду далеко: ты хотела,
 Чтоб мы не были с тобою знакомы.

Побреду прямой нездешней дорогой,
 А устану — отдохнуть не придётся,
 Обою я об асфальт босы ноги,
 Из балованной души кровь прольётся.

Отчего ты прогнала, раз любила,
 Отчего грозишь клюкою острожной...
 Приложи ты мне к изножью могилы
 Исцеляющий лесной подорожник.

* * *

Я не прошу у вечности займы
 И сторонюсь очерченного круга.
 Я б одолжил у прошлого, но мы
 Пока что не представлены друг другу.

* * *

Всплакнула речка, вздрогнул лес —
 И тень упала молодая.
 Как верный пёс, сопровождая
 Немилосердный взгляд небес.

Какая скучная стезя —
 Поверка действия итогом!
 А смысла жизни — эпилогом
 И эпитафией. Нельзя

МП: Иван Кузнецов по профессии физик. Живёт в США.

Измерить метром бесконечность,
А взглядом — почему бы нет?
Что там виднеется в окне —
Дом? Улица?... Похоже, вечность?

Среди возможных перспектив
Одна меня околдовала:
Поверить прелестью финала
Очарование пути.

* * *

За холмом пропадает дорога
В тёмной сепии дальнего бора,
Потерпи, осталось немного
Расставаний да разговоров.

Затеряемся в тихой чаще,
Заживём в забытой берлоге.
Растворяется след вчерашний
На омытой дождём дороге.

* * *

Буду бродить, подбирая — цугом — разбросанные острова,
Тёплые пятна жимолости на мокром речном асфальте,
Милая, я потерял тебя и теряю себя в азарте:
Темноту крылом выколачивая, роняя слова,
Улетает сова, небо перекрестив: — Не забыв... а
Рядом стонет, тонет комочек аленький ...айте ...айте.
Время пробует тебя на разрыв,
Нервы — буквы, взгляды — правила этой игры,
Истекает сердце, вкусив надрыв
Ружья, стреляющего в последнем акте
Нашей общей судьбы,
Пойманной на неверном такте.

КОМПОЗИТОР ВЕТРА

Кладовщик сомнений,
Композитор ветра,
Верно ли, что утром
Иней тронет астры?
Вычернит сначала
Очертанья ночи
На траве пожухлой
Мелкими мазками
Певческой палитры:

Ржавыми на рдяном
Оперенье клёна,
Палевою кистью
Тронет кудри бука,
Охрою — дубраву,
Киноварью — профиль,
В каплях винограда,
Старого обрыва,
Там, у края взгляда,
На границе вида,
На излёте слова,
На пороге быта...

* * *

Распахана целина,
Разбиты ворота Рима.
Слово — неповторимо,
И это — моя вина.

Строятся города,
Равняясь на середину.
Былое — непобедимо,
И это — моя беда.

Беснуется гольфтьба,
Пуля проходит мимо.
Будущее — ранимо,
И это — моя судьба.

ДОМ

Русокопый портрет на стеклянном холсте.
За вьюном палисада — отрез косогора.
На оконном кресте и могильном кресте
Вертикалью — тоска, перекладиной — горе.

Обними меня, Русь, словно жертву — палач,
Подведи, балагуря, к чужому порогу.
На прощанье июльской грозой проплачь
Колее подмосковной грибную дорогу.

И окно занавесь. И плиту затуши.
Огород наш отдай лебеде да репею.
Иногда мне короткие письма пиши.
Я уже не приеду. Уже не успею.

Филипп ДЗЯДКО

ВСЕ ПРОСТО

ВСЕ ПРОСТО 1

Ты всё придумал
и закончил сам
сквозь ветки смотришь
между тем
на кухне зашумел
Девятый вал

ВСЕ ПРОСТО 2

И вот на ниточке висишь
кругами ходит незнакомый мыш
бегут по улице смешные акробаты
ты радуешься им
они — тебе
и все друг другу рады
Ты смотришь.
телефон прикинулся улыбкой
А ты в ответ
билет пробитый комкая
сгибаешь спину, превращаешься в улитку
и эти стенки ломкие

МП: Филипп Дзядко окончил историко-филологический факультет РГГУ. В настоящее время работает литературным обозревателем на радио «Культура».

не отражают звука —
улыбки не звонят, такая штука

ВСЕ ПРОСТО 3

Все просто друг Горацио
непросто только это, то и то,
а всё что остальное — что не то,
то просто. Если это не про то
прости, про что-то
я хотел тебе сказать,
но мне так нравится
то то, то это потихоньку
и понарошку забывать

ВСЕ ПРОСТО 4

Бутылки, гравий, желтая трава
два волоска, армянская халва
шум двух трамваев, трех старушек разговор,
витрина теплая и стрекозиный хор
еще немного трав и листьев для тепла,
для холода — щепотка чёрного песка.
Здесь кажется она и умерла

ВСЕ ПРОСТО 5

Возьми немного буквы у
затем подай мне звонкий-звонкий-звонкий звук,
купи немного стужи, заверни
её в шипящие листки.
Всё положи на столик у плиты
и уходи, клади и уходи

ВСЕ ПРОСТО 6

Так люди учатся считать:
сперва забудут цифру пять

и вместо цифры пять поставят
цифру шесть
и не хотят исправиться
«Ну вот опять. Зато лет через пять...»
а что же будет?
Забудут нас и будут вспоминать

ВСЕ ПРОСТО 7

Так люди учатся стареть.
Как люди учатся стареть?
не знаю, я не учусь стареть.
Хочу попробовать не умереть

ВСЕ ПРОСТО 8

Попробуй окунуть ладонь
в тарелку с супом.
Но так, чтобы не замочить манжет.
не получается?
вот-вот, мне кажется,
что ритма в жизни нет

ВСЕ ПРОСТО 9

Ну вот беда ты и ко мне пришла
пора купить мне шляпу из стекла
и будут все с меня ее снимать
а я потупив взгляд обратно надевать
тайком ее поглажу
перо бумажное прилажу
И если вдруг заснуть придется
увиджу сны, как на осколки бьётся

ВСЕ ПРОСТО 10

А эту рыбу я в ванную припрячу
пускай там плещется —
я не могу иначе

Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕБЯ ПОГЛОЩАЕТ ПРОСТРАНСТВО...

РОССИЯ

Я шёл со станции деревней,
И, вспыхнув вдруг до самых пят,
Шумели мне твои деревья,
Замыслив первый листопад.

Вдыхая воздух горьковатый,
Я боль сиротства испытал,
Когда как будто виноватой
Тебя я в поле увидел.

Немного блекнувшего света
Да ёжик скошенных стеблей.
Зачем уходит бабье лето
И не становится теплей?

Но без царапающей злости
Трясутся бурые кусты.
Мы постояли на погосте,
Безмолвно глядя на кресты.

Терялась даль в лесах пустынных...
Ты обернулась и ушла,
И стебелёк в губах невинных
С собой на память унесла.

А после — в храме над дорогой,
Где воздух вечно голубой,
Увидел я Твой образ строгий
И две свечи перед Тобой.

* * *

Очаровательные дни.
В них как бы прелесть остановки,
Порывы птичьей болтовни;
Бельё под солнцем на верёвке.

МП: Александр Колесников, врач по профессии, прожил короткую жизнь (1960–1993). Автор поэтического сборника «Избранное».

Приятель, птаха, воробей!
Ну что бы нам взлететь повыше...
Но ты в ответ, не оробев,
Всерьёз молчишь и храбро дышишь.

А там — смотри: уже глядит
Пустое небо на дорогу,
И зимних скверов славен вид
И безопасен, слава Богу.

Что мир! Пожить и посвистеть,
Чирикнув громко напоследок;
И примет отпертая клеть
Других соседей и соседок.

* * *

Август расплавился точно кусок рафинада —
Лишь помидоры, да пива сверкает стекло.
Жизнь обмелела, осталась пустая бравада.
Тающий август — куда нас с тобой занесло?

Юность закончилась, зрелость никак не даётся.
Ум обезмыслел, и страшен ему обиход.
Битва с собой бесконечна — но кто-то сдаётся:
Меч затупился, коня не заставишь в поход.

Август лиловый невнятную речь тараторит,
Дни как собаки за мной мельтешат по пятам.
Где твой приют? Где твой голос, единственный в хоре?
Где же твой друг — покоровивший моря капитан?

Странно. Печально. Неужто конец донкихотству?
Мельницы крылья обиты железом давно.
Время скользит, приближаясь как будто к сиротству
И одиночеству, где бесполезно вино.

Ты, бормотун! Всё имеешь — ничем не доволен!
Август торопится — или забыл, почему?
Преображенье Господне тебя исцелит — если болен.
Только иди! Торопись прикоснуться к Нему!

* * *

Тебя поглощает пространство
И холод. Ослепшие тучи.
Деревья получают убранство,
Кто нищ — ничего не получит.

Прохожего плащ заливает
Дождём. Он уходит от ветра.
Пусть губы тебя называют
По имени — но безответно.

Ты, может, в конце переулка
Взмахнёшь неожиданным взглядом.
Кому? В доме осени гулко
И пусто, и будет ли рядом

Попутчик? Прости. Я невесел.
Ни песен, ни денег — вот странность.
Гранит бытия перевесил
Наивной любви деревянность.

Сезон миновал. Постояльца
На выход настойчиво просят.
Целую холодные пальцы
Твои, опрокинувшись в осень.

И руки твои отпуская,
Я тщетно пытаюсь вцепиться
В пустое пространство. Пустая
Душа невесома как птица.

Проза

Андрей ГАЛЬЦЕВ

РЮММ

Утром, застигнутый люто
резвящимся, неуклонно
крепчающим, развивающимся
ненастыем, возвращался из
хлебного магазина человек по
имени Рюмм. Обеими руками
прижимал к горлу отвороты
плаща и пакет. Шляпу он только что потерял, по-
бежал было за ней, но вспомнил, что эта внешне
респектабельная шляпа сильно заношена со сто-
роны подкладки. «Определённо, её понесёт те-
перь на стройку, где яма с арматуринами, — про-
щай, фетровое тельце!»

Над головой его стоял свист. Неуютно-то как в
мире! И в голове ещё неприятно и невнятно бубни-
ло чувство долга: к нему должны прийти. Рано ут-
ром ему позвонили и обязали быть дома. Спросо-

МП: Андрей Гальцев — жур-
налист, работал на радио
и в газетах; автор не-
скольких рассказов и повестей. Печата-
лся в периодических изданиях, в част-
ности, в журнале «Дружба народов».

нок понял только, что придут —
не из издательства, из чужой орга-
низации: архитекторы? градоус-
троители? декораторы? Не они,
но придут. Балконовладение, бал-
коноведение... Что-то с балко-
ном. Во сколько, не уточнил.

Мимо Рюмма в щель улыци пушечным ядром
промчался газетный ком. Мятой копиркой прокувыр-
калась, летя, ворона. Рюмм нырнул в подъезд и рас-
правил лицо после жестокой гримасы.

На проспекте улицы остались двое: раскорячен-
ная пара мужчин. Гуськом, с упорством и креном
они влекли толстый красный рулон, объединясь им,
как идущие на приступ — бревном. Это работники
ЖЭКа направились вешать лозунг на рюммовский
дом, распялить на балконах верхнего этажа.

Пара втиснулась в лифт. «Погодка», — сказал помоложе. Старший просто что-то брякнул.

Рюмм уже уткнулся в страницу: «The martian was standing by the porch, feathers were lifted up on his ass».¹ Тут услышал звонок, и сквозь дверь ему каркнули: «ЖЭК».

Пришел один из работников, который постарше, Турчин. Другой, Котов, в тот момент находился на балконе другого фланга, или столбца, где привязывал конец лозунга, восклицательный край. Когда там привяжет накрепко, тогда зачинный край будет передан на балкон Рюмма, что непросто, ибо штормовой лозунг может «увлечь».

Турчин. Его верхняя губа не выступала на лице... или всегда — от скупости его натуры, или обычно — от взятых на себя позёрских обязательств, или нынче — сугубо от переживания мужества, оттого что закушена нижней губой. Его глаза презрительны вследствие ревности к вещам и людям, ничем не заслужившим своего хорошего существования. Ногами, гнутыми от бремени давнего трудового долга — будь он проклят! — Турчин, вступая, отпечатывал на паркете огромные белёдые следы.

Рюмм позавидовал умению так вступать в чужой дом и оставлять на чужом полу такие следы — марсианские, помыслилось. И вся фигура Турчина была встречена уважительной робостью в душе хозяина; перед столь громоздким, бурным персонажем он ощущал свою детскость, всё у него детское, даже лысина.

Турчин брезгливо повернул рукоятку балконной двери — и дверь кинулась на него и смела с прохода, ветер ворвался в комнату, взвихрились бумажки: оригинал, перевод, черновик, беловик. Рюмм заворожён движением листов.

Турчин недолго инспектировал балкон, то есть Рюмму даже в этот, субботний, день не удалось избежать своего тошненького, вечно ожидаемого маленького стыда, — вернувшись в комнату с отхлёстанным лицом, жэковец высказал возмущение тем, что ограда заделана фанерой, — «чтобы не дуло в ноги» — из-за этой нежности неудобно теперь вязать лозунг. Повелев отирать самодельщину, Турчин командно покинул жильё.

Рюмм быстро, словно своровал, взял у себя трешницу и затаился отдать. Он как-нибудь вложит ее в руку работника, а тот отвернется... (Некоторые рассуждают, дескать, любовь или расположение нельзя купить — неправда, неправда! Иначе и жить было бы невозможно!)

Турчин меж тем поднялся на крышу. Крыша сделана плоско, в виде дворика, окружённого пропастью. Ветер сбивал отсюда всё, что мог сбрызнуть, и Турчин сменил поступь на ползание.

По краю крыша обнесена низенькой — в рост ползущего — оградкой. Он вцепился в нее и всю заорал — Котов из-под края крыши взмахнул в ответ сдуваемой тряпкой голоса; значит, место совпа-

ло. Турчин свесил туда проволоку, и на крышу был поднят трос, посредством которого предстояло, профессионально говоря, провести лозунг.

С концом троса Турчин пополз вдоль оградки. Ветер включил ему в ухо сирену — себя не услышишь, даже мат выветрился из головы. Полз и не знал, что бы такое хорошее, дорогое вспомнить из прожитой жизни — из промежутков меж катаклизмами.

Рюмм уже не чаял дожидаться его, когда раздался шаг, — но вошел другой, — молодой, расторопный, понятливый. Трешницу взял моментально и весело: «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы! — сказал Котов, прибежавший сюда крепить начало. И Рюмма привлёк к делу — выпихнул под локоток на балкон.

Рюмм получил удар ветра в лицо и в грудь, густая пустота залепила дыхание. Панорама наглядно сворачивалась сизой спиралью, диалектической и кошмарной. С крыши рвался крик: «Аша!... Чай!» Котов получил оттуда конец троса. Рюмм тоже подсобно ухватился. Рывок — холодок в сердце, боль в пальцах — между балконами повисла дрожащая дуга.

Они тянули, как рыбаки, поймавшие в невод дракона. Дуга подбиралась. Дошло до полотнища, оно стало вытаскиваться, стравливаясь с того, восклицательного, балкона. Там показался Турчин, помогал полотнищу стравливаться, подавал размеренно через борт. Оно побежало по ветру, легло на ветер, выгнулось вверх. Котова и Рюмма прижало к ограде. «Наматывай на себя, крутись!» — бодрил Котов. Рюмм наматывал трос на себя, как на катушку. «Зачем же я так делаю, его же к балкону крепить надо!» — во вслух Рюмм постыдился высказывать дилетантское мнение. «Дрень иац никада незаускали тао мея празик!» — сказал Котов. «Что, что?» — «Древние китайцы никогда не запускали такого змея в праздник». Рюмм подумал о нём, что он смелый. Чтобы и себя не показать трусом, спросил о содержании лозунга. Котов не ответил, сплюнул — хотел вниз, но получилось вбок и вверх.

Полотнище высвободилось всей площадью, вздулось тугим парусом — Рюмм побелел от страха и упорства: если оно круче вспарусится, он будет сорван с балкона. Страх укорял его: зачем обмотался, ведь не твоё это всё, не твоё! Но поздно: единоборство уже завязалось, без победы или поражения из него не выйти. Змей прикусил Рюмма поперёк тела, сдавил его внутренности, подергивал его и трепал.

Котов кричит: «Постой, надо прикурить», — и уходит с балкона. «Куда ты?!» — застонал Рюмм, сразу перейдя на ты. А туда, что Котов в этот ответственный момент нуждался, как никогда, в глотке покоя, поэтому затворил за собой дверь, прикурил и глянул через стекло на смешную фигурку жильца, обеими ручонками вцепившегося в ограду, перенапрягшегося, — с таким не в разведку... нет, цаца, интеллигент, и оценил обстановку вообще.

Небо клубилось чудовищными телами, взбирающимися друг на друга, сходящимися в

¹ Марсианин стоял у крыльца, перья на его заднице поднялись дыбом (англ.).

многоплановый сумрак. Под небом, беспомощно громоздкий, безголово-плечистый город тесно стоял, ожидая своей участи, — на дне ураганного мира.

Котов затянулся... и попал в искажённое время, застрял с дымящимся ртом, наблюдая события столь медленные, что несколько раз успел бы спасти жалкого человечка, если бы мог спасти. Рюмма положило животом на ограду — он извивался, отключивался, потом его приподняло и призвало туда, за борт, отчего он стал весь какой-то нацеленный и деревянный, но не разжимал хватки пальцев и ногами искал по ограде зацеп. Затем его призвало, сдвинуло ещё... до предела рук. «Удержится ли?» — подумал Котов и вдруг увидел подошвы тёплых меховых тапочек, непонятно держащихся мысочками за верх ограды. Это диковинное их положение было выставлено Котову в продолжение некоторого времени и сорвалось — исчезло.

Турчин, стоя на своём посту, затмил глаза — не зная происходящего. Котов глубже отпрянул в чужую и как бы уже ничью комнату. Его мысль была ослепительно пустой.

Рюмм падал, наискось пересекая этажи, вращаясь, потому что разматывался трос, все быстрее летел и вращался и пошёл на подъём — к соседнему дому, и был выпущен тросом, освобождён, ибо исчерпал своим вращением его петли, но ещё вращался, словно по памяти — медленнее и вольнее, космонавтом в космосе, и мягко, на излёте упал на чей-то балкон, будто в ладонь, — смиренным, неодушевлённым телом.

Двое работников сошлись внизу — гадать о судьбах Рюмма. Думали, не соглашались, спорили. Ожили во взаимных обвинениях.

— Ты на флоте не служил: кто ж интеллигента ставит к парусу!

— Ему присесть надо было глубже. Я-то при чём? Ты сам чего там стоял без толку? — криком отвечал Котов.

— Вот найдём его, и отдадут тебя прокурорам, а меня с вами не было, я на другом балконе был.

— Ты старший, тебя и будут судить, чтоб не стоял дураком, где не надо! — контратаковал Котов.

Меж тем Рюмма всё не было. Котов полагал, что жилец упал в груды магазинных ящиков, вот сюда... Турчин вовсе не понимал, отчего тот не лежит на газоне пред ними, и был этим суеверно напуган и вместе с тем обозлен: ведь бывают же люди — все у них с вывертом и по-дурачки, и балкон заделают фанерой.

А виновник беспокойства приходил в себя, пока ещё внутри, только жилка на его руке тихо стучалась наружу. Его глаза обращены вспять, и там, словно внутри головы, он увидел иную картину.

День, блёклое небо, равнина с кое-где устоявшим кустиком или деревцем — сиротливая даль. Он отозвался стеснением сердца, растроганно, виновато — так блудный сын увидел бы с того света родные места. И что-то нужное, но забытое стал искать. Глядел в самую даль, тончающую между небом и землей, как меж закрывающихся страниц... Обора-

чивался вокруг себя, ища за своей спиной... Не нашел. Отчаялся и посмотрел вон — тут колокол памяти оглушил его. Рюмм прижался к полу и застонал. — Э-эй, там! Жив? — кричали снизу.

«Кажется, жив, но вам я ничего не скажу».

Ветер выдыхался, словно дело своё закончил. Из окрестных домов выбегали жильцы, указывали балкон. Высчитали квартиру, поднимались туда, бились в дверь. Отвечала старуха: не пустит никого, не знает ничего, нечего ей кого-то смотреть на своем балконе.

Толпа росла. Случай раззадорил на общение. Повелись воспоминания о чудесных и обыкновенных (вдребезги) падениях. Пришел некто ненормальный, с душой, истомившейся в теле, как в мешке, ждущей вырваться вон из узилища — только задень — и выразиться в мир исхождением бурных слов. Быстро — от нетерпения зацепиться за реальность — спросил дату. «Вот день его смерти! Не сможет жить, если висел на лозунге!» — «Уйди, полоумный, он жив». — «Всё равно он умрёт!»

Прибыла медпомощь. Врачи одолели старухину дверь и старуху, вынесли безмолвного Рюмма. Все помогали загрузить носилки в машину, переживая свою доброту и отзывчивость. И долго бы ещё стояли, обогатившись товарищеским чувством и страшным сюжетом, если бы не милиция. «Ну вот...» — сказали в сторону приближающейся фигуры и разбрелись.

Рюмма поместили в больницу — ко всем другим заболевшим, упавшим, отравившимся. Он лежал и видел кошмар, де, он висит в небесной пустоте, держась за верх тонкого шеста, над головой уж чёрная подкладка неба, внизу весь голубой эфир прозрачный и твердь земли с её горами и лесами; шест, тянущийся ниткой от самой земли, гнётся на целые вёрсты туда и сюда, Рюмм при этом весь цепенеет, сердце его прощально замирает, мысль мечется неуловимым зайчиком, забивается в тёмный угол сознания и меркнет, чтобы вновь возвратиться вместе со свистом и жутким чувством зыбкости бытия.

В течение недели подобные страхи мучили его, а потом приходили реже, бледнели, и он перестал жаловаться на них врачу, который лечил их инъекцией витаминов В.

И вот покинул больницу. Вышел в убелённый снегом город — обрадовался снегу, словно чистой странице, заново дарованной исхоженному, исписанному до сплошной невразумительности миру. Снег похрустывал под его ногами, звуком отмечая степень его хромоты. Да, он отныне хромой. И душой тоже изменился — стал припадать на одну сторону, словно потеряв опору, вместо неё приобрёл вопрос. Шёл — вроде бы там же, все то же... — шёл, хромая, и озадачивался: что-то скрыто этими лицами и пальто, тротуарами, стенами, далями... — «далёкое-близкое», везде... Надо узнать, догадаться, найти. Надо успеть, пока не пришлось упасть с высоты, под которой не видно дна. Этот обрыв, как он понял, тоже близко и всюду. И надо внимательней жить.

Ирина ВАСИЛЬКОВА

КСЕНОЛИТ

Белым-бело было вокруг, белым-бело. Только сверкало слишком сильно, даже глаза слезились. Тёмных очков у Марины не было — то есть, теоретически, были, но после того как на них утром слегка наступила лошадь, левая дужка отвалилась, и на носу они никак сидеть не желали. Впрочем, если б знала, что такой окаянный будет блеск, — и полкоманные бы прихватила. Да что теперь об этом...

Так и шла, прижмурив опухшие веки, стараясь не тереть их лишний раз, но всё-таки отдельные струйки иногда выкатывались на щёки, и сразу чувствовались их холодные траектории — резкий ветер остужал тёплую влагу мгновенно. Виктор чесал вперёд и не оглядывался. Из принципа, конечно. Навязали девчонку сопливую, вот пусть теперь сама и приспосабливается как хочет. Он на кандидатскую материал собирает, ну, попросил, чтобы хоть студента дали в помощь, коллектором, а тут — эта дурёха, детский сад.

Марина прихрамывала сзади — сапоги со склада, естественно, выдали на три размера больше, портянка сбилась, и очень хотелось остановиться и перемотать. Но Разина раздражать не стоило, а то опять скажет что-нибудь обидно-ехидное. Так и шла, не поднимая головы и стараясь вступать в Викторовы следы. Да ладно, в принципе не так уж всё было и плохо. Если голову всё-таки поднять, вид с сопки даже сквозь слёзы можно было назвать просто великолепным. Внизу широкая долина утопала в сизоголубоватой дымке, а в ней скорее угадывалась, чем просматривалась речушка. Долину со всех сторон обступали правильные конусы вулканов, то острые, то усечённые. Склон, по которому они шли, тянулся далеко и полого, до конца снежника ещё пилить и пилить, а ноги уже не держали.

Они вышли из лагеря рано, чтобы успеть подняться на сопку, отобрать образцы и спуститься по другому склону. Дальше предполагалось идти вдоль речки и искать новое место стоянки. Место, собственно, уже было выбрано — вчера туда налегке сбегал Вадим, разбил палатку, отметил на карте крестиком — оставалось надеяться, что определится точно. Тогда они быстро её разыщут, если к тому времени совсем не стемнеет. Но Виктор и такой расклад учитывал как вполне возможный, поэтому злился и зыркал на Марину чересчур сердито — ему казалось, что ходит она медленно. Ей и вправду было тяжело выдерживать темп, но она не показывала виду и шла со спокойным лицом — тупо, как заведённая. Настроение с утра никуда не годилось — пришлось вставлять ни свет ни заря, да ещё варить мужикам кашу. Повар она была никакой, за бабушкиной спиной таких умений не требова-

лось. Ей и в голову не пришло перед выездом в поле поинтересоваться кухонными секретами, вот и училась в экстремальных условиях. Мужики, естественно, и сами всё прекрасно умели, но дело было в принципе — увязалась девчонка, так знай, почём фунт лиха. Каша, как обычно, получилась не ахти, сама бы закапризничала, если б дома такую дали. Онито, конечно, лопали, но смотрели ехидно. Презирая себя за никчёмность, она потащилась к речке мыть посуду. Речка была цвета кофе с молоком — непонятно, чего больше, воды или глины, поэтому мытьё не убеждало, но хоть остатки каши отлипли. Речки здесь, между прочим, были особенные. Стоило солнцу подняться повыше, наверху начинали таять ледники, сухие русла на глазах заполнялись коричневой глинистой суспензией, а к вечеру поток набирал силу и нёс густую бурлящую грязь. За ночь вся его сила сходила на нет, и утром интересно было изучать волокнистую геометрию переплетающихся струй полусырого песка в пустом русле. Марина сгребла выдавшие виды алюминиевые миски и поплелась обратно. Виктор уже начальственно поторапливал, Сергей с Вадимом киношно седлали лошадей, груда вьюков ждала своей очереди. К вечеру все пожитки должны уже ждать в новом лагере, их ребята отвезут, причём путём долгим и кружным, проходимым для лошадей, а им с Разиным проще — напрямик через сопку и почти налегке. Ну, камней наберут за день — так это уже привычно. Виктор, конечно, не грузил на неё столько, сколько на себя, но весь вид его при этом говорил — прислали бы парня, я бы так не уродовался.

У Марины вообще-то были две страсти — стихи и ландшафты. Именно от них она балдела так, как никогда и ни от чего — так что даже слегка ехала крыша и сводило низ живота. Любоваться ландшафтами она начала как бы виртуально, в детстве читая запоем приключенческие романы, где кроме сюжета ловила смутное ощущение места действия как лица действующего и одушевлённого. То значимое, что вершилось в сюжете, таинственным образом было связано с географией места, а само место обретало признаки индивидуальности и дышало своей разумной жизнью. Герои вписывались или не вписывались в это дыхание — то, что с ними проделывала судьба, смутно зависело именно от умения вписаться. Подобные странные опыты чтения привели к тому, что персонажей легко можно было стереть и оставался лишь фон — но фоном-то он как раз и не был, а был некой разумной вещью в себе, таинственной субстанцией, притом совершенно немой для того, кто не умеет вглядываться.

М.П.: Ирина Василькова окончила Литературный институт имени Горького. Автор четырёх поэтических сборников. Пишет и прозу.

Правда, ещё существовали пейзажи в кино, но их целлулоидность убивала какую-то связанную с топографией местности тайну.

Реальные ландшафты появились в её жизни позже — обнаружилось, что с киношными их даже сравнивать было бы странно, экранизация всегда оставалась синтетической и лишённой живых вибраций прослойкой между текстом и реальностью. Привезённая впервые в Крым в двенадцатилетнем возрасте, Марина вдруг поняла, что в ландшафт можно вчувствоваться, вписываться в него и жить в нем гораздо естественнее, чем в книжном. Совершенно как рыба в воде. Большинство людей, что её удивляло, было напрочь лишено этого чувства, потому и могло спокойно спать в экскурсионном автобусе, тогда как каждый поворот дороги ошеломлял изменением топологии пространства и, соответственно, внутреннего состояния. Это чувство совпадения с ландшафтом становилось всё острее и необходимое, а для его подпитки уже не хватало летних каникул. Это и занесло Марину на факультет с приставкой «гео», но географии она предпочла геологию, продлевающую ландшафт ещё и в глубину и к тому же прозревающую таинственные физические и химические превращения косных субстанций, их замедленную динамику и нерасторжимые объятия масс и сил. В громадном планетном котле фыркало, варились, бурлило, но небесный механик замедлил процесс до предела, до видимого «Замри!», как в детской игре, поэтому каждая гора была случайно выхваченным кадром грандиозных событий.

Сегодняшний ландшафт не выглядел грандиозным — скорее, пленял пластическим совершенством. Склон, по которому двое спускались, был удивительно плавен, и все линии перенимали друг у друга эту плавность, повторяя идеальные обводы снежных наносов. Чёрные камни, правда, торчали кое-где, но ими можно было просто пренебречь, как погрешностями. Почти «Вид Фудзи» у Хокусаи, только наполненный живой жизнью. Но включалась Марина в ландшафт обычно не сразу. Чтобы включиться, требовалось небольшое усилие, каждый раз непредсказуемое. Иногда случалось споткнуться или даже упасть, иногда умыться снегом, а то увидеть на камне странную птицу. Вдруг происходило переключение. Будто кнопку нажимали — и она впадала в настоящую реальность. В этой реальности всё было другим — ощущение гармонии придавало силу, меняло зрение, обостряло слух, но и это не главное. Чувство такое появлялось... ну, это как влюбляешься, и вчера ещё незаметный человек кажется необыкновенным, дивным, и тёплые волны накатывают изнутри. Ей нравилось называть это — «роман с мирозданием». Ну, не вслух, конечно, — слишком уж интимное.

Сегодня она уже сливалась с ландшафтом дважды. Ещё утром, в начале маршрута, отколола образец лавы и на сколе увидела включение. Крупный ксенолит, один из тех, за которыми Виктор, собственно, и охотился. Если с греческого, то «камень-

гость». Непереплавленный чужеродный кусок — всё, что осталось от прежней породы, сожранной новой магмой. Этот ксенолит был удивительный, из нескольких концентрических колец, а в центре так сверкал крупнокристаллический зернистый скол, что все напоминало старинное гадание — отражение свечи в двух напротив стоящих зеркалах. Вообще-то полагалось приобщить ценный образчик к коллекции. Но отдавать было жалко. Он не просто притягивал взгляд, он говорил ей что-то, знаки какие-то подавал. Солнечный луч дробился на сколе, свет над ним мелко и чешуйчато вибрировал. Она долго не могла оторваться от созерцания, но все же сунула гостя в карман, подхватила геологический молоток и отколола для Разина другой кусок. А поскольку другой включал вторую половину ксенолита, её совесть была чиста — именно второй и был назначен в Викторovu научную коллекцию, а свой, сделавшийся вдруг родным, неосхотимо пульсировал сквозь карман. Мир гармонизировался мгновенно, стертая пятка и цыпки на руках уже не посылали никаких болевых импульсов. Только что ей казалось, что она устала и запыхалась, — теперь же дышала ровно, чувство было такое, что в лёгкие вливался не кислород, а волшебный эликсир, и мышцы стали как новенькие. Дальнейший подъём и не чувствовался, вроде бы она по ровному месту шла. Виктора она при этом почти не ощущала, он был где-то вне, за границей. Конечно, слышала голос и видела его периферическим зрением, но в её ландшафт он не попадал совсем.

Ощущение радости кончилось довольно быстро, когда Разин слегка заехал себе по пальцу молотком. Матюгнулся бы, если бы был один, но воспитание не позволяло при барышне. Grimаса, впрочем, была довольно выразительной, и даже послышались шипящие какие-то звуки. По её мирозданию прошла рябь, как помехи на телеэкране, и она вернулась в реальность. Шеф стоял и, выразительно оттопырив палец, смотрел, как на снег капает кровь. Потом на Марину. Слова не сказал, но во взгляде было написано: «Баба на корабле — не к добру».

— Перевязать? — спросила она участливо, но его губы кривила улыбка и он не отвечал. Выразительно был суров, но с носовым платком одной рукой не справился.

— Ладно, помоги! — разрешил.

Она, конечно, перевязала, подумав при этом, что просто содран лоскут кожи, а вообще ничего страшного. Так и пошли дальше — он с видом сурового бойца, она — удерживая на лице невозмутимую мину, но кнопка оставалась выключенной, гармония не возвращалась. Сразу почувствовала, что смертельно устала, но всё так же двигалась на автомате. Подъём, к счастью, кончился, начали спускаться. Следующий час прошёл в молчании.

Она шла и перебирала в памяти события вчерашнего дня — как утром, привычно повозившись в ледяной глинистой воде с посудой, разбирала добытые образцы, протоколировала, сверялась со спис-

ком и аккуратно паковала во вьючный ящик. Разин то и дело заглядывал через плечо, но, не найдя, к чему придраться, вежливо отходил. Работа была нудной и однообразной, но её это вполне устраивало — никто не мешал. И только появление незнакомой фигуры заставило оторваться от монотонных действий. Толстые щёки и мешковатая фигура, очки, планшетка, на голове носовой платок с завязанными уголками — человек пыхтел и утирал пот пухлой ладошкой. Ну, тут наш Разин просиял и шагнул незнакомцу навстречу, они долго хлопали друг друга по плечам и даже обнялись пару раз, изображая близких друзей. Марина вспомнила, что человека этого, Ивана, она встречала в Институте и раньше, знала, что он тоже из Москвы, что окружающая его аура всеобщего уважения он был обязан некоторыми подробностями биографии — а конкретно, приходился внуком известному русскому философу начала века, нашедшему свой конец в сталинских лагерях. Трудов философа Марина, естественно, не читала, да и где бы она их взяла, но имя такое слышала от подруги и её слегка диссидентствующего мужа, поэтому оценить ситуацию, в общем, как-то могла. Сергей с Вадимом тоже подошли, и мужская беседа, прерываемая гоготом и восклицаниями, текла и текла. На нее, понятное, внимания никто не обращал до тех пор, пока гость не поинтересовался обедом. Честно говоря, она надеялась хоть сегодня увильнуть от этой обязанности. С провиантом всё было в порядке — почти целый горный баран, подстреленный Сергеем накануне, лежал неподалеку в леднике, заботливо присыпанный снегом. Похлёбку сварить было нетрудно, но пластать ножом куски мяса ей всегда было неприятно.

Снег белел нестерпимо, так что глаза жгло сильнее и всё расплывалось. Потом взгляд неожиданно сфокусировался на камне, испаряющем наст острыми чёрными плавником. Что-то опять включилось, она почувствовала лёгкость и облегчение. Рыба в воде. Её мир опять материализовался, и теперь плыть можно было долго-долго.

— Устала? — сочувствия в этом вопросе не было, скорее, плохо скрываемое раздражение.

— Вот ещё!

— Давай побыстрей! Я тебе сейчас один способ покажу. Если не боишься.

Виктор оттолкнулся и заскользил вниз по снежнику, как горнолыжник, зигзагами, отталкиваясь геологическим молотком словно лыжной палкой. Он быстро набирал скорость и моментально оказался значительно ниже по склону. Теперь, оборотившись к ней, он махал рукой и ждал решительных действий. Но ей никакой решительности от себя и не требовалось. Разве что сунуть руку в карман и притронуться к сегодняшнему ксенолиту, камню-гостю, камню-знаку. В тот миг, когда чувствуешь себя частью ландшафта (и даже возлюбленной мироздания! но тсс! это самая большая тайна!), — не бояться так же просто, как доверять тому, кто тебя любит. Будто кто-то примет тебя сейчас в ладони и перенесёт береж-

но туда, куда нужно. На горных лыжах она до сих пор не стояла ни разу, но теперь пришлось изобразить что-то похожее. В общем, ей понравилось лихо скользить вниз, даже повороты прилично получались, хотя устойчивости всё-таки не хватало. Марине очень хотелось не упасть, она и не упала, подъехала к шефу и даже едва заметно улыбнулась, давая понять, что включается в игру, и дальше они помчались вместе. Минут десять всё было замечательно, в какой-то момент она даже вырвалась вперёд, но вдруг ей стало жутко, и она остановилась. Что-то изменилось в мире. Ветер замер, и стало оглушительно тихо.

— Ну что? — фыркнул Виктор, — струсила?

Но она уже внутренне упёрлась и знала, что дальше не поедет, хотя самой непонятно было почему. Никакая сила не заставила бы её сдвинуться с места.

Звук, раздавшийся в этот момент, не был похож ни на что из её прежнего опыта. Бабахнуло, как из пушки, отдалось мелкой дрожью под ногами, запыгало отголосками эха. Стало как-то зябко, и она вопросительно посмотрела на Разина.

— Ничего особенного, ледник треснул, — чересчур спокойным голосом бывалого путешественника произнёс он.

Она шагнула дальше, увязая в снегу, и вдруг увидела перед собой трещину во льду. О таких трещинах она разве что по кинофильмам и знала. Один из альпинистов, шедших в связке, обычно туда падал, а другой актёр, сцепив зубы и постанывая, с мучительно искаженным лицом тянул его вверх, спасая от гибели. А теперь она наяву видела отвесную стену серого льда, уходившую глубоко вниз, и слышала могучий шум воды, подмывающей снизу ледяной панцирь. Холодная дрожь пробежала по спине — она представила, как мёртвый поток подхватывает упавшего в трещину человека, уносит, затягивает под мутный лёд без всякой надежды на спасение. Ещё муторней стало, когда она подумала, что это запросто могло бы случиться с ней, если бы она продолжала весёлую гонку дальше.

Разин подошёл, присвистнул и ничего не сказал. Она почему-то ждала какого-нибудь самого невнятного «извини», но мужчина молчал. Потом невозмутимо двинулся дальше. Так и шли ещё несколько часов, не говоря ни слова. Что-то в молчании было отвратительное, как в той трещине, как в том подлёдном потоке — он как бы уносил её от гармонического состояния, в нём было какое-то «не то», это не хватывалось на уровне слов или даже мыслей, только ощущение было тяжёлое.

Облегчение пришло само собой — уже спускаясь к речке, они увидели на берегу чужую палатку. Судя по белой лошади, которая мирно щипала травку неподалёку, это были знакомые из того же Института вулканологии, даже можно было конкретно определить, что это бравый Поляков со своей командой. Маршрут их был совсем иным, но полевые траектории причудливым образом пересеклись в

пространстве и времени. Разин сразу оживился и даже заулыбался, рассчитывая пару обеденных часов провести в знакомой компании. Марину перспектива не очень-то и радовала, как вообще необходимость общаться с малознакомой публикой, но все-таки позволяла надеяться, что Виктор смягчится и не будет на неё давить молчанием при посто-ронних.

Всё так и получилось. Встреча была искренне радушной, в этом всегда прелесть таких неожиданных экспедиционных пересечений. Горел весёлый костёр, и что-то булькало в котелке, распространяя уютный и домашний запах. Новых знакомых было четверо. Весь вид Полякова говорил о том, что он тут главный — здоровый верзила, тельняшка из-под распахнутой рубахи, взлохмаченные кудри и голливудская улыбка на загорелой роже. Лохматого юношу с веселыми усиками, в спортивном свитере и кедах звали Севой. Третий был Ильич — мрачный, свинцовый, обритый наголо тип. Но с ними!.. С ними чудо природы — кукольная девица крошечного роста с очень симпатичной, но на редкость глупой мордашкой. Тут явно просвечивала хорошая примесь дальневосточной туземной крови, и если бы красотку отмыть и причесать, она вполне сгодилась бы на страничку гламурного японского календаря. На шее у неё болтался транзистор, весёлый шлягер оглашал окрестности, и отголоски эха сумбурно наслаивались друг на друга, рикошета от крупных и мелких неровностей вздыбленного вулканического пейзажа. Позабавил Марину неожиданный абсурд — здесь, среди голых скал и безлюдных просторов, в компании суровых мужиков — напудренное и напомаженное существо с густо подведёнными глазами, косящими из-под огромной, похожей на сомбреро, соломенной шляпы. Не студентка, точно. Девица смотрела настороженно и изучающе. Марина вздохнула и честно порадовалась своему неженскому виду. Сапоги, штормовка, молоток — а косметикой она ещё не пользовалась ни разу в жизни.

Крошка отвернулась, не сказав ни слова, и тут же, весело повизгивая, принялась щекотать Севу, а тот смешно подпрыгивал и бегал от неё вокруг костра. Поляков невозмутимо почёсывал пузо, поглядывая на возню и ворчал:

— Вы хоть суп-то не переверните!

Фон здесь тоже был замечательным. Прямо туристско-рекламное место. Полукруглую площадку у воды огибал небольшой обрыв, загораживал палатку от ветра. Рядом стеклянно лился изумительной чистоты водопад, вода в нём была звонкая-звонкая. Марина с удовольствием умылась, а потом долго ещё стояла и слушала переливы чистого звука, сунув руку в карман и вода пальцем по кристаллическому сколу ксенолита. Карманный гость даже как будто откликнулся — вибрировал беззвучно.

Поляков уже кричал издали, как старой знакомой:

— Что стоишь? Пошли обедать!

В палатке было уютно, да и супчик на все сто — очередной несчастный горный баран закончил жизнь

в помятом котелке. Марина всегда их жалела, несчастных, подстреленных, но голод не тётка, да и намаялись за день здорово, поэтому не до сантиментов. Бутерброд с маслом показался верхом блаженства — да, гурманствовал Поляков! Вот суровый Разин с собой такой роскоши не возил, обходились сухарями, уже отчасти подмоченными и затхлыми из-за сырой погоды. Только теперь Марина почувствовала смертельную усталость, накопившуюся за день, и то, как болят плечи от рюкзака с образцами. А когда Поляков ещё и сигаретой угостил, она совсем впала в полусонное состояние.

За палаткой продолжались возня и визг.

— Ну и Люба! — весело подмигивал Поляков. — Дитя природы! Она даже не знает, кто такой Магеллан и чем север отличается от юга. На вопрос: «Люба, что такое любовь?», она отвечает: «Гы-ы!».

— Да ладно, отстань от девушки, — сказал Разин, — зато с ней весело.

Ну да, подумалось Марине, от меня точно никакого веселья.

Когда они, наконец, двинулись дальше, удлинившиеся тени уже обозначили вторую половину дня. Солнце постепенно сползло вниз, воздух уступал совершенную прозрачность непонятно откуда взявшейся пепельной дымке. Сначала она окутывала дальние горы, потом поползла ниже. Идти теперь было легче, чем по снегу, и место ровное — никаких подъемов-спусков. Разин шагал, как заведённый, и его круглая лыжная шапочка ритмично подпрыгивала перед глазами. Марина слегка приотстала — чего спешить, всё равно он её как бы не замечал, и она чувствовала непонятную неловкость, если не вину. Знать бы, чем она так раздражает человека? С другой стороны, это молчание гораздо менее обидно, чем давешняя стычка с Иваном.

Вчера после обеда она тихо сидела за палаткой, чтобы не попадаться на глаза остальным, и с упое-нием перечитывала толстый синий том Цветаевой из «Библиотеки поэта» — бесценный подарок маме от любящей подруги, без разрешения и тайком прихваченный в последний момент из дому. Цветаева в то лето была её открытием и потрясением. Два полиэтиленовых пакета берегли любимую книгу от сырости — понятно, почему она оставалась самой сухой вещью в рюкзаке. Иван подошёл неслышно, кося тень упала на страницу, Марина вздрогнула.

— Читаете-с, юная леди? — проблеял он гнусавым голосом, а в нём сквозило неприкрытое желание потешиться над углублённой в себя барышней. — О-О! Конечно! Кого ещё могут носить в рюкзаках молодые экзальтированные девушки! Только старых лесбиянок!

Толстые стёкла его очков были захватаны пальцами, бабьи щёки жирно лоснились, а жесткие брезентовые штаны нелепо топорщились на откляченной заднице. Она мучительно соображала, какой тон беседы ей стоит выбрать. Был бы мальчишка-ровесник — другое дело, а тут — взрослый. Ровесники,

впрочем, с ней так давно уже не разговаривали — скорее, это напоминало школьные далёкие времена, когда толстый Славик из соседней квартиры зажимал её в угол на лестнице, а она отчаянно отпихивалась и хамила в ответ. Ничего не придумав, она засыпала молча, опустила глаза в землю и закрыла книгу. Улиткой ушла в раковину. Рыба, рыба, где твоя вода?

— И что же занесло юную леди на край света? — не унимался Иван. — Авантюризм? Жажда подвига? Элементарная девичья глупость! Я бы своей Аньке ни за что не позволил! Она своё место знает! Не знаешь, кто такая Анька? Жена моя, тебе, между прочим, ровесница! — его несло, и в воздухе потянуло непонятно откуда взявшимся леденящим ветром. — Бабы-дуры должны сидеть на кухне и по-давать нам обед своими нежными ручками.

Марина взглянула на свои руки — ну да, копать от котелков въелась в трещины пальцев так, что давно уже не отмывалась. Но какое дело было до её рук этому чужому человеку, который впервые её видит, такому неопрятному и агрессивному? Почему-то она начала оправдываться, тихим голосом шелестя что-то научнообразное — о преддипломной практике, изотопном анализе, абсолютном возрасте. Ей казалось, что сухая терминология сыграла роль стакана воды, вылитого на тлеющий бикфордов шнур, но процесс в мужской голове, видимо, уже стал необратимым.

— Ты хоть знаешь, зачем женщин в поле берут? — гнусавил он всё громче, нависая над нею и брызгая слюной. — Думаешь, жратву готовить? Или дипломчики писать? Барышня кисейная! — у него даже шея покраснела.

Кисейная барышня растерянно озиралась, надеясь на помощь хотя бы Разина, но тот стоял в отдалении и только ухмылялся. Непонятно было, доносились ли до него нюансы разговора, или ему достаточно было общей картины. Но уж вмешиваться он не собирался, это точно. Иван сопел всё громче, прямо-таки излучая агрессию, и ей стало трудно дышать — будто воздух сделался тяжёлым и тусклым. И было не просто противно, но и непонятно — почему это он, умный взрослый, кандидат наук, изливает на неё чёрную неприязнь, как каракатица облачко чернил. Каракатицу ещё можно понять — она так защищается. А он что?

Он, между тем, схватил синий том и совсем уже заорал:

— Дура она, твоя Цветаева! Дура! Руки на себя наложила! А знаешь, почему? Климакса не выдержала, старая стерва!

Марина сначала опешила, потом просто испугалась. Ощущение было такое, что перед ней не вполне нормальный человек. Или пьяный. Но он был трезв, и от этого стало ещё противней. Она психанула, выхватила книгу, подфутболила пустую консервную банку, попала ему по коленке, нырнула в палатку и застегнула за собой молнию. Иван взревел и похромал к мужикам, надеясь на сочувствие. От них долго ещё долетали взрывы хохота. Она плакала, конечно, но очень тихо, чтобы никто не услы-

шал. Каракатицыно облачко рассеивалось понемногу, потом голова стала лёгкой и она уснула.

Вечер опускается быстро. Всё синее понемногу. Почти дошли. Последний час пришлось тащить через кекурники — острые куски лавы торчат из земли под углом, приходится то лавировать, то балансировать. Главное проявлять осторожность, чтобы лодыжку не подвернуть. Но всё обошлось. Рюкзак тянут вниз, уже даже третье дыхание у Марины кончилось, но где-то близко стоит долгожданная палатка, осталось только речку перейти. Впрочем, Разин угомониться всё не мог и ещё в одной сверхплановой точке набрал образцов, а потом с невыносимой аккуратностью увязывал их в белые полотняные мешочки. У него уже не помещалось, поэтому мешочки он отдал ей. Но мысль о том, что рюкзак надо стаскивать с плеч, а потом опять надевать, напрягая замученную спину, была настолько невыносима, что Марина предпочла тащить их в руках. Разин смотрел, морщился, но не помогал. Речка шумела по камням, и как всегда была кофейного цвета. Когда она попыталась перейти её, да ещё и воды в сапоги не набрать, нащупывая на дне валуны покрупнее, один камень, конечно же, поехал под ногой и её качнуло в сторону. С ужасом думая, как бы не упасть, как бы не намочить планшетку с картой (убьёт ведь Разин!), она пыталась удержаться и удержалась, но мешочки с образцами бултыхнулись в воду. Теперь их слизнула коричневая жижа, и разыскать не было никакой возможности. Разин обозлился, но не сказал ни слова, только желваки заходили на сухих щеках.

Палатку нашли довольно быстро, и слава богу, а то ещё бы минут двадцать — и в темноте ничего не разглядишь. Ей в миг стало легче. Не сразу она спохватилась, что ни лошадей, ни груза — ничего не было. Правда, в палатке заботливый Вадим ещё вчера оставил немного дров, пять картофелин, маленький котелок, резиновый надувной матрац и большой кусок полиэтиленовой плёнки. Дрова очень кстати, ведь вокруг безлесная тундра, а так можно изобразить что-то вроде ужина. Пока варили картошку, усилился ветер, сдувал пламя, оно стелилось по земле голубоватыми язычками и слегка шипело. Кружки и заварку целый день таскали с собой, так что и чаю можно было выпить. Разин заварил почти чифирь, и они залезли в палатку ужинать. Сидеть на резиновом матрасе, жуя дымящуюся картошку, было даже уютно, только тревога подкрадывалась — десять вечера, а ребят до сих пор нет. Значит, ни спальников, ни тёплых вещей, ни жратвы толковой.

Марину уже начала пробирать дрожь, ноги были мокрыми весь день, но на ходу она этого не чувствовала, теперь же ступни стали просто ледяными. Пар шёл не только от кружек, но и просто от дыхания — градусов пять, не больше. Ей повезло — в кармашке палатки торчали две грязные, но относительно сухие портянки, то ли забытые, то ли оставленные Вадимом, Разин на них не претендовал, и она с наслаждением в них замоталась.

— Уже не придут... — задумчиво пробормотал Разин. — Совсем темно, а лошади на кекурниках все ноги переломают. — Ну что ж, холодная ночёвка. В первый раз, что ли?

У Марины, между прочим, холодная ночёвка была в первый. Как ни смешно, она всё-таки надеялась на лучшее. Не могут же ребята не понимать, что люди без спальников, при такой-то холодрыге! Однако время шло, и ничего не менялось.

— Давай спать, что ли — буркнул Разин.

Марина сразу не поняла. Надувной матрас был всего один, да и как заснёшь на холодной резине? От дыхания шёл пар, и палатка казалась запотевшей изнутри. Она вылезла наружу, но ветер был такой жгучий, что закоченела сразу. Пришлось вернуться. Разин уже лежал на матрасе, укрытый полиэтиленом, она осторожно присела с краю.

— Да ложись, чего сидишь! — он уже начал сердиться. Марина испуганно пристроилась рядом. — Давай обниму. Теплее будет.

Она прижалась к нему спиной, он обхватил её холодными руками. Её затрясло.

— Чего ты? — удивился он. — Боишься меня, что ли? Тебя что, не обнимали никогда?

Она молчала и дрожала всё сильнее. Страшно ей не было — ничего такого ужасного от шефа она не ожидала, но чужие прикосновения нарушали всю гармонию, которую она искала весь день, да так и не нашла. Разин сам же и нарушал эту хрупкую субстанцию — молчанием своим ледяным, взглядом ехидным, висящим в воздухе обвинением всему Маринину присутствию в данной точке пространства и времени. Она чувствовала себя незванным гостем, ксенолитом, островком сокровенной жизни, недопереваренным враждебной стихией. Будто она претендовала на его территорию! Да неправда, их настоящие миры не пересекаются! Она вдруг заплакала. Он удивился.

— Да ладно, не реви! — голос его звучал теплее, чем обычно. — Неловко тебе, что ли? Я понимаю... Ну, хочешь, расскажи мне что-нибудь. Ну, что ты любишь? Или кого? Ну, есть же у тебя что-то такое, что можно рассказать другу в трудную минуту? Я не друг? Но вот и повод подружиться.

И в самом деле, подумала она, почему бы не подружиться? Стенки палатки выгибались от наружного ветра, холодные крупные капли выступали на грубом брезенте и уже кое-где стекали струйками, свечка почти догорела.

— Я больше всех брата люблю, — доверчиво сказала она, устраиваясь поуютнее в этих странных, почти братских объятиях. — Брат у меня младший — Андрюшка. Вот он всё понимает...

Разин не перебивал, пока она рассказывала какие-то смешные случаи из детства. И удивился, почему вдруг замолчала — но самое главное не укладывалось в слова. Например, когда сидишь накануне экзамена, стол письменный — у самого окна, окно открыто и запах майского вечера плохо гармонирует с пыльным запахом какого-нибудь фолианта по мат-анализу, а тут вдруг верёвка, привязанная к настоль-

ной лампе, натягивается — и дёрг! дёрг! — Марина выбирает её на себя, мокрый её конец шлёпает по подоконнику, а на конце — привязанная к нему ветка сирени (Андрюшкины штучки!), и она потом лежит на столе, эта блёкляя полудикая сирень из зарослей, обступивших измайловскую пятиэтажку, — и откуда взялась? пенсионерки насажали, что ли? — и какой там к чёрту экзамен, просто мокрая сирень, под стеклом цветаевский портрет, рядом с ним фотография парусного судна «Крузенштерн», а ещё снимок знаменитого Гиппенрейтера — вид кратера Ключевской с вертолёта. Ключевская — особенное место. Когда-то, ещё до школы, с папой играли в путешествия — раскручивали глобус, тыкали пальцем — куда попадёшь. Она ткнула и прочитала: ючевская сопка. Да нет, сказал папа, там просто склейка неровная, вот две буквы и пропали — она в самом деле Ключевская. И то, что прошедшие две недели Ключевская была главной доминантой пейзажа — разве это случайно? Это всё она тоже попыталась рассказать Разину, как-то путано, невнятно, но он, кажется, и так всё понимал. Она почувствовала сквозь дрожь, что его объятия стали особенно надёжными, и вдруг заплакала опять. Холодный полиэтилен шуршал, и пахло от него противно-препротивно.

— Ты поэтому, что ли, на Камчатке оказалась? — спросил Виктор неожиданно добродушно. — Ну и плакса! Да ладно тебе, всё же нормально, ну? — тогда она засмеялась и согласилась. — А ещё что-нибудь про брата расскажи — тебе же хочется? — добавил он. А ей и вправду хотелось вспомнить главное — как гуляла с подругой по измайловскому лесу, и вдруг бесшумная ватага мальчишек, крадучись, выступила из-за деревьев, кольцом окружила их, и такая безумная агрессия была в их глазах, что её замутило. И когда один из них, главный, грозя ножом, стал расстегивать молнию на её брюках, она хлопнулась в обморок — прямо в глинистую лужу, стоявшую в дорожной колее, а сообщительная подруга заорала: «Оставь её, сволочь, ты видишь, она умирает!», и юную банду как ветром сдуло, а Марина встала, рыдая, вся заляпанная рыжей глиной, и сдерживала слезы всю дорогу рядом с молчавшей суровой подругой, зато дома дала волю слезам, а брат спросил, что случилось, и потом сказал, я знаю, кто это был. И когда вдруг увидел в окно того, кто посмел тронуть сестру, вылетел пулей во двор и с яростью бил, бил и бил по перекошенному рту, пока кровавые ручейки не разукрасили наглуго рожу. Потом приходили родители обиженного, грозили пожаловаться в милицию, а Марина думала, как хорошо, что у меня есть защитник.

— Тебе повезло с братом, — сказал вдруг Разин. — Спи, дурочка.

Он уже согрелся от её тепла и заснул, а она долго смотрела в темноте сквозь палаточное окно — там видны были звёзды, а потом они вдруг начали терять свой блеск в молочно-сером пробивающемся свете. Потом утекла в какую-то полудрёму, так и не перестав дрожать, и во сне видела себя счастливой рыбой с кристаллически блестящей чешуёй и чёрным ост-

рым спинным плавником. А когда почти совсем рас-
свело, услышала голос Сергея, который ввалился в
палатку с двумя спальниками, похохатывая и громко
объясняя, как по проклятым кекурникам не хотели
идти в темноте лошади и как пришлось остановиться
на полдороге и заночевать — зато, лишь просвет-
лело, он помчался на помощь. Её, полусонную, засу-
нули в спальник четыре мужских руки, она тут же
согрелась и будто провалилась куда-то. Когда просну-
лась — солнце светило, а Разин собственноручно
варил на костре манную кашу.

Юрий ЭКЗЕМПЛЯРОВ

UNDERGRAUND, ИЛИ ДОЛГОЕ ПРОЗРЕНИЕ В ПРОЗЕ

Долго сидел перед монитором, вглядываясь в
то место экрана, где из чёрной чёрточки вы-
лезали буквы, которые, сбиваясь и слипаясь друг с
другом, образовывали слова, предложения, текст, но
мысли были высоко как облака, так высоко, что не
отбрасывали тени. За окном было ясно. Я встал из-
за стола и вышел в пейзажность городских файлов.
Белый экран Word на глазах превращался в белый
снег. Мой путь лежал на рынок, где много близких
мне по духу людей, говорящих на родном и понят-
ном языке. *Во время пребывания на рынке мне обы-
чно вспоминаются Гегель с его понятием «дух наро-
да» и Гумбольдт, который отождествил понятие
языка с «духом народа», а также множество дру-
гих слов русского языка на букву «Г».* Графическое
выражение на стене в тени гастронома приобрёл
курс валют, производился обмен формы на содер-
жание. Рядом с ним вела торговлю теневая эконо-
мика б/у мониторами... Между всем этим встретил
приятеля. «Как жизнь?» — «В режиме ожидания».

Небеса обетованные (журнал «Истоки», 2001 год)
Я вспоминаю этот сюжет как дурной сон: вначале
идёт голубой снег и все смотрят в небо, потом, спа-
саясь от милиции, садятся на поезд, который долго
стоял на запасном пути, затем неведомая сила под-
нимает его вверх, и собаки, которые бежали за по-
ездом, превращаются в созвездие Гончих псов.

Рождённый в эру Водолея, я был обречён зуб-
рить в школе процесс круговорота воды в природе,
должен был помнить, что Земля вращается вокруг
Солнца, а вокруг Земли вращается Луна. Я часто
сходил со своей орбиты, когда разучивал песню о
том, как орлята учатся летать, или о том орлёнке,
что должен был взлететь выше
Солнца. Каждый день в столовой
дежурные раскладывали на сто-
лах завтраки: яблоки, выращен-
ные на Марсе, и тарелки, похо-
жие на неопознанные летающие

— Давай завтракать, Марин! — дружелюбно
закричал он.

— Угу, умоюсь только, — и она засмеялась чу-
десному утру, а потом пошла к речке. Голос воды
был разноцветным, будто заключал в себе радугу.
Марине всё-таки надо было успокоиться после вче-
рашнего. Она побрела вдоль берега, рассеянно пи-
ная ногами мелкие камни, и вдруг увидела в про-
зрачной воде вчерашние потерянные мешочки с
образцами. Они белели на дне так отчётливо — даже
искать было не надо.

объекты... После окончания школы одни ушли по
лунной дорожке, другие выбрали Млечный путь.

В детстве я любил витать в облаках, но иногда
приходилось возвращаться на землю. «Землю нуж-
но встречать жёстко», — так говорил инструктор по
парашютизму, примерно так говорил Заратустра.

Жизнь трудна хотя бы потому, что всё время
приходится что-то преодолевать, работать против
сил трения, гравитации. Первый закон Ньютона гла-
сит: если на предмет не действуют внешние силы,
то он движется поступательно. Законы гравитации
заставляют мелкие предметы вращаться вокруг
крупных.

Первая космическая скорость — круговая пору-
ка; облако, самолёт, ракета, Гагарин вынуждены вра-
щаться вокруг Земли.

Вторая космическая скорость — выход (за пре-
делы круга) по параболе. Парабола — это такая за-
гогулина, по форме напоминающая ракету, вечно
взлетающую рядом с м. ВДНХ.

Когда находишься на море, понимаешь, что небо
по сути ничем не отличается от воды, они даже сли-
ваются временами у линии горизонта. Икару нуж-
ны были крылья, чтобы парить между водой и не-
бом. Утонул в небе. *Рождённый плавать — летать
не может. Отчего люди не летают как птицы, не
плавают как рыбы?* В детстве я слышал сказку о
рыбаке, что ловил золотую рыбку, а поймал жар-пти-
цу. В этой сказке фигурировал персонаж — чудо-
юдо, рыба-кит (крыша едет — дом стоит). На его
спине сформировался свой микромир, там же был и
сад с молодильными яблочками. Точно, там ещё жар-
птица сидела в клетке, от которой был золотой клю-
чик, а он был спрятан у черепахи, которая плавала в

океане, а на её спине стояли три
кита. Совершенно верно, это
сказка о «Летучем корабле», прав-
да со временем он превратился в
летучего голландца. Нет, это ле-
генда о происхождении мира...

МП: Юрий Экземпляров окон-
чил химический факуль-
тет МГУ. Работал в газете
«Дом природы» журналистом и соци-
ологом. Участвует в фотовыставках.

«Мир», возможно, утонут в океане, поскольку он стоит гораздо дороже трёх китов.

Тогда нам остаётся сидеть у подъезда, смотреть, как в вечернем небе летит и мигает спутник, и слушать сплетни: «А вы слышали, Терешкова-то уделалась от страха, неделю корабль отмывали... А Гагарин и не разбился вовсе — его инопланетяне похитили». Из окон долетают как позывные песни «Маяка»: Я Земля, я Земля, я своих провожаю питомцев. «Короче, таких не берут в космонавты», — поёт группа Манго-манго, примерно так говорил Заратустра.

Когда нет денег на духовную пищу, мечтаешь слопать пиццу или арбуз. В древности люди считали, что земля плоская как пицца, однажды она равномерно прогрелась в микроволновке и до сих пор пребывает в таком состоянии. Потом появился чувак, который сказал, что всё это брехня — земля круглая как арбуз, если её разрезать на дольки, то там можно обнаружить косточки. Но ему не поверили и отправили на костёр, который был таким большим, что его практически невозможно было потушить по-пионерски.

Я посмотрел в окно и увидел, как пролетела, вспыхнула и потухла звезда. Падающие звёзды — это метеориты, которые в соприкосновении с земной атмосферой воспламеняются и практически целиком сгорают. Вечерние новости на голубом экране телевизора: «Общество защиты животных категорически осудило полёт Белки и Стрелки в космос. ... Все поезда дальнего следования отныне сопровождаются сотрудниками милиции». А за окном потухла (погасла, выключилась как люстра) ещё одна звезда. Просто подошёл человек к старому выключателю, дёрнул за верёвочку — люстра и выключилась. *Если гаснут звёзды — значит это кому-нибудь нужно.*

Любая кухарка может управлять государством. А я знаю рецепт приготовления яичницы: разбиваешь два яйца на сковородку, посыпаешь солью и слегка поджариваешь. Раньше на яйцах ставился штампик, что говорило об их качестве, пригодности к употреблению. Почём они, золотые яйца из фонда курочки Рябы? Смерть кощева в яйце — я это понял ещё в детстве, яйцо от подставной утки, утка в зайце. Утка — в небо, заяц — в кусты. Эх ты, лопухий. Раз, 2, 3, 4, 5 — вышел зайчик погулять. Появляется охотник, стреляет в утку — попадает в зайца. Получает в придачу лапоть вместе с дубом. От падения с дуба в глазах двоится. Охотник, который гоняется за двумя зайцами, рискует вообще остаться без ничего. Смерть кощева локально сосредоточена в игле, которая находится в этом самом яйце, только сильные мужские руки могут переломить эту иглу, а женские — продеть в неё нитку. Клубок, который катится по земле, намного универсальнее нити Ариадны, которую нужно наматывать. Дала Баба-яга клубок, смела лишний сор с жизненного пути, села на метлу и улетела.

Русский богатырь постоянно, как константа, лежал на печи (на главном элементе быта русской избы) без движения много лет. А в печи огонь уж давно погас. Если плеснуть водицей на красные кирпичи, то не будет привычного звука «шшш». В дом постучали три старца и попросили водицы испить. «Не пей, Иванушка, — козлёночком станешь». Трагическая развязка в духе ансамбля Моисеева, поскольку трагедия в переводе с латинского — это та же тачка козлов. Привычку плясать от печки нарушил Емеля, который заставил её двигаться и приплясывать. Русские-народные танцы содержат в себе много бытовых элементов.

Мне приходилось наблюдать процесс перехода сказок из разряда волшебных в бытовые. Иван-царевич в быту превратился в Иванушку-дурачка. Красная шапочка заделалась невидимкой. «Сказка о попе и работнике его — Балде». Балду и кормили, и поили, да без толку. По балде текло, а в рот не попало...

Одoleвать стал змей одного русского богатыря — так он ему солью в глаза запустил из специального, предусмотренного для таких случаев мешочка. Пустил пыль в глаза. Улетел Змей-горыныч несолоно хлебавши.

В сказках всё предусмотрено, все события заранее известны, разложены. Ещё только собираешься упасть, ан нет, плавно сажаешь свой зад на стог сена. Попробуй, отыщи мягким местом иголку в стоге сена!

Идея коммунизма — стоит только разложить скатерть-самобранку и сразу наступит изобилие. Отсутствуют элементы реализма. Сунулась девочка в печь — там пирожки, уже испечённые. Отсюда берёт корни иррациональное мышление: не надо мне ничего, батенька, а привези мне цветочек аленький. Алый, как вечный огонь у могилы Неизвестного солдата или красное, советское знамя. Революция царевен превращает в лягушек. Не стоит отправляться в путь на поиски трёх стрел, запущенных на все четыре стороны (долетит ли хоть одна стрела до царевны-лягушки, если она стала лягушкой-путешественницей?). Былина про «Репку» заложила идею братства и равенства, которые выше борьбы противоположностей: внучку посадили за бабу, жучку — за внучку...

Рядом с печью у меня в избе висел ковёр с тремя богатырями. Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец («Богатыри, не вы!»). Они как три натянутых, застывших в напряжении лука. Был ещё один, неподвижный как лежачий камень, богатырь, похожий на современного вышибалу, он спал прислонясь у печки, если его толкали в плечо, то он с криком — «Меня будить!» — вскакивал и бросался на будивших, как на врагов родного отечества. Каждый юноша, подлежащий призыву, мечтает охранять родные просторы тридевятого царства, тридесятого государства.

Жил-был старик, царь... и было у него три сына, первые двое ничего, а третий — дурак, потому ему и поручили сторожить поле чудес, где росла не то

рожь, не то пшеница. *Сивка-бурка* повадился ту рожь топтать, и в стране наступил голод. Обращались к руководству, да без толку. Василиса Прекрасная превратилась в Премудрую, придумав формулу: красота спасёт мир. Иванушка-дурачок снова стал Иваном-царевичем, поскольку и бедняк может занять высокие посты. В серебре как жар горя — тридцать три богатыря и с ними дядька Черномор образовали советскую армию и военно-морской флот. Чувство локтя, переходящее в чувства плеча, затылка. Крутые лбы, плюс вечный спор на три щелбана. Каждый солдат проходит проверку на стойкость, живучесть и вшивость. Во время войны свист Соловья-разбойника заменяет трели соловья. Не свисти, соловушка: денег не будет, а то ещё хуже — разбудишь Герцена.

Не будите Спящую красавицу: ей снятся цветные эротические сны. Секс-миссия принца — разбудить её через сто лет.

«Гляжусь в тебя как в зеркало», — любил напевать принц, подолгу любуясь своим отражением. Только мышка пробежала, хвостиком вильнула, и разбилось зеркало. Осколки разбросало по всему белому свету, несколько осколков упало на обещанные полцарства.

Образ принца можно сравнить с лучом света в тёмном царстве, в этом луче хорошо видно, как пляшет пыль.

За сто лет обыкновенные предметы быта стали антиквариатом: прялка, веретено, разбитое корыто. Золотая рыбка не успела хвостом махнуть — как не стало той страны, прошёл нервный импульс из головы, отозвавшись в позвоночнике. Государство болеет, зовите лекаря.

Добрый доктор Айболит, он не ест ничего и не спит и одно только слово твердит: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. Гора Фернандо-По сама бы пришла к нему, да рак на ней уже свистнул. Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака...

Мальчиш-кибальчиш при желании мог стать мастером художественного свиста, да как на зло не любил сладкого. У него так и не выпытал, как ни пытал его, главный буржуин военную тайну приготовления слоёного торта. Почему происходит расхождение общества, образуются классы?

Отдельный слой занимают самые древнейшие профессии: военный, рыбак, повар. Сегодня на обед отварили курицу, предварительно ощипав.

Моя страна — избушка на *курьих* ножках. Главный сутенёр распоряжается ею как с покупной женщиной, которая «к кому передом повернётся, к кому задом». По указанию главного в некотором царстве, в некотором государстве провели продрозвёрстку. По сусекам помели, по амбарам поскребли. А там — шаром покати, только колобок один остался, одеревеневший от бесконечных побегов.

Буратино по пути в страну дураков зашёл в трактир и заказал три корочки хлеба. Хлеб — голодающим Поволжья. Повара голодают, военные нуждаются в защите. Ум заходит за разум, молот накрывается серпом.

Серп и молот, как и «вершки-корешки» (кто сверху — кто снизу), символизирует любовь рабочего класса к крестьянству, любовь с первого взгляда.

На первый взгляд, повар Карлик Нос приготовил классное блюдо, да не хватило всего одной травы, которая хрен знает для чего была нужна и росла хрен знает где. За это его или сошлют, или расстреляют. Хрен — редьки не слаще.

Перед поэтической кухней страны поставлена задача накормить народ из горшочка, где непрерывно варится и варится каша... А яйца несутся и несутся.

Весь золотой запас, который собирался длительное время, находится в помещении за кодовым замком, секрет которого знают только Али-баба и сорок разбойников. Не всё золото, что блестит.

Алхимики варили золото, а получили кислоту, которая кислей щей из кислой капусты.

Иногда проходит привычка нести золотые яйца. Разбиваешь яйцо, а оттуда вылетает маленький Змей-горыныч.

Бывают такие принцы, которые одним поцелуем способны разбудить не только Спящую красавицу, но и всё царство, где спали король с королевой, слуги, кухарки, огонь в печи и даже время.

Всегда есть время для рассвета, зенита, заката.

Краснел закат, но появился крокодил и проглотил солнце.

Стрельба, перестройка, застой — всё смешалось в сплошной гоголь-моголь.

Почему принц должен вернуться в тот момент, когда о нём совсем забыли? Как озолотить Золушку, если разбилась хрустальная туфелька? Где тот невод, что поймает Золотую рыбку?

Кухарка распорола брюхо рыбе большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика.

Бронепоезд Ленинград — Санкт-Петербург прибывает на запасной путь. Постой, паровоз, не стучите колёса, кондуктор, нажми на тормоза. Мы едем, едем, едем в далёкие края. Куда Вы? Туда, где не ходят поезда.

В багажном отделении поезда «Москва — Владивосток» ехало по стране золото партии. При переезде Уральских гор Европа превратилась в Азию и надела чадру. Красный крест и красный полумесяц приобрели очертания серпа и молота.

При перемене часовых поясов кукушку сначала заменили маятником, потом солнечными часами. Время утекает, как песок в песочных часах: оно смывает не только песочные дворцы, но и песочные горы. Была избушка ледяная (зимняя), потом стала лубяная. Петушок, золотой-гребешок, захватил домик злодейки лисы. Заяц-беляк спасается бегством от красно-рыжей лисы.

А по тундре бродил олень, у которого, когда топал ногой, из-под копыт вылетали монеты. Американцы собрали их и купили Аляску.

Проводница обещала перевести поезд через Уральские горы. Светлое будущее не за горами, вот

только жаль, что в прошлое сожжены все мосты.
Путь каравану укажет шёлковая нить Ариадны.

Поезд дальше не идёт — просьба освободить вагоны.

Шахтёры перекрыли Транссиб.

Таможня хана Кучума просит приготовить паспорта.

Безбилетный пассажир высажен на транзитном вокзале.

Какая Ваша предвыборная платформа?

В электричке прочитал объявление: меняю солёную воду на пресную, с доплатой.

Знак железнодорожного переезда предупреждает, что на пути возможно внезапное возникновение слагабаума.

Партизан, везущий чемодан с динамитом, всё-таки купил багажный талон.

Провожающих просьба освободить вагоны: поезд отправляется.

Старатели-золотодобытчики обменяли своё месторождение на фальшивопечатный станок.

Я долго ждал того мгновения, когда зимнее расписание сменится на летнее.

Новая детская железная дорога связала напиток «Байкал» с Амурским городским садом.

Редкая рыба доплывёт до середины Арала.

Сегодня отмечался юбилей строительства БАК (Байкало-Аральского канала).

Ровно 30 лет назад первый состав ушёл под воду...

Алексей СМИРНОВ

НОВЕЛЛЫ О ДЕТСТВЕ

ПАРОВОЗИК

Очень важно легко начать, взять верный тон, не огорчаться, что все ещё спят, а побыстрей проснуться самому, освободиться от горячих объятий сна и побежать, побежать, побежать, выдыхая перед собой невидимые клубки пара, ритмично перебирая маленькими шатунами локотков и коленок, работая поршнями кулачков и при этом ни обо что не задевая, ловко лавируя между плетёными креслами и столиком —

в дверь:

— Следующая станция «Терраса»! —

в дверь:

— Следующая станция «Крыльцо»! —

— У-у-уу!... — заливаясь про себя протяжным, до печали сладостным стоном паровоза — по ступеням — в сад, провисший виноградными кистями сирени, обморочно-тёмный и влажный после дождя и — нараспах калитку — в мир, дышащий, переливающийся, гомонящий, переполняющий тебя великой и вольной радостью жизни.

Всякое дыхание да славит Господа!

НА САНОЧКАХ

А зима?

Сколько радости было зимой в одних только катаниях на санках!

Горка посреди сквера, на которую взрослый забирался в четыре широких шага, тебе, дошкольнику, казалась настоящей горой, высокой-превысокой. Покорить её было нелегко.

Сперва волочишь санки позади себя за верёвочку.

Споткнулся. Оступился.

Верёвка вырвалась — санки поехали вниз.

Спустился за ними. Снова тянешь в гору.

Поскользнулся. Упал. Поднялся. Пополз на колёсках.

Достиг!

Целое действо. Стоишь на макушке горы, поглядывая по сторонам победно: сзади церковь, справа твой дом, впереди Кремль, над головой облака. А что за ними — в небе?

— На небеси усе есть, чего хошь, — говорит няня.

— И церковь? И наш дом? И Кремль?

— А то как же...

— А почему же я их не вижу?

— Мал ишшо. Дитё. Вот и не видать. Вырастешь — увидишь.

Я подставляю под ноги саночки, встаю на них, чтобы приблизиться к небу, но всё равно, кроме облаков, не вижу ничего.

Эх! Хватаю санки в руки и, плюхнувшись на пузо, скатываюсь с горы.

У меня сани «мальчишечьи» — без спинки. Это «девчоночьи» со спинкой. Девочки чинно спускаются сидя. А мы разбегаемся и с размаху — хлоп на живот: красота!

Накатаешься до седьмого пота, до того, что тебя качает. Вернёшься домой и с порога:

— Пить хочу! — опустошаешь упитанный графинчик из густо-синего почти ночного стекла с золотыми звёздами — подарок папе от офицеров-солдатушек. Вокруг графина на подносе шесть рюмок. Но воду в них не лёшь — некогда. Пить хочется! И поспешно глотаешь, глотаешь, глотаешь через широкий уточкин носик графина, словно боишься, что отнимут.

— Да что ж ты усё дуешь и дуешь, как вутка? — проворчит Филипповна. — Сподыхни, хва-

МП: Алексей Смирнов — автор нескольких поэтических сборников, книг, вводящих детей в мир отечественной словесности («Сорок слов из простокваши», «Прогулки со словами») и прозаического сборника «Автопортрет в лицах». Живёт в Москве.

тить. Брось грахвин, непослушник! На тебе воды не напасёсси.

Оторвёшься от горлышка, переводя зашедшее дыхание, ведь пил на одном вдохе, и воскликнешь, оторопев:

— Ещё хочу!

А вечерами, когда ты был совсем маленьким, — помнишь? — Филипповна упаковывала тебя в овчинную шубку, валенки, шарф, надевала шапку с ушами, помогала лечь на санки и везла, как тючок, по размешанному пешеходами снежку — погулять перед сном.

Там, где снег был протёрт до асфальта, верёвочка саней туго натягивалась, и полозья, издавая занудный визг, тупо скрежетали по камню. Зато, въехав на нетоптанный пушистый покров, точно вздохнув с облегчением, убыстряли бег, а по обледенелому насту катили так, что только держись — и-их!.. И няня бросала верёвку, и санки мчались сами с тобой, как с Емелюшкой, по щучьему велению, пока оно не иссякало в каком-нибудь рыхлом сугробе.

Иногда ваш путь пролегал по набережной вдоль освещённой розовым светом кремлёвской стены. Ты лежал на животе головой вперёд и смотрел вниз. Полозья наезжали на широкие следы няинных валенок. Ты поднимал глаза и видел серые войлочные пятки с неровной каёмкой снега. Они были подшиты кожей, как двумя полусолнышками, и мерно переступали перед тобой, то приподнимаясь, то оседая в снег: левая — правая, левая — правая... Порой саночки виляли, объезжая следы. Это няня меняла руку. Потом ты переворачивался головой назад и вместо крепко хрустящих валенок видел две тоненьких извилистых колеи от железных полозьев. Один раз тебе почудилось, как будто ты упал с санок, а няня не заметила и уезжает, а ты лежишь на снегу, не в силах ни закричать, ни пошевелиться, а она уезжает, уезжает... А ещё тебе нравилось на ходу опустить руки в снег и рядом с линиями полозьев рисовать следы своих рук, пока колючий холодок не начнёт набиваться в варежки, и Филипповна, почувствовав, что движение чуть утяжелилось, не обернётся и не спросит:

— Куды ручки у снех усунул? Чичас отморозишь...

И ты переворачиваешься на бочок. Над тобой нависают ветки, полные снега. Плывут зубцы и бойницы кремлёвской стены. Есть в них что-то грозное, хмурое и вместе с тем веет от них каким-то теплом, защитой, даже уютom — ведь они так близко от дома!

Над угловой Водовзводной башней неподвижно горит пятиконечный рубин. Но если повернуться на спину, притворить ресницы и поморгать, то звезда начнёт лучиться, как живая.

А выше — в небе — теплятся настоящие звёздочки морозной зимы — такие же маленькие, как ты. А, может быть, и там кто-то едет на саночках об эту пору вдоль укреплений Небесного Кремля, ведь совсем не хочется знать, что там ничего нет; хочется верить, что есть, есть, и река, и набережная, и

Кремль, и Филипповна, и ты сам — только какой-то другой — сияющий и замороженный, тихо скользящий по насту созвездий, цепляющий рукавичками за звёзды, осыпаящий их вокруг себя в густо-синее до черноты небо...

ТЕРРАСЫ

Это была странная дача. Поделённая между двумя хозяевами на две половины, она стояла на покотом лугу так, что южную террасу требовалось покорять, как вершину, взбираясь к ней по крутой деревянной лестнице, тогда как северная просто лежала на земле, со всей убедительностью оправдывая свою латинскую этимологию — terra.

Зимой на даче не жил никто. Зато весной, не позже середины мая, южная половина дома оживала, наполнялась детским щебетом, возгласами взрослых, ворчанием стариков, а по субботам — шипучим пощёлкиванием древнего патефона с загнутой мускулистой ручкой циркового борца, чей оттопыренный игольчатый мизинец ритмично спотыкался на трещинках кружащейся пластинки, обкатанной, тугой и блестящей, как испещрённый мелкими рисками асфальт после дождя.

На южной половине дома распускались два огромных куста сирени: белый и нежно-фиолетовый. Пушистый шмель, волнуясь, уходил внезапно из-под самого твоего носа в густую темень крупной листвы, и просторный, приторно-сладкий сиреневый аромат непобедимо царствовал вокруг. Из дома выносили летнюю соломенную мебель: кресла, диванчик, волнисто-плетёный столик и, — доступную дань лёгкому барству, — льдышки оплавленного стекла с яркими факелами малинового мусса.

Начинался домашний концерт в патриархальном смысле слова.

Дети танцевали с цветами. Старший брат «приглашал» ветку сирени, средний в тон ему — букет незабудок, сестру «выбирали» нарциссы, а соседская девочка, дразнясь и гримасничая, прыгала за кустами с пучком молодой крапивы. Радостью светился дом, точнее южная его половина, поскольку другая — северная — и летом оставалась заколоченной, тёмной, пустой. Туда никто не приезжал.

Детьми мы собирались в будни на открытой северной террасе. «Ничей».

Греет утреннее, жаркое уже, вставшее над лесом солнце. Серые покоробленные доски террасы пуше гвоздей расщеплены июльским пеклом. Чем они пахнут? Может быть, ветхим деревом рая, вобравшим в себя весь жар и всю влагу жизни? В иссушенном воздухе колеблются осы, свившие под потолком серый шар лёгкого и хрупкого, точно махорочная бумага, гнезда. Осьи жала жгучи, как стрелы осинового заноз. А доски террасы горячи и шершавы.

Снизу из-под кирпичного разлома тянет по ногам крепким эфирным холодком, терпкой плесенью подземелья. Встанешь на коленки, заглянешь вниз и вдохнёшь застарелую кладку спрессованных глин, сырость битого кирпича, прель цветочного задохнувшегося кувшина. Что скрывается там, в этом

студёном подполье? Нет, даже не в нём, а за ним, внутри его собственной тайны?

Терраса юга будоражит взрывами смеха, взлетающей к синеве сиренью, кипящей, как рис, на горячем ветру; игрушечным шуршанием медленно выползающей из-за куста патефонной змеи, мягко навивающей в воздухе свои шелестящие кольца. Северная же сторона томит нелюдимостью, немой, молчаливым оцепенением тайны. В ней чудится какой-то зов. Есть в ней что-то неутолённое, словно всеми покинутый дух забвенья следит за нами из её осевших углов, покосившихся окон — не позволяет уйти, но не даёт и раскрыть себя. Как будто он знает, что дом держится только тем, что его весёлость уравновешена его тайной, а если тайна раскрывается, то и веселье канет куда-то, все обрушится, и в памяти не останется ничего.

УРОКИ ПРОИЗНОШЕНИЯ

Я борюсь за правильное произношение русских слов у смоленской крестьянки Ларичевой Акулины Филипповны. Многие слова няня произносит неверно. Это меня и смешит и досадует. Как-никак она живёт в Москве, в центре. Кремль из окошка видно. Радио весь день работает. Она его слушает, а говорит неправильно.

Я пытаюсь её переучить.

— Скажи: Филипп.

— Хвилип.

— Не «Хвилип», а Филипп, Филипповна.

— Хвилипьевна.

— Да не «Хви», а Фи.

— На старости лет не перевучишься, хоть кажиден повторяй. Уж как с малолетства привыкла. Это ты, дитё, вучись, светлым будешь. А я — тёмная, что говорить? Мне скоро помирать пора.

— Другое слово. Материя, — настаиваю я, не желая прерывать урок.

— Материя.

— Ну, вот видишь? Получается. Как надо произносишь. А если — время?

— Уремя.

— Не «уремя», а время.

— Усё рамно уремя.

— Притворяешься... Нарочно коверкаешь... Хоть «Владимир Ильич» можешь правильно произнести?

— Могу. Уладимир Ильич.

— Не «Ула», а Вла.

— Да по мне хоть как, — начинает няня терять терпение.

— Давай ещё. Постарайся. Иудушка Троцкий.

— Троцкий... Ивудушка...

— Так... А ренегат Кауцкий?

— Какой?

— Кауцкий.

— Ренегад кавуцкий, — говорит няня, понимая, наверное, так, что есть какой-то город Кауцк, вроде Курска, а при нём состоит нехороший «кауцкий ренегад».

— А такое слово... Пространство, — иду я дальше, постепенно подводя ученицу к самому заветному.

— Пространство, — произносит няня на удивление чисто.

— Отлично! А говоришь — не умеешь.

— Подготовительное слово: клизма.

— Хы... Чего удумал... Клизма... Ну, хватить.

— Как это «хватить»? Теперь самое главное. Где у нас книжный магазин?

— На Милостройской.

— То есть на Метростроевской. Представь, что ты туда пришла по папиной просьбе и спрашиваешь продавца: «Скажите, пожалуйста, нет ли у вас «Материализма и эмпириокритицизма»?»

— Чего ишшо? — переспрашивает няня, грозно морща брови.

— Повтори: «Материализма и эмпириокритицизма».

— Опять рикшетничать?

— Ну, что тебе — трудно?..

— Отстань! Навыдумляли, а народ язык ломай?

— Один разочек...

— Нет!

ПОКУПКА ВЕКА

В Москве на Метростроевской улице (бывшей и нынешней Остоженке) располагался магазин «Ткани». С потолка до пола он был занавешен голубым атласом, алым шёлком, разноцветными ситцами, батистом, бархатом, заложен штуками грубого седого сукна и тончайшей синей шерсти.

В этом магазине служил один очень расторопный и распорядительный продавец, похожий на старорежимного приказчика, который насквозь видел духов, но скрывал это, а для того чтобы их вызвать, расточал перед покупателями перлы своего красноречия. Ораторскую хватку духовидца я испытал на себе.

Однажды в апреле в «Тканях» на Метростроевской мама приглядывала себе габардин на демисе-

зонное пальто. Пока она выбирала между бежевым и бордовым цветами, я скучал, положив подбородок на прилавок.

Покупателей в зале почти не было.

Хотя до закрытия оставался ещё целый час, продавец нервничал, как будто мы его задерживали. Маленький, кругленький, в очках, он расталкивал штуки материи, играя «метром» — мерной линейкой с железными торцами, и говорил, то проглатывая звук «р», то грассируя:

— Товаищи! Отдел закрывается. Прошу потопиться. — Говорок его был напорист и пронзительен. — Прошу потопиться! У меня нет ни секунды времени. Сегодня мой день рождения. Дело не

в подарках, а в принципе. Подарки мне не нужны. Ваша покупка станет для меня лучшим подарком. Но от принципа я не отступлюсь ни на йоту. Что вам угодно?

— Я бы хотела купить габардин на пальто, — сказала мама. — Какой вы посоветуете?

Ни на миг не задумавшись, продавец ответил:

— Бежевый габардин красивый, но маркий. От души рекомендую бордовый. Утверждаю, что когда в пальто бордовом, как наше знамя, вы пройдёте по Метростроевской улице, за вами ринутся массы сознательных рабочих и трудовой интеллигенции, приветствуя правильность вашего выбора.

— Господи! Да не нужно мне этого, — испугалась мама.

— Вам-то не нужно, да нам позарез необходимо. Мы настаиваем на чистоте габардина, хотя и признаём наш провал с партией шевиота.

— С какой партией?

— А вы не слышали?

Ещё при царе Горохе у нас образовалась партия шевиота. Матерь Божья, как мы с ней намучились! Стоит дорого, а качество, скажу вам откровенно, оказалось архиерейское.

— Что значит «образовалась», «оказалось»? Разве вы не видели, что берёте?

— Да нам все уши прожужжали, дескать, это — чистая шерсть. А на поверку?

Провожу рутинный эксперимент. Выдёргиваю шевиотовую нитку и поджигаю серной спичкой. Шерсть лениво тлеет. Но если в ткань добавлена бумага, то та моментально вспыхивает.

И что же вы думаете?

В строгом хронологическом порядке по мере поступления матерьяла вначале он тлел, потом стал загораться, а последняя штука уже пылала самым беспардоннейшим образом, как рулон макулатуры.

Просто невероятно!

Но договор-то был заключён на всю партию... Хочешь не хочешь, а бери. Как мы купились! Вот уж действительно покупка века.

Сами собой напрашиваются два вопроса: кто виноват и что делать?

Продавец замолчал, переводя узкий, словно прицеливающийся, взгляд с мамы на меня. Казалось, что именно от нас ему хотелось услышать решение проблемы шевиота: от мамы — кто виноват, а от меня — что делать.

Увлечшись, он напрочь позабыл, что торопится. В нём проснулся духовидец, испытующий нас своим речевым напором.

— Так кто же, спрашивается, виноват? Где наш противник? — настаивал продавец, нанеся фехтующий удар «метром» по невидимому бракоделу. Не получив ответа, он энергично зашагал вдоль прилавка, круто разворачиваясь на каблуках.

— Ясно, что сама партия тут ни при чём. Рядовая нить не повинна в том, что матерьял размокает от первого дождя, трещит, лопается, расплывается на глазах, как какая-нибудь эфемерная дрянь. И лишь

при глажке продолжает ещё пахнуть палёным, словно вспоминая о своём натуральном происхождении.

Жалкие остатки былой роскоши!

Где тот мерзавец, тот отпетый негодяй, который от штуки к штуке наращивал содержание бумаги в шерстяной массе, бессовестно снижая её качество?

От шевиота как такового он дошёл до шевиота махорочного, пригодного лишь на самокрутки, и, продолжая движение по наклонной плоскости, докатился до шевиота туалетного, который можно было элементарно рвать рукой по предварительно пробитым через каждый метр микроскопическим дырочкам.

Ситуация отчаянная. Как её спасти?

Этот вопрос был адресован мне. Видя моё замешательство, мама поспешила на помощь.

— Безвыходных положений не бывает. Выход можно найти всегда.

— Какой? — вскинулся продавец.

— Например, я бы на вашем месте обратилась на ткацкую фабрику, послала рекламацию.

— Прекрасно! А фабрика сошлётся на поставщиков дурного сырья. А поставщики сырья на овцеводов. А овцеводы на баранов, которые завели стадо на бесплодные плоскогорья. И в результате виновной окажется чахлая трава наших пастбищ, вынудившая поставщиков пойти на сверхнормативное бумаговложение! Кому предъявить вашу рекламацию? Траве? Баранам?

— Ой, ну, я не знаю. Я пришла габардин купить, а вы меня расспрашиваете о шевиоте.

— Не-ет, вы уж, голубушка, не ретируйтесь, сделайте милость. Назвалась груздем, полезай в кузов. Так что же прикажете делать с шевиотом?

— Снизить цену и продать.

— Никто не берёт.

— Разрезать и пустить на портянки.

— Это бумажные-то портянки? Да они сопреют на первом же километре марш-броска, расквасятся, скатаются в жгуты, и армия пойдёт босая с водяными мозолями, проклиная последними словами апологетов партии шевиота.

— Ну, подарите его кому-нибудь, наконец!

— По-да-ри-те! Вот именно! Гениально! Конечно, подарить.

Наверняка и у нас и в Европе найдутся заинтересованные организации, готовые клюнуть на халыву. И вот, посоветавшись с товарищами, мы даём лаконичное объявление:

«Ребята!

Дарится партия отличного шевиота. Звонить туда-то: спросить того-то».

И что бы вы думали? Расхватили б на корню! Вволю насмеявшись, продавец неожиданно повернулся ко мне:

— Майчик!

Я вздрогнул и отслонился от прилавка. В этом странном обращении — «Майчик!» — мне почудился собирательный образ мальчика в маечке. На мне в самом деле была надета белая маечка, но под

пальто и рубашкой. Выходит, продавец видел меня насквозь...

— Майчик! Почему ты трогаешь алый шёлк?

Ты ещё не пионер? Но эта беда поправимая. В твоём возрасте архиважно научиться играть на фортепьяно. Бетховен, Вагнер. Тебе знакомы эти имена? А, впрочем, когда подрастёшь и будешь решать, кем быть, настоятельно рекомендую пойти по моим стопам — устроиться продавцом в магазин «Ткани» и посвятить свою жизнь борьбе за образцовое обслуживание покупателей.

Так кем ты хочешь стать? — спросил продавец, не без лукавства поглядывая то на меня, то на маму.

— Капитаном дальнего плавания, — ответил я. А, подумав, добавил: — Или дворником.

Эти две профессии представлялись мне наилучшими. «Милая Одесса» была моей «настойной» песней. А дворник Трофим косой с похмелья? Он же целыми днями гулял да гулял, играя в прятки с принадлежностью, которую все называли метла, а он — метло!

Покачиваясь посреди двора, он обыкновенно спрашивал:

— Никто не видел, где мой метло?

Ему отвечали, что видели.

— Где?

— В мусорном баке.

— Нету.

— В подвале под лестницей.

Он подлезал, но не находил.

Тогда кто-нибудь говорил, что метла валяется на крыше.

— А как он туда попал? — удивлялся Трофим, но допускал и крышу. Только осторожно интересовался: — А что он там делает?

— Отдыхает.

— А что он там отдыхает?

— Намаялся, пока чистоту наводил, вот и отдыхает.

— У меня чисто, — подтверждал Трофим. — У меня крыша, как паркет, ёлки-палки!

А продавец тем временем веселился:

— Капитаном дальнего плавания хочет стать...

Или дворником... Какой размах! Какая восхитительная полярность мечтаний!

По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там.

И запел, запел, дирижируя «метром», —

По-о морям. Морям, морям, морям — эх!
Нынче здесь, а завтра там.

Дивный выбор! Поздравляю.

Внезапно лицо его изменилось, он побледнел и круто перевернул «пластинку». Глаза продавца округлились, звонкий баритон превратился в заговорщический шепоток.

— Нам страшно нужны надёжные товаиши. Мусор надо выметать без пощады! Обрезки, хлам, обёрточную бумагу. Решительно и бесповоротно. Иначе мы зарастём грязью по уши, лишимся клиен-

туры, и в конце концов нам придётся закрывать лавочку к чёртовой матери!

Простите, мадам, — извинился он перед мамой и юркнул под прилавок.

Я не совсем понимал, о какой лавочке идёт речь, ведь мы беседовали в большом магазине, построенном ещё до революции. Но маме показалось, что разговор принимает нежелательный оборот, и она попыталась вернуть его в прежнее русло.

— У вас столько тканей, такое разнообразие, что просто глаза разбегаются...

Будьте добры, покажите, пожалуйста, бежевый габардин. А что касается профессии, то у нас ещё есть время подумать. В мире так много всего...

— А вот тут позвольте вам возразить! — вынырнул из-под прилавка продавец, раскатывая прямо пред моим носом толстую штуку габардина. — И возразить принципиально.

В каком-то неестественном возбуждении он принялся метр за метром нанизывать тяжёлые волны ткани на жёлтую линейку, вслух отсчитывая метраж. Видимо, слова «В мире так много всего...» случайно попали в какую-то его болевую точку.

— Раз... Два... Три... — считал он, распаивая габардин. — В сущности, в мире нет ничего... четыре... кроме движущейся материи... пять... — он ловко катнул рулон в сторону, — и движущаяся материя... шесть... не может двигаться иначе... семь... как в пространстве и во времени... восемь.

Восемь метров вас устроит?

— Что вы! Куда мне столько? Метра три достаточно.

— Как прикажете.

«Габардинец» быстро скатал штуку и начал отсчёт снова.

— Движущаяся материя во времени и пространстве. Больше — ничего. Всё прочее — чушь собачья... Раз... сущие бредни... два... сплошная белибердаевщина... три.

Не угодно ли накинуть аршинчик на вашу полноту?

— А как же водяные в реках? — спросил я, вовсе не думая задавать этот дурацкий вопрос. Я-то прекрасно знал, что никаких водяных не бывает, всё это сказки, но кто-то воспользовался за меня моим даром речи.

— Водяные? — удивился продавец. — И ты веришь в эти старые, обветшалые, поросшие тиной бредни?

Конечно, я не верил! Конечно, я был полностью согласен с «габардинцем». Но некто опять вложил мне в уста то, чего я совершенно не собирался произносить.

— А почему же тогда мы говорим о присутствии духа?

После паузы продавец улыбнулся и широко развёл руками:

— Ай-ай-ай-ай-ай! Нам бы ещё манную кашу кушать за папу с мамой. Нам бы ещё букварь по слогам разбирать: «Ма-ша мы-ла Лу-шу». А мы уже рассуждаем о высоких материях. А мы уже отча-

янно мешаем всё, что только можно перемешать. Напрямик трактуем иносказательные выражения. И где? В магазине «Ткани», просто созданном для того, чтобы продемонстрировать торжество материи над сознанием!

Говорить здесь, в драпировках, о присутствии духа?

Абсурд! Жалкая тюря.

И откуда ты только черпнул этой нищенской похлёбки?

Никаких сверхъестественных духов нет и быть не может.

Есть мозг, чтобы думать; сердце, чтобы гнать кровь; лёгкие — дышать; ноги — покорять физическое пространство; руки — держать прочный кусок материи.

А тебя, проказника, я теперь вижу насквозь. В тебе сидит большой Рикошетник. Когда-нибудь он подведёт тебя под монастырь.

Тем временем акуля пасть ножниц нырнула в габардиновую волну, сухо вспорола её и защёлкнулась. Волна мертвенно опала на прилавок.

Продавец завернул отрез в бумагу, придавил животом край свертка, но едва потянул покрепче упаковочную тетиву, как та лопнула.

— Халтурщики! — взорвался «габардинец». — Даже верёвки у них гнилые. Как можно отстаивать примат материи над сознанием с такими проходимцами?

Если верёвки рвутся, материал сечётся, лохматится, горит синим пламенем, тогда грош нам цена со всей нашей материей, пространством и временем. Тогда любой рикошетник скажет нам: «Аршинники липовые!» — и будет трижды прав.

Продавец потянул бечёвку из клубка. Клубок было завертелся, а потом застрял.

— Что за чёрт? Кто там держит? Отпустите.

Сноровистым движением он перетёр бечёвку и стал крутить габардиновый тюк, возмущаясь своими невидимыми пособниками:

— Ничего нельзя с вами по-человечески продать, иуды! Вы и Христа в потёмках перепутаете и поцелуете какого-нибудь апостола Симона.

Не выдержав упаковочных мук, порвалась бумага.

— Не волнуйтесь, нам близко, мы так донесём, — успокаивала мама продавца.

— Что значит «так»? Как это «так»? В раззяванном виде? Чтобы каждый встречный мог ткнуть пальцем: «Смотрите, какая у них культура обслуживания! Да у них *культура* от слова *куль!*» Позор на всю Метростроевскую улицу.

И тогда упаковщик совершил неслыханный по преданности делу поступок. Точными пассами коротких, цепких пальцев он расстегнул пуговицы на халате и выдернул из узких шлёвок брючный ремень, свистнувший и метнувшийся в воздухе, как змея. Мгновенно рыхлый габардиновый узел был схвачен и превращён в плотный тючок, а хвост ремня вдет в тесное колечко кожаного тренчика.

Продавец подал тючок маме.

Однако она отклонила этот галантный жест. Такая самоотдача показалась ей чрезмерной.

Отнюдь не собираясь уступить, упаковщик обратился ко мне:

— Упрямяство — хорошая вещь. В борьбе за отличное обслуживание потребителей. Вы упрямы, а всё-таки я вас переупрямлю!

Майчик, возьми тючок, помоги маме...

Это был хитрый ход, рассчитанный на мои сыновние чувства. Не помочь маме я не мог. Трудно было отказать и человеку, готовому снять с себя последний ремень.

— Давайте мы вам оплатим ремешок, — предложила мама.

— Ни в коем случае. Он поношенный. Я купил его в Цюрихе ещё до всех пертурбаций и теперь просто-напросто донашиваю.

— Тем более! Он же импортный.

— Нет, нет и ещё раз нет.

— Ну, хорошо. Мы отнесём покупку домой, а потом вернём вам ремень.

— Не стоит труда. А, впрочем, как вам будет угодно.

Рад, что приобрели наш габардин, но весьма сожалею, что бежевый, а не бордовый.

Дома царила торжественная тишина.

Няня накрывала ужин, стараясь не звякнуть ложечкой, не скрипнуть половицей.

Папа в мундире капитана юстиции сидел за письменным столом, конспектируя работу Владимира Ильича Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Это было свято.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Сергей ОХРЕМЧИК

ВСЁ СУЩЕЕ УВЕКОВЕЧИТЬ...

*Мне так хорошо у себя на мельнице!
Я нашел тот уголок, который искал,
уютный, благоуханный и жаркий,
за тысячу миль от газет, фиакров, тумана...*

А.Доде. Письма с мельницы

Если из Воронежа ехать по железной дороге в сторону Москвы, то меньше чем через час поезд подходит к станции Графская. Здесь путь разветвляется. Магистраль уходит на север, а ветка от неё на юго-восток, к станции Анна. Путь тут старый, изношенный. Поезда ходят нечасто и довольно медленно. Железнодорожное полотно пролегает по южной окраине Воронежского заповедника, почти точно по границе леса и степи. От станции Графская вдоль железной дороги, но уже в лесу, тянется шоссе. С того места, где оно проходит через мост над рекой Усманью, над вершинами сосен виден купол Спасо-Преображенского собора. Это Толшевский монастырь, основанный пустынником Константином около 1646 года. Шоссе и железная дорога долго идут рядом, то удаляясь, то сближаясь, и наконец пересекаются у села Малая Приваловка. От платформы двенадцатого километра железнодорожного пути виден большой парк. Близость заповедного леса не подавляет его, и парк кажется высоким островом в степном море. Это Эртелево, или Эртелевка, — бывшая усадьба, принадлежавшая когда-то вдове русского писателя Александра Ивановича Эртеля (1855–1908).

У входа в усадьбу стоит одноэтажный каменный дом на высоком фундаменте. Длинный фасад семью узкими окнами смотрит на юг. Дом обращён в парк несимметрично пристроенным флигелем и тремя верандами. Сам Александр Иванович здесь не жил. М.В.Огаркова, вдова писателя, купила имение в конце 1912 года у И.И.Корганова, женатого на Л.С.Алексеевой, сестре К.С.Станиславского. Уже после смерти Эртеля сюда перевезли всю обстановку его московской квартиры и богатейшую библиотеку, в которой имелись книги с автографами друзей и со-

временников писателя: Успенского, Чехова, Бунина, Короленко. Долгие годы библиотека хранилась в этом доме. Эртель — уроженец Воронежской губернии. Значительная часть его жизни прошла на родине, в помещичьих имениях, где он служил управляющим. Наверное, судьбе было угодно, чтобы имя писателя, почившего в Москве, вернулось на родину и осталось жить в названии усадьбы.

В конце двадцатых годов младшая дочь Эртеля Елена Александровна, тщательно следившая за сохранностью дома со всем в нём находящимся, вынуждена была уехать к своей сестре в Англию. Усадьба длительное время пустовала. Изредка в летние месяцы в Эртелево приезжал кто-нибудь из столичных литераторов, искавших уединения и тишины для работы. В 1936 году в доме жила Анастасия Цветаева. Сюда, в Эртелево, ей писал Борис Пастернак. Незадолго до войны Указом Президиума Верховного Совета РСФСР усадьбу со всеми постройками передали Воронежской писательской организации и превратили в Дом творчества. Одним из первых его директоров был воронежский писатель Б.Песков. Дом творчества просуществовал до 1952 года. По большей части здесь жили творческие работники Воронежа. Однако Эртелево приобрело и всесоюзную известность. Здесь часто и подолгу гостили писатели из других городов: И.Соколов-Микитов, Г.Штурм, К.Тренёв, А.Арго, Л.Славин, А.Новиков-Прибой, Л.Гроссман. Летние и осенние месяцы 1946 и 1947 годов в Эртелеве провёл Константин Георгиевич Паустовский.

Немало известных писательских имён для провинциального Дома творчества! Но, пожалуй, только Паустовский оставил образ Эртелева в художественной литературе. И в этом проявилась ха-

рактёрная черта писателя. В «Книге скитаний» (глава «Проводы учебного корабля») Паустовский писал о чувстве, которое он испытывал в местах, наделённых эстетическими и духовными качествами. Это чувство сожаления, что рядом нет близкого человека, с которым можно было бы поделиться радостью от общения с прекрасным. Паустовский поклонялся красоте природы. И вместе с тем им владела неизбывная потребность делиться впечатлениями от увиденного и пережитого. Два эти качества дали жизнь его литературному таланту. Он как писатель, тонко воспринимавший природу, постоянно совершенствовавшийся выразительную силу слова и достигший мастерства, несомненно, имел право на самовыражение. Его творчество отмечала удивительная особенность. Своими книгами он возвращал притупившемуся с годами восприятию явлений природы изначальную остроту и свежесть. Думается, что ему были близки слова Александра Блока:

О, я хочу безумно жить:
Все сущее увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Своей жизнью и творчеством Паустовский связан с российским югом и севером, долгие годы отдал срединной России, ставшей его второй родиной... А что Эртелево?! Казалось бы, лишь небольшой эпизод в его полной странствий жизни. Но, видимо, не продолжительностью пребывания измеряется след, оставленный в памяти писателя. Было в Эртелеве некое природное своеобразие, ведь усадьба лежала на границе двух природных зон, как бы двух извечных антагонистов: леса и степи. И Паустовский не остался равнодушным к сей местности, запечатлел её облик в рассказах «Воронежское лето» и «Аннушка» (1946), сказке «Дремучий медведь» (1948), очерке «Заповедные земли и травы» (1951) и одном из последних своих рассказов «Ильинский омут» (1964).

Впервые Паустовский приехал в Эртелево в июне 1946 года. Дом, состоявший из семи комнат и зала, во многом сохранял облик начала века. Не было ни электричества, ни радио. Вечерами комнаты освещались керосиновыми лампами. В холодные и сырые дни растапливали печи, топки которых выходили в коридоры. Полы в доме отчаянно скрипели. В зале вдоль стен стояли дубовые стеллажи с книгами и журналами эртелевской библиотеки, а посередине — большой прямоугольный стол, за которым собирались для трапезы обитатели дома. Воду брали из колодца, для чая ставили большой самовар. Штат Дома творчества был невелик.

Патриархальный облик дома довершал директор Иван Андреевич Беляев, содержавший хозяйство в образцовом состоянии («Иван Андреев», как называл его в письме Константин Георгиевич). Это был старик лет семидесяти. В далёком прошлом он работал конюхом у жены Эртеля. Простой неграмотный человек, Иван Андреевич тем не менее был очень интересным собеседником, многое знал об Эртеле. Добрые отношения связывали его с Еленой

Александровной. Покидая родину, она оставила ему некоторые мемориальные вещи отца.

Впрочем, бытовые несовершенства Дома творчества нисколько не мешали отдыху и работе. Шум парка, изредка напоминая о себе железная дорога, а по вечерам «прелесть керосиновой лампы» (выражение Паустовского) лишь подчёркивали тишину и удалённость от внешнего мира. Эртель был близок Чехову и Бунину, что создавало в доме своеобразную ауру. На стенах как бы лежал отблеск чеховского времени. В этом, наверное, состояла уникальность эртелевского Дома творчества. Константин Георгиевич такого не мог не чувствовать. Тем более, в его комнате стоял эртелевский письменный стол-бюро тёмного дерева со множеством ящичков, полочек для бумаг и деревянной гибкой шторкой.

Почти сразу за порогом начинался парк, заложенный с продуманной основательностью ещё в XIX веке. В нём росли в основном деревья лиственных пород: липа, дуб, клён, ясень. И лишь среди вековых лип главной аллеи поднимались молодые стройные сосны — по шесть с каждой стороны. Почётным караулом встречали они входящих. Главная аллея, точно стрелка компаса, вытянулась с юга на север. Продольные и поперечные ей аллеи разбивали парк на прямоугольники-куртины. В куртинах под защитой лип росли фруктовые деревья. В конце главной аллеи в послевоенные годы ещё высился патриарх парка — гигантский дуб, раскинувший шатёр из ветвей. С этим деревом у местных жителей было связано предание о трагической судьбе девушки. Предание стало одной из сюжетных линий рассказа «Аннушка». Когда дерево погибло, на его срезе местные умельцы построили беседку. Парк этот описан в рассказе «Воронежское лето».

«Липовый парк, изрытый блиндажами — разрушенными и заросшими дикой малиной, — слышен издалека. С рассвета до темноты он свистит, щёлкает и звенит от множества синиц, щелгов, малиновок, иволг и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип — таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова».

То, что при первой журнальной публикации воронежские рассказы носили подзаголовок «Из дневника», позволяет предположить, что, по крайней мере, их наброски сделаны в Эртелеве. Но кроме рассказов здесь написаны письма, из которых опубликовано пять. Все они адресованы близким людям: по одному В.В.Навашиной и Н.Н.Никитину и три К.А.Федину. В сущности, это переписка с Фединым. В те годы Паустовского и Федина связывали дружеские доверительные отношения. Письма очень разные по стилю. Адресованное ленинградскому писателю Н.Н.Никитину — лаконичное, написано почти телеграфным стилем. Другие — более прозаические. Но каждое из них как законченная миниатюра. А вместе взятые они дают «срез» эртелевской жизни их автора: от «географии» усадьбы и её окрестностей, круга общения и всего, что лежало на поверхности, до очень личного, даже потаённого,

спрятанного в глубине души. Это последнее сообщает письмам из Эртелева горький привкус того времени.

Впрочем, поверяя собеседнику мир своих мыслей, Паустовский не заканчивал письмо на минорной ноте. Грустные мысли чередовались со спасительным юмором — Паустовский был деликатным человеком и не позволял себе оставлять в душе собеседника тяжёлого осадка. Так, на фоне эртелевского парка он несколько шаржированно изображал Георгия Шторма, автора исторических романов. Тот даже на природе не терял «академического» вида:

«Живу в окружении никому не ведомых (в частности, читателям) престарелых писательниц и Георгия Шторма. Он ходит по парку в вытуженном костюме, в галстуке и шляпе, помахивая перчатками, с неизменным вечным пером в карманчике пиджака. Даже синицы — и те удивляются» (К.Федину. 3 сентября 1947 г.).

Начала писем из Эртелева как вздох облегчения человека, вырвавшегося из сутолоки московской литературной жизни и получившего долгожданную передышку:

«ст. Графская, Воронежской обл.

Дом отдыха писателей Эртелево.

...пишу тебе из такой душистой, липовой и идилической воронежской глуши, что там, в Москве, всё это невозможно даже представить» (К.Федину. 27 июня 1946 г.);

«...прости меня за безобразное молчание. Всё — московская жизнь... Только здесь, в воронежской глуши, где держал постоянный двор твой однофамилец поэт Никитин, я начал понемногу приходить в себя. Места здесь чудесные и своеобразные... Глушь. Тишина. Воздух потрясающий» (Н.Никитину. 25 июля 1946 г.);

«Как только мы попали сюда, Москву отрезало начисто, будто она и не существовала... Здесь тишина, жара, пахнет полынью, изредка проходят страшные степные ливни» (К.Федину. 12 августа 1947 г.).

А далее — очень лаконичное, точное и выразительное описание Эртелева. Оказывается, не только в прозе, но и в письмах Паустовский придерживался своего принципа — топографически точного описания полюбившихся ему местностей:

«Огромный липовый парк (12 гектаров). Липы — высотой с наш дом на Лаврушинском — уже цветут. Сотни старых корявых яблонь. Заросли ореха, океаны трав, цветов и пшеницы. Воздух потрясающий. За парком — заповедный лес. Он тянется до Тамбова. В лесу — единственный в России бобровый заповедник и живут олени (их около трёхсот). А по другую сторону парка — степи с ветряками и жаворонками. В парке — пруд с карасями. Мы с Ниной упорно ловим их. Нина — чудесный компаньон для рыбной ловли — выносливый, терпеливый и по-настоящему любящий природу. В заповедном лесу (в 3 километрах) древний монастырь, основанный Тихоном Задонским¹ на реке Усмани, река совершенно сказочная, цепь глубоких и

чистых омутов и чащ. Завтра идём туда на целый день» (К.Федину. 27 июня 1946 г.).

Нина — дочь Самуила Мироновича Алянского, которого с Паустовским связывали долгие годы дружеских отношений. Во время войны Самуил Миронович потерял жену и сына. После войны переехал с дочерью в Москву, часто бывал у Фединых, с которыми был дружен ещё по Ленинграду. Паустовские (Константин Георгиевич и Валерия Владимировна), отправляясь в Эртелево, взяли с собой Нину, тогда ученицу выпускного класса. Здесь Нина часто сопровождала писателя в его походах в Усманский бор, в заповедник. Под Воронежем было много растений, которые не встречались в Мещёре. В рассказе «Воронежское лето» Константин Георгиевич вспоминал: «Я приносил из степи, с берегов Усмани, из заповедного леса охапки разных цветов и трав и определял их... Моя комната стала похожа на жилище деревенского знахаря. Связки сухой травы висели на стенах, и лекарственный дух степных растений так прочно поселился в ней, что его не мог вытеснить даже запах отцветающих за окнами лип». Описание комнаты в эртелевском доме созвучно началу «Ильинского омута», где писатель высказывал сожаление, что не стал ботаником и не знает всего богатства флоры Средней России. В действительности его познания в этой области были весьма обширными. Случалось, и нередко, что под влиянием книг Паустовского читатели выбирали свой профессиональный путь в жизни. Общение с писателем в Эртелеве стало решающим и для Н.С.Алянской. Увлечённая походами в Усманский бор, рассказами Константина Георгиевича о растениях, она выбрала профессию ботаника.

Пожалуй, единственный недостаток Дома творчества состоял в том, что здесь время от времени складывалась литературная среда, чаще всего случайная, которой Паустовский сторонился («...живём сами по себе», — писал он Федину). Но в Эртелеве жили несколько человек, с которыми он охотно делил досуг. Это воронежцы — композитор Константин Ираклиевич Массалитинов и начинающий писатель Юрий Данилович Гончаров.

Массалитинов и Паустовский познакомились в Эртелеве летом 1946 года. А через год встретились там же, предварительно не сговариваясь. Массалитинов — несколько младше Паустовского. Он из большой и талантливой семьи, уходившей корнями в прошлое Воронежа и Ельца, семьи, давшей российской культуре двух выдающихся актеров МХТа и Малого театра. Константин Ираклиевич знал множество историй из старого быта Подстепья, с большим увлечением и вкусом рассказывал их. Любовь к жизни переполняла его. Среднего роста, коренастый, он своим обликом словно олицетворял Воронежский край. Тем более, что через всю его жизнь прошла самозабвенная любовь к народному песенному творчеству. Второй страстью

¹ Здесь неточность. Бывший архиерей Воронежский — Святитель Тихон Задонский пребывал на покое в Толшевском Свято-Преображенском монастыре в XVIII веке, выйдя за штат.

Константина Ираклиевича было ужение рыбы, в котором он знал толк. Это увлечение да и, пожалуй, склонность к устным рассказам сблизили его с Константином Георгиевичем. Он стал постоянным и достойным спутником писателя в ближних и дальних «экспедициях» за рыбой. Автору этих строк Константин Ираклиевич рассказывал о Паустовском с восхищением и более всего подчёркивал, что в ужении рыбы тот был «профессором», владел многими тонкостями. Годы послевоенные, голодные, и рыбацкие трофеи часто шли на не слишком обильный, хотя и почти домашний стол Дома творчества. («Кормят преимущественно творогом», — то ли жаловался, то ли хвалился Константин Георгиевич в письме к Федину.) Одна такая «экспедиция» описана Паустовским в письме к В.В.Навашиной от 8 сентября 1947 года:

«Были очень холодные дни, заморозки, а сейчас тепло, но, как говорит Иван Андреев, «сентябрист» <...> Здесь уже осень, очень ещё ранняя, но яркая. Вчера, наконец, Иван Андреев исполнил своё обещание и отправил меня на знаменитый Ледовской кордон на Усмань. Поехал ещё Никита Санников (нелюдимый, но славный мальчик) и русский самородок воронежский композитор Массалитинов. Вёз нас на лошадях (Мухе и Зайчике) плотник Андрей. Конечно, заблудился (да там и нельзя не заблудиться, такие дёбри и пущи), и на кордон мы попали только в полдень, леса потрясающие на холмах, грибы растут по дорогам коврами, всё время слышно, как трубят олени, на Усмани ловили хорошо, а рядом купался бобр и не обращал на нас никакого внимания. Чтобы пройти к берегу, пришлось прорубать дорожку в крапиве топором(!). Крапива в три человеческих роста и толщиной в руку. Обрато ехали ночью, лошади везли сами».

Массалитинов и Паустовский расстались друзьями, обменялись адресами. Их отношения обещали продолжиться, но обстоятельность жизни Константина Георгиевича помешала. Впрочем, они встретились ещё раз, но уже на страницах воспоминаний Юрия Гончарова «Сердце, полное света».

Гончаров — ещё один участник поездки на Ледовской кордон. Утром следующего дня за завтраком все обитатели Дома творчества внимательно слушали рассказ Константина Георгиевича о злоключениях в пути. Встревоженные накануне долгим отсутствием Паустовского и его спутников, они теперь то и дело разражались хохотом. Для Гончарова это был урок того, как «надо писателю видеть, запоминать, находить слова для выражения своих впечатлений». Юрий Данилович — тогда молодой человек. Но он успел побывать на войне, окончить институт. И впервые оказался в обществе известного писателя, книги которого читал ещё в юности. Вспоминая Паустовского в 70-е годы уже с позиции прожитых лет, он писал: «Не помню случая, когда бы в ком-либо ещё так было видно, что главное чувство, которое наполняет, главная черта характера, натуры — это доброта, снисхождение к людям, к их несовершенствам, благодарность за их попытки де-

лать хорошее, как они это могут и умеют...» Профессиональные и нравственные уроки, полученные от общения с Паустовским в Эртелеве и при встречах в последующие годы, оказали влияние на творчество Ю.Гончарова. Паустовского он считает своим учителем, ему посвятил кроме цитированных воспоминаний ещё и рассказ «Уроки Паустовского», сюжет которого также разворачивается в Эртелеве.

И ещё одной встречей было отмечено пребывание Паустовского в Эртелеве. В письме к Федину (от 12 августа 1947 г.) есть короткая фраза: «Здесь Елена Сергеевна Булгакова с сыном». Виделся ли Константин Георгиевич с Еленой Сергеевной в Москве после смерти Булгакова? Скорее всего, эти встречи были мимолётны. Паустовский, по всей видимости, не принадлежал к кругу булгаковской семьи. Да и начавшаяся вскоре после кончины Михаила Афанасьевича война, последовавшая затем эвакуация ещё больше отдалили их семьи. Но здесь, в Эртелеве, они не могли не общаться, и для этого имелись веские основания.

В конце 1945 года журнал «Новый мир» опубликовал главы повести К.Паустовского «Далёкие годы», а в следующем она вышла отдельным изданием. Повесть посвящена началу жизни автора: детству на Украине, гимназическим годам, проведённым в стенах 1-й Киевской гимназии. Она написана не в духе послевоенного времени и уже поэтому была смелой, загадочной и удивительной. Удивительной по точности передачи чувств юноши, открывающего мир. Читая некоторые её главы, как бы вдыхаешь пьянящий воздух юности. Думается, что эта повесть полностью подтверждает мысль Паустовского о том, что при работе над книгой писатель должен вкладывать в неё все свои силы, относиться к ней как к последней в своей жизни. В «Далёких годах» Константин Георгиевич вспоминал многих дорогих людей, оставивших след в его памяти. Вспомнил и Мишу Булгакова — гимназиста той же гимназии, его блестящую и многострадальную пьесу «Дни Турбиных». Для многих людей, ставших читателями в послевоенное время, это была первая встреча с Булгаковым. Елена Сергеевна не могла не оценить строк повести Паустовского, хотя бы немного разрядивших забвение имени Булгакова в те годы. Много позже в письме к Николаю Булгакову, брату Михаила Афанасьевича, она писала: «К сожалению, дружба с Паустовским у меня началась через несколько лет после смерти Миши. Но я познакомилась с Мишиным творчеством, много рассказывала о нём, и Константин Георгиевич написал прекрасную статью о Мише для одного журнала...» Возможно, что именно здесь, в Эртелеве, началась их творческая дружба, в итоге которой Паустовский написал статью «Булгаков и театр» (1962) и главу «Снежные шапки» в повести «Книга скитаний» (1963).

Не будет преувеличением сказать, что книжное собрание А.И.Эртеля также входило в круг общения Паустовского. Эртель трепетно любил книги, отдавал пополнению личной библиотеки весь жар своей души. Каких только книг в ней не было!.. Русская и

зарубежная классика, книги по экономике и истории, годовые комплекты отечественной периодики... К послевоенному времени часть библиотеки по разным причинам была растеряна. Наиболее ценные книги забрала с собой Елена Александровна. Но даже то, что осталось на полках, поражало. Константин Георгиевич с восхищением отзывался о собрании журналов: «... читаем старинные журналы (семидесятых годов) — необыкновенно забавные. О боях под Плевной, о первом телефоне (который назывался «говорящий телеграф»), о болезни Некрасова, о притонах — «Самокатах» на волжских ярмарках и взрыве в Зимнем дворце. Все это — до последней репортёрской заметки — написано великолепным, живым языком со множеством зря забытых слов (например, слово «придышался» — привык, не замечает)» (К.Федину. 12 августа 1947 г.).

Ощущение удалённости Эртелева от внешнего мира легко разрушалось. О быстротечности воронежского лета, о тревожной Москве, в которую рано или поздно предстояло вернуться, напоминали письма Федина, московские газеты. Их время от времени привозил Иван Андреевич со станции Графская. «Литературная газета» в июле–августе 1947 года полнилась откликами на материалы XI Пленума правления Союза советских писателей, наводившего идеологическую чистоту в духе доклада Жданова. На её страницах начались нападки на ленинградского поэта Вадима Сергеевича Шефнера. Его лирические стихи оценивались литературной критикой «как нечто чуждое и враждебное духу нашего народа и времени». Обвинение надуманное и абсурдное, но за ним стояла угроза очередной литературной расправы.

В том же 1947 году рассказы Паустовского «Мальчики» (первое название «Воронежского лета») и «Аннушка» стали предметом критического разбора воронежским писателем М.Сергеенко. Оценивая их с идеологических позиций, воронежский критик заключал: «Хочет или не хочет этого К.Паустовский, но колхозная деревня выглядит в его очерках тёмной и отсталой, потому что не из современной нам жизни черпает он свои краски». О сельских тружениках Константин Георгиевич всегда отзывался с уважением. Послевоенная же деревня действительно была убогой, несчастной и отсталой. Критик не мог этого не знать и кривил душой, когда писал обратное. Что же касается «красок», то действительно: рассказ «Воронежское лето» проникнут чисто бунинским пониманием счастья — умением видеть прекрасное в привычных и простых явлениях жизни.

Одно из писем Паустовского Федину (от 3 сентября 1947 г.) поражает своей откровенностью. Письмо — словно крик души писателя, отчаявшегося в душливой атмосфере творческой несвободы, порождавшей в его сознании непрошеную персону внутреннего редактора. Он, этот внутренний редактор, как бы постоянно стоял за спиной, вмешивался в процесс творчества, цензурировал написанное, и его нельзя было прогнать.

«Костя, родной мой, письмо твоё и обрадовало меня и опечалило, — должно быть, грустным его подтекстом. И вся обстановка Москвы, московской литературной и прочей жизни, что врывается сюда с газетами и новыми приезжающими, меня пугает и мешает работать, опускаются руки. Мучительно перебираю в памяти, что ещё осталось, о чём можно писать, и временами кажется, что уже ничего не осталось. Дни идут, перо ржавеет, и спасает меня от горечи всяческих размышлений только единственное, неизменное — степная осень, необыкновенное здешнее небо и тишина».

В том же письме есть удивительная по выразительности зарисовка эртелевского дома в вечерние часы начала осени: «В доме — пусто и тихо, всё кажется, что я здесь один, по вечерам гудит керосиновая лампа, шумит парк, и в девять часов кажется, что уже самая глухая ночь. А вчера всю ночь над парком гудел, ходил кругами заблудившийся самолёт». Одной-двумя фразами Паустовский умел нарисовать картину, пронизанную настроением автора. В таких местах обычно хочется временно прервать чтение, чтобы всмотреться и вслушаться в созданный писателем образ: шум деревьев парка, гул заблудившегося в ночи самолёта рождают ощущение тревоги, от которой Константина Георгиевича спасала воронежская степь.

Стоило выйти из парка, пересечь отлогую балку, где по дну протекала полувысохшая речушка Каменка, миновать деревенскую улицу, как взгляду открывалась степь. Её лаконично-выразительный образ создан Паустовским в рассказе «Воронежское лето»: «... в лицо ударит жаром, резким светом, и до самого края земли откроется степь, далёкая и ветреная, как море. Откроются ветряки, что машут крыльями на курганах, коршуны и острова старых усадебных садов... Но прежде всего откроется небо — высокое степное небо с громадами синеватых облаков».

Небо — особая любовь Константина Георгиевича. Здесь, в воронежской степи, был простор, любовь к которому передали Паустовскому его предки — запорожские казаки, здесь к нему приходило хрупкое чувство свободы.

В последних письмах сентября 1947 года Паустовский писал: «Я очень наслаждаюсь последними днями, собираю всякие листья и пёрышки... Хожу в лес по грибы. Прорва белых и подосиновиков. Здесь всё время яркие и прохладные дни, безветрие... Приеду числа 16-го». Вскоре Константин Георгиевич уехал. На станцию Графская его отвёз на телеге всё тот же Иван Андреевич. Последний раз он проехал по песчаной дороге через Усманский бор, мимо бывшего Толшевского монастыря, где в то время размещалась контора заповедника. Более в Эртелево Паустовский не приезжал. Но мысленно возвращался, и не раз.

На склоне лет он написал «Ильинский омут». Трудно определить жанр этого произведения. По сути своей это было ещё одно, быть может, одно из последних выражений любви к родине, России. Вре-

мя неумолимо, сил оставалось всё меньше, а так одним взглядом хотелось окинуть огромное пространство: от долины Оки, ставшей его второй родиной, до западных границ, где на дорогах Первой мировой войны закончилась юность. Иногда кажется, что «Ильинский омут» — картина, написанная по большей части не с натуры, а по памяти. Как подлинный художник, Паустовский был волен изобразить на ней то, что любимо и дорого. В одной из далей Ильинского омота ему хотелось бы видеть ветряную мельницу из Эртелева, и он мысленно возвращался в напоённую ароматом трав воронежскую степь.

«Однажды летом я жил в степях за Воронежем. Все дни я проводил или в одичалом липовом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сухом кургане.

Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы.

В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на глиняный тёплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой.

В нём непрерывно возникали всё новые очень белые и выпуклые облака и медленной чередой уплывали на север.

Сергей МАРИН

ЗЕЛЁНЫЙ КОНВЕРТ

Пожилой писатель получает письмо от живого классика русской литературы, в котором тот выражает благодарность ему за услугу, о которой, впрочем, классик, Паустовский, и не просил. Речь идёт о поисках Михаилом Решетниковым в дореволюционных подшивках газеты «Вятская речь» военных очерков юного Паустовского.

Письмо прибавляет уверенности Михаилу Михайловичу. На пороге старости писатель вынужден заново начинать литературную карьеру, второй раз входить в «большую вятскую литературу». Ему ведь неизвестно было тогда, в начале 60-х, сколько ещё Воля Провидения, в которую он так верил, уготовала впереди полноценных лет жизни. Оказалось — целых три десятка, вплоть до 1990 года.

Вот запись в его дневнике, помеченная сентябрём 1967 года:

«Утро осени — конец сентября. Я открываю занавеску окна и вижу с третьего этажа, как идёт мужчина, пешеход, переходящий улицу, — в осеннем пальто, неспешно, уже утративший лето и знающий, что дальше в уделе его — осень с дождями и слякотью, морозная и

Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по моему лицу, и я закрывал глаза, чтобы убедить их от резкого света. Я растирал на ладони венчик чабреца и с наслаждением вдыхал его запах — сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море и что пахнут чабрецом не степи, а наглаженные прибойми пески».

Быть может, здесь, на ветряной мельнице, где ничто не мешало всем существом воспринимать природу, уходили тревоги и появлялась надежда на лучшие времена. В жаркие полуденные часы в степи не могли не прийти на память гениальные бунинские стихи:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...

Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

Память об Эртелеве — благословенном уголке воронежской земли — Константин Георгиевич сохранил на всю жизнь.

Почти в те же дни, когда он пребывал в Эртелеве, в степи за Воронежем, во Франции Бунин написал ныне хорошо известное письмо Паустовскому. Оно начиналось словами «Дорогой собрат» и было датировано 15 сентября 1947 года. Подобно Бунину, всем своим творчеством Константин Паустовский ответил, что «полевые пути меж колосьев и трав» составляли и его счастье в земной жизни.

тёплая, иногда с весёлым солнцем зима. И это надолго. Поэтому он немного согнулся, дымит папирсой и идёт неторопливой походкой».

Писатель не хочет быть борцом за свободу, не остаётся ему на это времени, кончается жизнь, ополовиненная 20-летними вынужденными скитаниями по Северу. Он вернулся домой недавно. Правду о себе рассказать он не может. Жёсткая советская цензура особенно сурова в закрытом Кирове, в его родном городе, который когда-то носил имя Вятка. Земля под ногами начинена секретным военным производством. Никакого свободомыслия здесь не потерпят. Даже пресловутая «оттепель» бессильна против крепких северных морозов.

Да и как бы он мог написать о своей судьбе, избегая точных сведений, например, о том, что он — сын статского советника, популярного в народе земского начальника этих мест. Доброе имя отца

МП: В этом номере опубликовано письмо Константина Паустовского Михаилу Решетникову. О судьбе этого вятского литератора рассказывает его внук — Сергей Марин, отводя немалое место

строкам самого Решетникова. Перед читателем проходит жизнь человека, ровесника XX века, настрой души которого был созвучен настрою души Паустовского, но таланту которого не дало раскрыться полностью жестокое время.

его было широко известно и в городке, затерявшемся на просторах Вятской губернии, а благодаря писательским опытам отца ещё и среди интеллигенции губернской столицы Вятки. Собственно, главным поводом для первого ареста самого писателя стало его «нехорошее» происхождение. Немало пришлось перенести ему, потому он охотнее сейчас будет обращаться к людям, далёким от его повседневной жизни, к ушедшим знакомцам, к природе и не захочет рассказывать о современности. По некоторым зарисовкам из сочинений писателя мы можем представить основные вехи его биографии с достаточной полнотой.

Из автобиографических записок Мих. Решетникова

«Родился в Вятке 31 августа (13 сентября) 1903 года. Отец был в то время преподавателем средних учебных заведений, а мать — бывшая учительница — домашней хозяйкой...

Первое поэтическое впечатление относится годам к четырём... Родители мои никогда не имели недвижимой собственности и всю жизнь кочевали по наёмным квартирам. Больше всех мне запомнилась квартира в доме Зайцева...

Утро. Вероятно, весна. Меня будит рожок пастуха. Кукарская улица — одна из окраинных, отдалённых, и по ней пастухи обычно гнали коров на выпас. Солнце играет в окне прямо против моей кровати со сторонками и с сеткой из шнура, в спальне. В длинной рубашонке ночной я вылезаю из кровати и тихонько босиком бегу к окну, чтобы посмотреть на стадо и играющего в рожок пастуха. Отец и мать спят в своих кроватях крепким утренним сном и не просыпаются. Мне радостно от солнышка, оттого, что проходит стадо, от всего моего бытия и раскрывающегося мира. Рано. Вероятно, 5–6 утра.

Потом, когда стадо прошло, я снова влезаю в кровать и лежу молча, вперив глаза в пространство, и думаю — о чём? Обо всём — о прошедшем стаде, о солнце, о пастухе, о папе с мамой... И незаметно вновь засыпаю хорошим утренним сном».

Отца будущего литератора, земского начальника М.М. Решетникова (он занял эту должность в 1911 году), довольно часто по делам службы переводили с одного места на другое. Семья его переезжала с ним: из одного небольшого городка Вятской губернии — в село, из села — в крохотный городишко, затем — в городок побольше и т.д....

Но вернёмся к автобиографическим запискам деда.

«Все трое моих двоюродных братьев были одарёнными музыкантами с ранних лет: старший — пианист, средний — скрипач, а младший, мой ровесник, — виолончелист. В летние вечера, когда распахивались в гостиной все окна, задёрнутые лёгкими, чуть колыхающимися занавесями, они устраивали превосходные концерты, перемежаемые общим хоровым пением всей нашей семьи.

Вспоминается катанье на лодках по реке Чепце вблизи села Сезенева Слободского уезда и пикники

вместе со съезжавшейся на лето к своим родителям в село учащейся молодёжью. Отражаясь от высокого камешникового правого берега, разносились по реке и заливному лугам левого наши песни с лодок: «Смело, братья, ветром полный...», «Вечерний звон», «Слети к нам, тихий вечер» или «Из-за острова на стрежень». Над нами распластывался поздний вечер, просвеченный на западе яркой полоской зари или дальними сполохами. На, фоне зари за ивняками далеко-далеко иногда проходил поезд, едва слышно погрохатывая колёсами под стрекотанье кузнечиков и скрип коростеля. Поездки обычно кончались весёлым общим ужином из свежей стерляжьей ухи с дымком у рыбаков, на берегу, возле костра.

Эти картины сельской природы, наряду с целодневным ужением рыбы, купаньем и собираньем коллекции птичьих яиц, настолько прочно и ярко вошли в моё воображение, что ещё до сих пор воспоминание о них неизбежно рождает в душе то, что называют творческим вдохновением...»

«Мои отроческие годы (с 1914 по 1917) прошли <...> в Малмыже (это тоже Вятская губерния. — С.М.), где я учился в гимназии. Типичный захолустный уездный городок дореволюционной России, Малмыж в те годы утопал в садах и патриархальной тишине. Никаких культурно-просветительских учреждений, кроме мужской гимназии, женской прогимназии и городского училища, да ещё маленького кинотеатра «Жизнь мира», в городе не было. Неприятный эстетический вкус основного населения городка вполне удовлетворяли соловьиные руды, доносившиеся из ближних рощ, да ещё... лягушечьи концерты. Почти в самой середине городка, вдоль одной из улиц, лежал пруд с деревянным мостом через него. В погожие летние вечера на берег вылезали лягушки в большом количестве и принимались неистово голосить, сливая свои голоса в своеобразный хор. Как только лягушки начинали летним вечером свои «вокальные выступления», к пруду группами и поодиночке тянулись жители городка. Они усаживались на берегу на специально устроенные тут деревянные скамьи и подолгу слушали лягушечьи концерты, страшно громогласные, разносившиеся по заре далеко в окрестностях. Трудно сказать, какие чувства и помыслы рождали они в душах слушателей. Но все сидели молча, не переговариваясь друг с другом, и засиживались до темноты».

Дворянскому сыну, как многим другим молодым людям более скромного происхождения, оторванным от привычного уклада жизни «вихрем революции», пришлось рано начать взрослую жизнь.

К началу 20-го года семья будущего литератора переезжает обратно в Вятку, там легче было бороться с голодом. Город представлял собой тогда довольно жалкое зрелище. Реалист выпускного класса, Миша приторговывает на рынке, чтобы помочь родителям прокормить семью. Вот сцена из его рассказа «Приятель»:

«...На рундуке, усыпанном козьем горохом, зеленеет выцветший тканый ковер и на нём раскинут

мой «магазин» — трубки, деревянные ложки, связанные в десятки, медные кольца, карандаши, кустарные игрушки — это моя торговля, моё вынужденное ремесло. Вокруг — замирающая, стылая жизнь. Унылый мужик на возу подмороженной репы, дрожащий, в солдатском тряпье дезертир с буханкой отвратительно-жёлтого хлеба из «совсемки», задрипанная барынька в старом салопе с корзиночкой кружевных пришивок и рюша, забранные на топливо, вылинявшие бесконечные цветные заборы — краса и одежда зелёного провинциального города, козий помёт — много козьего помёта — везде, на рундуках, на деревянных тротуарах, в сенцах, в кухнях, в учреждениях и — голодные, голые, стынящие дни...»

Миновали тяжёлые годы революции, нелегко было «классово чуждому элементу» поступить в 1921 году в институт и получить высшее образование, но всё-таки через голод и неустроенный быт, под постоянной угрозой отчисления по классовому признаку Мих. Мих. закончил учёбу в Вятском пединституте и поехал на работу в деревню. Молодой учитель Решетников становится завучем школьного городка в большом селе в Вятской губернии. Удалённость от города, от крупного культурного центра сильно удручает литератора, утешение он опять находит в природе.

РУСЬ БЛЕДНОЛИЦАЯ

Поля. И думы без ответа,
А грусть без меры разлита.
И чья-то песня не допета,
И чья-то мгла не изжита.
Кругом ни сумрака, ни блеска
(Не оттого ль и сны пусты),
В снегах тоскуют перелески
И вересковые кусты.
Пусть правит миром вихорь буйный —
Здесь прежний кроткий ветерок,
Всё так же мысли тихоструйны
И те же вешки у дорог.
По вехам только знают люди
Тропу к таким же, как они,
А солнце дней ещё не будит,
Ещё без света эти дни.
Дней живоносных буйный пламень,
Сюда, сюда свой свет пролей;
О, избяная Русь, крылами,
Смахни крылами грусть полей!

Через год пароход везёт его из деревни обратно в родной город. Вот что пишет Мих. Мих. об изменениях, произошедших с красивейшим высоким берегом реки Вятки, на котором расположен исторический центр города.

Повести о Вятской стране (Середина 20-х годов)

«В середине лета, к концу — в июле и августе Вятка-река спадает с тела. Вода тогда мутно-зелёная, белёсая. Недаром вотяки прозвали Вятку Нукратом, Серебряной рекой. Местами сквозь густину её коричневеет дно, а по середине неожиданно протягиваются песчаные косы, узкие и длинные. Если по

воде пробегает зыбень, тихонько шелошутся змеевые, зыбучие розовые полосы от вечернего солнца, днём солнце тонет золотыми слитками в стеклянной паводи. Когда над холодеющим предосенним миром расплывается жёлтый соломенный август, горы, поросшие колючим ельником, ивняковые берега и плёсы стынют в тишине, по ночам на песках рыдают кулики. В эту пору по Вяти шебуршат только маленькие одноэтажные пароходики, похожие очень на розовых такс, а большие уходят вниз по Каме и Волге, к Соколкам. Там пристани ещё гмизят народом. Бабы там продают очень вкусные копчёные золотистые сырки, да из загорья приносят холодное, палевое от густоты молоко в узких бутылках из-под нежинской рябины.

В конце лета самое плохое на Вяти — перекасты. Но когда пароходишко переползёт самые трудные Орловские и Шестаковские мелачи, на которых он неистово пищит, цоркочет колёсами на задний ход и жалостно воет тоненькими свистами, когда проплыли по берегам маленькие полуотские-полурусские уездные городки и высокие берега с залегающими в них штоками доломитов и цветных мергелей, сосновые рощи, луга и поймы, — из-за гор выползет Вятка на высокой зелёной горе. Наверху «кремлёвская» с башенками старинная стена. А там, где гора склоняется к оврагу к Засоре-реке, текущей по городу, зацветёт синими куполами пузатый Трифонов монастырь — теперь от него осталось только название, потому что монахов выгнали и устроили в монастыре совпартшколу...

Из зелёной поросли горы прямо к пристаням цоркочет студёный ключ. Когда слободские бабы стирают бельё, они напускают хрустальную воду из ключа в деревянную колоду под горой и в ней полощут полосатые сподницы и цветистую лопоть, а ломовые с пристаней извозчики поят в колоде своих лошадей.

Трамваев на Вятке нет — надо подниматься по горе, вымощенной булыжником. На самом верху, уже в городе, стояла раньше каменная часовня с надписью «В память убиенных воинов», теперь часовню снесли «на коммунальные нужды»...

Немало интересных событий и встреч принес ли Михаилу пятнадцать лет его молодости с 1924 по 1938 год (со дня окончания института до ареста). Например, та встреча, однажды зимой 1928 года, когда ему довелось лично, как молодому поэту, познакомиться с В.В.Маяковским, захавшим в Вятку. Более того (вместе со своими товарищами по региональному отделению объединения «Перевал», одному из первых литобъединений в послереволюционной Вятке), даже уговорить выступить В. В. в стенах пединститута. Бесплатно, хотя Маяковский тогда и нуждался в деньгах.

Какая в том году была замечательно красивая зима! К провинциальному городку в таком уборе не остался равнодушен и Маяковский. В очерке «Маяковский в нашем городе» Мих. Решетников пишет:

«Была тихая и тёплая зима. Редкими мягкими хлопьями падал снег. Он укутывал белым уютным

покровом и улицы, и дома, и лошадиные спины, и шапки извозчиков, сидевших на облучках своих пролёток с волчьими полостями и кожаными фартуками. Снег ложился на воротники и плечи прохожих...»

Михаил Михайлович приводит слова писателя Юрия Олеши, прокомментировавшего, в свою очередь, слова Маяковского, адресованные зарубежному печатному изданию, о том, что Вятка «самый красивый город на свете».

«Олеша ответил: — Сравнивая Монте-Карло с гостиницей «Большой Московской», Маяковский хотел сказать, что там и тут — одинаковая аляповато-купеческая роскошь. О Вятке, думаю, он сказал искренне. Старинный деревянный город, город умельцев, мастеров резьбы. На фоне снега это, действительно, неповторимо прекрасно».

«В самом деле <...> Маяковский перед отъездом из Вятки «накупил разных шкатулок и безделушек», заявив: «Это я люблю»...»

Ну а снег действительно представлял собой своеобразный колоритный фон города: он лежал по обочинам дорог, куда его сдвигали дворники, в девственной своей белизне в огромных сугробах, незакопчённый — механизированного городского транспорта в Вятке тогда ещё не было. Промежуточные, между несколькими центральными, улицы состояли почти сплошь из деревянных домиков, чаще всего одноэтажных, с резными деревянными же наличниками окон, дверей и углов. Между ними тянулись длинные деревянные заплоты, за которыми стояли густые сады и высоко поднимали свои кроны вековые липы и тополя».

Благостный ветер воспоминаний... Из глубин времени выплывает ещё одна картинка. Летний вечер 1933 года, зелёный театр в вятском саду «Аполло», когда Мих. Миху повезло выступить в одном концерте, как художественному чтецу, с Л.В.Собиновым — лучшим русским тенором своего времени. После концерта, сидя за столом вместе с Леонидом Витальевичем и другими артистами, участниками концерта, Мих. Мих. заговорил с ним о стихах. Неожиданно оказалось, что знаменитый певец и сам пишет стихи. Воспоминания об этой встрече проникнуты у Мих. Решетникова добротой и теплотой по отношению к близкой ему по духу и воспитанию личности интеллигента-певца. Таковы и краски вечернего пейзажа. Вот строки из очерка «Вечер с Собиновым»:

«Было уже за полночь. Зал опустел, огни в нём погасли. У косяка двери на кухню стоял одинокий официант и, очевидно, ждал, когда закончится ужин. Мы поднялись из-за стола... В саду было темно — все фонари были тоже погашены, горели только два у самого выхода. Теплом и пряным ночным ароматом цветов дышала тихая июльская ночь. У ворот сада стояла машина, вызванная для Собинова. Он радушно распрощался с нами.

Осенью того же 1933 года я уехал на работу в Ленинград. Вскоре Новиков написал мне, что получил от Собинова письмо, связанное с какими-то

расчётами по его выступлению в Вятке. В этом письме он просил передать привет всем участникам его концерта».

«Как-то Лев Толстой восхищался природой во время верховой езды:

— Какая синева везде! Сейчас всё в самом расцвете: словно человек в 32–33 года. Пройдёт ещё немного времени, и уже всё начнёт вянуть. Я нынешней весной особенно люблюсь, не могу налюбоваться. Весна необыкновенная!...

А меня в эту пору бросили в тюрьму и пытку».

6 апреля 1938 года, весной, Михаил Решетников был арестован (по 58 статье), а вернуться в родной город смог лишь через 20 лет. Осуждённый на 6 лет, он оказался в лагере на севере, на строительстве Печорской железной дороги. Незадолго до ареста случилось в семье несчастье, умерла его единственная младшая сестра.

Из поздних дневников Мих. Решетникова 29 июля 1965 г.

«Осенью 1940-го я ещё много и мучительно думал о пакибытии моей Сестры. И когда там, на Севере, однажды возвращался ночью к себе на берег Печоры тайгой, таинственной, таящей неизвестность и неожиданности, я чувствовал присутствие рядом Сестры, разлитое вокруг, надо мной. И мне не было страшно. Я разговаривал с Сестрой на непонятном мне языке древнего пророка».

Полощется волна в смятенье суетливом —
Пузатый пароход на север мчит меня.
Подул борей, и завтрашнего дня
Заря встаёт сегодня над заливом...

Давно ли я лишь в отроческих грёзах
В оленьих нартах залетал в тайгу!
Сегодня въявь сквозь тундру по морозу
Невольным конквистадором иду...

Из стихов, написанных М.Решетниковым в лагере

28 декабря 1966 г.

«События и изменения входят в жизнь общества и в индивидуальную человеческую жизнь как будто гонимые ветром. И он вносит небывалые и странные изменения в окружающее. Где-то на самом краю окоёма вдруг завихряется пыль, трепещут листья на деревьях, и вот он, этот смерч, приближается к вам стремительно, поднимая крутящийся столб пыли, бумагу, лёгкие предметы вверх, и уходит дальше, дальше. Или начинает веять лёгкий зефир, переходящий постепенно в большой ветер. Все они — зephyры, пассаты, муссоны, циклоны и — как их там бы ни называли — приносят изменения в окружающее. И когда оглядываешься назад, видишь, как много произошло странного: умерли близкие, без которых казалась невыносимой твоя жизнь. В жизнь, в её существо вошли совсем новые нравы и обычаи, произошли разрушения старых привычных памятников и сооружений, вместо них выросли новые — дома, скверы... дороги. Люди стали носить незнакомую — дикую одежду, петь другие песни. Появи-

лись какие-то машины с непонятным, почти мистическим устройством... Сменились звуки — вместо колокольчиков, колоколов и гармонических сочетаний стали превалировать гудки, сирены и какофония. И так во всём. А главное — умерли люди, привычные, нужные, необходимые. И всё это после каких-то вихрей, тихих ветров и ураганов, которые пришли откуда-то, может быть, из Вселенной, рождаясь в силу непонятных и тёмных законов движения воздуха».

Вернувшись в Киров на рубеже 60-х годов, Мих. Мих. подводит итог своих скитаний, заново пересматривает солидный багаж накопленных впечатлений и с ужасом вдруг видит, что не сможет пока рассказать о пережитом так, как хотел и мог бы это сделать, — честно, правдиво. Как же долго нужно было ему жить, чтобы дожидаться выхода в свет книги очерков с воспоминаниями хотя бы о 20-х, 30-х годах, — она вышла лишь в 1987 году, пролежав в издательстве добрых полтора десятка лет. Переписывать же свою биографию на потребу времени он не хотел, и здесь его жизненная позиция совпадала с принципами Паустовского.

В рассказе К.Паустовского «Умолкнувший звук» есть очень красивый фрагмент, ассоциирующийся в моём представлении с личностью Мих. Михы, с таким, каким он был во второй половине его жизни:

«Ночью я не курил. Всё, что нарушало темноту, даже огонёк папиросы, мешало мне слушать. Мне казалось, что я один не сплю на всей огромной земле, и если я затаю дыхание, то смогу даже уловить тихий звенящий звук от движения звёзд в мировом пространстве. Древние греки верили в этот звук и называли его «гармонией сфер».

Рассказ Паустовского написан в 57 году, — это важно! Мне понятен и близок он, как художественное отображение тончайших движений души, испы-

танных некогда, после реабилитации моим дедушкой, а было это всё в том же 57 году. Говорю лишь о собственном впечатлении от рассказа.

«Звёзды нетленно сияли за окном, умножая красоту окружающей ночи. Лёжа без сна, я как бы охранил сон других людей, — были ли то дети, или молодые женщины, или старики, забывшие на несколько часов тягость своего возраста». Это тоже из рассказа Паустовского.

«Спутники и встречные» — название последней книги очерков Решетникова, оно также переключается с финалом рассказа «Умолкнувший звук»:

«Они вошли в парадное. Я немного постоял на набережной. Зеленоватый свет речных фонарей падал на чёрные баржи, причаленные к деревянным трубам. Мимо фонарей летели сухие листья.

И я подумал, что, в конце концов, утомительно и печально всё время встречать новых людей и тут же терять их неизвестно на сколько времени — может быть, навсегда».

Молодой человек, я могу и ошибаться в определении основной мысли рассказа. Речь в нём идёт о возрождении в человеке интереса к жизни — процессе таинственном, мистическом, божественном. Так же как и герою рассказа, Михаилу Решетникову удалось сохранить интерес к жизни, свою душу, но в конкретных, а не мистически-отвлечённых, в тяжёлых и многочисленных испытаниях. Он достиг этого через веру в гармоническое устройство Божьего мира, внимательное и любовное отношение к природе, посредством творческого труда и размышлений над лучшими произведениями искусства. В испытании его силы любви к жизни Михаила Решетникова ждала победа. Может быть, свою лепту в дело пробуждения к плодотворной литературной деятельности Решетникова внесло и письмо в изумрудном конверте от классика русской литературы?

Михаил РЕШЕТНИКОВ

УСЛОВНЫЕ И ОБРАЗНЫЕ ПРОЗВАНИЯ

Литературные заметки

В литературном языке, которым пользуются не только художественная проза и поэзия, но также наука, политика и быт, встречается немало таких наименований предметов и явлений, которые выражены в образной форме и представляют собою языковые метафоры. Такие наименования, как «роза ветров» или «блистающие облака» являются принятыми в науке метеорологическими терминами, а «белый террор» и «алгебра революции» следует отнести к терминам политическим. Многие термины из мира спорта, производственно-служебной сферы или повседневного быта являются условно-образными прозваниями: «авоська», «показуха», «звёзд-

ная болезнь» или «бомбардир» (об игроке — футболистом, хоккейном и т. п., — который сильными ударами приносит выигрышные очки).

Многие из этих образных и условных прозваний, источники которых отдалены от нас временем или другими какими-либо обстоятельствами (например, «Адамова голова», «Бардадым», «адвокат дьявола», «бережливая Агнесса», «фараонова корова» и др.), требуют расшифровки, установления первоначального источника их образования.

В течение многих лет я заново себе в специальную картотеку подобию условные и образные прозвания, встречающиеся мне в жизни (в

разговорах) и в литературе, источником которых в большинстве случаев является народный язык — всегда живой, образный и меткий. Затем устанавливаю их происхождение, первоначальное значение и переносный смысл, подкрепляю конкретными примерами их употребление в современном языке, и у меня, таким образом, создаётся как бы коллекция образных и условных прозваний или словарь, который по мере их накопления всё разрастается и вширь, и вглубь. Некоторыми из этих моих записей мне хотелось бы поделиться в форме небольших литературных заметок, которые, может быть, окажутся интересными и полезными иному читателю, интересующемуся фразеологией нашего родного языка.

КОГДА ШЕПЧУТ ЗВЁЗДЫ

Звёзды искони были источником вдохновения поэтов и символом высокого и светлого идеала. Поэтому и такое выражение, как «шёпот звёзд», воспринимается как поэтическая метафора. Невольно вспоминаются первые две строчки знаменитого стихотворения Константина Фофанова, в своё время утвердившего за ним славу «Звёздного поэта» и переходившие из уст в уста в качестве эталона подлинной поэзии:

Звёзды ясные, звёзды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные...

Правда, здесь больше символики, чем реалистической романтики, которая яснее проступает в метафоре «шёпот звёзд» — таинственной и реальной.

Но позвольте! Как это могут в действительности шептать звёзды? Ведь не живые же это существа в обычном смысле этого слова? О какой реальности может идти здесь речь?

Но оказывается, «шёпот звёзд» не только поэтический троп, а метафора, ставшая общепринятым в естествознании специальным термином, которым обозначается вполне реальное явление природы. Шёпот звёзд — это звуковое явление, возникающее в ясные морозные ночи, при температуре в 45–50° ниже нуля, когда при дыхании человека слышится слабое непрерывное шуршание, едва уловимый шелест.

«Оказывается, — разъясняет это явление А. Членов в очерке «Зимняя сказка», напечатанном в журнале «Вокруг света» № 3 за 1958 год, — пар от дыхания, замерзая на жгучем морозе, сублимировался, превращался в тончайшие ледяные кристаллы. Осаждаясь инеем, кристаллы задевали друг друга, потрескивали легонько, умирали, ломались и снова образовывались».

Естественно, что с появлением этого термина, возникшего из красивой поэтической метафоры, поэты подхватили его и взяли себе на вооружение. У поэта и прозаика Андрея Алдана-Семёнова есть стихи, называющиеся «Мой девиз» (из сборника «Метель и солнце», изд. «Советский писатель», 1963. М.), в которых он не только приводит эту метафору, но и указывает на источник её образования:

Рассказать тебе хочу я
Про далёкие края.
Там мечта моя кочует,
Там живёт душа моя.
Там когда-то в час морозный
Осыпался надо мной
И стонал таёжный воздух
Перетянутой струной.
Если ты ещё не знаешь,
Так узнай: такой мороз
По-якутски называют
Очень нежно — «шёпот звезд».

Вот, оказывается, откуда пришёл к естествоведам в их научный оборот этот поэтический термин — из якутского фольклора. Только «шёпотом звёзд» называют не самый мороз, а возникающее при нём звуковое явление.

ТАЙНА БЛИСТАЮЩИХ ОБЛАКОВ

«Блистающие облака» — так называется один из ранних романов Константина Паустовского. Но здесь определение «блистающие» — вовсе не поэтическая метафора, хотя внешне и носит все её признаки.

В самом романе автор о блистающих облаках говорит всего дважды, в самом начале: «Стояла ледяная и горькая осень. По ночам ветер шумно тряс над дощатыми крышами гроздьями стеклянных звёзд. Огородные грядки были посыпаны крупной солью мороза. Пахло гарью и старым вином. А в полдень над горизонтом розовым мрамором блистали облака». И в самом конце произведения: «Над угрюмыми дымами блистали облака. Они казались праздничными среди этого косматого утра. Их блеск проливался на город воспоминанием о жаркой, неизмеримо далёкой стране».

Блистающие облака — это принятый и узаконенный учёными метеорологический термин. Иногда эти облака называют также серебристыми или светящимися. Недаром Паустовский предпослал своему роману эпиграф из учебника метеорологии: «Блистающие, или светящиеся облака наблюдаются очень редко. Их часто принимают за ненормально яркие зори. Они слагаются из мельчайших частиц вулканической пыли, носящейся в воздухе после сильных катастрофических извержений».

Но это не единственное объяснение природы блистающих облаков. Учёные в течение нескольких десятилетий после того, как в 1885 году необычные облака впервые были замечены (вслед за извержением вулкана Кракатау), выдвинули новые предположения о их природе. Так, некоторые специалисты-физики, уточняя внешние особенности этого явления природы, писали, что оно представляет собою ночные светящиеся облака стратосферы, что они не ослабляют света звёзд и появляются на высоте 80–85 км, при этом движутся с востока на запад со скоростью 40–60 метров в секунду. И высказывали гипотезу о том, что скорее всего это кристаллические ледяные облака.

Но только в последнее время, с помощью ракет, была установлена, наконец, истина. Первыми обнаружили её советские исследователи, открыв, что блистающие, или серебристые, облака — это довольно плотные образования, примерно в тысячу раз плотнее окружающих слоёв воздуха. В вертикальном столбе их оказалось 80 миллиардов частиц вещества. Частицы эти состоят из мельчайших космических пылинок (а не вулканических!), диаметром от 0,2 до 0,5 микрона. При этом каждая пылинка покрыта прозрачной корочкой льда, потому что на высоте около ста километров эти частицы космической пыли становятся своего рода ядрами, вокруг которых сгущаются рассеянные в верхних слоях атмосферы пары земной воды. Изыскания советских ученых подтвердили американские и шведские исследователи.

Такова истинная природа блистающих облаков, представляющих собою соединение космического вещества с земным.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

В одном из своих ещё дореволюционных рассказов — «Воробьиная ночь» — Ал. Серафимович описывает летнюю грозу на реке, через которую десятилетний мальчик — подручный паромщика — один должен переправить на другой берег тяжёлый паром. Кромешная тьма, частые и сильные вспышки молний, грохочущий гром, бурлящая от сильного ветра река и, в довершение всего, разбуженные стихией и поднятые ею со своих гнёзд беспорядочно летающие воробьи — всё это наполняет душу маленького героя рассказа ужасом и тревогой: «Воробьиная ночь...» — в отчаянии думает мальчик.

Но почему же именно «воробьиная»?

В самой ранней своей повести «Романтики» Константин Паустовский даёт ещё более, чем у Серафимовича, своеобразное описание такой ночи: «Я боялся воробьиных ночей, когда небо струилось молниями, будто чёрные птицы били в испуге сотнями фосфорящихся крыльев. Зарницы ручьями низвергались на землю, воробьи падали в пыль, открывали клювы, пищали и умирали от жажды. Воробьиная ночь проносилась без капли дождя. Утром помятая степь дымилась гарью, и часто колотилось сердце».

Словари обычно определяют «воробьиную ночь» как самую короткую ночь в году с грозой, дождём, ветром и частыми вспышками молний. Но у Паустовского она — без дождя. Впрочем, и Серафимович пишет в своём рассказе: «Сверху на опрокинутое дно лодки упало несколько крупных капель, и вдруг дождь забарабанил громко и часто, да сейчас же и перестал». Следовательно, дождь в воробьиную ночь явление необязательное или непостоянное. Зато в обоих описаниях — у Серафимовича и у Паустовского — летают разбуженные воробьи.

М.И. Михельсон в своём уникальном двухтомном труде (фразеологическом словаре) «Русская

мысль и речь» определяет «воробьиную ночь» как «тёмную, бурную, с сильной грозой (пугающей воробьёв в их гнёздах)» и относит её к осеннему равноденствию, в противовес В.И. Далю, который отождествляет «воробьиную ночь» с самой короткой ночью весеннего равноденствия (на севере — 21 марта).

И.С. Тургенев главным признаком её называет непрерывную молнию, в повести «Первая любовь» он пишет: «Я встал, подошёл к окну и простоял там до утра. Молнии не прекращались ни на мгновение, была, что называется в народе, «воробьиная ночь».

Взятое из народного языка, это прозвание включает в себя три основных признака: 1) краткость и интенсивность грозы и сопутствующих ей ветра и темноты; 2) испуганных стихией летающих воробьёв и 3) тревожное душевное состояние наблюдающего это стихийное явление природы или застигнутого ею. Первый (краткость, частота как «воробьиный скок») и второй признаки, вероятно, и определили это прозвание. Впрочем, с «воробьиными» темпами связана и душевная тревога — учащенное биение сердца: недаром у Паустовского «утром... часто колотилось сердце».

А.П. Чехов использовал метафору «воробьиная ночь» в своей повести «Скучная история» в переносном значении (таким образом придав как бы двойную метафоричность этому прозвищу). Герой повести, старый профессор говорит: «Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождём и ветром, которые в народе называют воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни». А дальше, чтобы подчеркнуть иносказательный характер метафоры, заключённой в этом образном народном прозвище, перенеся его прямое значение в область психологического состояния, рассказчик приводит подробное описание погоды в тот момент, когда он переживает свою «воробьиную ночь»: «Я быстро зажигаю огонь, пью воду из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и ещё чем-то очень хорошим... Тишина, не шевельнется ни один лист».

У нашего земляка, писателя А. Алдана-Семёнова в его маленькой повести «Азин» есть такая фраза: «По чёрному, круто изогнутому горизонту, всё ярче играли сполохи пока ещё бесшумной воробьиной грозы». Как метонимия, такое прозвание грозы совершенно неоправданно потому, что создаёт новую, очень неудачную метафору. Кроме того, сполохи не предвещают воробьиной ночи, так как ещё не указывают на существенные отличительные признаки грозы во время воробьиной ночи: летающих воробьёв, краткость и интенсивность самой грозы и душевной тревоги.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

В сборнике стихов «Дождь и солнце» кировской поэтессы Тамары Николаевой, вышедшем в 1964 году, есть стихотворение, начинающееся словами: «Дождь и солнце! Это грибные дожди». И далее:

Под смеющимся тёплым дождем
 Много-много с тобой мы грибов наберём...

 Нам надо спешить,
 Пока солнце и дождь!

А между тем дождь при солнце отнюдь не называется грибным дождем. Наоборот, грибной дождь идёт из затянутого серыми низкими тучами неба, чаще осеннего. «Смеющимся» его тоже никак нельзя назвать. В «Золотой розе» Паустовский даёт подробное, очень поэтическое и очень точное его описание: «А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно... Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком...»

Названий дождей в народе бытует очень много. Паустовский приводит такие, например: «дожди морозящие, слепые, обложные, грибные, спорые, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни)».

У рязанского поэта (но уроженца Вятской земли) Бориса Леонтьева в посмертном сборнике стихов «Русская песня» есть стихотворение «Дождик», представляющее собою так называемую «развёрнутую метафору». Приведём его целиком:

Дождик седенький прошёл по селу.
 Каждой девушке дарил поцелуй.
 Но спешили они, прочь уходя
 От непрощенных подарков дождя.
 «Не целуй ты нас, не трогай, старик,
 Непонятен нам твой глупый язык!
 Что бормочешь ты, чужак, о любви,
 Посмотри-ка на лохмотья свои!...»
 ...Ни приюта не нашёл, ни тепла
 И обиженный поплелся из села.
 За пожарной каланчой исчез,
 Лапоточками прошлёпал в лес.

Здесь легко узнать **полосовой дождь** — со всеми его признаками: полосой он прошёл по селу, потом ушёл в лес. Обычно народ считает его бедным

дождем, так как он идёт не сплошь, а лишь полосами, порождая досаду — в одном месте помочил, а другое оставил сухим. В этом стихотворении выражено всё это символически: девушки не принимают подарков дождя, с досадой отвергая их, указывают на его бедность, на лохмотья и т. д.

Поэты вообще часто пишут стихи о дождях.

У покойного Кировского поэта Алексея Мильчакова, который тоже любил писать стихи о дождях, они или прямо называются собственными им народными прозваниями («Дымящегося ливня прямо на нас обрушилась стена...»), или даётся краткое, но выразительное описание, по которому легко узнать и его прозвание, например:

И, охватив район широкий,
 На душевные луга, сады,
 На нивы хлынули потоки
 Прохладной пенистой воды.

Вы легко узнаете в этом описании тот же ливень, хотя он и не назван.

Ну, а как же называется дождь при солнце?

Это и есть слепой дождь. Это светлый и тёплый дождь, но отнюдь не «смеющийся», как это сказано в стихах Т.Николаевой, К.Паустовский в «Золотой розе» пишет о нём: «О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слёзы. А кому же плакать такими сияющими слезами, как не сказочной красавице царевне!»

В художественном произведении точность определений, наименований и дат необходима так же, как и в научной статье.

В своё время Л.Н.Толстой утверждал: «Как ни странно это сказать, а искусство требует ещё большей точности, precision, чем науки». Сам он был скрупулёзно точен в своих произведениях, даже там, где дело касалось такой, казалось бы, мелочи, как указанные даты: в «Смерти Ивана Ильича» вдова героя повести помещает в газете объявление о дне смерти её мужа 4 февраля 1882 года. Тут же указано, что вынос тела состоится «в пятницу в час пополудни». Если справиться по календарю, то окажется, что 4 февраля падало в 1882 году на четверг, следовательно, объявление появилось накануне выноса, т. е. вовремя.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Анастасия ЦВЕТАЕВА

МОЯ ТАРУСА

Что же сказать тебе, Женечка, друг мой, обо мне и Тарусе? Станным образом прославленный внегородской воздух — да ещё осень — мне — он качает меня, что ли: ощущение слабости — перед мощью. <...>

Я ступаю по клавишам — подумайте, поют ещё! — боли. Иду царством детства — тропинками меж косогоров, холмов, тот же родник течёт, пересекая разливом дорогу, — тут с мамой, идя от Добротворских домой в своё лесное гнездо, пили воду, источнику подставив ладонь, искали камни — с кристаллами. Нет, не старчески медленным, замедленно-призрачным шагом. С того света! Легко иду — призраки легко ходят. А в старинной шарманке груди — ноктюрн? похоронный марш? В летний полдень! Лунные сонаты воспоминаний, слившихся в волчий вой, беззвучный. Совершенно неслышно вою. Ибо кому повем? Не найду глазом Мусатовскую могилу с знаменитым каменным телом разбудившегося отрока руки Матвеева — его аллегория ясной ясной. <...>

Почему я иду здесь? Я ведь пошла на почту. <...> Но с хребта горы, даже не остановясь, чтоб дать голове подумать, ноги повернулись вправо, привычной дорогой к даче — лесному гнезду детства и юности, дому, которого уже нет — как и их. Иду — и двойная боль: что я здесь в 73, где бежала в 7, в 13, в 15 — зацветая! (Всё — процвело). И что иду — без Тебя! <...>

Кончилось! Ниже, затмевая Оку, полупрозрачный облетает кустарник. Таёт и он. И опять — гладь, блистая, сужается: к Улайскому повороту, где Ока поворачивает — к Алексину, к местам блаженной Евфросиньи Колюпановской (некогда — княжны Вяземской). Её источнику более 130 лет. Стою, занемев, литого золота купола — рыжая и жёлтая россыпь берёз, наклонилась над холмиком — в детстве мы звали его «бугорок». Вход в нашу холмистую рощу.

Больше — ни шагу! Назад! От пустоты над руинами снесённого дома. Я повернула к Тарусе, я иду, перекинув горе в другое русло, называющееся — «Почему Тебя нет со мной!?» <...>

Я дошла до почты, сняла свитер, пиджак, выстояла очередь, отправила бандероли, написала письмо-мемо сыну с невесткой и, когда оглянув полузнакомую (изменённую, но и ту же) с отрочества почтовую комнату, где была почта и в мои 13–15 лет, вышла — солнца нет, в небе белый сумрак, в нём и речка, и всё, что над ней, стало тусклым и пепельным перламутром. Медленен путь всё теми же детскими улочками, где ходили к Добротворским и к Тью больше полвека назад — те же камни и те же ворота, разросшиеся деревья, новые люди и, невидимые, во мне тени исчезнувших. Лёрин сад на холмах, и рядом длиненький — Алин. Осень убрала кусты, берёзы, липы, рябины в красные и ржавые цвета. Поздние мелкие лиловые астры звёздочками на высоких сухих кустах, такие мне корешками прислала 15 лет назад в Сибирь Лёра, и они цвели возле моей избушки тогда пожизненной ссылки. Всё прошло и проходит как сон.

Вхожу в старую (вязь прутьев, дощечек, железок) калитку, скоро наследница Лёры, вдова брата нашего, Евгения Михайловна сменит её на новую, в её руках оживёт некогда ухоженное владение, старости ради уже десятилетия запущенное. Слева — овраг. В него падают и падают жёлтые листья. У края оврага — на столбике умывальник; окна в низкий дом; у входа беседкой качает ветер длинные ветви крупношестелестящего дикого винограда, розовый и малиновый пурпур. Белый с тигровым кот Лёрин, в

МП: Письмо Анастасии Ивановны Цветаевой к её ближайшему другу, поэту и переводчику Евгению Филипповне Куниной было впервые опубликовано в тарусской газете «Октябрь» 1 октября 2004 г. к 110-летию

со дня рождения писательницы. Подготовили публикацию Г.К.Васильев и Г.Я.Никитина. Письмо было написано под впечатлением поездки 1967 года в Тарусу — обетованную страну безоблачного детства сестёр Цветаевых.

морозе вынесший зиму, хозяйственный уют, сковорода котлет из свежей рыбы, керосинка, электроплитка, запах яблок, силуэт новой хозяйки в солнечных бликах террасы.

Сию на лавочке на самом краю Лёриного сада, высоко над Окой. Одна. Вправо — изгиб голубой, бледней и туманясь. Этюд — пастелью, но всей пушистости, хрупкой нежности её средств не хватило бы — догнать эту даль. Влево — свинцовая синева. Этюд маслом. Жирным мазком рыжие пески крутых спусков далёкого берега, светлая песчаность мели, яркий излом парама — всё до предела воплощено. Шла я сюда краями оврагов, обнесённых плетнём, их глубь темнела бездонностью мощи близоруким глазам, и из тьмы дна высились тонкие стебли берёз, облетевшие привиденья рябин с тёмно-красными гроздьями. Трепет более близкой, мощной берёзы плакучей соткан из тёмного золота и солнечного света. Рядом другая пониже, моложе пестрит желтизной и зеленью. За ними — укором — совсем зелёная, кое-где лишь обрызгана реденькой позолотой и робкой рябью — как рисунок ребёнка. А над ними всех выше по косоугору — берёза плещет ветви литые из золота, только чуть окропленные зелёным, редко и робко, той же детской рукой. Небо за тёмной позолотой берёзы и меж её веток — лилово, а за светло-зелёной — синева. Листья в кадках с чёрной водой лежали совсем воздушно, едва касаясь поверхности, но была в них недвижимость столетий, так тих был день.

* * *

В этом доме, без Лёры и Сергея Иасоновича, я гощу.

Три дня и три ночи стояла в задней холодной комнате (тут он не раз меня с внучками моими укладывал) урна Сергея Иасоновича, которую я, получив наконец от его племянника (похож как родной сын), везла в коленях в кожаной хозяйственной сумке. Я хотела урну на комод в жилой комнате, Евгения Михайловна унесла её. В комнатке было темно. Я украдкой от неверующего глаза Евгении Михайловны входила, крестила и целовала урну старого доброго хозяина дома, ещё раз его посетившего год и 9 месяцев спустя смерти. Сегодня мы втроём — Евгения Михайловна, сосед-работник и я похоронили её в могиле Лёры. Евгения Михайловна несла лопату и сумку с корнями цветов, работник — выкопанные ростки розы-рогозы с землёй и воду в лейке, я — урну. Я подержала её, обняв ладонями, на коленях, пока рыли яму — белая, формы как цветочный горшок, обведённая серым по кругу краю — печать непроницаемости, вечность.

Высокий, плотный, русо-рыжеватый в молодости, весёлый сквозь застенчивость и до крайности деликатный — и согнувшийся, серебряный, тихий в старости, всё с тою же сдержанной деликатностью встречавший каждого к ним входившего — к нему и к той, ему с юности непререкаемой — ни в одном желании и сдержанно-бурной, неоспоримой ни в одном своём, своенравной и волевой, как в

юности жене. Ласково изменив её имя, он звал её *Le roi* (король — *фр.*), и она так подписалась в последнем письме к нему из больницы в день отправки и его в другую больницу, которое он едва ли смог — и по мозговым изменениям своим и по её дрожащей руке, прочесть. Пятьдесят семь лет вместе! Срок золотой свадьбы — и ещё 7-летний библейский срок. И простясь с ней в январе 1966, он сходит в этой урне на землю, покрывшую её гроб. Мой спор глубже копать не 50 см, а 70 — сводит его всё ближе к крышке, покрывшей её голову. На 7 месяцев переживший её. Передаю урну. Наклоняюсь, крещусь и крещу горсть земли в ладони, и маленький крестик натальный вставлен в землю, скрывшую урну.

Шли назад мимо кладбищенской рощи, неподвижной в безветрии, золотой, в бледной лазури вечера она казалась червонной. Над Окой стоит невероятная глазу, почти итальянская — как помню молодую Лёру в Италии! — синева. Лёрин дом, некогда ею из утиля собранный (ушли сюда все драгоценности её любования, кроме одного золотого браслетика с сапфирами, ею подаренного Инне, дочке нашего брата Андрея и Евгении Михайловны в день защиты её диссертации по защите растений, и камня, украденной, вероятно, в день смерти Лёры, — сторожем). Дом перешёл по её завещанию к матери этой Инны, Евгении Михайловне — что верно, т.к. Инна бы его — продала. В этом доме я гощу и прогощу до отъезда Евгении Михайловны (гласно — по её приглашению, негласно — *п<отому> ч<то>* ей вечерами и ночью сумно одной далеко от дороги).

Душевно пишу тут двойным пером — то окуная его в необозримую обиду их исчезновения, в незабывность их жизни здесь, то — в некое подобие уюта ещё жить тут, в их запахах, яблоках, холмах и оврагах их уж 2-ой раз без них облетающего сада, в тепле их печек, вкуса их печёных и душистых сырых яблоков, в боли класть вишенку и ложку на клеёнку, Лёрой по всем 4-м сторонам разрисованную — букеты в кругах, кропотливый труд писать — сушить масло, отходя любоваться, менять. Край этой клеёнки Евгения Михайловна вчера — пережила скорбью это и Аля со мной — дёрнула, отдирая от неё парадную, сверху положенную, не кручинясь — а какая бережливая хозяйка! — без единого оха! На другое бережливая! — отодрала длинный узкий кусок живой клеёнчатой ткани, к счастью, не задев Лёрой написанный! Попросить себе эту клеёнку я не решилась — от ложного м. б. стыда быть заподозренной в жадности к вещи. Попросила сменить Лёрин синий с розовым чайничек на мой красный с белым, случайный. Увезу. Дала дамскую сумку Лёрину, тёмно-синюю с неясным мерцанием серебртости — Евгения Михайловна не стала бы её носить. Но есть ещё, Женечка, две вещи, жалобные вне мер. Аля, соседка Евгении Михайловны, Маринина дочь... мечтает о расширении — хоть немного — участка, эта мечта в руках Евгении Михайловны. Это дало бы ей «выход к Оке» — выход на холм, на нём лавочку «над вечным — Левитановским покоем». Эту мечту ей Ев-

гения Михайловна не исполнит. Отказала в берёзе у входа — отвела её забором — себе: «У меня дочери, они тоже любят берёзы!» — Но, ведь, не ствол же — на дрова же не срубите! А ветви — они же в небе, Божье дело, ничья красота! И если ей так хочется — «Оставь, не отдам!».

И ещё — Лёрин кот! С собой не берёт, хоть Инна просила кошку. Оставляет. Но кот — герой. От соседей, куда отдавали, — ушёл! (из Москвы бы ушёл тоже!). Зимовал у соседей на сеновале, ел где давали. Зимой выжил. Весной встретил Евгению Михайловну — у двери: кот — домовый. Остаётся в осеннем саду и — скоро запрётся — дома, у остывших печей, отданных морозу цветов. Вещи сложены. Сегодня был дождь.

Женечка, один зов, сердечный: никогда более не приехать в Тарусу. Увезти её в сердце — с собой.

А. Ц.

Внезапно, в 41 год — дар к живописи, удивленные друзей-художников, — цвет! свет!.. Споры: один — «Бросьте всё, начинайте учиться!». Другой — «Ни за что не учитесь: академизм всё душит — идите своим путём!».

Взволнованное одобрение Марины — на посланные ей миниатюрные пейзажи Тарусы, Оки, нашей старой дачи (по памяти!) «я дала окантовать их и повесила на стене» и неповторимые её слова о какой-то особенности моей в цвете, её восхитившей, и что-то маме, о глазе любви в памяти моей к местам детства. И я помню, как я, дрожа при расставании, вкладываю самый любимый рисунок Песочного: лестница, столбы балкона (там писал свою осень Борисов-Мусатов), кусты сирени, крыша и тополя и лиловатость теней и блёклое золото солнца. <...>

Таруса, Таруса...

Надежда ВИНОГРАДОВА

АНАТОЛИЙ КОРНЕЛЬЕВИЧ ВИНОГРАДОВ

Отец мой, писатель Анатолий Корнельевич Виноградов, принадлежал к плеяде тех целеустремлённых, искренних и активных интеллигентов, которые так много сделали для возрождения нашей отечественной культуры в начале XX столетия. Жизнь его не была лёгкой. Насыщенная неустанным трудом, почти непрерывным преодолением препятствий, она протекала бурно и напряжённо. Анатолия Корнельевича Виноградова больше знают как писателя, автора исторических романов «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», «Стендаль и его время». Менее известен он как учёный-исследователь, литературовед, переводчик, собиратель, организатор библиотечного дела Румянцевской, впоследствии Ленинской библиотеки. Совсем не известен он широкой публике как библиофил, один из учредителей Русского общества друзей книги (РОДК), как дипломат и даже лётчик. Хотя в своей писательской и научной деятельности он соприкасался со многими известными людьми, такими как Анатолий Васильевич Луначарский, Игорь Эммануилович Грабарь и Алексей Максимович Горький, с которым вёл постоянную переписку. Именно Горький писал предисловия к его книгам. О жизни Анатолия Корнельевича существует весьма мало публикаций. К ним можно отнести лишь вступительные статьи к «Избранным произведениям», появившимся в 1960–1987-х годах, статью писателя Евграфа Кончина «Уполномочен принимать все меры» в Альманахе библиофила (1980), его же книгу «Эмиссары восемнадцатого

года» (1981) и статью Абрама Ирлина «Малоизвестные страницы жизни и творчества Анатолия Виноградова» в сборнике «Невский библиофил» (1997). В своей статье Ирлин приводит очень точное высказывание Виктора Шкловского о моём отце: «А.К.Виноградов имел очень тяжёлую литературную жизнь. Он — писатель недооценённый, его придётся раскапывать и восстанавливать». Я тоже далеко не достаточно знала своего отца, поскольку судьба разъединила нас, когда я была ещё ребёнком. Однако всё то, что было связано с ним в мои детские годы, ярко запечатлелось в памяти.

Для того, чтобы дать большее представление о творческой личности отца, начну с его биографии, известной мне как по литературным источникам, так и по рассказам моих близких — мамы, бабушки, сестры отца — моей тётки.

Анатолий Корнельевич родился 9 апреля 1888 года в селе Полотняный завод Калужской губернии, которое принадлежало семейству Гончаровых (не удивительно, что крёстной матерью новорождённого стала Екатерина Дмитриевна Гончарова, племянница Натальи Николаевны Пушкиной). И отец и мать его были учителями. Отец преподавал математику, мать — русский язык и литературу.

МП: Публикуем материалы о семье Виноградовых, так много значившей для культурной жизни Тарусы. Об известном писателе Анатолии Корнельевиче Виноградове вспоминает его дочь Надежда Анатольевна; она приводит

целый ряд малоизвестных фактов из его биографии. А о самой дочери, продолжающей культурно-просветительские традиции семьи, рассказывает писательница Татьяна Мельникова, давно знакомая с Н.А.Виноградовой.

Вскоре после рождения сына семья переехала в Тарусу, где ими был выстроен дом, посажен красивый сад и заведено хозяйство. Когда семья Виноградовых переехала в Москву, Таруса продолжала оставаться родным домом, куда все съезжались летом. Корнелий Никитич (так звали деда) стал преподавать в различных московских учебных заведениях и в первые советские годы организовал в Тарусе «взрослую школу», сыгравшую немалую роль в просвещении уезда; впоследствии он был удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР». Надежда Николаевна (так звали мою бабушку) открыла в Москве собственную школу — маленький домик рядом с теперешним Музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (этот дом с именной табличкой существовал и тогда, когда я стала совсем взрослой).

Вскоре родилась в семье Виноградовых и дочка — Нина, красивая, отважная девочка, будущая певица с прекрасным контральто. Началась московская жизнь. Анатолий был принят в Московскую классическую гимназию, которую окончил в 1906 году. Уже в гимназические годы проявились его литературные способности. Он начал писать стихи и делать переводы. Особенно нравился ему Мицкевич. Надежда Николаевна, урождённая Гумилевская, была полькой, и Анатолий рано выучил польский язык. Но и другими европейскими языками он овладевал легко и быстро. По окончании гимназии отец мой поступил на физико-математический факультет Московского университета. Однако через два года понял, что ошибся, и перешёл на историко-филологический факультет, который окончил в 1912 году с дипломом первой степени. Ещё студентом он начал бесплатно сотрудничать в Румянцевском музее (в том прекрасном здании, выстроенном Баженовым, которое сейчас в таком запущенном виде возвышается над Моховой улицей). По окончании университета его зачислили туда же на должность помощника библиотекаря. Тогда он и не предполагал, что вскоре станет директором этого музея. Ещё со студенческих лет отец был членом «Общества свободной эстетики», объединявшего поклонников нового искусства. Здесь он завязал новые знакомства и подружился с поэтом Эллисом, сёстрами Тургеневыми, поэтом, а впоследствии священником Сергеем Соловьёвым. Круг его литературных интересов привёл его в 1909 году в Ясную Поляну, где он трижды беседовал с Львом Николаевичем Толстым. Об этих встречах он потом написал в предисловии к книге «Шейх Мансур».

В 1913 году его посылают в научную командировку в Италию, Францию и Австрию, где он работает в архивах. Увлечённость творчеством Стендаля и Байрона определила его дальнейшую писательскую судьбу и ярко отразилась впоследствии в его книгах.

Научные планы отца нарушила Первая мировая война. В 1915 году его призвали в действующую армию, и он два года прослужил санитаром во Второй кавалерийской дивизии. Лишь в 1917



Анатолий Корнельевич Виноградов, 1942 г.

году, получив тяжёлую контузию (и георгиевские отличия за храбрость), был демобилизован и вернулся в Румянцевский музей, где стал работать учёным секретарём.

Началась новая полоса его жизни уже при советской власти. Отец попутно со своей работой был назначен заместителем заведующего библиотечным отделом Наркомпроса. Теперь уже ни одно библиотечное мероприятие не обходилось без его участия. Он работает также и как член Комиссии при Моссовете по охране памятников старины и художественных сокровищ. Огромная и очень трудная работа велась им по спасению и приёму брошенных усадебных библиотек. «Анатолий Корнельевич, — писал уже позднее в 1924 году П.П.Малиновский (народный комиссар имуществ республики), — был первым из весьма немногих в то время интеллигентов, пришедших добровольно на помощь советской власти. Он оказал неоценимые услуги как по сохранению Румянцевского музея, так и по охране вообще московских культурных ценностей, увлекая своим примером товарищей по специальности». Из брошенных старых усадеб отец на лошадях и телегах вывозил книги, картины и гравюры, спасая их от расхищения. Каждая из книг и картин, пополнявшая Румянцевский музей, тщательно учитывалась им и фиксировалась. Порой он и сопровождающие

его учёные находили библиотеки уже разграбленными. Так, например, было в усадьбе Корсаковых в селе Тарусово. Пришлось собрать крестьянскую сходку, где отец объяснил крестьянам значение для народа культурных ценностей и обратился к ним с пламенным призывом помочь культуре страны. Этот призыв оказал свое действие, и расхищенные книги были возвращены.

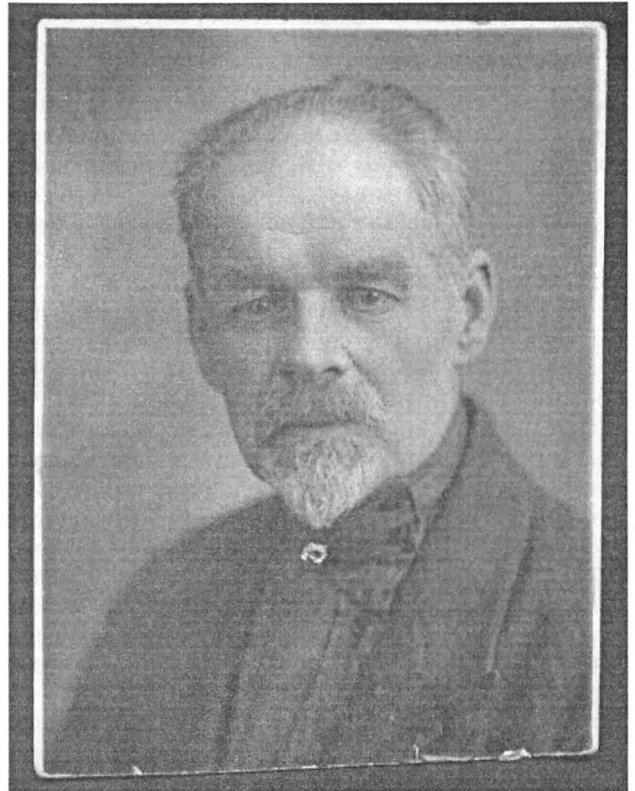
В 1918 году, после подписания Брестского договора, отцу как члену коллегии Народного комиссариата имуществу респубки поручили работу по спасению культурных ценностей от притязаний кайзеровской Германии. А в конце 1920 года направили в качестве эксперта в Ригу для участия в мирных переговорах с Польшей. В состав делегации входили также академик С.Ф.Ольденбург, художник и искусствовед И.Э.Грбарь. Вместе и порознь они написали ряд статей, опубликованных в рижской газете «Новый путь». В их числе была и статья, посвящённая судьбе дневника Пушкина.

По возвращении из Риги в 1921 году отца назначают директором Румянцевской библиотеки, выделившейся из музея и впоследствии переименованной в библиотеку имени В.И.Ленина. В личной судьбе отца также происходят перемены. В 1919 году он женится на моей матери — Елене Всеволодовне Козловой, молодой сотруднице Румянцевской библиотеки. В 1921 году у них родился сын Юрий (22-летним юношей он погиб на фронте), а в 1923 году в Тарусе летом родилась и я. Времена были суровые, и мама несла меня из родильного дома в простой бельевой корзине с ручкой. Тогда и состоялось моё первое знакомство с братом, который вышел навстречу и спросил: «Аличка, что несёшь, неужели сестричку?». Это первое свидание положило начало нашей долгой и большой дружбе с братом, моим рыцарем, защитником и покровителем.

Настала пора рассказать и о Тарусе, где я родилась и выросла, которой обязана своими детскими впечатлениями, навсегда врезавшимися в память. Сейчас все восхищаются Тарусой, но в те далёкие времена она была гораздо уютней. Городок этот, расположенный на высоком берегу Оки, был тихим, очень цельным, и от него, как и от многих русских провинциальных городов, веяло миром и покоем. Отец страстно любил Тарусу, любил семейный дом и тосковал по нему, даже живя в Италии. В Тарусе, волею судеб, поселилось много людей высокой культуры. Отец дружил с Мариной и Анастасией Цветаевыми, семьёй Некрасовых (бывших инспекторов московских гимназий), врачами Добротворскими и особенно с Василием Алексеевичем Ватагиным, добрым гением нашей семьи, талантливым художником и скульптором-анималистом. По соседству с нами каждое лето жил и пейзажист Крымов. Бывали в доме Бальмонт, Алексей Толстой, сёстры Крандиевские...

Наш тарусский дом был одним из центров культурной жизни города. Это было просторное бревенчатое строение с мезонином и густым садом. Он и сейчас стоит на высоком берегу Оки

напротив Воскресенской горы, над вечно журчащим источником (моя тётка Нина Корнельевна продала его после смерти отца писателю Н.Богданову). Но всё же несколько лет тому назад тарусские власти открыли на нём мемориальную доску в память о моём отце. Сейчас дом выглядит облезлым и печальным с дурацкой керамической пристройкой. А тогда — в моём детстве — он казался мне, да и в самом деле был, наверное, удивительно красивым. Недаром Ватагин так часто писал его. Дом весь был наполнен жизнью. В большой комнате стояло пианино, на котором играли и пели. И Нина Корнельевна, и приходившие к ней молодые подружки. Над столом, покрытым персидским ковром, висела старинная керосиновая лампа с огромным стеклянным абажуром. На полках по бревенчатым стенам были расставлены народные игрушки: смешные «дамы и гусары», керамические обливные куманцы. Стены украшали прекрасные ватагинские картины, пейзажи и портреты отца и Нины Корнельевны за роялем. Но самым притягательным местом была печка, белёная и расписанная двоюродной сестрой отца и тётки художницей и основательницей Тарусской вышивальной артели Маргаритой Гумилевской — огромными синими вазами с яркими декоративными цветами. За окном стояли липы, а из окон открывался вид на далёкий лес Улай и белые строения усадьбы Поленовых. Ветки жасмина прислонялись к окнам застеклённой террасы, выходящей в сад, голубела привезённая Ватагиным из Персии ель, и в глубине сада среди грушевых и



Корнелий Никитич Виноградов, отец писателя

яблоневых деревьев стояли ульи с пчёлами, которых на зиму закрывали в утеплённый сарай — омшаник.

Надежда Николаевна, моя бабушка, была человеком далеко не заурядным. Она организовала тарусскую библиотеку и театр, где шли как оперные, так и драматические спектакли. Помню, как ставили «Снегурочку» Островского, и Нина Корнельевна пела арию Леля. Сохранилась её прелестная фотография, где она сидит на дереве в лаптях, косоворотке, со свирелью в руках и в венке из цветов на голове. Местные жители с охотой участвовали в этих спектаклях, как в качестве зрителей, так и актёров.

Отец приезжал в Тарусу не на всё лето, так как всегда был очень занят. Каждый его приезд был большим праздником для нас, детей. Мы часто встречали на пристани белый пароход, который почему-то всегда, не доплывая до места, садился на мель. А когда он всё-таки появлялся, счастью не было предела. Отец привозил разные интересные книги и часто читал нам вслух. Особенно любил он читать стихи и помнил наизусть многие. Он первый приобщил нас к поэзии и научил понимать Блока и Маяковского. Помимо чтения, с его приездом были связаны походы за грибами, прогулки по замечательным тарусским окрестностям и катания на лодке. Особенно запомнились поездки на Барановские мели за цветной глиной, из которой потом все лепили разные фигуры.

Но и в Москве жить тоже было интересно. Наш дом на Моховой примыкал к территории Ленинской библиотеки. Он располагался на том месте, где сейчас метро Боровицкая. Большая наша квартира казалась нам целым миром. Там был кабинет отца, где он работал почти всегда ночами (мимо него мы пробегали, стараясь не шуметь), столовая со старинными портретами на стенах, наша детская, бабушкина комната и таинственная тёмная комната, где кошка всегда рожала котят. Рядом с домом был большой и густой сад с кленовой аллеей, занимавшей половину Моховой улицы. В этом саду мы проводили всё свободное время. Иногда в нём появлялась фигура отца, идущего с работы, и мы бежали к нему навстречу. Он казался нам хозяином этого чудесного мира.

В 1925 году отец заболел и ушёл с директорского поста, сохранив за собой руководство научным отделом библиотеки. С этого времени он полностью посвятил себя литературной деятельности. В 1928 году вышла его книга «Мериме в письмах к Соболевскому», за которую ему дали Академическую премию и избрали членом Общества любителей русской словесности. В этом труде, как о том писал академик Е.В.Тарле, «Виноградов не только обнаружил обширнейшую эрудицию, не только привлек самые разнообразные материалы, но с замечательной чуткостью, тонкостью и пониманием воскресил перед читателем целую эпоху культурной истории, первых двух третей XIX века».

В начале 30-х годов Горький также высоко оценивает работы отца. Он рекомендует издателям привлекать его к издательскому делу, как прекрасного знатока зарубежной литературы. «Виноградов мог

бы отлично написать историю французской литературы XIX века», — замечает он. А к вышедшей в 1931 году книге «Три цвета времени» Горький сам взялся написать предисловие, назвав её «замечательно интересной книгой». С тех пор он внимательно следил за писательской деятельностью отца, поддерживая его начинания и давая советы.

Я не могу в этом кратком сообщении перечислить подробно все работы отца. Их список слишком обширен. Назову лишь главные. Это вышедшие в 1936 году «Байрон» и «Осуждение Паганини», а также «Чёрный консул» — книга, навеянная стэндалевскими размышлениями об эпохе Наполеона, «Повесть о братьях Тургеневых» (1932), замечательных людей пушкинской поры. Я прекрасно помню, как вечерами среди друзей отец читал ещё не напечатанные главы из этой книги и как мы, дети, затаив дыхание, слушали и восхищались, многого не улавливая, но сознавая значительность этой рукописи.

Приходили в дом разные писатели и художники. Помню, как пришёл к нам в гости с большой палкой в руках Корней Иванович Чуковский, а мы спрятали эту палку, что вызвало большой переполох. Помню, как приходил талантливый импровизатор Зубакин и читал мгновенно созданные им сти-



Надежда Николаевна Виноградова, мать писателя

хи. Как я ни была мала, но и меня тогда поражала их музыкальность. Запомнилась только одна строка: «Вот мчится всадник, вот мчится вскачь, кровавым горлом трубит трубач».

Далеко не всё, что писал Виноградов, вызывало в те времена одобрение прессы. Его не только хвалили, но много — и подчас несправедливо — ругали. Ранимый и душевно очень уязвимый отец воспринимал нападки на него болезненно, но упорно продолжал работать. Более пятидесяти русских и зарубежных книг вышло под редакцией, с предисловиями и комментариями Виноградова. В 1939 году за свою литературную деятельность он был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 30-е годы жизнь Анатолия Корнельевича резко изменилась. Он развёлся с моей матерью и женился вторым браком, от которого у него родились два сына — Адриан, а позже уже в начале 40-х го-

дов — Клим. Отцу хотелось работать, хотелось расширить своё поле деятельности, и он, продолжая оставаться писателем, как в старые годы вновь надел военную форму и стал лётчиком-наблюдателем. Во время Великой Отечественной войны, несмотря на возраст, он совершает вылеты в тыл врага, публикует военные корреспонденции. За свои лётные заслуги получает звания — сперва майора, а затем подполковника и награждается орденом Красной Звезды.

Однако к концу войны обострившееся тяжёлое заблуждение, гибель старшего сына, отсутствие литературных заказов, семейные неурядицы, грубая критика романа «Хроника Малевича» (М., 1941) привели отца к депрессии, а затем и к самоубийству в 1946 году. Лишь много лет спустя в литературной среде вспомнили о нём, переиздали его книги и оценили творчество Анатолия Виноградова по заслугам.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

член Союза писателей Москвы

ДОЧЬ ПИСАТЕЛЯ

1

Оказывается, Константин Георгиевич Паустовский был крёстным отцом внучки Анатолия Корнельевича Виноградова. Историю про крестины рассказала мне дочь писателя Надежда Анатольевна Виноградова.

Её маленькую Танюшу крестили летом 1946 года в Звенигороде, за пять месяцев до трагической смерти Виноградова. Не случись этого, он непременно бы встретился, а может быть, и подружился с Паустовским...

В Тарусе Виноградовы ещё в конце XIX века построили собственный «коричневый деревянный дом с резными балконами, над которыми шумят деревья», как писала Анастасия Ивановна Цветаева в своих знаменитых «Воспоминаниях». А вокруг посадили прекрасный сад. Дом и сейчас стоит на высокой горе, «над кручей милого «Тироля», где протекает ручей». Цветаевы называли «Тиролем» или «Тарусской Швейцарией» чудесный вид, открывающийся из окон виноградовской усадьбы на Игумнов овраг... Но в 1958 году Нина Корнельевна Топольницкая, сестра Анатолия Корнельевича, продала дом писателю Николаю Владимировичу Богданову (1906–1993), автору многих книг о пионерах и школьниках, позже построившему рядом детскую библиотеку.

А Паустовский приехал в Тарусу в 1955-м и провёл здесь тринадцать последних лет, оказавшихся необычайно плодотворными...

Крестили внучку Виноградова в древнем, XV века, Успенском соборе «на городке», который расписывал Андрей Рублёв. Родители Танюши, поже-

нившиеся ещё студентами, снимали летом комнату под Звенигородом. Отец девочки Владимир Павлович Толстой был одноклассником и другом Сергея Михайловича Навашина, будущего академика, приемного сына Паустовского. И часто бывал в семье писателя в Лаврушинском переулке, где однажды и попросил Константина Георгиевича стать крестным отцом Танюшки.

Надежда Анатольевна вспоминает: «Время было трудное, послевоенное, в магазинах ничего почти не было, а мы только что закончили университет. И когда в 46-м у нас родилась Таня, все мне принесли пелёнки, марлю, какие-то детские вещишки. Очень скоро и молока стало не хватать, а тогда ведь не было никаких молочных кухонь для детей, как сейчас. Мы протирали овсянку через сито, размешивали с молоком — так и кормили ребёнка.

И когда к нам в Звенигород приехал Константин Георгиевич Паустовский с женой Валерией Владимировной Навашиной и состоялись крестины (крестной матерью была одна наша знакомая), Паустовские остались у нас ночевать, а у меня даже лишней простыни не было. И я спешно сшила три пелёнки — получилась простыня для гостей.

Валерия Владимировна была очень мила, Константин Георгиевич приветлив и деликатен. Но я бы не сказала, чтобы он потом много внимания уделял крестнице. Был занят своими делами, работой, а вскоре разошелся с женой, и ему уже было как-то не до нас...»

Анатолий Корнельевич назвал свою единственную дочь в честь матери — Надежды Николаевны Гумилевской. Благо, и другая бабушка — тоже Надежда: Козлова Надежда Дмитриевна. Отец дал

девочке имя символическое, светлое и радостное. Оно ассоциируется с любовью и верностью.

Дочь всю жизнь боготворит отца, предана его делам, просветительским традициям, его памяти — даже фамилию не сменила при замужестве. Она очень похожа на него не только внешне, но и талантами — писательским, исследовательским, а также невероятной трудоспособностью, неуёмной жаждой знаний. Надежда Виноградова — известный историк искусства, тонкий знаток стран Дальнего Востока — Китая, Японии, Кореи, Монголии, кандидат наук, ведущий специалист научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, автор 18 книг, написанных живо и занимательно. А также просветительских изданий для детей и юношества, выпущенных в конце 70-х годов: «История искусства древнего мира» (в соавторстве с Н.А. Дмитриевой) и «История искусства Средневекового Востока» (в соавторстве с Т.П. Каптерева). Участвовала и в создании многотомной «Всеобщей истории искусств».

Недавно вышли в свет сразу две её новые, богато иллюстрированные и прекрасно изданные книги: «Китайские сады» и «Хиросигэ» — о японском художнике Андо Хиросигэ (1797–1858). Книга «Китайские сады», над которой Надежда Анатольевна работала много лет — и у себя на родине, и подолгу живя в Китае, — получила золотую медаль Российской Академии художеств. Эта награда вместе с традиционной медалью «Достойному» и дипломом о присвоении звания Почётного академика Российской Академии художеств была вручена исследовательнице в марте 2005 года. Чёрная мантия на красной подкладке и чёрный четырёхугольный головной убор академика Надежде Анатольевне очень к лицу...

В московской квартире моей героини на рабочем столе теснятся стопки поэтических сборников, книг по истории, философии, архитектуре стран Дальнего Востока. Сколько всего надо знать! И, конечно, необходимо было изучить языки — эти непонятные, непостижимые иероглифы, которые, как я прочитала в книге Н.А. Виноградовой «Сто лет искусства Китая и Японии», нечто большее, чем обычное выражение мысли средствами письма, это своего рода говорящий орнамент. В книге рассказывается и о культуре современных Китая и Японии.

И только читаю
Тысячелетние книги,
Всё время, всё время
Вижу подвиги старины.
Тао Юань-мин (365–427)¹

На стенах уютных комнат с высокими потолками — картины, подаренные китайскими художниками: лирическая созерцательность и элегичность. Выполнены тушью и минеральными красками в стиле национальной живописи «гохуа». Есть ещё стиль

«сиян хуа» — западная живопись, выполненная масляными красками. Кстати, самая первая книга Виноградовой — «Китайская пейзажная живопись»; ранее этой увлекательной темой никто в России не занимался, так же, как и японской скульптурой.

Вижу и родные тарусские пейзажи — чудесные акварели и пастели Василия Алексеевича Ватагина (1883–1969), народного художника РСФСР, скульптора и графика, действительного члена Академии художеств СССР, «доброе гения нашей семьи», как о нём отзывается Надежда Анатольевна. Здесь и несохранившаяся, к сожалению, часовенка над Окой, и загадочный заокский Улай, и вальяжный кот Виноградовых по кличке Пуд, и красочная афишка-программка, на которой Ватагин изобразил живую сценку: босоногая деревенская девчушка в ярком длинном сарафане и большом платке, замотанном вокруг головы, кормит красавца-петуха. Такие программки (всегда разные) раздавались тарусской публике на постановках опер и спектаклей в Народном доме, основанном в 1915 году Василием Дмитриевичем Поленовым в бывшем соляном амбаре (ныне ул. Каляева, 3). В этих театральных представлениях участвовали и Поленовы, и Виноградовы, и Ватагины, и Гумилевские.

Великолепен пастельный портрет молодого Анатолия Корнельевича, никогда не публиковавшийся. И с особым трепетом написан портрет его сестры-певицы Нины Корнельевны за роялем. Она станет солисткой Большого театра.



Нина Корнельевна Виноградова, сестра писателя

¹ Здесь и далее перевод Л.Эйдлина.



Юрий Анатольевич Виноградов, старший сын писателя, 1941 г.

«У Марины началась новая дружба — не гимназическая: с Ниной Виноградовой; их связывала и Таруса; ...она была красива — прямоносая, синеглазая, с подрезанными над плечами волосами, каштановыми, прямыми. В её лице была отвага». (А.Цветаева. «Воспоминания»). Такой я и вижу сестру писателя на этом холсте Ватагина. Светлое юношеское чувство к Нине Корнельевне Василий Алексеевич сохранил до конца своих дней. И уже с трудом поднимаясь по узкой лестнице к её московской квартире в Ваганьковском переулке, шёл навесить друга юности и засвидетельствовать своё глубокое почтение.

А Надежда Анатольевна и Ирина Васильевна, старшая дочь Ватагина, — подруги детства. Драгоценные воспоминания: Ока, весёлые встречи, шумные ярмарки на Соборной площади, где продавали разные игрушки, куманцы (обливные кувшины), олады, нанизанные на ивовый прут, завязанный кончиками, — получался такой вкусный круг. Срывай и ешь. Запомнились и отдельные эпизоды. Например, как маленькая Ира спрашивала Надю: «Ты любишь болеть? Я вот очень люблю болеть, ведь можно целыми днями бегать по кроватям!».

Ирина Васильевна Ватагина (1924–2007) — живописец, художник-реставратор от Бога. Можно сказать, что она один из главных иконописцев и Москвы, и Тарусы. Участвовала в реставрации икон Андроникова и Данилова монастырей, а также Троице-Сергиевой лавры. Написанные ею для тарусского Воскресенского храма икона Боголюбской Божьей Матери и алтарные иконы — поистине шедевры.

По стопам матерей и дети пошли. Николай Ватагин — выпускник Московского художественного института им. В.И.Сурикова, уникальный живописец и скульптор, его работы привлекают пристальное внимание как на российских, так и международных выставках. Дочь Надежды Анатольевны — Татьяна Владимировна Толстая, крестница Паустовского, закончила МГУ, как родители и дед. Она — известный специалист по древнерусскому искусству, недаром её в древнерусском храме крестили. Кандидат наук, автор многих научных работ. Мать с гордостью показывает мне уникальную солидную книгу дочери — «Успенский собор Московского Кремля» с дивными фотографиями икон и фресок.

2

При встречах с Надеждой Анатольевной мы затрагивали и одну из давних, довольно-таки невнятных историй, касающуюся Анатолия Виноградова и сестёр Цветаевых.

Как известно, А.К.Виноградов был директором Румянцевской библиотеки с 1921-го по 1925-й год. Должность ответственная и нелёгкая, доставившая Анатолию Корнельевичу немало хлопот и неприятностей. Наверно, многим вспомнится очерк Марины Цветаевой «Жених», где она талантливо, ярко, я бы сказала — яростно, едкими красками, рисует образ молодого директора Анатолия Тихонравова, в котором все, конечно, узнают Анатолия Виноградова. «...глаза: совершенная вода без ничего, кроме первого впечатления честности. Честная голубая вода. Нестерпимо-честная. На вас глядели два честных пустых места... С водой жених ещё был связан местом нашей встречи: Окой. Там у жениховых родителей в городке Таруса была дачка. Как только мы с Асей впервые в неё вошли, мы сразу почувствовали подозрительность: слишком уж... — что? Да благостно! ...сама обстановка, — именно обстановка: то, как вещи человека обставали: стулья — прислоняли, диванчики — засасывали, столы (засада) засаживали, все же вместе ввергало в глубочайший столбняк непротivления, не говоря уже о явном, столь чуждом нашему простому, как трава растёт, дому, «русском стиле» солонок ковшами, рамок теремками, пепельниц лаптями, — и самой речи: какой-то ямщицки-елейной, сплошь из возгласов «эхма» да «ух», разделяемых «сподобил господь» и «все под богом ходим», и, теперь и назову главное — почет. Почет, сразу выведший нас с Асей на верный след — Толиных честных глаз.

— И с чего это, — говорили мы, спускаясь и подымаясь как по волнам, по холмам, ведшим из Тарусы в наше Песочное, — добро бы мы были княгини, или старухи, или какие-нибудь знаменитые актрисы... Ведь не можем же мы им, с нашими вихрами и локтями, нравиться... Ведь, по существу, они должны нас ненавидеть.

— Просто выгнать — за один вид».

Цитата, на мой взгляд, достаточно выразительная. В ней оживают и уютный гостеприимный дом Виноградовых в Тарусе, и его добропорядочные

обитатели, угощающие и успокаивающие, и юные задорные девочки-подростки (язык не поворачивается сказать: вздорные — всё же это — сёстры Цветаевы), на которых в семье Виноградовых распространялось уважение, испытываемое в те годы всей образованной Москвой к известному профессору Ивану Владимировичу Цветаеву.

«Жених» написан в 1933-м, Марина Ивановна вспоминает тарусские встречи как преамбулу к главному сюжету: директор Виноградов, когда-то неравнодушный к её младшей сестре, отказал Анастасии Ивановне в её просьбе устроить на работу в Румянцевский («папин!») музей. Об этой обиде и в «Воспоминаниях» есть: «— Помнишь, как папа его опекал, устраивал на службу в Румянцевский?» — говорит Марина Асе. Просительница только что вернулась с восьмилетним сыном Андреем из Феодосии (весной 1921-го), где застряла с 1917-го, похоронила маленького сына Алёшу. «Последний год варила мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая». (М.Ц. «Жених»)

К чему я всё это пишу? Мне давно казалось, что за неожиданным отказом Анатолия Корнельевича что-то стоит, какая-то причина. И я позвонила Станиславу Артуровичу Айдиняну, литературному редактору и секретарю Анастасии Ивановны Цветаевой с 1984-го по 1993-й — год смерти писательницы. Ныне он член Союза российских писателей, автор пяти прозаических и поэтических книг, директор культурных программ «Спейс». Я его знаю как серьезного исследователя, профессионала. Семь лет (с перерывами) он «копал» фонды ЦГАЛИ¹, исследуя, в основном, архив А.К.Виноградова (фонд № 1303). В результате к 100-летию писателя в 1988 году вышла статья Айдиняна в ежегоднике «Памятные книжные даты». А в 89-м в Париже в журнале «Советские этюды» опубликована (в переводе на французский) подробная биография писателя под названием «Эрудит во французской, так и в русской литературе», написанная Айдиняном и переданная им в журнал через АПН.

Он мне всё и объяснил, ссылаясь на подлинные документы — сохранившееся, в частности, в ЦГАЛИ письмо Анатолия Корнельевича в «Вечернюю Москву», написанное на пожелтевшей бумаге, чернилами, его рукой. Это был ответ на обвинение, что у Виноградова работают сплошь бывшие дворяне. В то время у Анатолия Корнельевича были серьёзные неприятности в связи с тем, что Сергей Михайлович Соловьев, дворянин, внук известного историка, ближайший друг Блока, поэт-символист, которого Виноградов, выгнанный из провинции, устроил к себе на работу, стал служить в «музейской» церкви — по всем церковным канонам. Это было крайне рискованно — рядом с большевистским Кремлём, когда священников арестовывали и расстреливали...

В оправдательном письме Виноградов пишет, что «среди пролетарского элемента» он, к сожалению, не

может найти людей, знающих по пять языков, необходимых для работы с книгами — отечественными и иностранными. Вот поэтому у него в штате — образованная интеллигенция. А как иначе?..

— И как раз в эту пору нападков и травли, — продолжает Айдинян, — приходит устраиваться на работу Анастасия Ивановна — «из бывших», дочь старорежимного профессора, пребывавшего в чине тайного советника, дворянина. Советской власти наплевать, какие бессмертные дела Иван Владимирович Цветаев совершил для родного Отечества, какой создал музей — ведь всех его четверых детей лишили наследства, обрекли на нищенское существование...

«Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование... но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло». (М.Ц. «Жених»)

Станислав Айдинян поясняет: на самом деле Анастасия Ивановна устроилась на работу в музей изящных искусств на Волхонке (тоже «папин» музей) при помощи — и об этом есть документ — его директора профессора Николая Ильича Романова, соратника Ивана Владимировича Цветаева. Проработала в нём восемь лет. И ни дня не служила в Румянцевском музее. А Марина Ивановна, когда писала очерк «Жених» в Париже, соединила оба музея в один. Она никогда не посылала сестре свои прозаические мемуарные вещи, возможно, понимая, что вольности в трактовках вызовут у младшей Цветаевой недоумение и неодобрение. Стихи же — посылала. Важно то, что Марина Ивановна обозначила героя «Жениха» фамилией Тихонравов. Так что его можно считать просто литературным персонажем, а не хроникальным отражением А.К.Виноградова...

Теперь о семейной версии тех событий: Надежда Анатольевна также утверждает, что всё было не так, как пишет Марина Ивановна. А.К.Виноградов ушёл с поста директора по состоянию здоровья, сохранив за собою руководство научным отделом библиотеки. Ушёл, чтобы посвятить себя писательству. И Елена Всеволодовна Козлова, заслуженный работник Ленинской библиотеки, мама Надежды Анатольевны, рассказывала дочери, что на самом деле Анатолий Корнельевич принял в Анастасии Ивановне сердечное живое участие и попросил Николая Ильича Романова устроить её на работу.

Вот и концовка «Жениха»: «Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетках. Темы его книг — заграничные, метод писания — собирательный. Так он, даже не женись на мне, стал писателем. Только вот — каким?»

Станислав Айдинян поясняет, что к 33-му году книги Виноградова выпускались в очень скромном

¹ Ныне РГАЛИ.

виде, а «на прекрасной бумаге» стали выходить гораздо позже.

Ну а потом наступили такие далеко не вегетарианские (по Ахматовой) времена, что двое из этого треугольника — Марина Ивановна и Анатолий Корнельевич — вынуждены были добровольно, но по разным причинам уйти из жизни...

Время корректирует, смягчает негативные впечатления прошлого. Станислав Айдинян, ежедневно встречаясь с Анастасией Ивановной, посвятил её в свои исследования виноградовского архива, рассказал и о Сергее Соловьеве, и о немалых трудностях директора библиотеки и перечитал ей «Жениха».

«Передайте, пожалуйста, Надежде Анатольевне Виноградовой, если будете общаться с ней, что всё это было совсем не так, совсем по-другому. И что Виноградов никогда никаким нашим женихом не был», — сказала Анастасия Ивановна. И по просьбе своего литературного секретаря написала апологетическое повествование «Об очерке моей сестры Марины «Жених». В числе других ещё не опубликованных малых произведений А.И.Цветаевой оно, возможно, войдёт в книгу с авторским названием «Прошлотетный круг», которую предполагает издать литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых (город Александров Владимирской области).

Станислав Айдинян рассказал мне, что после того как Анатолий Корнельевич ушёл с работы в Румянцевском музее, они с Анастасией Ивановной виделись не раз, она бывала у него. А в РГАЛИ хранится её ободряющее письмо, адресованное Анатолию Корнельевичу в тяжёлые для него времена — в конце двадцатых годов. В письме приводятся и до-революционные религиозные стихи Виноградова.

Смею надеяться, что с высоты мудрых лет в памяти Анастасии Ивановны Анатолий Корнельевич, наверное, остался мальчиком одиннадцати лет от роду, каким впервые она его увидела на празднике у тарусских родственников: «Тот подросток с вышитым воротом парусиновой рубашки, его подлинные голубые глаза... Вечер в саду Добротворских, гирлянды цветных фонарей с зажженной свечой и я, семилетняя, пьющая этот таинственный взгляд — первая встреча!..» («Воспоминания»)

А ведь были, были дни их увлечённости друг другом.

«Толя и я прошли долгий путь лугом в ту самую даль, к высоким соснам, где лиловые цветы на длинных стеблях-дудках, черные круги на земле от костров — угольщики жгут уголь, — где мы с Мариной и ребятами ещё год назад жгли костры. Огибая тропинкой лес, входим в Пачевскую долину, Толя и я. Какая тишина сразу! Водная... Точно дно реки — а речка, сейчас высохшая от жары, вон там, далеко, у того края долины, под ветлами. Но вся долина кажется дном реки.

Мы вступили на зеленую от пронизанных солнцем орешниковых ветвей тропинку, по правому боку долины.



Надежда Анатольевна Виноградова, дочь писателя, 1954 г.

Была вдруг нежность меж нас и простота. (Так бывает от тоски, что скоро расстанутся.)

Толя шел слева, большой, взрослый, по русой бородке его — по чужому, вдруг ставшему близким, лицу бежали круглые пятна солнца, серебряные в зеленом сумраке веток.

Через канаву у поворота тропинки лежало упавшее дерево. Я остановилась. И смеюсь и серьезно:

— Перейдите по стволу на ту сторону! (Тонем приказа — и просьбы.)

Я ждала улыбки, остроумной реплики, лукавого спора, всего, но не этого: молча, он уже шел, стремительно, тяжелый, большой, — и на миг стал идти с осторожной медленностью для успеха — и легко и сосредоточенно, двойственным шагом — через длинное, корявое, тонкое дерево. Радостно прыгнул — развел в сторону руки. С полупоклоном. Кто из нас был счастливее в тот миг? Он теперь весь был на солнце. Я — ещё в зелени веток. Хорошо, что он не видел ясно мое лицо!»

3

Но вернёмся в Тарусу середины двадцатых — начала тридцатых годов. Городок на Оке становится для Анатолия Виноградова надёжным убежищем, живительным источником, творческой мастерской. Наброски первых книг, многочисленные выписки,

в основном, из французской литературы, были сделаны именно в Тарусе.

В начале тридцатых Надя пошла в тарусскую школу, сразу во второй класс, потому что, конечно, была очень развитым ребёнком. Надежда Анатольевна вспоминает: «Это была маленькая деревянная школа. Я шла в неё по нашей улице Каляева, потом налево — вверх. Однажды молодая учительница устроила всем опрос, кто наши родители, чем занимаются? Тогда все были помешаны, кто какого происхождения. И я ответила, что мой папа — писатель. Неожиданно это вызвало такой взрыв восторга и смеха! Дети кричали: — Что такое писатель? Он письма, что ли, пишет?!».

Позже Надя научилась отвечать: «Родители — служащие».

А ведь её прабабушка по материнской линии была княжной — Евгенией Николаевной Гагариной. Нежное одухотворённое лицо княжны Евгении Гагариной в старинной раме смотрит на правнучку со стены её рабочего кабинета. Умерла совсем молодой, родами, как тогда говорили, оставив сироту-младенца — Всеволода Николаевича Козлова, деда Надежды Анатольевны. Он стал штаб-ротмистром Клястицкого гусарского полка.

И с немалым удивлением узнала я, что в роду её бабушки Надежды Дмитриевны Козловой (урождённой Воейковой), выпускницы московской консерватории, а впоследствии, после революции, преподавательницы французского, — и знаменитый писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859), автор бессмертной книги «Детские годы Багрова внука», и Надежда Филаретовна фон Мекк, и учёный-географ, но больше известный как политический деятель, князь Пётр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) — в честь него названа станция московского метро. А прапрадед Надежды Анатольевны Аркадий Владимирович Воейков (Аксаков доводился ему родным дядей), натура поэтическая, художественная, мечтательная, однажды сильно смутил Гоголя после публичного чтения им ещё нигде не напечатанных «Мёртвых душ». Чтение происходило в московском доме Аксаковых на Верхней Кисловке в присутствии многих писателей и поэтов. В восторге и благодарственном порыве кинулся Аркадий Владимирович к Николаю Васильевичу, схватил его руку и горячо поцеловал. Впрочем, в восторге были все слушатели. А Гоголь вскоре вышел из комнаты и незаметно исчез...

Обо всём этом я прочитала в редкостном томе «Дворянские гнёзда России», повествующем о невосполнимых утраках нашей культуры. На обложке — цветной фрагмент панно Борисова-Мусатова «Сон Божества», настраивающий на вдумчивое задушевное чтение. С этой интереснейшей книгой меня познакомила Надежда Анатольевна. Она участвовала в её издании, предоставив и давние фотографии, и рукопись бабушкиной сестры Любви Дмитриевны Духовской (вместе они часто давали концерты — в четыре руки на фортепьяно) об истории родовой усадьбы Ольховец Михайловского уез-

да Рязанской губернии и о разных семейных событиях. Мемуары так и называются «Последние дворянские гнёзда» и написаны так тепло, трогательно, завораживающе, что трудно оторваться. В них — гармония повседневного усадебного быта и окружающей природы; там время текло совсем по-другому, чем сейчас, — замедленной, созерцательной, раздумчивой. Интерьеры гостиных с портретными галереями предков; групповые фотографии: значительные благородные лица, старинные костюмы и причёски...

Вот трёхлетняя Алечка в нарядном платьице и высоком капоре, мама Надежды Анатольевны, фото 1903 года. Здесь же впервые воспроизведена фотография 1911 года прекрасной девушки с распущенными волосами — в белом среди белых лилий, в день конфирмации. Это Мари Кювилье, впоследствии Майя Кудашева, ставшая женой Романа Роллана. Мать Майи, мадам Маргарита Кювилье, была гувернанткой бабушки Надежды Анатольевны и её трёх сестёр.

«Она потом стала гувернанткой и моей мамы Елены Всеволодовны, и нас с братом выучила французскому. Очень образованная была женщина, строгая, с твёрдым непреклонным характером», — говорит Надежда Анатольевна.

С любопытством рассматриваю картины, воскресающие родовое имение Ольховец, вдохновенно написанные маслом Дмитрием Аркадьевичем Воейковым (эта фамилия встречается и в генеалогическом древе Поленовых — не в родстве ли они?), художником-любителем, прадедом Надежды Анатольевны.

Не стихая, бежит
Этот вечный родник.
Вся в листе, вся в цветах
Эта мощная ветвь.
Был для множества рек
Здесь единый источник.
Сколько новых ветвей
Отошли от одной!

Тао Юань-мин

Надежда Анатольевна закончила московскую школу в 41-м, и тут же началась война. Девушка поступила в ИФЛИ — институт философии, литературы, искусства. Когда немцы подошли к самой Москве и стояли уже в Химках, все были в смятении, тревожном ожидании, а 16 октября началась паника, многие эвакуировались, в том числе и ИФЛИ. Надя осталась с мамой и бабушкой. Рыла вместе со всеми окопы, по ночам дежурила на крыше своей школы — сбрасывала зажигательные бомбы.

Запомнилось, как после парада 7 ноября 41 года наши войска отправлялись прямо на фронт. Было люто холодно, падал снег, стояла мёртвая тишина, в которой раздавался только топот сапог. Надежда с подругой стояли, сжавшись, у памятника героям Плевны, что у Ильинских ворот, войска шли с Красной площади по улице Куйбышева. Было тревожно, страшно...

Запомнилась и ночь дежурства в декабре 41-го, когда по радио раздался голос Левитана: немцев разбили и отогнали от Москвы! Надя побежала домой, разбудила своих, обрадовала долгожданной новостью.

2 февраля 1942 года открылось искусствоведческое отделение филологического факультета МГУ, и студенты ИФЛИ, кто остался, поступили туда. Так сама судьба распорядилась, что дочь стала учиться в университете, который три десятилетия назад окончил её отец.

Надежда Анатольевна рассказывает:

«Занятия проходили в старом здании МГУ, что напротив Манежа, в психологическом корпусе, с выбитыми стеклами — окна были заделаны фанерой. А зима стояла очень холодная, не было элементарной уборной — бегали просто во двор. Слушать лекции, а профессорам их читать, в таких условиях было мучительно, но учились с большим энтузиазмом и всё терпеливо выносили. Кормили нас по карточкам в университетской столовой. И поскольку всюду были пожарища, горели колхозные поля, ели, в основном, суп из горелой пшеницы и прогорклое картофельное пюре. Часть своего обеда я относила бабушке — у неё была ещё более скудная иждивенческая карточка, чем моя, рабочая...»

За продуктами ходили ночью, чаще всего на Кузнецкий мост — там по карточкам иногда давали масло и мыло, притом надо было ещё знать, в каком магазине что дают. Около четырех утра (комендантский час заканчивался в шесть) тихо пробирались с Покровки через Лубянку на Кузнецкий темными переулочками, чтобы не забрали и не отправили на трудовой фронт, на лесозаготовки, где студенты и так работали все каникулы без отдыха. Пока добирались, образовывалась тысячная очередь, и всем писали на ладонях номера химическим карандашом. И только к середине дня, если повезёт, отоваривались.

Испытаний было немало. На лесозаготовках во время каникул — каторжная работа: норма — 11 кубометров дров в день надо напилить двоим ручной пилой. Часто нас привозили на ночь — разгружать вагоны с углём, брёвнами, торфом, который издавал сладко-едкий запах — до дурноты. В ожидании вагонов студенты валились на землю — хоть немного поспать. Потом раздавалась громкая команда «Подъём!», все вскакивали, девочки-студентки раскачивали и сбрасывали брёвна — одно за другим. Однажды бревно застряло, упёрлось — и мне на ногу, перебило пальцы. Потом всё срослось, обошлось. Это было уже в 44-м...

Запомнилось, как поток пленных шествовал по Садовому кольцу. Они были мрачные, поникшие, поверженные, а наш народ теснился, жался на тротуарах, смотрел во все глаза...

Все уже готовились к победе, знали, как наша армия брала каждый город, радовались, ждали конца войны. И вот 9 мая 45-го — такое ликование! Студенты устремились на Красную площадь, пели, плясали от счастья, любовались салютом, стайками гуляли по Москве...»

В 45-м Надежда Анатольевна закончила МГУ и распределение получила в музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, основанный Иваном Владимировичем Цветаевым (Анастасия Ивановна до конца жизни надеялась, что музей переименуют в честь отца). Работала над японской гравюрой, которой стала заниматься с 43-го года, когда проходила здесь стажировку, — с той поры и началось увлечение Востоком. В 50-м музей, к сожалению, закрыли — устроили в нём постоянную экспозицию подарков Сталину. Надежда Анатольевна поступила в НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, где работает и поныне. В 54-м её и ещё одну аспирантку послали на стажировку в Китай — это были первые заграничные командировки, и их провожал весь институт. И всё, что Виноградова знала про Китай по книгам, — всё перевернулось, когда она увидела страну воочию...

Она шла по территории Пекинского императорского дворца — а это целый ансамбль с чередой огромных площадей. Обычно здесь бывает много народу, но в этот день шёл мелкий дождь, было пустынно и тихо. Через мраморные морды драконов струилась-журчала вода. Это были совершенно новые ощущения, совсем неожиданные — и пространственные, и детальные. Непостижимо, потрясающе,



Княжна Евгения Николаевна Гагарина, мать Всеволода Николаевича Козлова, прабабушка Н.А. Виноградовой

как в детской волшебной сказке! Первые впечатления глубоко поразили, а без них, без нескончаемого удивления и восхищения не случилось бы творческой судьбы, неизбежной необходимости открывать людям красоту мира, культуру и эстетику Востока...

Моя героиня за годы нашего знакомства ни разу не обмолвилась о своих прежних наградах. Я узнала о них случайно. Это и серебряная медаль Российской Академии художеств за книгу «Искусство Китая», и государственные награды: медаль «Заслуженный деятель искусств» (1992) и орден Дружбы (1998).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС В ТАРУСЕ

Олеся ЕРОХИНА
8 класс, село Страхово
Тульской обл.

СУДЬБА ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

Из заявления Советского правительства 22 июня 1941 года: «Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу территорию, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города».

Война... Когда противоборствующие стороны не могут или не хотят преодолеть разногласия путём мирных переговоров, они обращаются к оружию. И тогда люди становятся свидетелями драматических событий. Изю дня в день они сталкиваются со смертью, потерями, ненавистью, лишениями. И это удел не только военнотружущих. Под бомбардировку и артобстрелы попадают и мирные жители. Война лишает их крова, тепла, воды, заставляет страдать от голода, жить в постоянном страхе за судьбу своих близких.

И вот моя прабабушка — Александра Львовна Новикова — не должна была участвовать в войне, но беда настигла и её. До этого её судьба складывалась, как и у всех: вышла замуж, построила дом, появились дети. Была счастливая, молодая семья. Но вдруг вся жизнь перевернулась. Когда пришла война, её мужа забрали на фронт, а чуть-чуть позже началась эвакуация из Смоленска под Тулу. Старик и младенцы переправлялись на подводах, а женщины и дети старше пяти лет шли пешком. Моя прабабушка привязала к телеге корову, чтобы в пути хоть как-то кормиться.

Когда они стали переправляться через огромный мост, началась бомбёжка. Мост был взорван. Часть людей, которые сидели на подводах, осталась на том берегу. Все в панике бежали кто куда. Очень много было убито.

«Добрых дел изобилие, говорят, приносит награды», — снова цитирую Тао Юань-мина. А Надежда Анатольевна, смеясь, добавляет: «Трудами праведными не наживёшь палаты каменные. Знаете такую пословицу?».

У меня такое ощущение, что Н.А.Виноградова открыла мне целую эпоху — и вглубь, и вирирь. Эпоху, где судьба её семьи, отражаясь в невероятно сложной драматической истории страны и переплетаясь с нею, выплеснулась за её пределы, тесно соприкасалась с историей и культурой других стран и народов.

Моя прабабушка оказалась на другой стороне реки, с ней было пятеро чужих детей, а её папа и двое маленьких сыновей остались за рекой. Александра Львовна бросилась в воду, но эти детки вцепились в юбку и закричали: «Тётя Шура, не бросай нас, мы жить хотим!». Она их не бросила; взяв за руки этих малышей, пошла дальше. Без еды и воды, без своих ребят, без отца, но со своими страшными мыслями. Она должна была быть сильной, ведь в её руках жизнь ни в чём не повинных детей. Проходя мимо разных деревень, они останавливались. Добрые люди впускали их к себе в дом. Помогали мыть детишек, так как они месяцами не купались и мало кушали, их заедали вши. Прабабушка снимала с детишек валеночки, высыпала на землю вшей, а обувь ставила на печку прожариваться. И вот они дошли до места. Попали в плохую деревню. Сельский совет поселил их в хороший дом, но хозяйка была злая. Однажды девочка Лиза очень сильно заболела. Кожа у неё стала синего цвета, а губы она не могла рожать. И тогда прабабушка побежала в сельсовет и стала жаловаться: «Хозяйка мне не даёт даже помыть детишек, эти дети мне не родные. У меня умирает девочка!» Начальство пришло к этой женщине и строго её предупредило. Хозяйка перепугалась, прабабушка быстро сняла с больной девочки валенки. И ужас! Все её ножки были покрыты язвами, а в обуви копошились вши. После бани девочка потихоньку начала оживать.

Потом прабабушка пошла работать в колхоз. Она часто отправляла посылки с сушёной картошкой на фронт, туда, где сражался её муж. За работу давали мало продуктов, всё она отдавала детям, а сама часто голодала, но было и так, что ей приходилось носить ледяную картошку у себя за пазухой для детей. Так они жили, пока не узнали, что Смоленск освободи-

МП: Каждый год 31 мая в Тарусе проходит праздник, посвящённый дню рождения К.Г.Паустовского. На нём проводится литературный конкурс среди школьников. Особенно интересной

была тема конкурса 2005 года: «В чём, по-вашему, значительность и очарование человеческой жизни?».

Сочинения ребят, получивших дипломы I, II и III степени, мы публикуем на страницах журнала.

ли. Всё это время мою прабабушку мучила мысль о её старом отце и двух совсем маленьких мальчиках. Вернувшись с приёмными детьми в свою деревню Монастырщина, она её не узнала: почти всё было сожжено. И вдруг — среди развалин возвышался её дом! Александра Львовна быстро растопила печь в доме, вымыла детей и уложила спать. А сама пошла по деревне. Встречая людей, спрашивала про своего отца и детей. Деревенские ей рассказали, что её отец с двумя маленькими мальчиками вернулся сюда. Потом в деревню пришли каратели и многих жителей загнали в сарай, среди них был отец прабабушки и её дети. Немцы заставляли жителей копать большой ров. Никто не понимал зачем. Затем вывели людей и поставили около рва. Раздалась автоматная очередь... Очевидцы говорили, что ещё несколько дней слышались из-под земли стоны.

А спустя некоторое время моя прабабушка получила извещение о гибели своего мужа...

Шли годы. Закончилась война. И за приёмными девочками приехали родители, моя прабабушка не посмела оставить детей, хотя очень просила, чтобы у неё не забирали Лизоньку. А мальчики выросли, выучились, получили хорошие специальности. Они знали, что у них есть настоящая мама, которая дала им вторую жизнь.

Вскоре моей прабабушке судьба преподнесла щедрый подарок — она вышла замуж и родила двоих детей.

Я рассказала о судьбе и жизни простой женщины, которая в то трудное время, не осознавая того, стала героиней. Она не получила ни орденов, ни медалей, но я преклоняюсь перед её мужеством, мужеством своей прабабушки. Значительна и очаровательна ли такая жизнь? Я думаю, что да, хотя многие, наверное, скажут: «Что же здесь очаровательного? Одно горе, которое шло по пятам». Но несмотря ни на что, в жизни всегда преодолевается горе. В этом-то, по-моему, и заключается её значительность и очарование.

Ольга ИСУПОВА

9 класс

г.Таруса

ПОСЧИТАЕМ ЧУДЕСА!

Оглянитесь вокруг! Только не так мельком, быстро, как мы обычно это делаем, когда нас окликают, а оглянитесь и посмотрите. Посмотрите, что находится вокруг вас, да не смотрите вы всё время под ноги, поднимите глаза. Видите? Вы видите нечто самое внушительное, самое изменчивое, но в то же время и самое верное, самое светлое и самое грозное. Это первое чудо — небо. Вы замечали, что оно никогда не бывает таким, каким было когда-нибудь? А «белокрылые лошадки» — какой простор для фантазии! Почему-то мне всегда казалось, что за этими пушистыми клочками ваты скрывается маленькая страна, где живут маленькие, лёгкие человечки, такие лёгкие, что они не падают вниз. А ночью, когда

человечки уходят спать, появляются загадочные огоньки, причём эти огоньки тоже живые.

Зачем вы жмурите глаза? Вы же не увидите главного — второго чуда. Солнце... Источник всего на нашей планете, и это всё заключается в одном коротком слове — жизнь... Её, жизнь, видно особенно хорошо сейчас, весной. Она бурлит так, что птицы, не зная, что делать с таким морем счастья, всё кричат и кричат, пытаясь поделиться своей радостью с другими. Ведь когда любое существо счастливо, оно не может держать это в себе, счастье рвётся к другим, чтобы им тоже стало теплей. Сама природа определила этот мир миром взаимопомощи.

Тихо! Слышите шорох? Это же ещё одно маленькое чудо — ежонок. Если он вас заметит, то обязательно свернётся в крохотный дрожащий комочек, из которого торчит один мокренький чёрный носик, продолжающий фыркать, обнюхивая вас.

Кстати, вы сидите и не замечаете новое чудо — траву. Да, да, обычная трава — это тоже чудо. Чудо, что из чёрной земли тянутся тонкие зелёные стебельки, и их так много, что запах дурманит голову.

Только вот из-за ёжика мы пропустили третье чудо — это деревья. Деревья не просто ласкаются в своей листве, они погружаются в неё, и уже трудно разобрать отдельный листочек или отдельную ветку. Деревья стоят величественно на прямых стволах или, послушные природе, изгибаются. Даже когда они ломаются, продолжают цвести на земле.

А теперь лучше всего помолчать: своё право на свободу слово высказывает, нет, выпевает нам зяблик. Не правда ли, чудо? Посмотрите друг на друга, улыбнитесь — подарите соседу чудо. Не смейте говорить, что улыбка человека не прекрасна! Это чудо, чудо, которое мы дарим с первого месяца своей жизни и не устаём дарить до её конца.

А разве не чудо, что мы вообще можем всё это видеть и слышать?! Что мы можем почувствовать дыхание воздуха, можем ощутить росу на своих ногах, можем петь, когда нам хорошо, а можем поплакать, когда взгрустнётся! Мы столько всего можем, но не хотим этого замечать, мы не хотим даже насладиться чудесами, наполняющими наше существование. Самое главное чудо жизни, главное её очарование в самой жизни, в её реальности, в появлении младенца из чрева матери, в превращении этой крошки в настоящего человека!

Арсений ШИЛОВСКИЙ

13 лет, село Трубецкое

Тарусского района

«КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ»

Мы жили на этой земле. Не отдавайте её в руки опустошителей, пошляков и невежд. Мы — потомки Пушкина, и с нас за это спросится.

К.Паустовский

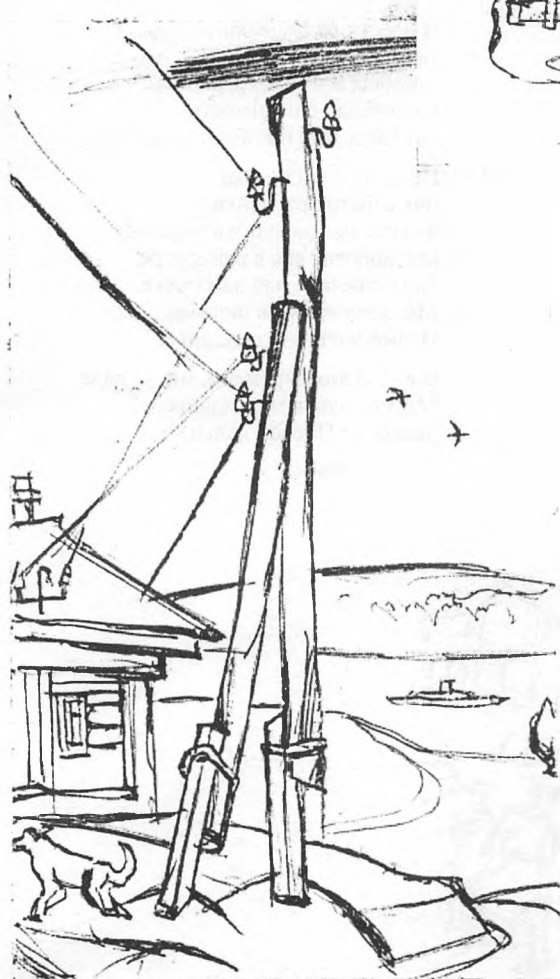
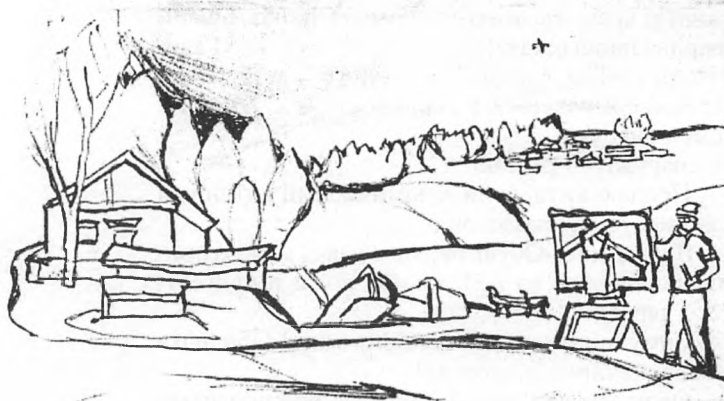
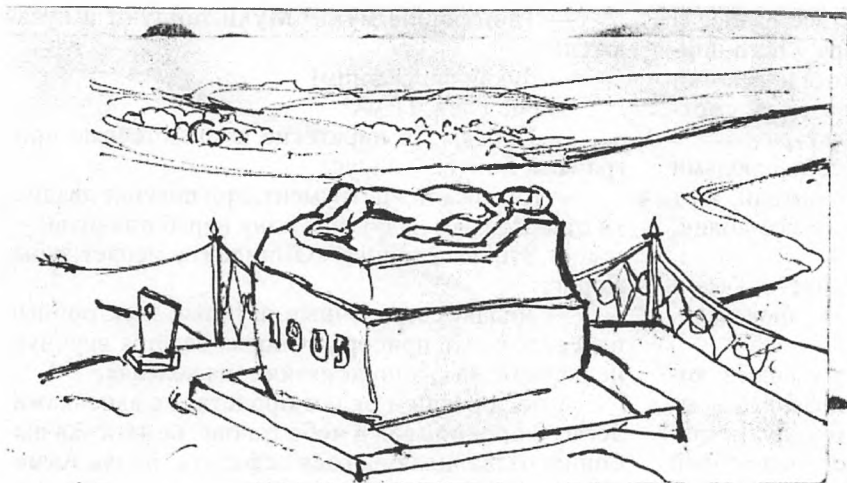
Археологи «культурным слоем» называют всякий дошедший из глубины веков мусор.

Некоторые люди так называют самих себя.



Таруса. Дом К.Г.Паустовского





Леонид РАБИЧЕВ

Ложь следствие, счастье превратно,
 Был бит и любил многократно,
 Под Вязьмой был патриотом,
 До старости был идиотом.
 Молчать, вероятно, не вправе я,
 Судить? А судьба по пятам.
 Был в Праге, а Прага не там.
 Опять километры и мили
 Не глины, а гнили и гравия
 Прилипли к рукам и ногам.
 Оправдывать время не в праве я.
 Солдаты, лишённые неба,
 Их дети, лишённые хлеба,
 Их вдовы, лишённые крова,
 Держава худая босая,
 Слова, словно сажень косая,
 Бетон, превращённый в муку,
 ГУЛАГ, превращённый в сторуку.

7 ноября 2005 г.

Рисунки автора

А рыжему псу Захару вообще всё равно. И матом он не ругается, и чувство юмора у него присутствует — рот до ушей всё время, хотя и щекотки не боится, и писать не умеет, и телевизор не смотрит, даже программы телеканала «Культура».

Где бы спастись от считающих себя «людьми культурными», чтобы наставления не читали, и от чуваков, которые только и думают, что всё «блин, суперски прикольно, типа клёво»?

В библиотеке с протекающей крышей? Туда и те и другие заходят редко, к счастью. Не проведали, где кровихи лежат.

В кинотеатре с потрескавшимися стенами, который желает рухнуть, особенно если фанаты компьютерных игр разбушуются? Можно закрыть глаза и вспомнить Эльфа-барабанщика с его волшебной маримбой.

В полумраке антикварной лавки? Там Некто жонглирует кремневыми отщепами: «Спинка, брюшко, ударная площадка». Там не хватает только Говорящего кота. «Там чудеса. Там леший бродит...» Там начинаешь сомневаться в реальности всего происходящего снаружи.

А снаружи — рынок.

— Продаю китайский алюминиевый антенный кабель вместо оптоволоконного.

— В магазине «Обувь первого века» можно примерить босоножки из поддельной кожи и искусственного дерева!

— Кому пирожки, горячие пирожки! Оболочка из носков, начинка бумажная!

— Ожидаем любителей пива! — шуршат пакетики с расплюснутыми шпротами под названием «Жёлтый полосатик».

— Рекламная акция! Бесплатный супрастин при покупке свыше 3 килограммов! — на прилавках красиво уложены помидоры-убийцы.

— Есть щавель кислый, есть щавель вкусный!

— Детям! Специальное предложение! Мультфильмы ужасов!

— Квас на память — бросайте ваши монеты в наш квас!

— Танцующие мухи! Мухи танцуют и кусаются!

— Ликвидация фирм!

— Рос Гос СТРАХ!

— Продаются пиратские компьютерные программы! Бонус — вирус!

— Китайский инструмент: при покупке двадцати отвёрток вам дадут ещё одну неработающую!

— Зубная клиника «Омнидент» меняет зубы. Дорого.

— Делаю сверхточные научные электронные измерительные приборы. Сборка ведётся вручную не по чертежам, а по понятиям, на коленях.

А по торговым рядам пролетает с авоськами, легко запрокидывая в небо голову, не замечая выбоины разваливающегося асфальта, Белла Ахмадулина:

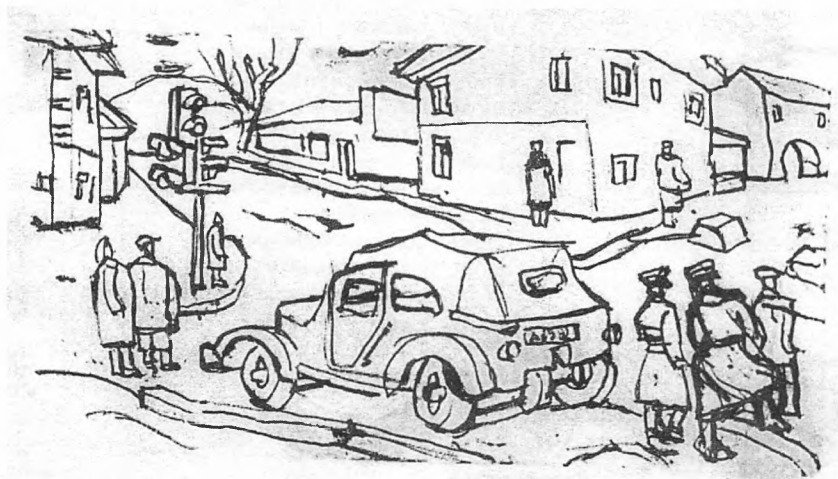
Быть по сему: оставьте мне закат вот этот за-калужский, и этот лютик золотушный, и этот город захоластный пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк, придавший местности осанки, стихии внятные останки, и как бы у её изнанки мы все нечаянно в гостях.

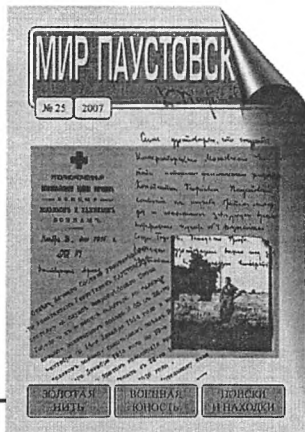
В блеск перламутровых коросты тысячелетия рядились, и жабры жадные трудились, и обитала нелюдимость вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке иные бытия расценки, что все мы сведущи в рецепте: как, коротая век в райцентре, быть с вечностью накоротке. Мы одиноки меж людьми. Надменно наше захуданье.

Вы — в этом времени, мы — дале. Мы утонули в мирозданье давно, до Ноевой ладьи.



Таруса. На перекрёстке.
Рисунок художника Леонида Рабичева



«СЛУЧИЛОСЬ ПРИБОЩЕНИЕ К ПРИРОДЕ...»

Марк КОСТРОВ

ЗАГЛУШИЦА

Заглушица — луговина три на четыре километра за рекой Глушицей — видна из моего окна в Броннице на Мсте. О ней и пойдёт речь.

В далёком прошлом, после революции семнадцатого года XX века, когда новыми властями для привлечения крестьян на свою сторону было объявлено: «Бери земли, сколько можешь ее обработать!», все бросились драть её плугами. Потом тех, кто местность драл, драли уже по-другому — на северах. Однако на некоторое время название «Дрань» за этой землёй закрепилось. Но вот, по плану ГОЭЛРО, Волхов перекрыли плотиной, чтобы возвести первую электростанцию имени Ленина, и по вёснам этот кусок земли стало заливать. Сразу же на дерновину проник вездесущий ивняк, и, помню, когда лет двадцать назад я попытался пересечь Дрань по диагонали, — не смог. Половодье поднимало сухой кустарник, мусор, а когда оно спадало, вся эта мешанина повисала над твёрдой землёй на полметра. Летом на ней начинали расти зелень, мхи, и с годами на луговине образовалось как бы второе дно, по которому никто не мог пройти: путаный, сцепившийся кустарник и провалы надёжно преграждали путь любопытным. Так что, если бы Бронницу на Мсте захватили фашисты, то три на четыре километра так бы и остались партизанской зоной, как когда-то мой любимый Рдейский край. Тогда ещё нападм не был придуман. И потому после Драни возникло название «Кара». Не Божья, как считают некоторые после возведения плотины, а, повторяю, — просто Кара и всё. Но вот стал уже после войны директором совхоза «Урожай» Николай Николаевич Недашевский, и хотя он был однорукий, но сумел доказать новгородскому начальству, что здесь надо провести мелиорацию. Самолётики посыпали кустарник спецпорошком, а когда он засох, подожгли его, и вскоре на полях стали сажать картошку. Хорошо помню, как, возвращаясь из похода по Мсте, было это в начале перестройки, я и ещё десятки бронничан воровали её, потому что город отказался убирать «второй»

хлеб. Затем на этих землях уже товарищество «Урожай» сеяло овёс, позже накашивало рулонных трав, и немало, но последние годы спрос на рулоны стал падать. Да и Мурманск стал возвращать эту сырьевую гниль: рыночные конкурентные отношения давали себя знать. И потому вскоре местность уже на четверть была покрыта чертополохом. Название же вернулось старое: «Заглушица». Ну как всегда на Руси было: за бором — Заборье, за болотом — Заболотье, за озером — Заозёрье...

В какой уж раз я отправляюсь в дорогу по моей любимой Заглушице. Иду по тропке от своего дома, от церкви Спаса Преображения, бодро сшибая с трав блестящую росу, вдыхая запах таволги. Медовая травка осенью не пахнет, а таволга вот старается...

Слева, параллельно Мсте, тянется то ли стругканова, то ли старица под названием Денискино озеро. Осенью оно зарастает, и до недавнего времени обитатели деревни Боры рыли в нём личные ямы, в которые собирались — в надежде выжить в морозы — стаи карасей. Захочет жихарь рыбки, пробьёт в своём месте лунки и черпает её сачками, кому сколько нужно. Нынче это не делается, все живут в переходном периоде по Карамзину, то есть воруют друг у друга, и не только живность. Весной много рыбы заходит в озеро из Мсты через вороток, и тогда мы ставим сетки-тридцатки, но уже приходится ночевать при них.

Семь лет назад я познакомился здесь с семьёй «белых ворон» — Малышевыми из Пентагона. Они в начале перестройки, когда платили зарплату на заводе «Возрождение» кобальтовыми кружками, приобрели муфельную печь и у себя дома стали формовать, разрисовывать и закалывать прекрасные изделия. И тут же, обозначив свою избу вывеской «Творческая мастерская», их продавать. Ира кончила отделение фарфоровой росписи в Москве, Паша был прекрасный технолог. Симбиоз привёл к отличному результату. Да и трёх своих

детишек они сделали продолжателями своего дела. Что тут поднялось среди соседей! «Мы тоже так умеем, к чему им так выделяться, жили бы, как все!» И когда случились у них однажды неприятности, злорадно кричали: «Так вам и надо, рыночники!» Ну а Пентагоном после этого и была прозвана улица, где они живут до сих пор. Даже спустя пять лет ненависть и зависть к ним не утихает. «Мы тоже можем тыкать кисточкой по тарелке, чтоб получить глаза всяких там Садков!» — «Так тыкайте», — говорю я им, но далее ругани в их адрес дело не идёт.

Однако продолжаю путь. После Дениски и Захаровой лужи (её я не трогаю, это озеро испокон века застолблено Александром Ивановичем, да и карасики там неказисты) начинается слева прямой, как стрела, струг по прозвищу «Канава». Здесь мой сын Вадим тоже ставит тридцатки, разрешённые городом, хотя какое право имеет Новгород, хоть он и Великий с недавних пор, нам, сельчанам, указывать? В них попадаются, как и у Захарова, такие же карасики. Словно фонарики висят они в путанке... Далее Канава углубляется, красивеет, перемежается омутами, но уже глубока в ней такова, что без лодки сетки не поставить. В этих ямах зимой отстаиваются щурята, что забрели в неё во время разлива. Справа же от полевой дороги, если идти в июне, тянутся нивяниковые¹ поля. Когда я с внуком ловил щук или гулял по этим раздольям, он говорил: «Дедушка, а ведь молоко белое от них». Осенью нивяник зацветает вторично, правда, не так изобильно, островками, и цветёт, пока не сольётся с первыми снегами. Ну а Канаву уже в августе можно в южной её части перейти вброд или на севере обогнуть, но в том и другом случае через пятидесятиметровый, не заливаемый в половодье кряж выйти на Речной Лиман. Но я, особенно весной, не тороплюсь — задержусь, постоянно на кряже: вдаль откроется через жёлтое цветение одуванчиков, в обрамлении кулис черёмухи, Введенская церковь. Она не действующая, поэтому на горе часто собирается по ночам молодёжь, поджигает её. Пожарные тушат, но вскоре всё повторяется... Семьдесят лет муштры обильной — дали урожай дебилный...

На кряже когда-то стоял хутор, так здесь землю в три гектара не заливают даже в сильные наводнения. Осенью здесь залюбуешься ранним полыханием листьев черёмухи. Странное дерево, так сказать, тоже «белая ворона»: она вся горит, хотя ещё только начало сентября и все её товарки ещё зелены, а она вот выделяется. Поставив немного в травах (этот участок давно не выкашивается), спускаюсь к Речному Лиману. Он широкой протокой соединяется со Мстой, как раз напротив устья Вишерского канала. Канал этот сегодня нам непонятен, потому что проложили его вскоре после строительства широченного Сиверсова канала

¹ Нивяник — род многолетних трав семейства сложноцветных.



Вигвам на Кормяной

(1803-й год), тоже обводного. Чтобы не плыть по бурному Ильменю. Он имел две плотины и был судоходен только в половодье. Нечто вроде Епифанских шлюзов или, ещё ближе, — БАМа. Им пользуюсь только я, даже туристы его не жалуют. А зря: правый берег его весь, особенно у деревни Мшага, усеян грибами. Один экскурсовод мне доказывал, что канал этот, длиной в 16 километров, придумали, чтобы дать работу не очень проштрафившимся декабристам. Ну, как у нас произошло с Беломорканалом.

Речной Лиман к осени превращается в три озера. Последнее из них я очень люблю, оно — в отличие от других луж — не лужа и в северной части имеет глубину три метра. Вот, например, недавно поставил в нём сетку и поймал щуку на один килограмм и фунтовых линя и подлещика. Ловил здесь рыбу и удочкой — сладкую плотвицу и наваристых окуней. А прошлый год, начитавшись Аксакова, коли озерко моё, занимался лучением рыб. Все-го-то двух подлещиков и взял, но ночное дно и спящие, ускользящие тени навсегда останутся в моей памяти. И ещё, когда оно замёрзло, ходил по нему с той же аксаковской дубинкой — на мелководье глушил рыбок, а на глубине блеснил окунишек. Ну а по поводу линей — они в последние годы появи-

лись у нас в достатке. С тех пор как колхозные самолётики перестали распылять пестицидные порошки. Газета районная «Звезда» возмущалась, что жители разбирают сельский аэродромчик в Броннице по кирпичикам, а я радовался. Особенно позапрошлый год. В Большой струг после того, как запылила ива, вошли дафнии и циклопы, за нами потянулись мальки, за мальками — окуни и шурята, а далее на байдарке со спиннингом вплыл и я...

Ещё мне это озерко по душе потому, что между ним и Мстой всего 15 метров кряжа; заход солнца люблю смотреть, стоя на том берегу Мсты, а восход — на этом озере. Здесь у меня был построен очередной вигвам, но его кто-то сжёг, и ныне я построил недалеко от тех мест за три часа будку с печкой. Как раз за день до страшной трагедии в Америке. И вообще мой следующий очерк будет технологическим: опишу подробно, как рыть землянки, рубить полуизобки, строить навесы перед зимними нодьями и так далее, ибо мне хочется научить людей, коли мы с этими технологическими революциями сходим с ума, быть готовым к построению одноэтажной планеты из лёгких материалов. Кресты церквей, минареты, синагоги, головы Будд — всё будет только чуточку выглядывать из-под земли, чтобы лишь по тропкам находили люди путь к своим святыням...

Ну а по кряжу растёт смородина, хмель, шиповник, сизая ежевика, стоят там-сям, сверкая на солнце прозрачностью, калиновые кусты. С одного из них мы снимали полведра ягод, из которых не пироги печём, а делаем с сахаром мешанину,



«Конская пастьба» — берег острова Ильмень

чтобы потом пить напиток и вспоминать Шукшина, которого нынче почему-то подзабыли.

От кряжа путь пойдёт по песчаному берегу Мсты. На поляне обычно пастух Коля Степанов плетёт корзины. За ней, у Картофельного ручья, ну там, где мы когда-то воровали картошку колхозную, можно разложить костёр или извлечь из кустов печку — они у меня запрятаны повсюду, чтоб не таскать с собой. Печка моя проста: две баночки из-под консервов, вставил одну в другую — и на трёх прутиках через пять минут чайк закипел.

На такой печке я обычно создаю на первое уху, на второе варю картошку, а на третье — компот из собственных ягод. Здесь же я, если встречаюсь с пастухами, да ещё если есть у меня или у них бутылочка и огурчик, беседую с ними. А если винца не хватает, то они оставляют меня сторожить своё стадо, а сами бегут за добавкой в свою родную Белую Гору.

С Колей рассуждаю о технологии изготовления валенок — он единственный в округе каталь; с Сашей Сорокиным — о том, как он обрезал председателя. Саша так сказал ему: «Ты, Николай Иванович, мне на такую сумму закрыл наряды, что за неё и цыганка юбку не поднимет». А вот с дедом Иваном не люблю беседовать — он вспоминает, как хорошо ему жилось при колхозном строе.

Весной в разливах этого Картофельного ручья я прошлый год встретился ещё с одной «белой вороной», кстати, их в последние годы довольно много появилось на Новгородчине: с Анатолием Васильевичем Вдовенко. Он, уже предпенсионный человек, очень



Церковь Спаса Преображения в Броннице на Мсте. Фотографии М.Кострова

аккуратный и чисто выбритый, живёт летом на лодке, в палатке, а зимой — в норе колхозного сеного сарая и молит Бога, чтобы это бесхозное сено никто не поджёг, как Введенскую недействующую и тоже брошенную церковь. Словом, реализует мои мысли о создании одноэтажной планеты, которой будут не страшны никакие катаклизмы. Причём ловит столько рыбы — и не сетями, а спиннингом (он законник), что купил велосипед (прячет его в Каре) и собирается вставить себе зубы, так как решил свататься к одной, а может, и к другой, пока еще не выбрал, деревенской, но не к городской, трудолюбивой женщине. Он сам тоже очень работающий, дополняет в глухое время заработок от зимней рыбалки ещё и плотницкими работами.

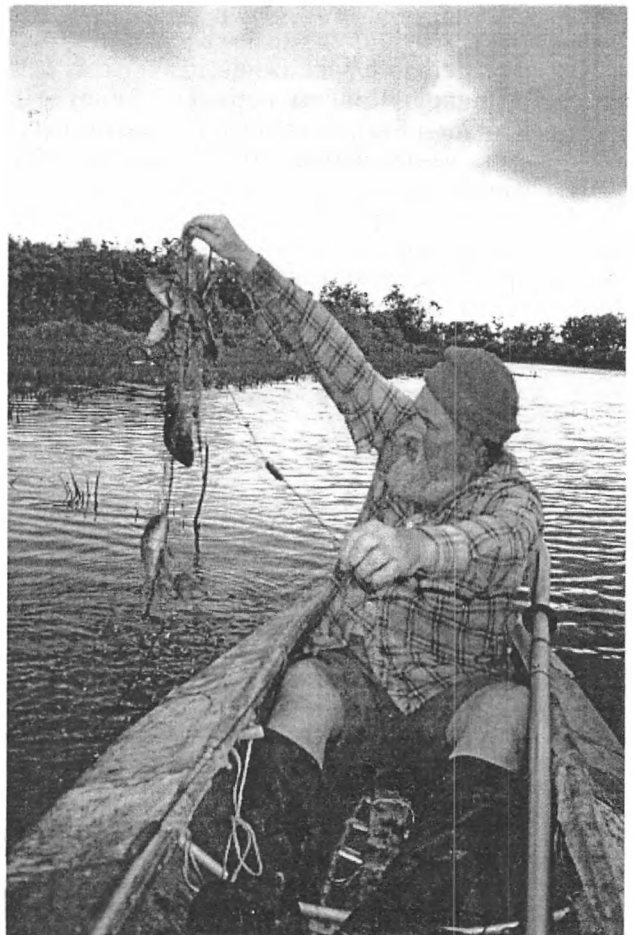
Но продолжаю путь. Полевая дорога идёт параллельно стратегической. Это — бетон солдатской дороги, которая ведёт в никуда, потому что строил её стройбат. На случай создания переправы через Мсту, если бы её разбомбили англо-американские империалисты. Так вот, иду полевой дорогой по тропке, вхожу на клюквенное болото. Для сбора ягод у меня созданы болотоступы. На них в Рдейском болоте, на юге Новгородчины, я добирался по чёрным трясинам до ягод величиной с вишню. И вообще клюква — и в те времена, и в эти — неплохое экономическое подспорье. Специалисты, пенсионеры из ближайших к болотам деревень, собирают её в день — и без всяких «комбайнов» — по полцентнеру. То есть рублей... уж с инфляцией нашей и подсчитать не могу.

Идя по дороге на юг, отклоняюсь чуток от неё вправо и попадаю в главную свою резиденцию — центр Заглушицы. Здесь между двумя стругами — Никольским и безымянной Канавой второй (может, кто подскажет, как её назвать?) — находилось, до того как я изменил этому десятиметровому кряжу, моё становище. Как-то я прожил на нём в обнимку с карасями целый месяц, а на стыке двух тысячелетий — с весны по осень. Когда в половодье в струги зашли лещи и язи, ловил их, на байдарке возил в Пентагон, покупал себе хлеб и сахар, магазинов в Броннице сегодня десять штук и, главное, без ненавистных мне очередей и хамства; разбил огород, в августе солил скоростным методом грузди и ольшанки: отваривал их и, уложив в закопанные срезанные пластмассовые бутылки, прижимал продукцию подвязанными к кустам жердинами. А через пару дней вкушал соленье со свежей картошечкой, обменённой в посёлке на карасей. Иногда навещали меня из Белой Горы мужики с бродцом, каким-то нюхом чуя поспевшую в трёхлитровках брагу на ежевике. Охотники приходили, и мы обща создавали так называемую шурпу из рыбы и уток. Приходили и женщины: крапивницы, щавельницы, грибницы. Словом, я не был анахоретом, но в то же время и не было суеты вокруг меня.

Ближе к осени, когда стало красно от шиповника, калины и подосиновиков по кулисам стругов, начал писать тут же на поляне моего стано-

вища воспоминания о лете. Назвал их «Взгляд на полевые цветы и травы на стыке тысячелетий». А ещё заготовлено было достаточно солений, выросли на отдохнувшей почве кабачки, засушено грибов и навялено рыбы... Бывало, постучишь свои опусы на машинке, пообедаешь чем Бог послал и идешь на прогулку по протоптанным за лето тропам, по полевой дороге катишь на велосипеде в Белую Гору к знакомым за чем-нибудь, а скорее просто так, и в пути кого только не встретишь. Писателей-покойников — Юрия Казакова и Георгия Семёнова, Фёдора Абрамова и Юрия Нагибина, мне с ними довелось в прошлом общаться — все они нынче или забыты, или забываются, а однажды привиделось мне: шёл с выводком своих детишек Александр Александрович. «Здравствуйте, Сан Саныч», — сказал я ему. «Здравствуйте, молодой человек», — ответил он, и все его четверо мальчишек и семеро девочек дружно закивали в ответ. Александр Александрович, полковник в отставке, в середине XIX века работал у нас мировым посредником...

Словом, неплохо жилось мне в тот год на Заглушице, потом я ей изменил: братался далее до со Мстой — поднимался вверх по ней до железной дороги, а затем скатывался обратно; то два года слушал прибои озера Ильмень, а нынче, возвратив-



Марк Костров на озере Рожок, 2002 г.

шись из путаницы речек Мстинской поймы, снова всю осень бродил по крошечной луговине, и не узнать её было... Моё становище заросло чертополохом, луга, что выкашивали, тоже на треть облюбовали колючки, но всё равно тянет и тянет меня сюда, в безлюдные просторы, сам не знаю, почему. Особенно люблю стоять на холме Староверского кладбища в юго-восточном углу лугов, рассматривать свой малый край с высоты: впереди зелёные кулисы кустов, потом краснеющие осины, а далее сине-тёмный сосновый лес за дорогой Бронница — Белая Гора, ну почти как у Паустовского в «Ильинском омуте» получается. А у меня всё про Заглушицу... Кто пожелает, приезжайте походить со мной по ней или ищите такие же места в своих краях. Уверен, таких Заглушиц в нашей России за век образовалось достаточно.

А ещё потому кончаю писать, что вчера, вернувшись из похода, был искусан земляными пчёлами; пострадали руки, и потому с трудом завершаю свой опус. Вина же моя по отношению к пчелиному сообществу заключалась в том, что я нарушил его хрупкое равновесие: чтобы расширить панораму при фотографировании пруда, стал палкой сбивать траву и с корнем вырвал один шиповник, как он ни колот мне руки, сопротивляясь. И, вероятно, повредил их подземное жилище — к счастью, когда я бежал от роя, подул сильный ветер и до лица дело не дошло, опухли и ноют руки от пяти укусов.

Как всё хрупко, непрочно на планете по вине твари разумной — человека. Города-мегаполисы, болезненные ненормальные наросты на теле земли с их небоскрёбами — тому подтверждение. Как

мы ни старались жить по десяти заповедям, ничего у нас не получилось. Гомо вульгарис не сумел превратиться в Гомо сапиенс. Технологических революций нас совершал, а духовно остался в своих «мерседесах» на уровне дикаря, а то и ниже. Потому-то придётся нам снова уйти в будки и пещеры и сделать новую попытку — попробовать по-настоящему, вероятно, соблюдать заповеди. Ведь солнце ещё долго будет стараться, если какой-нибудь учёный-фундаменталист, просто из любопытства — а что из этого выйдет? — не запустит в него атомную бомбу. Верно, интересно? В дома лайнеры запустили, а почему бы со светилом так не поступить? Чего оно всё светит и светит! Раздражая некоторых.

P.S. Я, атеист, не завидую верующим — моей жене, например. У них опора — Бог, у меня — *ПРИРОДА*. До снегов, осенью, вторично цветут: таволга, василёк фригийский, кукушкины слёзы (гвоздика Фишера), колокольчики и горечавки, очень сильны одуванчики, блестят в инее и потому не разлетаются; а после первых снегов, когда они сойдут, снова забелеет эстафетный нивяник, а щавель делается таким сладким, что, если у вас неурожай антоновки, я уже не говорю про зелёные щи, жуйте его на здоровье. А я ещё, кроме того, в первую оттепель откапываю редиску на своем огороде, кладу её на крутины снега и, прежде чем хрустеть ею, люблюсь. А когда наступает окончательно зима, встав на лыжи, объезжаю Заглушицу просто так, а в конце её, под моей ивой, спугнув куропаток, развожу костёр и пью кофеёк, чтобы обратно было легче ползти.

Валентин МАЗИН, Любовь ХИТРОВА

«БЛАГОУХАННА И ТУМАННА, КАК ВЕЧЕР ВЫЦВЕТШИЙ, СИРЕНЬ»

При слове «сирень» в первую очередь вспоминаются стихи Великого Князя Константина Константиновича Романова, который печатал свои произведения под псевдонимом К.Р.

Растворил я окно, — стало грустно невмочь,—
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

На эти слова Пётр Ильич Чайковский, которому Константин Константинович посвятил одно из стихотворений, написал чудесный романс, украшающий репертуар многих отечественных вокалистов, например, Сергея Лемешева. Другой русский композитор Сергей Рахманинов также не устоял перед обаянием сирени. На слова Екатерины Бековой он написал превосходный романс.

Путру на заре по росистой траве
Я пойду свежим утром дышать,
И в душистую тень, где теснится сирень,
Я пойду своё счастье искать.

На аромат сирени К.Р. часто обращает внимание. Он пишет о «сирени цветах благовонных» в его саду, о соловье, который «заливается целую ночь напролёт // Над душистой веткой сирени». О милой парочке — соловье и сирени — пишет и другой русский поэт Иван Бунин:

Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...
В окно зарница глянула тревожно...
Притихший соловей в сирени на валу
Выводит трели осторожно.

Надо заметить, что для условий Средней России сочетание соловья и сирени более реалистично,

чем соловья и розы, часто встречающиеся у многих поэтов. Дело в том, что розы обычно зацветают тогда, когда соловьи заканчивают свои рулады. Сирень же распускается одновременно с весенними трелями соловья. В другом стихотворении К.Р. также появляется знакомая нам парочка: «Благоухают пышные сирени, // И песни соловей поёт...». Даже когда наступает лето и «Отцветает сирень у меня под окном, // Осыпаются кисти пушистые...», поэт сожалеет, что «на сирени среди садов // Уж не качались опахала // Благоухающих цветов». Восхищением от аромата сирени проникнуты практически все стихотворения Константина Романова. Именно аромат — одно из наиболее привлекательных качеств этого широко распространённого и весьма популярного декоративного кустарника, на который обращает внимание и другой поэт — Владимир Набоков:

Закатов поздних несказанно
люблю алеющую лень...
Благоуханна и туманна,
как вечер выцветший, сирень.

Архаичное слово «выцветший», согласно словарю В.Даля, имеет значение «вступивший в пору расцвета, распустивший все цветы свои», а не «обесцвеченный», как понимают сегодня.

Даже из открытого окна проезжающего поезда поэт чувствует запах цветущей сирени.

По занавескам свет, как призрак проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колёс, — я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью!

Интересно отметить, что ночью, особенно при луне, лиловая сирень приобретает серебристо-серый оттенок. Это отобразил на известной картине Михаил Врубель и подметил Набоков в стихотворении «Сирень»:

Ночь в саду, послушная волнению,
нарастающему в тишине,
потянулась, дрогнула сиренью,
серой и пушистой при луне.

Неприхотливость сирени позволяет видеть её около различных присутственных мест: вокзалов, больниц, за оградой церковью и кладбищ. Поэт пишет:

...дождь наклонный,
на тёмном видный, и потом
захлёт сирени станционной,
уж огрубевшей под дождём...

Очень образно сопоставление четырёхлепестковых цветочков сирени с кладбищенскими крестами.

На кладбище солнце, сирень и берёзки
и капли дождя на блестящих крестах.
Местами отлипли сквозные полосы
и в трубки свернулись на светлых стволах.
.....

Прозрачны и влажны зелёные тени.
Кузнечики тикают. Шепчут кусты, —
и бледные крестики тихой сирени
кропят на могилах сырые кресты.

О сирени на кладбище сообщает и Бунин: «Спокойно на погосте под луною... // Крестов объятья, камни и сирень...».

Сирень всегда была почти обязательным элементом барских усадеб, особенно загородных. Например, Н.Ф.Золотницкий — автор известной книги «Цветы в легендах и преданиях» — называет сирень «цветком наших старинных дворянских гнёзд». Можно привести множество примеров из описаний дворянских поместных парков в русской классической литературе. Но мы обратимся к поэзии. Вспомните, читатель, роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Влюблённая Татьяна у окна «прелестным пальчиком писала на отуманном стекле заветный вензель О да Е». Вдруг она видит приехавшего Онегина и в смятении и страхе перед неизвестным бежит в сад, ожидая рокового объяснения. Поэт пишет:

...мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью,
И задыхаясь на скамью
Упала...

Описывая парк Лариных, Пушкин перечисляет куртины и цветники из неопределённых растений, аллею и лесок из неизвестных деревьев, да разве это важно, всё промелькнуло на бегу... И лишь сирень (обратите внимание на вышедшую из употребления форму множественного числа от этого слова) Пушкин называет по имени, возможно, и Александр Сергеевич был не равнодушен к этому милому кустарнику или именно его чаще всего встречал поэт в помещичьих усадьбах. Как знать.

Одной-двумя неделями позже сирени обыкновенной зацветает сирень венгерская. У неё соцветия с маленькими лиловыми цветочками, образующими на концах побегов красивые метёлки. В пору цветения сирени обыкновенной наблюдается какой-то странный бум. Её букетами переполнены пригородные электрички. Их продают на рынках, привокзальных площадях, везут в город в автомобилях. У нас во дворе растёт несколько кустов белой сирени, оставшихся от поглощённых городом палисадников частных домов. И каждый год, отправляясь на работу, мы любимся благоухающими гроздьями, с замиранием сердца ожидая встречи с ними. Но с удивительным постоянством ежегодно наблюдается одна и та же картина: в одну далеко не прекрасную ночь с довольно крупного куста исчезают все цветы. И лишь скромная кисточка, забытая ночными вандалами, напоминает о былом великолепии. Удивительно, но никто не

ломает венгерскую сирень. Все равнодушно проходят мимо, несмотря на её сильный и приятный запах. Вы видели, читатель, чтобы продавали букеты венгерской сирени? Я — нет, хотя обычно присматриваюсь, чем торгуют на ближайшем цветочном рынке. По-видимому, запах запаху рознь. В своё время в продаже были духи «Белая сирень», но почему-то никому не пришло в голову сделать духи «Венгерская сирень». Как ещё мало мы знаем о притягательной силе запахов.

Своё латинское название (*Syringa*) сирень получила от имени нимфы Сиринги. По древнегреческой мифологии, нимфы — дочери Зевса и его второй жены Фемиды, богини правосудия. Вскормленные, как и боги, нектаром и амброзией, они были намного умней и сильнее, чем люди. В отличие от богов нимфы были вечно юны, но смертны, как люди, и обладали способностью в случае необходимости становиться невидимыми. Они населяли леса и поля, горы и долины, деревья и кустарники, озёра и реки. Там они проводили время в играх, танцах, песнях и общении с богами, они входили в свиту бога Диониса. Возможно, древнегреческой нимфе аналогична кельтско-романская фея — сверхъестественное существо также в образе женщины. Пётр Ильич Чайковский — очень любивший цветы — написал для балета «Спящая красавица» танец феи Сирени. Бог Пан был хранителем зелёных долин, пастбищ, пастухов и их стад. Он родился от Зевса и нимфы Гибрис, имел козлиные копыта и рожки на голове. Воспитанный нимфами, бог отличался необузданным нравом. Блуждая по горам и долинам, Пан мог вызывать у заблудившихся путников непреодолимый, панический страх. Отсюда и слово «паника». В свободное от таких занятий время Пан любил наигрывать на пастушьей свирели, изобретённой им, которую так и называли флейтой Пана. Под звуки музыки танцевали пастухи, пастушки и, конечно же, очаровательные нимфы. Но вместо бесконечной благодарности своим воспитательницам Пан стал преследовать одну из них — прелестную нимфу Сирингу с недвусмысленными намерениями. Неуклюжий Пан (вспомните хотя бы его изображение на картине Врубеля) не смог догнать гибкую и грациозную нимфу. С досады он превратил её в гибкий кустарник, из которого нарезал семь прутьев и сделал из них музыкальный инструмент, который стали называть — «семиствольная сиринга». Инструмент отличался удивительно мелодичным звуком. По-видимому, это плакала душа напрасно загубленной нимфы. Сегодня, наверное, никто не делает свирелей из белой и прочной древесины сирени, но делают мелкие токарные поделки: чубуки, мундштуки и др.

Сирень как декоративное растение узнали в Европе во второй половине XVI века. Это было время, когда турки, сокрушив Восточную Римскую империю и завоевав Константинополь, осваивали захваченное. Султан Сулейман II превратил собор

Святой Софии в мечеть, омыв его предварительно розовой водой. Но турки, как на драгоценное наследие, смотрели на растения, оставшиеся в некогда знаменитых византийских садах. Именно там прибывший из Вены посол императора Фердинанда I Ангерий Гизлен Бусбекский увидел прелестный кустарник с ароматными гроздьями цветов, такого он никогда не встречал в других европейских садах. Турки называли это растение «лилак». Написанное латиницей, это слово до сих пор сохранилось, например, в английском (*lilac*) и во французском языке. Видимо, от французского *lilas* — лила (так оно произносится по-французски) произошло слово, передающее цвет сирени — лиловый. Таким образом, сирень — значит растение сиреневого цвета, или лиловое. Если вдуматься, то сочетание «белая сирень» звучит немного несуразно. Ещё нелепее «Сирень сиреневая» и «Сирень лиловая». Это всё равно, что сказать «масло масляное». Если Вам, читатель, попадутся такие названия в цветочном магазине, не подумайте, что встретили новые необыкновенные культивары сирени. Отбросьте иллюзии.

Кроме сирени и сиреневого цвета, существует целый ряд «цветообразующих» растений. Обычно они имеют неповторимые оттенки какого-либо цвета. Попробуйте, например, описать словами окраску василька полевого. Сказать, что он синий или светло-синий, — недостаточно. Голубой или тёмно-голубой — тоже. Он и не светло-синий, и не тёмно-голубой — он васильковый. То же можно сказать о глубокосинем, генциановом, цвете горечавки или розовом — дикой розы, или шиповника. Необычен даже оттенок зелёного цвета, который и не жёлто-зелёный и не зеленовато-жёлтый, а просто салатный.

Но мы немного отвлеклись от разговора о нашей любимице. Вернее, выступили в защиту её поруганного имени. Вернёмся же к нашему повествованию.

Итак, посол Фердинанда I оказался большим любителем экзотических растений. Из византийских садов сирень, а вместе с ней левкой, тюльпан и другие виды, перекочевали сначала в небольшой сад посольского особняка в Вене. Из него под названием «турецкой калины» — в сады знати Вены. В 1589 году сирень, или лилак, зацвела в Вене впервые. Зачастую поступками людей движет тщеславие. Как, наверное, приятно, показывая гостю свой сад, подвести его к необыкновенному растению и, понизив голос до полусшёпота, таинственно сказать: «Такого больше нет ни у кого, есть только здесь и там...», — многозначительно подняв при этом указательный палец вверх. И с видимым безразличием наблюдать, как завистливо заблестели глаза у собеседника. Так или иначе, но за истекшие несколько столетий сирень распространилась по другим городам Австрии, Германии, Фландрии — по всей Европе. Крупные душистые соцветия-метёлки, кожистые сердцевидной формы блестящие тёмно-зелёные листья привлекли к ней внимание

садоводов и цветоводов-любителей. Красоту её листьев, особенно после дождя, не обошли своим вниманием поэты. Бунин, например, пишет:

... Но туча дождевая
Уже прошла. Опять покой и лень.
В горячем свете весело и сухо
Блестит листвою под окнами сирень.

Сегодня даже в самой глухой деревеньке, забытой Богом и людьми, можно встретить за сломанной оградой палисадника одичавший куст сирени. Поздней весной он покрывается лиловой или белой пеной ароматных цветов, до заморозков щеголяя затем тёмно-зелёной блестящей листвою. Листья сирени обыкновенной осенью не желтеют, а сморщиваются и опадают зелёными. В субтропиках же, например в Потти, они всю зиму сохраняют зелёную окраску. На Руси сирень известна как рай-дерево, или бузок. Вероятно из-за синеватого оттенка лиловых кистей, её называли «синель». В этой связи вспоминаются стихи Ф.И. Тютчева:

Весь день, в бездействии глубоком,
Весенний, тёплый воздух пить,
На небе чистом и высоком
Порою облака следить;
Бродить без дела и без цели
И, ненароком, налету,
Набрести на свежий дух синели
Или на светлую мечту?

И опять автора привлекает чудесный запах сирени, или синели, который у него ассоциируется со «светлой мечтой». Удивительным свойством «отнять у жизни запах чепухи...» наделяет аромат сирени поэт Игорь Северянин:

С Иронии, презрительной звезды,
К земле слетела семенем сирени
И зацвела, фатой своих курений
Обволокнув умершие пруды.

Людские грёзы, мысли и труды –
Шатучие в земном удущье тени –
Вдруг ожили в приливе дуновений
Цветов, заполонивших все сады.

О, в этом запахе инопланетном
Зачахнут в увяданье незаметном
Земная пошлость, глупость и грехи.

Сирень с Иронии, внеся расстройство
В жизнь, обнаружила благое свойство:
Отнять у жизни запах чепухи...

Это стихотворение, написанное в форме сонета, было как бы символическим букетом благоухающей сирени, который поэт адресовал Надежде Тэффи — очаровательной женщине, блистательному фельетонисту и яркой фигуре среди поэтов-декадентов Серебряного века.

Любил сирень и Константин Георгиевич Паустовский, что было связано с его любовью к киевской весне, когда обрызганные водой душистые ветки стояли на ресторанных столиках, а молодые киевлянки искали в гроздьях сирени «счастье» — цветки из пяти лепестков. Ему был знаком каждый

уголок огромного Ботанического сада с его зарослями великолепной сирени. До сих пор Киевский ботанический сад славится своей коллекцией этих прекрасных растений. Более мягкий украинский климат благоприятен для перезимовки их нежных сортов. Суровые морозы время от времени наносят существенный ущерб коллекции сиреней Главного ботанического сада в Москве, как это было, например, холодной зимой 1978 года.

Любил молодой Паустовский и Мариинский парк в Киеве, где росли роскошные кусты лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста, ароматные гроздья которой звенели и качались от множества пчёл. Сирень окружала флигель на Печерске, где жил гимназический учитель Черпунов, поразивший Костика-гимназиста бутылкой с водой из реки Лимпопо. Даже у стен низких зданий арсенала в Брянске среди заброшенных остатков старых паровых машин росли такие же заброшенные кусты сирени. В холодной дождливой Москве, когда Паустовский работал трамвайным кондуктором, он видел сухие, покоробленные листья сирени, которые осенний ветер гнал из Зоологического сада на Грузинах. Высокие стены её росли в привокзальном саду в Люблине, где стоял санитарный поезд, на котором служил будущий писатель. Тишина и запах сирени, свешивающейся из-за оград, окружали человека на улицах этого города. Лучи солнца пробивались сквозь сердцевидные листья, создавая неповторимый узор на плитах тротуаров.

На одной из узких улочек в Люблине рвал молодой Паустовский холодную и мокрую от дождя сирень для любимой девушки Лёли. Сирень была и на пасхальной службе в бернардинском костёле. Горы её украшали наряженного в голубую парчу деревянного младенца Христа. Даже когда Паустовского насильно мобилизуют в армию бандита Антощенко, он замечает, что рекрутов выстроили против старого маленького дома, где в палисаднике выше крыши росли знакомые кусты. Кажется, что сирень сопровождала Константина Георгиевича всегда, всю его жизнь, а ведь мы лишь перелистали страницы его «Повести о жизни».

Вспомним ещё чудесный рассказ Паустовского «Молитва мадам Бовэ», в котором сирень, можно сказать, играет роль одного из героев, правда безмолвного. Константин Георгиевич пишет, что мадам жила в чужих семьях и учила детей французскому языку, помогала по хозяйству. Бовэ тяжело переживала падение Франции в 1940 году. В трудные минуты у неё был обычай напевать французскую песенку «Quand les lilas refleuriront...» (Когда опять зацветёт сирень...). Мать говорила ей в детстве, когда девочке приходилось ждать чего-то слишком долго: «Не горюй, это случится, когда опять зацветёт сирень» и тихонько напевала эту песенку. В конце весны 1944 года, когда в садах зацвела сирень, мадам узнала, что началось вторжение союзнических войск в Нормандию. Она была радостно потрясена этим событием и сказала, задыхаясь: «Они

высадились... у нас... в Нормандии. Я говорила... Quand les lilas refleuriront...». Мадам ярко осветила комнату, включив все лампы. Поставила на рояль дымно пылающие восковые свечи, «накрыла круглый стол тяжёлой белоснежной скатертью, на которой чёрным стеклом блестили две бутылки шампанского. И всюду — на столах, окнах, на рояле, на полу — громоздились в вазах, в тазах, даже в деревянном дубовом ведре груды сирени». Утром одна из воспитанниц видела, как мадам, стоя на коленях, шёпотом молила Святую Деву Марию, помочь ей увидеть родную свободную Францию. Рассказ датирован 1945 годом, но, очевидно, он написан до того, как в мае этого же года, то есть через год после описанных в рассказе событий, кончилась эта проклятая, кровавая война. Это произошло также в начале мая, когда в Европе опять пышно зацвела сирень. Рассказ впервые увидел свет лишь в 1958 году в 5-м томе собрания сочинений писателя. Интересно, почему это пронзительное произведение мастера не было опубликовано раньше? Возможно, патриотические переживания гувернантки-француженки не были актуальны в те годы тяжёлого идеологического давления. А в 1958-м ещё не прошла краткая хрущёвская оттепель...

К сирени была равнодушна известная эстрадная певица Клавдия Шульженко, особенно популярная в трудные послевоенные годы. В перенасыщенном растворе официальных песен и маршей исполняемые ею произведения были свежей струей любви, нежности, человечности. На концерты Шульженко любила ходить другая замечательная артистка Мария Бабанова. Она не считала для себя зазорным учиться мастерству перевоплощения у Клавдии Ивановны, которая в каждом романсе была другой... Помнится, на один из концертов Бабанова пришла с большим букетом сирени. И после исполнения романса про «вашу записку в несколько строчек, ветку сирени, смятый платочек» преподнесла его певице. Шульженко была растрогана, а зал буквально взорвался от аплодисментов. Но если Вы, читатель, решите подарить цветы своей любимой певице, особенно классической вокалистке, будьте очень осторожны. Цветы с сильным запахом, такие как гиацинты или лилии, могут плохо повлиять на голосовые связки. Ирина Константиновна Архипова, например, откладывала подобные букеты на дальний конец рояля. Это замечание не относится к розам и нашей любимице сирени, ведь их аромат так нежен.

Каждый цветок сирени имеет четыре лепестка. Это аксиома. Правда, ботаник нас сразу же поправит, что это не лепестки, а гвоздевидный венчик с глубоко раздельным четырёхлопастным отгибом. Но не будем вдаваться в терминологические тонкости, станем условно называть их лепестками. Чудесное стихотворение о четырёхлепестковых цветах сирени, напоминающих маленькие крестики, написал Игорь Северянин. Оно так и называется «С крестом сирени».

Цветы лилово-голубые,
Всего в четыре лепестка.
В чьих крестиках мои бывшие
Любовь, отвага и тоска!
Ах, как же вы благоухали
Тогда, давно, в далёком, там,
Зоя в непознанные дали
По опадающим цветам!
И слушая благоуханье,
Вдыхая цветовую речь,
Я шёл на брань завоевань
С сиренью, заменившей меч...
А вы цвели и увядали...
По опадающим, по вам,
Я шёл в лазоревые дали —
В цветы, в цветах и по цветам!
Со мною были молодые
Мечты и смелая тоска,
И вы, лилово-голубые
Кресты в четыре лепестка!

Однако среди нормальных цветков можно найти аномальные с тремя — семью и даже с восемью и более лепестками. Считается, что цветки с 12 лепестками — не редкость. А.В.Цингер, автор прекрасной книги «Занимательная ботаника», вышедшей четвёртым изданием в 1934 году и ставшей для многих из нас дверью в увлекательный мир ботаники, приводит рисунок цветка сирени с 18 лепестками. Его средняя часть была заполнена множеством жёлтых пыльников, а целиком он напоминал корзинку сложноцветных (астровых). О гигантском цветке с 24 лепестками, найденном его знакомой, сообщает также А.В.Цингер. Но наибольшее внимание привлекают цветки с пятью лепестками, которые по существу поверью приносят счастье, для этого только надо найти такой и непременно съесть. До сих пор помнится его аромат и горьковатый вкус, сопровождаемый сладкой капелькой нектара. Чудесное стихотворение, в котором фигурируют пятилепестковые цветки сирени, написала Н.А.Тэффи.

Есть у сирени тёмное счастье —
Тёмное счастье в пять лепестков!
В грёзах безумья, в снах сладострастья
Нам открывает тайну богов.
Много, о много нежных и скучных
В мире печальном вянет цветов,
Двухлепестковых, чётносозвучных...
Счастье сирени — в пять лепестков!
Кто понимает ложь единений,
Горечь слияний, тщетность оков,
Тот разгадает счастье сирени —
Тёмное счастье в пять лепестков!

Цветёт сирень во второй половине мая — начале июня. Это как раз пора школьных экзаменов, на которые многие мои одноклассники (вспоминает В.Мазин) приходили с цветами. Обычно это были скромные букетики сирени из запущенных палисадников села Леонова, бывшей окраины послевоенной Москвы. Мы тут же набрасывались на эти букеты, пытаясь отыскать пятилепестковые цветочки, будучи абсолютно уверенными в их магическом действии на результаты экзаменов. Счастливчиков было

немного, слишком редко встречались эти волшебные цветки. Но один случай заставил меня отбросить всякие сомнения. Дело было так. Русский язык нам преподавала Елизавета Викторовна, я с трудом вспомнил это имя потому, что все мы звали её Зверь-курица. Вернее, это она нас — своих учеников — называла «звери-курицы». А мы перевели это странногибридное слово в единственное число... Довольно крупная моторная женщина, обликом своим напоминая актрису Татьяну Пельцер в молодости, энергично потирая руки, влетала в класс и отрывисто бросала: «Ну, звери-курицы, диктант!». Так это прозвище накрепко прилипло к Елизавете Викторовне. «Атас! Зверь-курица!» — кричали одноклассники, предупреждая о приближении учительницы. Диктанты она проводила нетрадиционно. Каждую фразу повторяла не более трёх раз и никак не реагировала на просьбы повторить снова. Именно она приучила нас быть предельно внимательными, буквально ловить каждое её слово. На её уроках всегда была напряжённая рабочая дисциплина. На баловство просто не оставалось времени, потому что она постоянно обращалась к кому-нибудь из нас с вопросом. Нельзя сказать, что её любили, но её глубоко уважали, а некоторые побаивались. И вот наступил день экзаменационного (городского, присланного из РОНО!) диктанта. Мой приятель пришёл с букетом великолепной махровой сирени. Это была моя первая встреча с махровой сиренью. Я был поражён. «Откуда?» — спросил я, безуспешно стараясь скрыть изумлённое восхищение. «От агронома», — ответил Володя. Я знал, что на краю Леонова одиноко стоит дом агронома, окружённый молодым садом. «А отлупит?» — продолжал я. «Ничего, я его на гвоздик». — «Это как?» — не понял я. «В петли для замка я вставил гвоздик, и он просто не смог бы выйти из дома», — объяснил Володя. Я был потрясён и великолепием сирени, а ещё больше изобретательностью моего приятеля. «Можно?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, сунул цветок в рот. Но тут как саранча налетели одноклассники и начали отщипывать и жевать цветки со многими лепестками. Их хватило всем, и результат был налицо. Диктант написали без единой тройки. Довольны были все. Ученики оценками, а Зверь-курица ещё и роскошным букетом сирени (в те времена москвичи не были избалованы обилием цветов). Как тут не поверить в магическую силу сирени. Я уверовал в это сам и с той далёкой поры стараюсь убедить других.

В настоящее время насчитывается свыше 500 сортов, полученных селекционерами на основе сирени обыкновенной. У сортовых сиреней различают простые цветки, состоящие из одного венчика, и махровые, когда венчики как бы вложены один в другой. Если внутренний венчик неполный, имеющий менее 4 лепестков, такие цветки называют полумахровыми. Колористически цветки сирени очень разнообразны и делятся по этому признаку на семь групп: белые, фиолетовые, голубоватые, лиловые, розоватые, красновато-лиловые, пурпур-

ные. Такое деление достаточно приблизительное, поскольку в зависимости от условий внешней среды оттенки цветов сирени могут меняться. На кислых почвах окраска смещается в сторону розовой, а на щелочных — голубой. В сухую и солнечную погоду цветки могут выгорать, в пасмурную и дождливую — дольше сохранять свою интенсивную окраску. Но есть и такие сорта, которые трудно отнести к какой-либо колористической группе. Например, «Сенсейшн» с пурпурными цветками и белой каймой по краю и жёлтый «Примроз». А цветки сорта «Красавица Москвы» распускаются как розовые, а затем становятся белыми. Этот шедевр селекционного искусства создан нашим знаменитым соотечественником Леонидом Колесниковым. Сирени, выведенные оригинатором, были настолько хороши, что автору была присуждена Сталинская премия, а затем и Золотая медаль Международного общества сирени. Известны такие сорта выдающегося советского селекционера, как «Галина Уланова», «Алексей Маресьев», «Красная Москва», «Кремлёвские Куранты», «Утро России» и другие. Один из сортов с большими (до трёх сантиметров в диаметре) очаровательными голубовато-лиловыми с фиолетовым отливом цветками в крупных соцветиях оригинатор посвятил П.П.Кончаловскому. Пётр Петрович был автором известного цикла натюрмортов «Сирень». После смерти Колесникова в 1968 году его уникальная коллекция была брошена на произвол судьбы, и её попросту растащили. Созданная в 1997 году общественная организация «Сирени Московии» задалась целью восстановить коллекцию и собрать рассеянные по стране сорта знаменитого селекционера.

По срокам цветения различают сорта ранне-, средне- и позднецветущие. В одном из стихотворений, которое так и называется «Сирень», поэт Константин Романов пишет:

Сирень распустилась у двери твоей
И лиловыми манит кистями:
О, выйди! Опять любоваться мы ей
Восхищёнными будем глазами.
Смотри: гнутся ветви все в пышном цвету, —
Как обильны они и пушисты!
Не долго глядеть нам на их красоту
И вдыхать её запах душистый.
Весна промелькнёт словно шаткая тень,
Как во сне пронесётся крылатом...
Скорей! Наглядимся ж на эту сирень
И упьёмся её ароматом.

Прошло более ста лет после того, как Великий Князь восторгался ароматными гроздьями сирени, но до сих пор миллионы читателей не только продолжают восхищаться растениями, благоухавшими когда-то в Красном Селе в далёком 1888 году, но и сетовать на кратковременность их цветения. Однако, высаживая современные сорта, подобранные по признаку времени цветения, можно значительно (до месяца, а иногда и до двух, если использовать видовые сирени) продлить возможность любоваться их пышным цветением.

Анатолий ЯНИ

ИМПЕРАТОР ЗАПАХОВ

Читая Паустовского, я невольно обращаю внимание на то, что ни одно из его произведений не обходится без того, чтобы Константин Георгиевич не описывал какой-нибудь запах или аромат. Почти любую информацию (не только пейзажную) писатель передаёт через характерные запахи. «Мой сосед угощал меня медвежьим окошком. Медвежатина пахла сосновой смолой». «Запах берёзового дыма смешивался с запахом можжевельника». «Я задышался от запаха девичьих волос, духов». «От её волос шёл запах ветра». «В хате пахло мелом и хлебом». «Музыка рассказывала о дожде, пахнущем винной пробкой». Руки Поля Гогена в описании Паустовского пахнут смолой и красками.

Паустовского принято называть прозаиком, однако любую строчку из его прозы я квалифицировал бы как свободный стих, как тот верлибр, пионером которого является Уолт Уитмен. И когда я читаю Паустовского, в чьих книгах щедро разлиты сотни ароматов и запахов, мне вспоминаются строки Уитмена, автора «Листьев травы»: «Пахнут духами дома и квартиры, на полках так много духов, я и сам дышу их ароматом... Воздух — не духи, его не изготовили химики... Запах свежей листвы, запах морского берега и тёмных морских утёсов, запах сена в амбаре...»

Существует немало способов и приёмов живописного выражения мысли. Одним из удивительных свойств Паустовского, связанных с его писательской профессией, с его поэтическим призванием, с его природным даром, думаю, можно считать его умение описывать запахи. Описание разнообразных ароматов заражает нас жаждой познания и любовью к жизни.

Любит Паустовский описывать и запахи моря. В его рассказе «Кофейная гавань» море пахнет «не рыбой и тиной, а персиками и льдом». И даже у айсберга есть свой аромат. Об этом узнаём из диалога, звучащего в том же рассказе:

«— Капитан Нокс, норвежец, слышал запах айсбергов за полмили.

— Разве у айсбергов есть запах? — спросил я в полной растерянности.

— Такой же, как у подводных рифов, — ответил старый капитан».

Мне представляется, что запахи сопровождали чуть ли не каждый шаг писателя, и каждый день его жизни, как и мыслями, и радостями, напол-

нялся запахами. К чему бы ни прикасалось вдохновенное перо Паустовского, о чём бы он ни писал, почти всё имело свой аромат. И примеров можно приводить бесчисленное множество. Встречаются запахи, связанные с парфюмерией: «Пальто было лёгким и пахло духами». Распространяли запах духов и голубые мундиры французских артиллеристов.

Когда молодой Паустовский взял в руки газету, где печатались первые телеграммы об уходе из жизни Льва Толстого, газета эта пахла керосином. На стене чулана, где Паустовский проявлял фотоплёнку, висела маска из папье-маше, изображавшая клоуна, и «от него пахло клейстером». В глазах у мальчика была тоска «по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими ко дну угольками».

Некоторые запахи хочется отнести к «пейзажному» ряду. «Мокрый песок в саду пахнет зимой», «перезревшее лето пахло йодом, хвоей и солью».

Не могу утомлять читателя цитатами пахучих слов, но мне кажется, что, исписав даже сотни страниц с захватывающими примерами, я не передам, не раскрою и сотой доли того богатого арсенала ароматов, которые были описаны Паустовским.

Его мир — это необъятный мир чувств и ощущений, связанных с музыкальными звуками, шумом садов, громоханием грозы, шорохом морского гравия, голосами, ритмом, тональностью, цветом, игрой светотеней, точным сочетанием красок с их спектральным блеском, не говоря уже о запахах. Запах у Паустовского, наряду со звуком и цветом, всегда является свойством окружающей среды и очень остро воспринимается чутким писательским сердцем.

Помнится, у виноделов есть такой термин — «ароматизированные вина». Нечто подобное можно сказать и о пьянящем или оказывающем на нас гипнотическое действие аромате прозы Паустовского. А самого писателя я бы назвал императором всех запахов мира. Или — не знаю, существует ли где-либо такое определение — «запахопроницательным» писателем.

Читая Паустовского, убеждаюсь в том, что ни одному живому существу, а тем более писателю, жить на белом свете без его ароматов невозможно.

Александр ПОЛЕЩУК

РЕЧКА ИЗ КНИГИ

В юности я открыл для себя Константина Паустовского, превосходного русского писателя. Именно у Паустовского я вычитал однажды, что в Рязанской области есть город Спас-Клепки, через который протекает река с коричневой водой. Конечно, современный читатель может подумать, что река эта загрязнена отходами какого-то химического производства, и ошибётся. Речка Пра, писал Паустовский, вытекающая из обширных мещёрских болот, несёт мельчайшую торфяную пыль, чем и объясняется необычный цвет её вод.

И вот я оказался в тех самых Спас-Клепиках, в самой глубине Мещёрского края, воспетого писателем. Это был тихий городок с немощёными улицами, вдоль которых росли могучие липы, сосны и берёзы. Под стать им были и дома: подклети, веранды, балконы, чердаки, мезонины; фигурные рамы окон придавали им непривычный для меня, сибирского жителя, облик.

Переночевав в Доме колхозника, я спозаранку устремился к реке. Не скрою, я волновался, словно мне предстояло встретить первую любовь. Мне даже не приходило в голову, что Паустовский видел речку Пру в тридцатые годы, а с тех пор многое изменилось в родимых ландшафтах. Не думал я и о том, что писатель, известный романтик и выдумщик, мог опозитизировать обыкновенный болот-

МП: Александр Александрович Полещук — журналист. Его очерки публиковались в журнале «Вокруг света» и других изданиях. Автор книги «Перемена мест» («Пашков дом», М., 2006). В настоящее время — главный редактор журнала «Восточная коллекция».

ный ручей. Нет — я верил, что встречу именно ту, настоящую речку из книги.

И вот показалось тёмное зеркало воды. Несколько шагов — и я на маленьком пляжишке, откуда влево и вправо видна Пра: ровное, без извилин, русло в травяных берегах, навис-

шие над водой кусты, остатки утреннего тумана в тенистых местах. Водомерки беззвучно снуют по речной глади, не тревожимой волной. Ни единого плеска, только слышно, как шлёпаются о воду, скатываясь с листьев рабит на другом берегу, набрякшие капли.

Солнце уже поднялось над крышами, и в его косых лучах я увидел, что у воды коричневый оттенок. Река из книги оказалась настоящей.

Благоговейно, как язычник, вошёл я в воды реки с таким запоминающимся и таким подходящим к ней названием — Пра. Ложе реки устилал толстый ковёр мха, слегка пружинящий под ногами. От моих шагов поднимались со дна фонтанчики коричневой миллионнолетней пыли. Я зачерпнул пригоршней тёплую и мягкую на ощупь воду и долго вглядывался в неё. Невесомая торфяная взвесь никак не осаждалась на ладонь.

Течения в реке почти не было. Я лёг на спину и долго смотрел в небо. Надо ли говорить, что испытанное мной тогда ощущение больше не повторилось...



Мещёра. Река Пра.
Фотография Ильи Комарова



ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ

Владимир ЗАКАЗНИКОВ

УМОЛКНУВШИЙ ЗВУК...

10 января 1999 г.

...Прогуливая собаку, сочинял письмо дальше и теперь пытаюсь поймать за хвост тему вдохновения и его отрицания. Ведь в какой-то мере Вы написали мне письмо о вдохновении, хотя и не использовали это слово. При монтаже «Снега» я его не испытал (а в «Ильинском-то омуте» оно было). Короче говоря, я собирался писать о том, что, начиная, например, работу маслом, не нужно ждать вдохновения (хвастливо заявляю, что научился у Родена). Нужно волевое усилие, нужна работоспособность, в процессе придёт то, что надо. Так же — с литературной работой. Так же, скорее всего, в музыке — моя догадка. А где же не так? Видимо,

везде так, было бы время. Монтаж, на первый взгляд, работа a la prima.

Собственно, так оно и было со «Снегом». Полностью (технически) завершённая работа стала для меня большой новостью. Титры, например, писали без меня, в то время как в «Омуте» мы с монтажёром пересмотрели шрифты, прикинули их цвет, форму их появления на экране.

A la prima я теперь только рисунки делаю на педсоветах и производственных совещаниях. Двадцать лет назад писал таким манером и маслом. Теперь же в один слой не работаю: отчасти потому, что не могу, отчасти не хочу, что важнее, принципиально. Для убедительности в этом месте нужно демонстрировать

МП: 8 июля прошлого года мы — музей и редакция «МП» — потеряли большого друга.

Владимир Алексеевич Заказников — автор и создатель короткометражных фильмов по мотивам рассказов К.Паустовского: «Ильинский омут», «Рассказ, прочитанный зимним вечером» («Снег»), «Вжик-вжик метла ветлы по небу», «Умолкнувший звук», «Во глубине России» (подробнее о них см. в «МП»-23). С 1997-го года Владимир Заказников — участник и видеолетописец праздников писателя в Тарусе, Филиппе, Одессе.

В его работах никогда не было дешёвого умиления или иллюстративности. В каждом фильме мысль автора стремилась проникнуть в глубь текста, исследовать историческое и культурное пространство вокруг него. Он как бы вёл диалог с писателем, чувствуя, однако, дистанцию между собой и классиком. Тем не менее интонация закадрового голоса автора фильма была всегда созвучна сдер-

жанному голосу самого Константина Георгиевича.

Владимир Заказников полагал, что его зритель не уступает ему ни в чём, готов творчески сопереживать и мыслить. Может быть, поэтому его небольшие фильмы требуют от зрителя вдумчивости и сосредоточенности — их нельзя смотреть между прочим, за разговором.

Выезжать на съёмки из Казани, где он жил, в дальние края с полной выкладкой оператора и художника, особенно после перенесённого микроинсульта, было, конечно, нелегко. Но обаятельный и контактный человек, он не оставался без помощи и близких, и друзей, и едва знакомых людей. Так при подготовке к съёмкам «Умолкнувшего звука» в не столь доступном ныне Крыму у него появились новые друзья, живущие у подножья Карадага — места предполагаемых съёмок, которые приютили, согрели сопереживанием и даже участием в работе.

Самобытный художник с профессиональной рукой и вкусом, знаток поэзии, добрый выдумщик и лицедей

в фильмах и в жизни, неисправимый оптимист, Владимир Заказников привлекал лукаво-ироничным, но строгим умом, широкой эрудицией. Его облик сурового штурмана, каким он собственно и был в молодые годы, с неожиданно застенчивой улыбкой и открытым взглядом притягивал и располагал к полному доверию.

Владимир Алексеевич безумно любил своих внучек, благоволил к юной братии в Речном техникуме, где работал, находил с ней контакт, учил молодых не только профессиональным навыкам, но и прививал интерес к искусству вообще, к любым видам творчества.

Он любил получать и писать письма. Это побудило нас опубликовать отрывки из его писем, адресованных друзьям, сотрудникам музея — Алексею Александровичу Кириленко и Монике Константиновне Сазоновой (письмо от 15.02.02). Публикуем также несколько его графических и живописных работ с надеждой, насколько возможно, дополнить и сохранить живой облик Владимира Заказникова.

что-то из живописи. И мне бы в самом деле хотелось Вам что-то показать, жаль — не могу. Есть несколько работ на кассете, а всё же лучше смотреть оригинал, прошу прощения за банальность.

Что касается многослойной работы, то я это на всё распространяю, не декларируя и не утверждая, что состою на службе у истины.

Вот у меня какие планы, кроме солотчинских записей. Следующая работа — «Умолкнувший звук». Я помню, что писал Вам. Ещё не написан, но готовится монолог девочки Лили (актриса у меня та же, что в «Снеге» — девушка из Крыма). Она пронесёт его в камеру, и это должно быть началом фильма. Монолог запишу в Казани, коктейльными съёмками перебую его, потом, собственно, Коктебель–Киммерия, Питер...

Состояние раздвоенности, упомянутое Вами, вряд ли греет. Но может быть, подвергнуть этот негатив сомнению? Взять и поставить его вверх ногами? В конце концов, что же делать всем «воскресным художникам», как кто-то назвал любителей. Не бросать же занятие. Ваши судакские и прочие морские творения — извините, что вторгаюсь в область, где Вами многое продумано, — сделаны душой и сердцем, не говоря уже о профессиональной руке. Грех останавливаться. Раздвоенность, раздвоенность, оборотись к лесу задом, а ко мне — передом. Может, не к лесу, а к миру. Даже скорее, к миру. Вот она оборотилась, ну и поищем её человеческое лицо.

При желании можно найти в вышесказанном назидательность, а найдя — осудить. Легко высмеять мои фантазии. Осуждение и насмешка, вот чем бьют наповал таких, как я, закомплексованных и высывающихся. На самом же деле о назидательности не помышляю, хотелось бы сказать — отвергаю, а фантазии здесь, видимо, сам придумал, представив некоего оппонента.

А может быть, раздвоенность — удел, крест?

Одним словом, я её защищаю, эту птицу о двух головах, смотрящую на две стороны света. Биографическая защита. Вообще аргументы за и против в этом вопросе лежат между Цельностью, отрицающей раздвоенность, и, чего уж там — все мы раздвоены, т.е. констатацией факта, отрицающего цельность. Усложняя вопрос, вправе полюбопытствовать, не узко ли рассматривать лишь ось между первым и вторым? Есть плоскость, есть объём, и, стало быть, место для пульсации чего бы то ни было многократно увеличивается. Человек раздвигается миллионами причин; вот это и есть его естественное состояние. И так на каждый аргумент есть его контр. Возможно, это схоластическая бесконечность.

<...> Пишу с паузами, вызванными то сном, то внучками, и это ли не иллюстрация к состоянию раздвоенности и в то же время не аргумент в пользу моих доводов? Впрочем, всё спорно, и в этом суть сущего. Мне по душе еретическое воззрение Ван Гога, ставящего творчество во главу всего, без чего, он сказал, не представляет жизни.

5 февраля 1999 г.

Пока писал письмо, кое-что прочитал из последней Вашей замечательной посылки, вся она какая-то тугая и весома. Опять интересен Кувалдин, за исключением р-разрушения старого литературного мира, но в новом у меня с ним общая любовь и восхищение — Домбровский, а, во-вторых, «Дети Арбата» прочитались и прочитались, и всё, а ведь надо, чтобы плакать хотелось, чтобы заглянуть за, иначе — просто литература. Ели в детском садике по соседству в эти дни стоят, чуть присыпанные снегом. Вдруг как-то вечером увидел их — живые, трогательные, и ощущение единства. Видимо, природа что-то хотела сказать в этот миг, может тепло дохнула, как корова из хлева, или взглянула внимательно, но что-то было. Необходимое лёгкое помешательство. Хорошо, когда в виде диалога, хотя бы — переглядывания. Да и просто ощущение связи хорошо. Узкоколейка из Вашей бандероли¹ тоже связана с природой, этим и хороша, и природой давно принята, несмотря на железную основу, а в разрушенном виде экологически оскорбительна. Чтоб они все сдохли! На узкоколейку я смотрю с некоторых пор другими глазами, это понятно, а что существенно — появляется потребность навестить. Значит, надо навестить. Навещу. Кого ещё? Список большой. Надеюсь, знаю его не весь. Вот известный населённый пункт — Солотча. Но чья это точка зрения, что он известный? Он настолько же неизвестный. Я случайно оказался в доме Попова, прожив рядом с ним во время последней поездки. В доме живёт дочь художника, висят его картины. А Мещёра-то ещё шире и огромней. В городе Савово есть лётное училище со знакомым самолётом. Надо бы взлететь над лесом. Надо в конце концов дойти до Белоомута, всего-то 40 км, и ориентиры примечательные — телеграфные столбы, знай иди. И т.д. А вообще третьей частью² должны быть леса и шары. Очень много не сделано по Солотче. Но лучше так скажу: хочется ещё что-то сделать по Солотче. И вообще. Неисчерпаемых мест не счесть. Дальше должен последовать слюнявый оптимистический лозунг. На самом деле (не хочу же я обзывать себя так жутко) есть грандиозный план, ещё не утверждённый мной, на который я нечаянно набрёл в странствиях по К.Г., отвергнутый по громоздкости, но не уничтоженный. Я утопил его в море жизни, а он всплыл, т.е. выплыл живой и говорит. Я его послушаю и, если будет можно, позже поделюсь.

20.09.2000

У нас в Казани наступила осень, в основном с синим небом. А у вас? Наверное, считаете, сколько осталось до дня рождения. 60 дней, 59... Но, Боже мой, как мгновенны, как неуловимы эти дни. Останутся 5 дней, 3 дня, не останется ни одного, а ведь

¹ Материалы о рязанской узкоколейке напечатаны в «МП»-21.

² Фильм «Вжик-вжик...» состоит из трёх частей; одна из них называется «Круг событий, или Сказки Старой ветлы».

вот только что было невпроворот. Вот почему не люблю даты: они зримо отнимают у нас дни жизни. Но вас я люблю и Серую дачу люблю, тут уж никуда не денешься — попался. Опять со сжатием сердца вспоминаю, А.А., как мы встретились на Казанском вокзале глубокой осенью. Стоит жить!

Жалею (в который раз повторяю), что прошедшим, таким ещё недавним, летом, так и не оказалось возможности проехать через Москву — и оттого, что не пришлось повидать вас (хоть кого-нибудь), и оттого, что дело застопорилось: обязательно хочу снимать в Мещёре ещё, сам себя убедив (легко) в необходимости.

Конечно, мне хочется говорить о «Круге событий...», авторские амбиции всего меня изнутри истыкали вопросительно, я дверку приоткрою, говорю: «Тихо! Ждите!», совсем как мой лечащий врач. Когда ещё случится такая же, как в Тарусе, «Берёзовая роща»? Там была аудитория, А.М.Борщаговский, недоверчиво-доброжелательный, там были паустовцы в невиданном количестве. Какое счастье! Это в прошлом. Книга жалоб и предложений шелестит сухими пустыми страницами.

Мнения, во множественном числе, очень нужны.

Как ни странно, но мы и здесь (в Казани) не посмотрели вторую часть. Написал и себе же удивился, а что странного? Лето не сплывает. Созванивались, созванивались с Людмилой Сергеевной¹, наконец в конце августа и Гюзель² вернулась в Казань, но уже дали знать о себе будущие хлопоты — на носу учебный год, и мы так и не встретились. 29 августа ехал с работы, в трамвае стало плохо, и где-то я упал. Не помню деталей совсем. На скорой привезли в больницу, в другую. Зашили ушную раковину и позвонили домой: «Забирайте вашего!» Всё очень грубо было. В результате с 1.09 лежу с микроинсультом (микро — радует) в больнице...

Окончательный диагноз поставил томограф. Его командирский пульта произвёл впечатление очень серьёзного радиолокационного тренажёра. По некоторым признакам я ожидал видеозапись, нет — был выдан только снимок с очень большим количеством мозгов, я так порадовался. Когда разрешили читать, привезли по моей просьбе Довлатова, трёхтомник. Клевал его, перебегая от тома к тому. Устал от его горечи. Взял «Блистающие облака» и «Чёрное море». Выяснилось, что «Облака» забыл основательно. Испытал радость. Временами, часто — восхищение. Радовался неутомимости К.Г. в сочинении и вкоачивании сумасшедших, мощных, красивых сравнений. Думаю, что в юности этот компонент был мною проглочен без раздумий, так сказать, в общем вареве. А ведь и Батулин, и Берг, и Нелидова весьма схематичны и условны и не выглядят раскрашенными картонками только потому, что так же условна сюжетная

конструкция. Они не контрастны, вписываются в среду и становятся одним целым. Думаю, в этом всё дело в «Блистающих облаках». К.Г. действительно сплёл, спаял, связал, слепил блистающие облака, они перемещаются, меняют форму и почти никогда не теряют своего вещества. Поковыряться отвёрткой или кусачками туда не влезть. Условно растворены. Тем не менее, несколько абзацев, связанных с Валей, я бы вычеркнул и отвечал на рукопожатия с чувством человека, сделавшего добро. Такой я ревизионист. Может быть, ворчливость сродни инсульту и выкабалкалась на солнышко, улучив момент? «Чёрное море» я перечитывал, бездны в восприятии не ожидается.

27.09.2000

...Когда Вы мне прислали размеры стены для выставки, не я, а моя серая скептическая составляющая не приняла предложения, найдя ряд доводов. Сегодня я готов бодаться, но могут и не предложить, да и, как оказалось, нечем. Всё надо делать вовремя, говорю я себе. Планировать и делать. Спланировать я сумел только состав экспозиции. Дальше — больше. Вот бы, лёжа мечтаю, приехал А.А. с оруженосцем (или без), связали бы мы несколько картинок, и я бы благословил их (его) «слабым манием руки». Простите, А.А., что увидел Вас экспедитором и носильщиком. Жду резкой отповеди в ответ. А в самом деле, пришлось ли поколесишь и добавили что-нибудь в области любезного нашему сердцу изобразительного искусства? Я, увы, за лето — ничего. Последний волевой поступок — на заключительном педсовете в начале июля не из любви к искусству, а исключительно из-за злого вопреки обстоятельствам повесил на передней стене пять работ, из которых только две новые, да ещё одна переделка, которая сейчас не нравится. Зато автопортрет 96 года висел прямо над трибуной, т.е. над выступающими. Им бы я Вас с удовольствием нагузил.

Вы, видимо, знаете, что за третьей частью в Солотчу съездить не удалось. В связи с её задумкой хочу напасть на Вас с вопросом: каково Ваше мнение о «Круге событий, или Сказке старой ветлы»?

В ноябре, в Солотче я, вооружённый текстами писем К.Г., в разгаре работы напал, да ещё с камерой, на Вл. Мих. Касаткина. На простой вопрос, не встречал ли он, В.М., здесь мастера Гальвестона, В.М. находчиво ответил: «Нет не встречал». «Со всем не встречали?» — пробовал я настырничать. «Со всем не встречал». Дальше я, начиная понимать своё экекуторство, пробовал вникнуть в разные детали наподобие клички кота.

Зачем рассказываю? Да ёрзаю просто в бесписменном пространстве.

Рано писать о работе, начатой летом, настолько там конца не видно. Задумывалась просто, коснувшись дебрей, захотелось влезть. Во всяком случае, с начала нового лета надо будет ускориться.

Перечитал «Блистающие облака». Читал их прилизительно в 63-м. Удовольствие большое. Кроме

¹ Людмила Сергеевна Ачкасова — доктор филологических наук, профессор Казанского университета.

² Гюзель Хусаенова — исследователь творчества К.Г.Паустовского.

всего прочего, порадовался тому обстоятельству, что недавно читал «Повесть о жизни», поэтому страшно весело и интересно было наткнуться на параллели. Дождь в Батуме, бордингауз, Глан, Глан в развевающемся пальто. Ах, вон как тут Вас называют, дорогой Рувим Исаевич! И мне очень понравилось, что на последних страницах К.Г. увёл своих героев на Оку. Дальше-то ещё и Москва была, но это для замыкания круга, а вставка с Окой — это мило, это как дымком потянуло. Я, как собака Павлова, начинаю капать слюной при словах Ока, Солотча, Белоомут и др. родственниках. Летом хотел от Солотчи, кстати, дойти пешком до Белоомута. Так вот идёшь-идёшь — что за прелесть! И польза.

15.02.2002

Я в Чистополе... был только что в мемориальном музее Б.Л.Пастернака. В полуподвале у них гостиная, меня там угощали чаем, знаете, с чем? — с липовым мёдом... Когда Пастернак гулял по парку напротив его дома, мальчишки бежали за ним и дразнили. Т.к. народ они изобретательный, дразнилка была соответственная. Вот какая: «Пастернак!» Дом, можно сказать, полуторазтажный. Комната его наверху. Кроме музея, в доме ещё пять квартир. Со всем вот-вот музеем отдадут одну из них, обещают весь дом. Представьте, как это радует музейных людей. Интересная вещь: научный сотрудник музея, бывшая учительница литературы, заслуженный учитель Республики Татарстан, Нина Степановна Харитоновна, была первой дипломницей Людмилы Сергеевны Ачкасовой. Кроме неё, в музее ещё четверо. Кажется, это весь штат.

Недалеко (в Чистополе всё недалеко) ещё цел дом, в котором в 1941 году поселили Валерию Владимировну (с кем?) и в который приехал К.Г. Говорю про дом «ещё цел», потому что в этом году его должны снести, может быть, летом; он попал в программу ветхого жилья. «Чтобы на этом месте построили коттедж», — подсказал один из капитанов и ругался при этом. Простая история. Надо же ликвидировать ветхое жильё.

Фотографии делал в обеденный перерыв, ну ещё часок прихватил. К этому слушатели отнеслись правильно. Один из них, Алексей Иванович Карпов, домчал меня до Пастернаковского музея, взяли в провожатые Нину Степановну и поехали на Бабея. Ориентиры: после гимназии свернуть в арочку, не то в ворота, пройти узкую подворотню кирпичного дома, окажешься во дворе и в нём — двухэтажный деревянный дом, когда-то престижное общежитие. Чьё, не помню.

Константин Георгиевич, майор Паустовский, вошёл во двор и увидел дом с той точки, с которой я делал первый кадр. Позже я обнаружил, что этой фотографии нет, мне её не напечатали. Жаль. Но т.к. есть ещё несколько, то вроде бы и ладно. Только другие у меня фронтальные, а к подворотне дом стоит под углом градусов в 60. Дом в два подъезда, дальний от входа во двор — наш. А вот про комнату не знают.

Наугад сфотографировал окна во 2 этаже, а Алексей сделал кадр подъезда, где Нина Степановна и Ваш покорный слуга разговаривают с дяденькой (Александр Николаевич). На всякий случай сфотографировал лестницу — марш до площадки, комнату А.Н. и из его окна — понравившееся дерево.

Когда-то читал, как побывала в Чистополе М.И.Цветаева. Местный партцарёк отказал ей в работе (была вакансия мыть посуду в столовой). Её приветливо встретила Татьяна Алексеевна Арбузова. Дом в частном секторе, в посёлке водников, где жили Арбузовы, я обнаружил случайно много лет назад, когда из судоремонтного завода, выйдя не из проходной, а в дыру в заборе, поднимался в гору среди деревенских домиков.

В этот раз мне рассказали, что Цветаева переночевала у Валерии Владимировны. Опосредованно, таким образом, К.Г. и Цветаева коснулись друг друга осенью 1941. И причастны к этому две женщины, две знакомые нам женщины. Странно или нестранно? Скорее, нет. Не подберу определения.

18.09.2005

...Нет, «ностальжи» — это лучшие моменты жизни. Думаю, что и воспоминания о лучших моментах жизни. А они у меня, кроме других, которые сейчас и не вспоминаю, связаны с поездками с камерой, а это, согласитесь, связано, в свою очередь, с работой души. Что может быть слаще?..

...Пока я не хожу, в лесу мне не побывать. Дело и не в грибах совсем. А вот километрах в двух от тех опятных фантазмагорий и миражей есть одно потрясающее место, на которое мы наткнулись всего раза два. Видеть его нужно обязательно в бабье лето, в солнечную погоду и в очень определённое время, когда освещается стена молодых деревьев. Эта стена отступает от тропы, образуется просторная поляна, а тропа довольно круто спускается в долину. Вот всё это вместе — свет, золотая осень, рельеф, соседство с недалёкой старицей — создаёт то волшебство, которого в этом году мне не повидать...

...Если бабье лето ещё подержится за наши края, то попробую съездить и посмотреть...

...Очень скучаю по съёмкам. Камера — послушный зверёк... В глазок посмотришь — Карадаг, через мгновение — Поленово, и чего только не увидишь. А как мягко «Сони» перемещается по горизонту, вбирая в себя панораму, и по вертикали, соединяя с небесами траву и цветы.

Какой же из всего моего скучания вывод? Очень тривиальный: продолжать работу. Заболоцкий¹ сильно застрял, Питер. Не очень знаю, правда, чего бы я снимал в Питере. Но ведь стоит только котокот увязнуть. Конечно, надежда на авось — не похвала мне, однако некоторые планы были, плюс заготовки к сценарию. Поэтому ехать было бы нестрашно (или не очень страшно). Питерские съёмки должны быть в ряду других, и других должно быть больше питер-

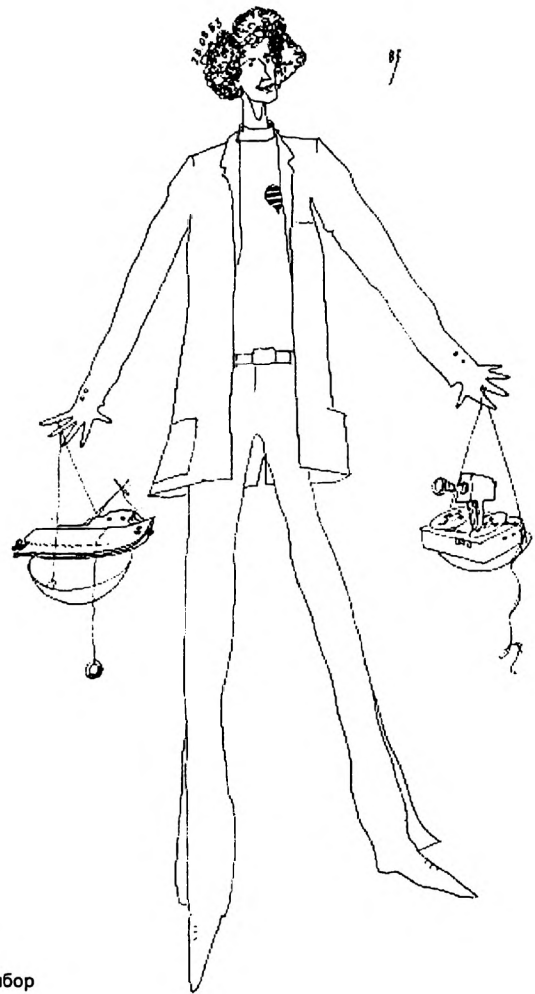
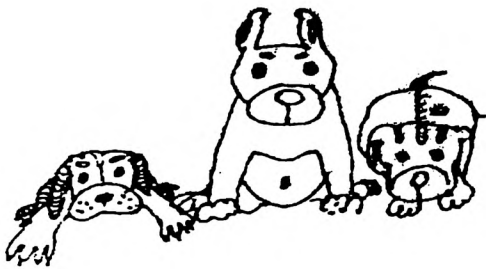
¹ В.Заказников задумал снять фильму о Николае Заболоцком и Осипе Мандельштаме.

ских. Например, нужно штормовое море. Может быть, зимнее Чёрное?..

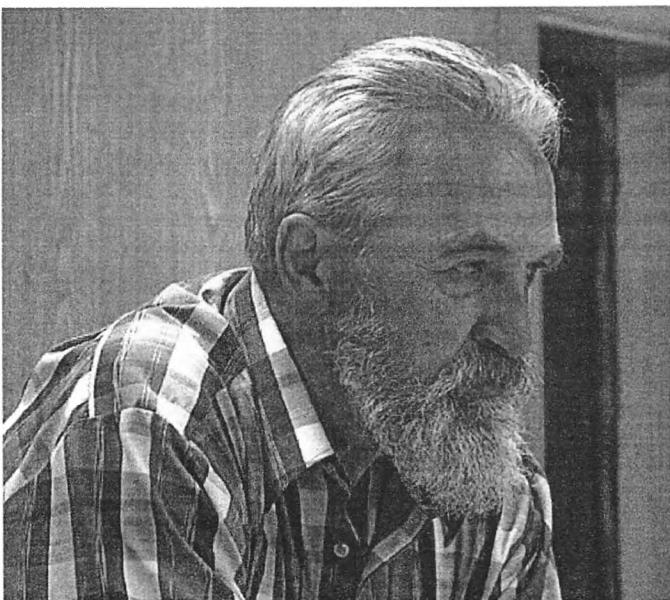
21.03.2006

<...> были недавно в татарской деревне в 140 км от Казани. Солнце, снег абсолютно белый <...> Видел два ряда тополей: в переднем семь штук, в заднем — девять. Передний ряд помоложе и, хотя деревья в нём огромные, кора яркая, а цвет, какому положено быть ранней весной. А второй ряд — почерневшие стволы чуть не до верхушек, которые тоже в молодой коже; и весь этот второй ряд усажен, облеплен гнёздами, до десятка и больше штук на дереве. Уже не гнёзда, а сросшиеся, длинные, извивающиеся создания, готовая композиция для кадра или живописи. Что-то про жизнь и отпущенные сроки. Но не одна печаль. Ещё выдача мест на жительство. Вот только, в отличие от города, нет грачей. Предлагаю, что будет, когда они прилетят...

Публикацию подготовил
Алексей КИРИЛЕНКО



Выбор



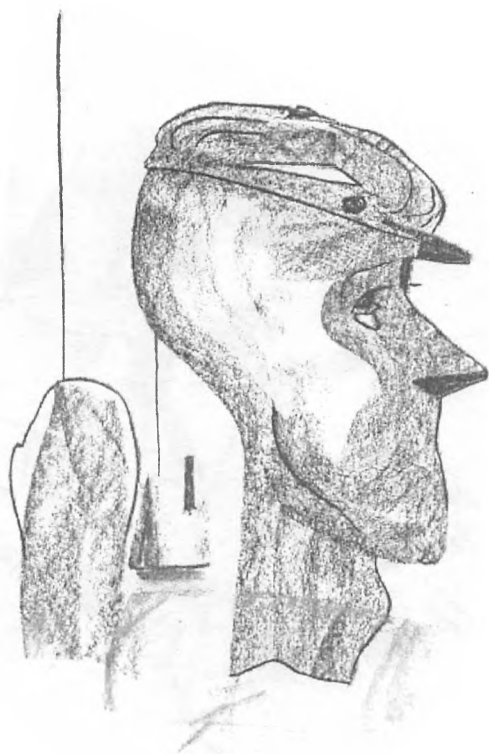
Владимир Заказников (2002 г.).
Фотография Алексея Кирилленко



Жильцы старого дома



Автопортрет, масло, 2006 г.
(Последняя живописная работа)

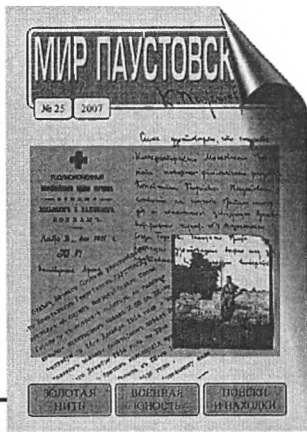


Светоносец

28-29.04.80
Поднимающие
токи
счастья
VICTORIA



Поднимающие токи счастья
Живопись и графика Владимира Заказникова



НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Владимир КАСАТКИН

ДОМ С МЕЗОНИНОМ В СОЛОТЧЕ

В тайниках человеческой памяти с необыкновенной ясностью сохраняются впечатления и картины детства. Они остаются в нашей душе на всю жизнь как самое дорогое и сокровенное. И время не властно над ними...

Мои детство и юность прошли в первые послевоенные годы в мешёрском посёлке Солотча, что «в лесной глуши, на север, за Рязанью», — на природе и приволье сельской жизни.

Уже в те далёкие годы Солотча привлекала (особенно в летнюю пору) дачников, туристов, охотников и рыбаков. А из Москвы каждый год сюда приезжали писатели Константин Паустовский и Рувим Фраерман.

К тому времени я уже прочитал в хрестоматии для чтения некоторые рассказы и сказки Паустовского — и про kota-ворюгу, и про мальчишку Лёньку с Малого озера, и про деревню Полково, что близ Солотчи. И я очень гордился тем, что Константин Паустовский описывает в своих книгах «наши места» — Солотчу и Мещёрский край.

Как всякий мальчишка, я мечтал увидеть писателя «живым», наяву, а не только на фотографии и рисунках. Знал я, что писатели любили ходить на рыбалку на луговые озёра, Старицу и Прорву. И вот однажды...

Однажды, это было летом 1948 года, мы с младшим братом и друзьями возвращались из лугов с полными корзиночками луговой клубники и остановились у Старицы нарвать куги для поплавок и кувшинок. Неожиданно я увидел, что к мосточку через Старицу (ныне здесь мост-дамба) под-

31 мая 2007 года исполнилось 115 лет со дня рождения К.Г.Паустовского. К этой дате было приурочено проведение в г.Рязани международной научно-практической конференции «Наследие К.Г.Паустовского и современность: экология, культура, нравственность».

ходят двое рыбаков. За плечами у них были рюкзаки, а в руках складные бамбуковые удильща, походный котелок. Я их сразу узнал и, как зачарованный, смотрел на них. Видимо, у меня был очень смешной вид, и один из рыбаков (Фраерман) поглядел на нас с добродушной улыбкой.

— Видишь, идут с рыбалки писатели, — зашептал я брату.

— Какие писатели, настоящие, что ли?

— Конечно, настоящие. Вон тот, в очках, в рубашке и с удочками в руке, — сам Паустовский. А тот, поменьше ростом, в соломенной шляпе и с зонтиком, — Фраерман.

Писатели прошли мостик и направились мимо Монастырского озера к мосту через речку Солотчу. А наша ребячья ватага сопровождала их на почтительном расстоянии до самого пожалостинского дома.

Видел потом Паустовского на берегу Прорвы, в том месте, где она делает крутой изгиб русла. Клёва не было. Писатель изредка проверял насадку на крючках и погружался в глубокую задумчивость. Видимо, продолжал мысленную работу над новым рассказом или обдумывал фрагменты для «Повести о жизни». Я тихо сидел в кустах тальника и наблюдал за писателем из своей засады...

Мне очень хотелось подойти к нему и заговорить, но детская застенчивость оказалась сильнее.

Эти короткие и случайные встречи с писателем послужили как бы толчком, и я стал запоем читать книги Константина Георгиевича Паустовского. Писатель и его творчество навсегда вошли в мою жизнь.

МП: Владимир Михайлович Касаткин — известный рязанский краевед и литератор. Он автор нескольких книг: «Род Олениных», «Дом с мезонином в Солотче», ««Вторая родина» Константина Паустовского». Предлагаем вниманию читателей авторское предисловие ко второму изданию книги «Дом с мезонином в Солотче».

Много лет по дороге в школу я проходил мимо старого дома «с мезонином» (ныне ул.Порядок, дом № 76), который постоянно привлекал меня и манил своей загадочностью. Там когда-то жил художник, а теперь за его стенами протекала жизнь двух писателей, и совершалось чудо — создавались новые книги.

Этот бревенчатый особняк выделялся среди окружавших его деревянных изб своими размерами и архитектурой. Широкие окна фасада с потрескавшимися ставнями смотрели задумчиво и таинственно...

За потемневшим от времени тесовым забором, в глубине старого полуодичалого сада, были расположены бревенчатая банька, ажурная беседка, колодец, разные хозяйственные постройки. В палисаднике перед домом летом буйно цвели кусты сирени и бузины. На фасаде была прибита медная доска с гравировкой: «Дом профессора Академии Художеств Ивана Петровича Пожалостина».

Весь облик дома, носившего на себе печать долгой жизни, как бы говорил мне: «Да, я очень стар. На своём веку я многое видел и слышал. Сколько интересных и талантливых людей жило и живут за моими прочными стенами. Я сохранил следы былого, плоды ума и рук своих знаменитых обитателей».

Старинный дом постоянно привлекал также внимание дачников и туристов, на их вопросы об исто-

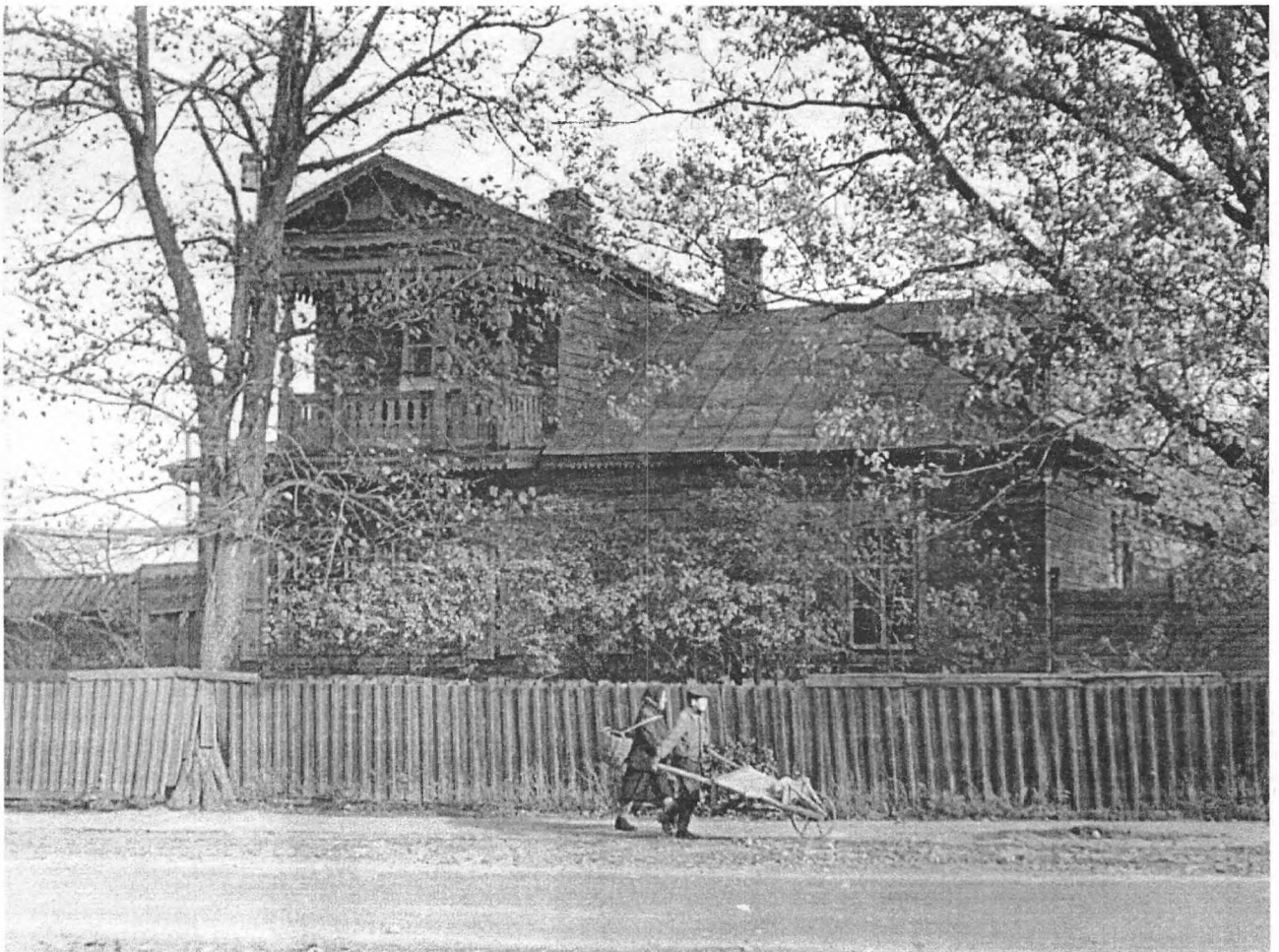
рии особняка солотчинские старожилы отвечали скупое. Построен-де он в прошлом веке гравёром Пожалостиным. После его смерти живут в нём дочери. А на лето сюда постоянно приезжают писатели, которые снимают дачу у старушек Пожалостиных. Вот и всё, что они могли сказать любопытным.

«История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечней людей и бывают свидетелями нескольких людских поколений.

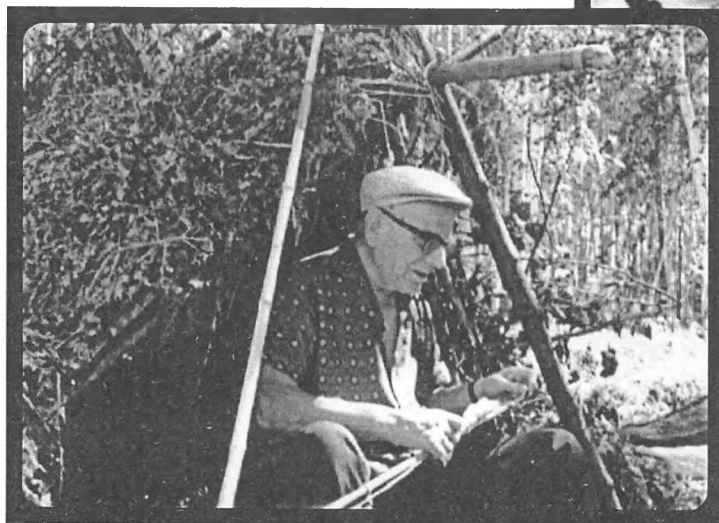
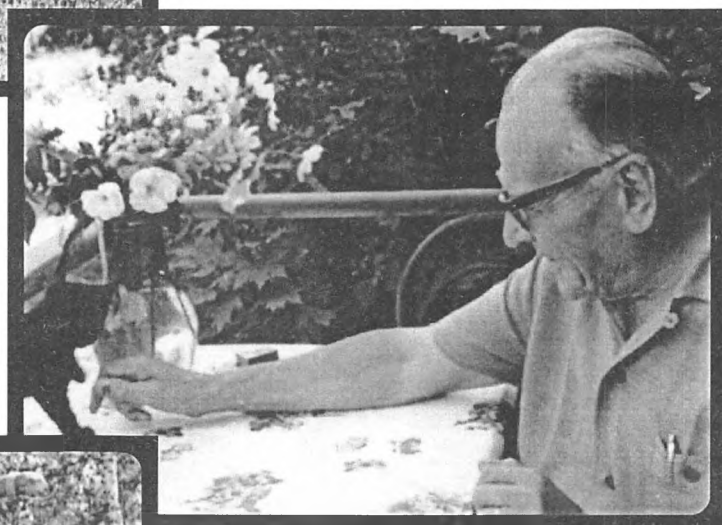
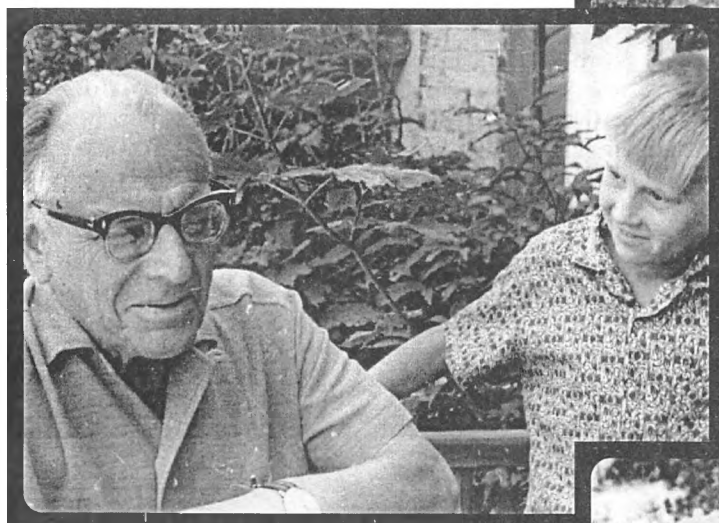
Никто не даёт себе труда, кроме немногих краеведов, проследить историю какого-нибудь дома. К краеведам принято относиться снисходительно и считать их безвредными чудаками. А между тем они собирают по крупицам нашу историю, традиции и воспитывают любовь к своей стране.

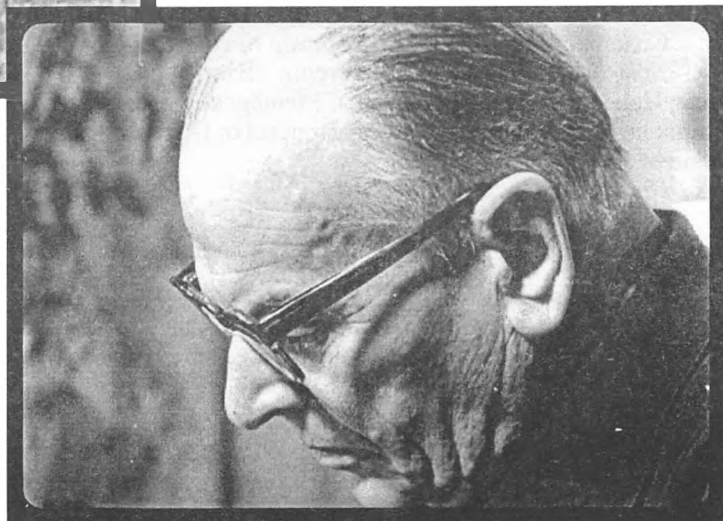
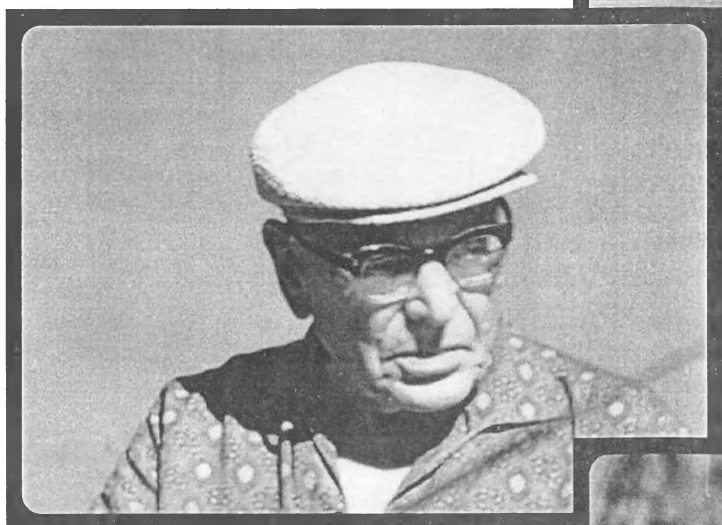
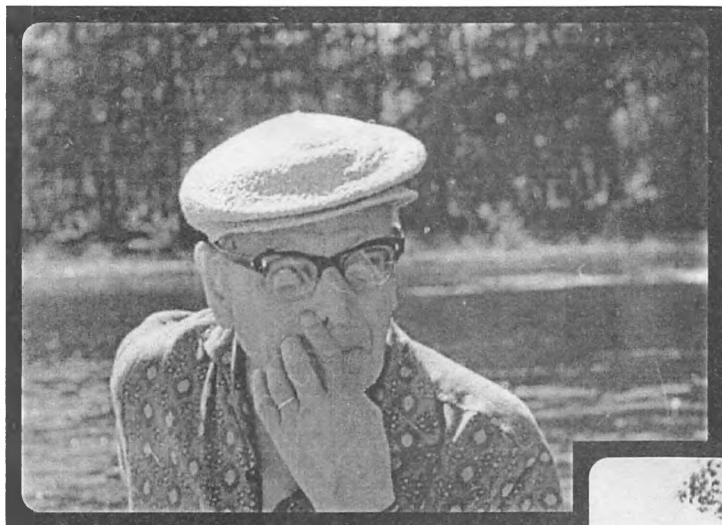
Я уверен, что если бы восстановить во всей полноте историю какого-нибудь дома, проследить жизнь всех его обитателей, узнать их характеры, описать события, какие в этом доме происходили, то получился бы социальный роман, может быть, более значительный, чем романы Бальзака», — так писал К.Паустовский в своей «Повести о жизни».

Мысль писателя о создании подобной книги сама по себе очень заманчива и увлекательна, но трудно выполнима. Подобная работа требует большого исследовательского и писательского труда: нужны факты, документы, свидетельства...



**«ДОРОГА
К ЧЁРНОМУ
ОЗЕРУ»**





Фрагменты съёмок документального фильма, 1966 г.
Фотографии публикуются впервые.
Из архива музея-центра Паустовского

Сколько минувших событий, историй человеческих жизней уходят бесследно, не запечатлевшись в документах или памяти очевидцев?

Идея Паустовского послужила мне своеобразной «путеводной звездой» в краеведческом поиске о доме Пожалостина и его обитателях. Много лет буквально «по крупицам» собирал материалы об этом интересном культурно-историческом памятнике.

Я стал искать и читать литературу о жизни и творчестве гравёра Пожалостина, работал в архивах, собирал старинные фотографии, различные материалы по истории его солотчинской усадьбы, а также сведения о писателях, живших под крышей пожалостинского дома. Так совершенно естественно возникла тема моей первой и главной краеведческой работы: «Дом гравёра И.П.Пожалостина и писатели».

Со временем круг краеведческих исследований расширялся, а литературное краеведение стало основным направлением в поисковой работе. Книга «Дом с мезонином в Солотче» подводит итог двадцатилетнего (1975–1995) краеведческого поиска...

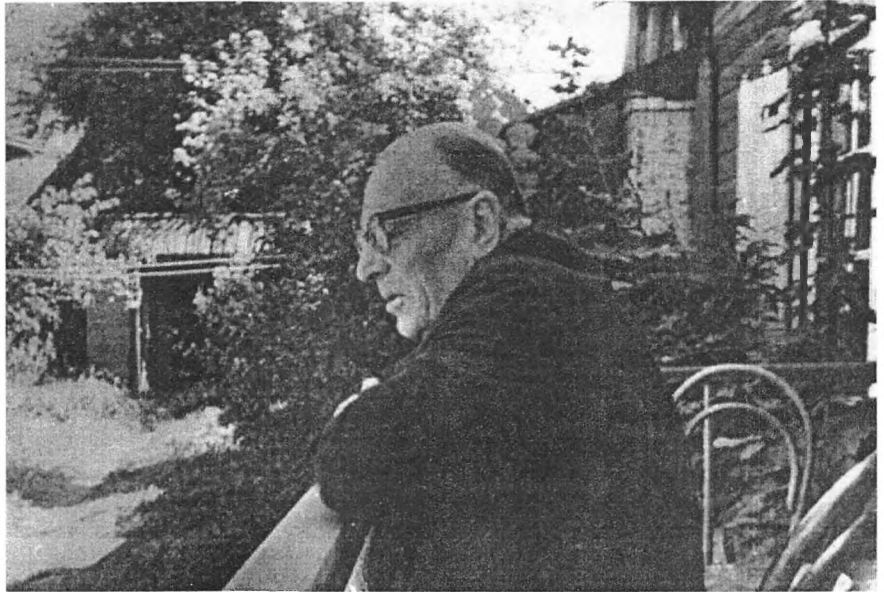
Усадьбе И.П.Пожалостина, подобно подмосковному Абрамцеву, выпала завидная судьба: на протяжении целого человеческого поколения стать подлинным очагом русской культуры на рязанской земле, связанным с жизнью и деятельностью самого художника и целой плеяды выдающихся русских писателей.

КАСАТКИН Владимир. Дом с мезонином в Солотче: *Лит.-краеведческие очерки.* — 2-е изд., испр., доп. — Рязань: Узорожье, 2006. — 112 с.: ил. — 500 экз.

Содерж.: Вступление (*авторское предисловие*).

Дом художника и его обитатели; «Вторая родина»; Певец Мещёрской стороны; Мещёрские прототипы литературных героев Паустовского; Писатели в доме Пожалостина.

Список источников.



В.М. Касаткин



*Дом
с мезонином
в Солотче*

Не всякого писателя, порой очень известного, вошедшего в пантеон достойнейших имён, мы способны перечитывать в зрелом возрасте. Причин несколько.

Накопившийся опыт, многотрудное обретение своего «я», периоды личных «поражений и побед» неизбежно вносят коррективы даже в наше отношение к твореньям классики. Разумеется, не ко всем. Константин Паустовский — из числа тех мастеров отечественной прозы, писавших в советскую эпоху, кого перечитываешь без внутреннего напряжения. Но с той радостью и ощущением благодати, которую испытывает человек, оказавшийся после долгого вынужденного пребывания в шумном, экологически неблагоприятном мегаполисе где-нибудь в тихой берёзовой роще или на цветущем росном лугу.

Читая и перечитывая Паустовского, отдыхаешь душой. Будто пьёшь чистой родниковую воду и не можешь утолить жажды. Причём многие книги писателя, такие как «Чёрное море», «Золотая роза» или «Повесть о жизни» необязательно начинаешь с первой страницы. Раскройте любую из них, и вы сразу же станете пленником околдовывающей фразы Паустовского. Почувствуете неповторимый аромат лирической прозы, наполненной терпкими запахами земли, задумчивых речных излуч и дышащих рыбой серебристых озёр, морскими ветрами и сладковатым дуновением цветущего шиповника или своеобразного кизила, растущего где-нибудь у подножья Крымских гор.

В последние годы, когда в брянском селе Рёвны в начале июня стал проходить литературный праздник, посвящённый Константину Паустовскому, многие из пишущих о нём стали обильно цитировать главу «Липовый цвет» из автобиографического повествования «Далёкие годы». Поэтичнейшая глава! Уходящая по времени в начало XX века, когда гимназисту-киевлянину Косте Паустовскому, приехавшему на летние каникулы на дачу к любимому дяде Коле — Н.Г.Высочанскому, было всего 12 лет... Рёвны навсегда останутся драгоценным воспоминанием в душе писателя. Там же, в конце первой книги «Повести о жизни», в главе «Воробьиная ночь», читаем:

«И вот опять за окном знакомые листья орешника. В них блестят капли дождя. Опять солнце в промокнушем до нитки парке и шум воды на плотине. Опять Рёвны, но Любы нет.

Дача Карелиных стояла заколоченная и пустая. На её веранде поселился бродя-

Евгений ПОТУПОВ

В РЁВНАХ, ПОСРЕДИ РОССИИ...

чий чёрный пёс. Когда кто-нибудь подходил к даче, он с визгом выскакивал и, поджав хвост, прятался в кустах. Там он долго лежал, пережидая опасность...»

Директор Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского Илья Комаров, возглавивший представительную делегацию «паустовцев» из Москвы, Одессы, Воронежа, Брянска и других городов, привёз в Навлю в числе прочих даров экземпляры последнего, 23-го номера журнала «Мир Паустовского». Среди малоизвестных и вовсе не известных материалов, напечатанных в целевом выпуске журнала — «Паустовский — гражданин», есть одна публикация, совершенно уникальная. Это дневник 1920 года. О его существовании до недавнего времени никто не знал. Обнаружился он случайно в 1998 году. Спустя три десятилетия после кончины писателя. Многие страницы дневниковых записей молодого Паустовского переключаются с «Окаянными днями» Ивана Бунина. Та же жёсткость, беспощадность оценок революционной вольницы и безумства Гражданской войны. Растерянность. Тоска по нормальной человеческой жизни. Порой безнадёга.

Вчитайтесь, вдумайтесь в эти записи из далёкого 1920 года!

«Такого глухого, чуждого времени ещё не знала Россия. Слово земля почернела от корки запёкшейся крови. Ухмыляющийся зев великого хама.

*В Петербурге — городе мёртвых — прекращается деторождение. Мужчины импотентны. За шесть дней он не видал ни одной улыбки, не слышал смеха или окрика извозчика. Любви нет. Разница между*полами стёрта голодом, грязью, невыносимой тяготой жизни... Резиновая скука...*

Нет пола. Есть голодное существо, одетое в рваную шубу, с потухшими гла-

зами. Почти все не моются по два месяца — в квартирах замерзает вода — разве здесь можно говорить о любви.

Женственность — признак жизни живой, свободной и богатой, усохла, как усыхает река. Женщины внушают только отвращение грязью, затасканными подолами, слезящимися глазами, точно так же, как и обросшие, несвежие мужчины.

...В последних истоках мутного света слепну тычется, ища чёрствую корку, громадный умирающий народ. Чувство головокружения и тошноты стало всенародным. И больше умирают от этой душевной тошноты, тоски и одиночества, чем от голода и сыпняка.

...Каждый день учёты, регистрации, допросы, реорганизации, сокращения штатов, слияния, аресты, боевые приказы, картавые мальчишки с револьверами на зад, дурацкая суета и отупелое ничегонеделанье — так живут советские учреждения. Крепостные. Хуже крепостных — «сволочь», скоты, которых дерут плетью ежедневно...

Я совершенно не создан для службы, для канцеляричины, для сиденья за столом. Я болен. Тоска стала непрерывной, замкнутым в себе кругом (я не могу теперь, не сдерживая слёз, слышать плач детей), она наполнила все мои дни до краёв, и не знаю ни сил, ни возможности разорвать её, засмеяться, позлословить, что ведь я ещё молод, что мне всего только 28 лет, что я хотел жить иначе.

Книги лежат начатые, но писать дальше не могу. Отморожены, должно быть, мозги, и отморожены руки. Пальцы опухли, в язвах, и умыванье вызывает слёзы.

...Не может быть, чтобы они не знали, что в Чека перед расстрелом смертникам, раздетым до нага, пускают в спину струю ледяной воды из шланга и потом стреляют, — чтобы меньше было крови. Всё же жизнь прогрессирует. Из недр Чека исходит этот прогресс, ибо техника убийства там разработана в недостижимом совершенстве. Никто не проклянет тех, кто пошёл «чесать пятки Луначарскому». Тех, кто мог бы проклясть <нрзб> и завистливо смотрит, как «те» тащат два фунта ячной крупы с мышинным помётом — академический паёк».

Воистину апокалипсические записи. Как не вспомнить поэта — нашего современника: «Какое время на дворе — таков мессия!» 1920 год. Время — тяжеловатое для пера... И неожиданно — посреди всех этих ужасов повседневно и

МП: С 31 мая по 3 июня 2006 года в Рёвнах (Навлинский район Брянской области) проходил юбилейный V ежегодный праздник Паустовского «Липовый цвет». Научно-практическая конференция «Жизнь и творческое наследие К.Г.Паустовского» и множество культурных мероприятий — такова была обширная программа праздника.

Об этих насыщенных днях рассказывает Евгений Васильевич Потупов, главный редактор «Брянской учительской газеты».



Ольга Александровна и Анастасия Высочанские

катаклизмов расколовшейся империи — натыкаешься на следующие строчки:

«Я вдруг почувствовал, что впереди меня ждёт небывалое счастье. Был сырой день, я шёл парком, с зелёного взволнованного моря дул сырой ветер.

Такое чувство бывает у меня редко и никогда не обманывает.

Первый раз было в Рёвках, в лесу, в июльский день, когда наливались ржи. 14 год. И действительно пришло счастье бродяжничества, великой любви и моря.

Второй раз — вот теперь».

Редакция журнала предпослала публикации рубрику «Неизвестный Паустовский». Согласимся: такого Паустовского читатели ещё не знали. Ну а мы, брянцы, лишний раз возгордимся за славный род Высочанских, отогревших в своей семье душу будущего писателя. За живописнейший парк в Рёвках, чудесную природу края — целительницу и утешительницу.

С научно-практической конференции в Навлинской районной библиотеке, собственно, в день рождения писателя, 31 мая, и начался 5-й литературный праздник «Липовый цвет». Все хлопоты по приглашению гостей (приехало около 30 человек), по их размещению, переезду, питанию, организации культурной программы взяла на себя районная власть в лице главы администрации В.А.Каргина, его заместителя по социальным вопросам В.Ф.Макаровой, начальника отдела культуры Н.П.Колабаева, директора музея партизанской славы Т.К.Слуцкой, заведующей районной библиотекой В.И.Чистойой. Такое количество исследователей — филологов, литературоведов, писателей, журналистов, краеведов — в Брянске было лишь в 2003 году, юбилейном тютчевском. В Навлю же большинство ценителей творчества К.Паустовского приехало на свои деньги. Что называется, по зову души.

Одесситке Нине Алексеевне Проваковой — 82 года. Она начальник отдела кадров на одном из заводов. Всю жизнь преданно любит книги Паустовского. Хорошо знает биографию одухотворённого певца Чёрного моря. Не молоды профессор Московского университета культуры и искусства Милитриса Ивановна Давыдова и основательница музея Паустовского в Москве Зоя Всеволодовна Квитко. Но разве могли они, русские интеллигенты, выросшие в понимании истинных духовных ценностей, остаться дома?

Удивил и порадовал своей влюблённостью в Паустовского столяр из станции Старощербиновской Краснодарского края Дмитрий Лабутин. В Навлю приехал вместе с сыновьями — 16-летним Антоном и 11-летним Игорем. На Брянской земле Лабутины впервые, хотя много читали о том, сколь значима она в судьбе писателя. Семья Лабутиных уже побывала в Солотче и в Тарусе. Теперь — Рёвны, ещё одно заповедное литературное гнездо в центре России...

Брянских исследователей на конференции представляли доценты БГУ, кандидаты исторических наук В.В.Крашениников и А.М.Дубровский, главный палеограф Госархива области Л.Ф.Осипенко и автор этих строк. Историк В.В.Крашениников увлёк слушателей рассказом об истории Рёвен и усадьбы. Его коллега по университету, приехавший на конференцию с двумя студентами, исполнен желания продолжить работы по окультуриванию и реконструкции рёвенского парка.

Архивист Людмила Фёдоровна Осипенко известна как скрупулёзный исследователь «белых пятен» в давней и недавней истории Брянщины. На этот раз она посвятила своё выступление личности, хорошо известной К.Паустовскому, его соученику по Брянской мужской гимназии Пшерадскому. Это о нём вспо-

минает писатель в своём письме, написанном в ноябре 1961 года в Тарусе и адресованном брянским архивистам Фишману и Глушиной: *«Вместе со мной в 6 классе сидели великовозрастные балбесы (по 20–22 года), среди них некий красавец Пшерадский. Он женился на нашей преподавательнице немецкого языка (в 6-м классе!), и по этому случаю ему пришлось уйти из гимназии».*

Тему своего выступления автор этих строк обозначил «Паустовский и литературные журналы и альманахи 30-х годов». В течение ряда лет Паустовский плодотворно сотрудничал с журналами «30 дней» и «Наши достижения», экземпляры которых хранятся в моей личной библиотеке. В «30 днях», кстати, была напечатана его новелла «Корчма на Брагинке», удостоившаяся похвалы самого Бунина. С журналом «Наши достижения», помимо деловых отношений, Паустовского связывала искренняя дружба с заведующим редакцией Василием Тихоновичем Бобрышевым.

После смерти ответственного редактора журнала М.Горького коллектив «Наших достижений» был обвинён в «формализме». Многие авторы подверглись репрессиям. Сам В.Бобрышев лишился работы. В 1941 году он погиб в ополчении под Вязьмой.

Константин Паустовский до конца своих дней хранил память о друге. Оставил о нём очень тёплые воспоминания.

«О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки».

Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную молодёжь...» Кроме того, он умел «чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их записью простых мелодий («В миллие годы ты возвратишься...»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах. В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи. Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутые цепи...»

Общительный и талантливый организатор, он пользовался большим уважением среди писателей и журналистов. Его высоко ценил А.М. Горький и рекомендовал на должность редактора журнала «Наши достижения...»

С таким вот замечательным человеком и, увы, уже подзабытым журналистом и литератором, дружил К.Паустовский. Автор этих строк не предполагал, что когда-нибудь судьба сведёт его с дочерью В.Т.Бобрышева Аллой Васильевной. От неё, многолетней спутницы писателя-разведчика Овидия Горчакова, мне достались материалы из его личного архива, в котором сохранилась и переплетённая (види-

мо, самим В.Т.Бобрышевым) подшивка журнала «Наши достижения» за первое полугодие 1936 года. В 5-м номере привлекает внимание смелостью малоизвестная статья К.Паустовского «Несколько грубых слов». Она опубликована под рубрикой «Трибуна писателя».

«Неужели из писательской среды, — задаётся вопросом Паустовский, — исчезло без остатка ясное, мужественное и высокое отношение к своему времени, к литературе, друг к другу и к самому себе?»

Сам Константин Георгиевич в течение нескольких десятилетий оставался нравственным образцом писателя-гражданина в глазах многочисленных читателей и своих литературных учеников. Прозаик Галина Корнилова — из тех, кто испытал на себе благотворное влияние Паустовского — писателя и человека. Она главный редактор журнала «Мир Паустовского», автор ряда примечательных книг, участница знаменитого альманаха «Тарусские странички». Несколько лет назад вышел одноименник Г.Корниловой. Галина Петровна — впервые на Брянщине. Темпераментно, увлечённо выступала на конференции. И затем в Рёвнях, где прошёл замечательный праздник.

Я бывал на всех пяти праздниках «Липовый цвет» и могу сказать: год от года он становится ярче, многолюднее, разнообразнее. При том, что в организаторах — по-прежнему районная власть. Где же управление культуры? Другие областные структуры? Праздник, посвящённый К.Паустовскому, как в своё время торжество в честь Бояна в Трубчевске, уже вышел за рамки районного мероприятия. Нужно реально помогать ему. А не только произносить приветствия со сцены... Пять дней «паустовцы» жили в лагере отдыха «Синежёрки». Люди деликатные, они понимали: возможности рай-

онного бюджета ограничены, спонсорская помощь — тоже, и потому стоически переносили холод в комнатах, отсутствие горячей воды (в первый день не было и холодной!), грязь в туалетах... Но искренне удивлялись: как спустя несколько дней в этих помещениях будут отдыхать дети?

А ведь, помнится, когда-то лагерь в Синежёрках был образцовым, попасть туда, если родители не работают на железной дороге, и не мечтай...

Условия быта скрашивала программа пребывания гостей. После конференции — поездка в Рёвны, где нас ожидали театрализованная экскурсия по старинному парку и литературная композиция (спасибо заведующей сельской библиотекой Вере Анищенковой и очаровательным одиннадцатиклассницам Елене Кузнецовой и Юлии Рыбалко), костёр под грозным небом и дружеский ужин в школе.

А ещё были экскурсии в Красный Рог и Овстуг, по местам Паустовского в Брянске. Побывали гости на заводе «Арсенал» и в редакции «Брянской учительской газеты», где за кофе и чаем мы говорили о перипетиях писательской судьбы Паустовского и о «рукописях, которые не горят». Все желающие получили на память экземпляры газеты с лагерной повестью Алексея Костерина «Колыма», печатавшейся с февраля.

Субботний день, 3 июня, — своеобразный аккорд литературного праздника. Старинный парк в Рёвнях украсили бревенчатые беседки. Ласкали глаз выкрашенные в голубой цвет лавочки и обновлённая сцена, на которой звучала музыка в исполнении оркестра народных инструментов. Пели Михаил Аксёнов и Лидия Иволга. Радовал казацкой удалью вокальный ансамбль Дворца железнодорожников «Вольница». Не было недостатка в речах. Участников праздника

тепло приветствовали глава районной администрации В.А.Каргин, заместитель председателя областной Думы А.П.Бугаев (он в Рёвнях не впервые), главный федеральный инспектор в Брянской области Н.В.Бурбыга. Николай Владимирович, между прочим, пообещал помощь в восстановлении дачи Н.Г.Высочанского. Пока же на месте, где она находилась, установлена мемориальная доска. Другую открыли на предполагаемом месте дома, где жил гимназист Паустовский.

Отрадно, что в этом скромном торжестве приняла участие делегация учителей района. Наталья Любимова и Екатерина Кузакова — из Щегловской школы. Ещё совсем юные, по-настоящему увлечённые школьными делами патриотки района. Познакомившись с главным редактором «Брянской учительской газеты», просят больше писать о молодых учителях. Об их жизни. Проблемах.

Пожелание дельное. Принимаем к сведению. Но и у редакции просьба к молодым: рассказывайте и сами о себе. Пишите. Почаще напоминайте о том хорошем, что есть в ваших коллективах.

Праздник в Рёвнях — праздник для людей. Тем и привлекателен. Заходи на любое из подворий: Бяковское, Ключо-венское, Синежёрское, Чинховское — встретят как доброго друга.

Зав. отделом культуры Оксана Ястребова и Анна Демьянова привезли с собою вышивальщицу Антонину Григорьевну Ефимову и столь же искусную вязальщицу крючком Светлану Михайловну Обьденную.

Думаю, что без всех этих людей рёвенский парк продолжал бы дичать и терять свою прелесть. Но самая большая благодарность — гостям! И тем, кто приехал из Одессы, как заведующий музеем Паустовского В.И.Глушаков сотоварищи, и таким энтузиастам, как Пётр Довжук из слободы Михайловка Курской области, или Светлана Груздева из Харькова. И конечно же, москвичам: Ольге Александровне Высочанской, решившей приобщить к Рёвням свою 14-летнюю внучку Анастасию, Галине Петровне Корниловой, директору музея-центра Илье Ильичу Комарову и его жене Ангелине Тимофеевне, ведущему редактору журнала «Мир Паустовского» Лидии Александровне Чешковой, сотруднице музея Ирине Васильевне Касаткиной, журналисту и поэту Вячеславу Щепкину.

Все эти люди (и многие из тех, кого не назвал) сделали праздник в Рёвнях — событием культурной жизни. И оно, это событие, ещё долго будет согревать наши сердца, делая каждого его участника добрее, честнее. И — счастливее.

Фотографии автора



Рёвенский парк. Открытие памятной доски на месте дачи Высочанских.
На снимке (слева направо): И.Комаров, зам. председателя Брянской областной думы
А.Бугаев и глава администрации Навлинского района В.Каргин

За долгие годы знакомства с прозой Константина Георгиевича меня не покидал один вопрос, на который я, как ни силился, найти ответ не мог.

Мир природы знаком любому мало-мальски грамотному писателю. Но почему-то ни у одного из современных авторов этот мир не стал сутью его творчества, путеводной звездой, своеобразным эпиграфом к каждому рассказу, повести или эссе.

Спорить не приходится — здесь нужны особый талант, особой романтичности душа. Всем этим в совершенстве и в достатке обладал Паустовский. И всё же — даже этого вряд ли хватило бы, чтобы стать автором всемирно известных теперь «Мещёрской стороны» или «Ильинского омота».

... Большую часть нынешней зимы я провёл в гостях у своих друзей в Барановичах. Несколько раз мне приходилось ночевать одному на окраине в их небольшой времянке с печным отоплением. Печь-голландка, когда её огромное чрево было наполнено сухими сосновыми дровами, таинственно гудела на разные лады, а из приоткрытой топки видны были кудлатые языки пламени, освещающие часть комнаты. При этом свете я и перечитывал вторую книгу «Повести о жизни» Паустовского — «Беспокойная юность».

Вот тогда-то мне вдруг показалось, что где-то на горизонте забрезжили контуры ответа на мой вопрос.

«В октябре 1914 года я уволился с московского трамвая и поступил санитаром на тыловую военно-санитарный поезд Союза городов».

Весной 1915 года теперь уже левой санитарный поезд начал «первый рейс на Запад, в Брест-Литовск, к местам боёв... Поезд тянулся порожняком из Москвы в Брест по раскисшим от весенних дождей равнинам Белоруссии».

Так началась многомесячная эпопея юности, душа которого вполне сложилась как романтическая, а вокруг было море крови, искорёженная земля, толпы голодных беженцев. Летом 1915 года их санитарный поезд возил раненых из Бреста в Гомель. Мог ли равнодушный человек написать такое:

Пётр ДОВЖУК

ИЩУ ОТВЕТ

«Как только поезд втягивался в Полесье, тотчас становилось свежо. Сырые леса и неподвижные реки Белоруссии казались нам прохладным раем...»?

29 августа 1915 года, находясь в Ганцевичах близ Барановичей, Паустовский напишет своей будущей жене Екатерине Загорской удивительные строчки:

«Я много думал о том, стоит ли тебе приезжать сюда, на позиции. Здесь скверно, противно, здесь, наконец, опасно, не потому что могут убить или истребить, а потому, что так легко погубить душу, растоптать её, загрязнить тем морем злобы и грубости, которые хлещут вокруг».

Нет, счастлив, по-моему, тот, кто не видел, кто не знает, что такое война. А раз увидишь — уже жутко думать о ней».

Эти слова стали своеобразным моральным щитом и для самого Паустовского. Они-то, скорее всего, и помогли ему выстоять среди чудовищного хаоса падения нравов, чувств, морали. И не тогда ли встревоженная душа будущего великого писателя смогла понять, что только в мире природы можно найти спасение и забвение от всех мирских сует и бед?

Белорусские названия местечек мелькают в повести в разной последовательности. Если нет основной работы, отряд Романина занимается кормлением беженцев. И каждый раз — возвращение в Брест. Новое задание — идти на Кобрин:

«В Кобрине мы заняли под постой старую сырую синагогу».

Следующий приказ — идти на север. Конечная цель — Пружаны — по соседству с Беловежской пушей: «Мы шли по южной части Гродненской губернии».

Взору открывались унылые пейзажи. Местечки по пути — Пружаны, Ружаны, Слоним — были обглоданы, как кости, отстающими войсками. В болотистых лесах за Слонимом Паустовскому довелось впервые в жизни принимать роды у крестьянки Зоси. Роды прошли удачно:

«Я впервые рассмотрел эту женщину и удивился счастливому и трогательному выражению её лица. Тогда я

ещё не знал, что почти у всех только что родивших женщин лицо становится, хотя бы ненадолго, красивым и спокойным».

В двадцати верстах от Барановичей санитарный отряд, который догнал Паустовский вместе с семьёй Зоси, попал в небольшое село, где свирепствовала чёрная оспа. Но великое провидение сохранило жизнь юноши. И опять он догоняет свой отряд:

«Я переночевал под городом (имеются в виду Барановичи. — П.Д.) в путевой железнодорожной будке по дороге на Минск, а утром выехал в Несвиж».

Осень незаметно перерастала в гнилую зиму. «Беженцев осталось мало... и Романин затеял строить в Замирье баню».

Очевидно, в этой гнилой белорусской зиме пятнадцатого года пустили корни будущие недомогания Константина Георгиевича, которые придут к нему не через один десяток лет. Ему часто приходится разезжать, добывая материалы для строительства столь нужной прифронтовому тылу бани:

«Во время этих поездок я с непонятным упорством подвергал себя всяким лишениям: промокал, промерзал до костей, спал в стодолах, а то и просто на земле, почти ничего не ел и только курил одну за другой отсыревшие кислые папиросы».

Во время возвращения после очередной служебной поездки Паустовского ранило в ногу. Пришлось целый месяц пролежать в госпитале. Там он узнаёт из газет о гибели своих родных братьев — Бориса и Вадима...

После ранения Паустовский возвращается в Москву к матери. Начинается новый этап его жизни.

Однако можно смело утверждать, что белорусский период стал своеобразной вехой в биографии Константина Георгиевича. Контраст между романтичностью молодой души и ужасами войны, обесценивающей само понятие жизни, не мог со временем не привести Паустовского к миру природы — той единственной основы человеческого бытия, о которой следует помнить в каждый миг своего существования.

Курская область,
свобода Михайловка

Валентин ЯНИН

С детства я действительно зачитывался Паустовским и собирал все его издания. Первая книга, которая у меня оказалась, — «Созвездие Гончих Псов». Да, конечно, Паустовский, его необычные сюжеты, герои в какой-то степени повлияли на мой жизненный выбор.

Однажды Константин Георгиевич прислал мне свою очередную книгу с надписью: «Даже у меня дома нет всех моих книг...» Так постепенно собралась коллекция, в которой было больше двухсот книг любимого писателя.

Года два тому назад я подумал, что хранить такое сокровище у себя нельзя. Собрал эти дорогие для меня книги и отвёз в Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского в Кузьминках.

Теперь у меня есть томик Паустовского из библиотечки «Гудка». Я очень благодарен за этот подарок. Он для меня тем более приятен, что эту замечательную серию выпускает главный редактор вашей газеты, которого я очень уважаю, — оба мы историки, да к тому же ещё и однофамильцы!

Головкин Н.
Три рукопожатия до Пушкина
Интервью с академиком В.Л.Яниным
//Гудок, 2005, 12 марта. С. 8.

Елена ТАРАСОВА

Журнал [«Советская женщина»] адресовался главным образом зарубежному читателю, добывать для него прозу было занятием не из лёгких... На моё счастье, писатели, к которым я обращалась, были люди интеллигентные: они отвечали. А часто и соглашались дать рукопись. Среди них — Паустовский, Каверин, Катаев, Маршак.

<...> В 1959 году, спустя год после окончания [Литературного] института, Казаков выпустил свою первую книгу — «На полустанке»...

Юра, бывая у нас [в семье поэта Николая Тарасова] с восторгом рассказывал о поездках в Тарусу, о встречах с Паустовским. Однажды вспомнил, как Константин Георгиевич рассказал ему о визите чехословацких писателей, говорил, что рекомендовал им его рассказы. «Вас давно пора переводить», — твердил он Казакову.

<...> Запомнился мне вечер после возвращения его из Франции. Он казался по-настоящему счастливым... Сверкая очками, лысиной, возникшей смолу, он, стараясь смягчить нескром-

СТРОКИ О ПИСАТЕЛЕ

ность того, что собирался произнести, сказал, что во Франции читают и знают только его, Казакова, Паустовского да ещё Трифонова...

<...> О прошлом Фраерман вспоминал часто и охотно. Много говорил о друзьях — Паустовском, Гайдаре, Платонове.

С Паустовским они познакомились в Батуми, где Константин Георгиевич был репортёром газеты «Маяк», а Фраерману было поручено организовать Закавказское отделение ТАСС. Тогда-то и подружились.

<...> Пытаюсь представить его [Фраермана] молодым, здоровым, полным сил, когда вокруг собирались друзья: Александр Роскин — знаток Чехова, писатель и пианист, Аркадий Гайдар, очеркист Михаил Лоскутов и, конечно, Паустовский.

Тарасова Е.
«Мне бы отдел литературы...»
(Из жизни советских писателей: Вера Павлова, Юрий Казаков, Рувим Фраерман)
//Независимая газ., 2005, 22 сент.

Наталья СОБОЛЕВА

Для современного восприятия Таруса — великий пантеон русского искусства и литературы, Вальгалла побеждённой интеллигенции. Невозможно вспомнить с ходу никого, кто родился бы здесь, но тарусская земля полна великих могил. Здесь похоронен В.Э.Борисов-Мусатов, прошли последние годы жизни Заболоцкого, здесь хотела быть похороненной Марина Цветаева... этот край прославил живший здесь долгие годы Паустовский. Таруса — край «нежной скорби» XX века, выполняющий в современной мифологии ту же роль, которую в начале XIX века играло озеро у стен Симонова монастыря, где утопилась бедная Лиза. Хотя судьбы, ломавшиеся вокруг калужского городка, были не вымышленными, а реальными.

Соболева Н.
Тарусская картинная галерея
//Крестьянка, 2005, апр. С. 31–42.
— (Музеи мира. Золотая карта России)

Николай ГОЛОВКИН

Женщины запели широко известную русскую песню — «Лучинушку», простодушно, должно быть, полагая, что мы её не знаем. Нас это, впрочем,

несколько не разочаровало. В песне жила неистребимая душа народная. При её исполнении голоса женщин от волнения и переживания чуть-чуть дрожали. Мне невольно вспомнились слова Константина Паустовского о старой сказительнице из Заонежья, «чьи песни рождались из северной ночи и северной женской тоски». На пятом курсе я защищу по творчеству любимого писателя дипломную работу: «Наблюдения над различными средствами языка в пейзажах К.Паустовского», к которой будет приложено небольшой словарь его поэтического языка из метафор и сравнений. А теперь я будто бы воочию вижу героиню Паустовского.

Головкин Н.
Иван-чай (Диалоги о России)
— М.: Регант, 2005. С. 170.

Сергей ШМИТЬКО

После тридцати я неожиданно пристрастился к чтению и к картинным галереям: читал в самолётах и в номерах гостиниц перед сном; если представлялась возможность, заходил на часок в какой-нибудь выставочный зал. В моей московской квартире сейчас уже много книг по искусству, альбомов и репродукций. Я жалею, что прежде не обращал внимания на архитектуру старинных и всемирно известных городов. Лишь в последние два-три года я стал внимательно смотреть в окно автобуса, когда нас везли на тренировку или на матч. Конечно, я очень многое упустил в своей так быстро промелькнувшей жизни действующего футбольного игрока. И хотя видел только кусочки чужих городов, в основном из окна автобуса по дороге на стадион и обратно в гостиницу, мог бы, например, побывать в Лувре. В Париже мы делали утреннюю разминку возле самого Лувра, бежали по каким-то дорожкам в тени деревьев.

Первой моей всерьёз прочитанной книгой был том Паустовского в коричневом переплёте, состоящий из маленьких повестей и рассказов. Эту книгу я случайно обнаружил в кармане самолётного сиденья, когда после матча в Тбилиси мы летели в Москву. Начал читать, чтобы скоротать время полёта, и вдруг почувствовал, как всё больше успокаиваюсь с каждой прочитанной страницей. Прежде я не представлял, что фразы могут как бы светиться, наполняя тебя светлой любовью к жизни.

Без меня мать купила книжный шкаф и тоже пристрастилась к чтению.

Однако того удивления, той успокоенности, которые я ощущал, впервые прочитав Паустовского, больше не было, и я стал всюду возить с собой, как талисман, этот том в коричневом переплёте, забытый кем-то в салоне самолёта. Много раз открывал его на первой попавшейся странице и читал, словно принимал валериановые капли. Тем, что я хожу один на пустые трибуны стадионов в разных городах, смотрю на копошащихся в подстриженной футбольной траве воробьёв, замечаю очертания облаков и шелест дождя по моему зонту, — я обязан Паустовскому. Он научил меня смотреть вокруг пристально, замечать, казалось бы, сущие пустяки и радоваться им втихомолку. Я стал думать о себе, а как только чувствовал, что житейская суета начинает снова пожирать моё время и нервы, заглядывал под коричневый переплёт.

Вот и после разговора с Сан Санычем я, прежде чем позвонить по оставленному им номеру телефона приехавшего к нам арбитра, достал из дорожной сумки этот том, прилёг на застеленную кушетку и раскрыл наугад книгу. «Он мог написать рассказ о прорастании травы, — прочитал я первую фразу и понял, что, конечно же, Паустовский пишет здесь о самом себе. — Его тянуло к тишине и дружеским беседам. От суеты страниц, где люди дерутся, любят и мучают друг друга, у него болело сердце». Мне стало невыразимо хорошо оттого, что я удачно открыл книгу. «Он писал так, как мальчишки собирают марки или вырезают из дерева модели кораблей. Вырезывание моделей плодит неистребимую тоску по городам, вымошенным голубым стеклом, где корабли швартуются прямо у цветочных клумб. Начинаются сомнения — может быть, такие города существуют? Сомнение переходит в уверенность, и тогда человек пишет рассказ об этих героических городах. Такие рассказы действуют как стакан вина, выпитый натошак...»

Я никогда не пил вино натошак и теперь пожалел об этом. Вообще я не пью вина, но всегда держу в холодильнике шампанское для гостей. Свободное утро наполняло меня ожиданием чего-то необыкновенного, может быть, оттого, что я мало спал. Я встал, ещё раз сполоснул лицо, поправил перед зеркалом галстук. Мои глаза даже понравились мне, и я понял, что улыбаюсь так, как никогда ещё не улыбался...

Шмитько С.

*Трибуны над головой:
Футбольная повесть*

// М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006.

Яков ХЕЛЕМСКИЙ

Я хорошо знал Марка [Бернеса] задолго до того, как он позвонил мне в середине пятидесятых. <...> Началась наша совместная работа, вскоре перешедшая в дружбу. <...> С поэтами Марк работал сосредоточенно. Он любил стихи, чутко воспринимал поэзию, обладал и чувством слова. Особенно песенного.

<...> В беседах всякий раз он подчёркивал, что хочет в концертах не только петь, но и читать.

Вскоре эта идея нашла ещё одно выражение.

Однажды, беседуя со мной, он сказал, горестно пожимая плечами:

— Мне разные люди твердят, что Бернес-певец начисто заслонил Бернеса-актёра. Пожалуй, так и есть. Не включить ли мне в свои концертные программы чтение? Причём чтение хорошей прозы, которая мне близка издавна, где есть колоритные характеры. Допустим, так — в первом отделении выдаю Бабеля и Паустовского, а во втором — избранное и новые песни. Как ты думаешь?

— Может получиться очень здорово, — ответил я.

А потом ляпнул:

— Особенно Бабель.

Марк улыбнулся, причём довольно язвительно:

<...> Ты прав. Бабель и Паустовский не очень совместимы. У Константина Георгиевича нет резких красок, особенно в зрелых вещах, у него акварельная кисть, он всегда добр, сострадателен и жестоких сцен почти всегда избегает.

— А что бы ты взял у Паустовского?

— Есть у него такая вещь — «Поводырь».

— Знаю, это из его старых довоенных рассказов.

— Ну и как?

Я задумался. История, рассказанная в «Поводыре», как всё у Паустовского, проникнута добротой, светлой грустью, тончайшим чувством природы. Командарм спешит на юг, где начинаются важные учения. Дорога каждая минута. Но самолёт совершает вынужденную посадку в глубине Полесья. Пока пилот чинит захлавленный двигатель, командарм отдыхает в домике лесника на берегу озера.

У лесника гостит слепой лирник, пробирающийся пешком к морю. Кто-то сказал ему, что в одном из южных городов живёт его дочь, которую он потерял когда-то на военных дорогах. Старик идёт без поводья. Где их найти, мальчишек-поводырей, — все учатся. Путь слепого старика трудный, долгий. Выясняется, что, по слухам, дочь живёт недалеко от тех мест, куда летит командарм. И большой военачальник, выслушав рассказ лирника, берёт старика с

собой, делает крюк, доставляет отца к дочери.

— Что ж, — говорю Марку, — рассказ трогательный, поэтический, прозрачный. Но есть в нём налёт сентиментальности. В твоём ли это ключе?

— Лирика всегда была в моём ключе. И потом, что значит сентиментальность? Мы так стали бояться этого слова, что робеем перед человеческими чувствами, перед добрым движением души. А я вообще сентиментален, из меня выжать слезу ничего не стоит, и я этого не стыжусь. И ещё я знаю, о чём ты подумал. Ты считаешь, что командарм у меня получится. Военных я играл не раз. А как быть со старым слепцом? Да ещё лирником, который аккомпанирует себе на древнем скрипучем инструменте. Это ведь не гармошка, не гитара, так ведь? Милый мой, я, как и ты, рос на Украине. И помню этих лирников на базарах. Кстати, их пение — скорее речитатив. Они не столько поют, сколько рассказывают. Как и я, кстати...

— Марк, дорогой! Я обожаю Паустовского. Читаю его с наслаждением. Он романтик, его влечёт светлое движение души. Его чувство природы поразительно. Он проповедует доброту. Одно дело — Бенья Крик, другое дело — скромный лесничий или бакенщик.

<...> Марк на минуту задумался и заключил:

— Попробовать надо. С Бабелем я сам разберусь. А что взять у Паустовского, буду советоваться с тобой. Не возражаешь?

— Замётано! — ответил я.

... Увы, этот замысел он так и не осуществил. То ли времени не хватило, то ли запал прошёл. Он многое не успел осуществить.

И в то же время во всех ипостасях — состоялся.

*Хелемский Я. Когда поёт хороший друг
// Марк Бернес в воспоминаниях современников*

/ Сост., авт. предисл., коммент. К.В.Шилов.
— М.: Молодая гвардия, 2005. — 452 [12] с.: ил.
— (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 15)

Александр БОРЩАГОВСКИЙ

Письма Казакова мне бесконечно интересны. Я знаю о нём много от его учителя Паустовского. Казаков как-то очень быстро отряхнул «прах» институтский, писал Константин Георгиевич, писал как ровня, чем очень удивлял мою провинциальную, полную восторгов в адрес Паустовского душу.

Я не всё читал Конечного, немного грущу о том, что он так резко порвал со свободным, сюжетным, романским повествованием, уйдя — сильно и даже с блеском — в эти свои исповеди-очерки.

А он-то из тех, кто смог бы и должен написать свой Роман. А Казаков, с его мощным талантом, осуществился в со-тую долю отпущенного ему природой.

1984

Жадно и всю жизнь ищу повсюду славных, честных — и в этом божьих — людей и нахожу их, как нашёл (на встречном душевном движении!) Николая Васильевича Бармина в Ирбите, Наташу Фомину, учительницу на о. Беринга, ушедшего Константина Георгиевича Паустовского — их много, очень много. Они озабочены, может, невыигрышны уже по самому своему виду, иногда раздражены, загнаны жизнью, это так. Но их всё-таки сравнительно больше, чем за стенами монастырей, обителей бегства, а часто и малодушия.

Я тут не авторитет и даже не серьёзный свидетель: не нажил своего опыта житейского. Но помню, хорошо помню монахов Киево-Печерска и ещё нескольких монастырей, включая и туристские для меня Печёры, хорошо помню не лёгким движением поставленную, а выжженную тавром подчинённость, зависимость, робость, монастырскую грубую сословность, не уступающую разве что только армейской.

1988

Нравственное самоусовершенствование — позиция, которой не оспорить никому, и если бы мы изобрели действенный инструмент для достижения этой цели, мы неслыханно приблизились бы к ней. Но имеем мы дело с той жизнью, которая есть и какая она есть.

Случай с Виктором Петровичем Астафьевым — драматическое тому свидетельство. Сначала он уезжает из Перми в Вологду, не в последнюю очередь потому, что в Вологде живёт автор «Привычного дела», но и потому ещё, что совершить своё национальное самоусовершенствование русскому писателю очень трудно без русского Севера, без той земли, жители которой более всего — в этносе, в языке, в быту — сохранили русскость. Уверен, Вы меня правильно поймёте и не станете тут искать подвоха или двусмысленности. Поверьте, я своей космополитической кровью очень по-доброму и увлечённо чувствую русский Север, знаю, как ему обязаны даже и такие писатели, как Паустовский или Юрий Казаков.

Напившись этой живой воды, поклонившись земле и небу, строкам поэзии Рубцова, прозе Белова, Астафьев отбыл к породившей его земле Сибири и Урала — он действовал безошибочно и убеждённо.

Сегодня, думается мне, Виктор Петрович стоит как бы обнажённый перед страшной реальностью — как бешенные псы, кидаются на него со страниц «Дня», «Правды», «Нашего современника» критики и публицисты, обслуживающие Бондарева и Проханова с компанией...

1994

Александр БОРЩАГОВСКИЙ,
Валентин КУРБАТОВ

Уходящие острова: Эпистолярные беседы
в контексте времени и судьбы
— Иркутск: Сапронов, 2005. — 568 с.

Георгий ШПАК
губернатор Рязанской области

Корр. А кроме национальных проектов, которые реализуются по всей стране, есть ли в регионе свои приоритетные направления?

<...> Развитие культуры по масштабам работы относится к числу региональных приоритетных национальных проектов. И 2007-й год в Рязанской области объявлен годом культуры. Он ознаменуется множеством событий...

Корр. Есть ли у Вас в искусстве свои предпочтения?

С большим удовольствием хожу в театр. В Рязанском областном театре драмы смотрю всё, что они выпускают.

А ещё я люблю книги. Это самый ценный для меня подарок. В моей библиотеке более пяти тысяч экземпляров. Опережая ваш вопрос про любимые, отвечаю. Среди настольных — «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Более правдивого образа войны я не знаю. Когда был в Париже, специально выбрал время, чтобы побывать на его могиле.

Вот томики Пушкина стоят в кабинете. Недавно, чтобы внукам читать, наизусть выучил «Евгения Онегина» и «Сказу о царе Салтане». Сейчас Паустовского перечитываю...

КУЗНЕЦОВА Анна. Солдат,
генерал, губернатор //

Лит. газ. — 2007. — 14–20 февр.
— С. 11. — (Портрет в пейзаже).

Так хочется тишины. Той благодатной душевной тишины, в которой духовные силы идут в рост, вызревают замыслы негромких, но благородных дел и различимо биение чьих-то страдающих сердец.

...Почти детективная история. В обычный московский двор, да не двор даже, а палисадник, чудом сохранившийся в чаще чужеродных домов-монстров, зашли двое друзей пивка выпить. Неожиданно туда же явились бомжи с картонкой каких-то старых бумаг. Пиво отставлено, друзья склонились над старыми бумагами — мелькнули имена Грина, Паустовского. «Откуда это у вас, мужики?» — «А тебе какое дело?» — «Да так, заинтересовало». — «Ну и купи!»

Когда бумаги рассмотрели — глазам не поверили: архив Паустовского! Страницы из дневника, который считался давно и безнадежно утерянным! «Ничего случайно.о в этом мире не происходит», — утверждает публикатор дневника крымский краевед и издатель Дмитрий Лосев. В жизни, несмотря ни на что, много таинственного, необычайного — счастливый случай выпадает тому, кто верит в это, отрешившись от всяческой суеты.

Читаю эту бесценную находку в журнале «Мир Паустовского», мало кому известном — ведь не крикливо рекламный, не гляцевый, не гламурный и далеко, как они, не богач. Да и сам мир Паустовского, населенный лесниками,

Когда Константина Георгиевича спросили, как он может охарактеризовать современное ему состояние литературы, он ответил одной фразой: «Война Алой и Серой розы». А раз война, то человек, безусловно, не может не быть в ней борцом. Об этом факте рассказывает в своей вступительной статье к журналу «Мир Паустовского» № 23 писатель М.К.Холмогоров, ведущий этого, не совсем обычного номера, посвященного теме «Паустовский — гражданин». Обсуждение номера состоялось в музее-центре К.Г.Паустовского на расширенном заседании редколлегии.

Выступающие почти единогласно признали, что журнал «Мир Паустовского» № 23 — один из лучших номеров, насыщенный серьезной тематикой тех лет, когда Паустовский был не только писателем-романтиком, но и активным трибуном, отстаивающим правдивость и

Инна РУДЕНКО
обозреватель газет
«Комсомольская правда»

ЧЕМ СПАСТИ ДУШУ ЖИВУЮ?

пасечниками, простыми деревенскими жителями, похоже, мало интересует современных издателей — не жители же кричащей роскошью Рублёвки.

Паустовскому 28 лет. Зима 20–21-го годов. Одесса. Он ясно видит эти «окаянные дни»: «Такого глухого, чугунного времени ещё не знала Россия. Слово земля почернела от корки запёкшейся крови. Ухмыляющийся зев великого хама». Чем спасти душу живую? Читаю дальше: «От вечернего снега в тихие залы деревенских домов ложатся бледные отсветы», «Утром выпал лёгкий, едва тронувший бурую землю снег. Парк, словно старинный зал в серых, но светящихся, серебряных отсветах. Глубокая, поразившая меня тишина стояла над садами и морем». «Кустодиев... Золотые листья, как уборы с икон, опадают с берёзовых лесов на увалах, и такая нерушимая, церковная, золотая тишина над землёй. Это родное».

Слово «тишина», выделенное здесь, Паустовскому выделять не надо было. Он, наверное, самый тихий и животворящий писатель железного громяющего века. Старый бакенщик Паустовского говорит: «Все кричите “Родина, Родина!” А вот она, Родина, — за стогами... Как просто и по-родственному близко. «Что есть Отечество? Это

место, которому верен», — вторит писателю в надписи на своей книге, присланной мне в редакцию, читатель А.Гречухин. Да, любовь к Родине — простое и интимное чувство, а не тот фальшивый пафос, которым громяют нынешние «патриоты», подразумеваемая по-прежнему под Родиной любовь к партии и правительству да ненависть к инородцам.

Но будем читать дневник писателя дальше. И вот: «Я вдруг почувствовал, что впереди меня ждёт небывалое ещё счастье. Был серый день, я шёл парком, с зелёного взволнованного моря дул сырой ветер. Такое чувство бывает у меня редко... Первый раз было в Рёвках, в июльский день, когда наливались ржи. 14 год». Счастье посреди горя — и, казалось бы, ни от чего? Но вот запись из другого дневника, писателя Юрия Нагибина: «Как замечательно умели быть счастливыми Пастернак и даже несчастнейший Мандельштам. Любопытно, что эта способность быть мгновенно счастливым почти ни от чего очень долго была свойственна мне».

Ах, если бы мы все овладели этой способностью испытывать даже не счастье, хотя бы тихую радость при виде наливающейся ржи или даже в обычный, сырой день... Желанием насыщать душу не только карьерным успехом, искать свою спасительную тропу на громяющей и угрожающей дороге времени. Да просто видеть Человека в человеке рядом...

ПАУСТОВСКИЙ — ГРАЖДАНИН

(Из стенограммы заседания редколлегии журнала)

свободолюбие, защищая тех, кто не побоялся выступить против навязываемой советскими властями морали.

Вот что сказал член редакционного совета журнала писатель Ким Бакши: «Создание этого номера является настоящим общественным поступком. Именно сейчас есть паущая необходимость вспомнить людей, проявивших подлинное гражданское мужество. Как проявил его и К.Г.Паустовский. Материал Т.Мельниковой о 101-м километре, помещённый в этом номере, — моральный пример для всех нас. Сейчас, когда оборвана связь времён, когда новое поколение не задумывается о прошлом, выход такого номера оказался очень актуальным».

Также же суждения высказали и писатели Олег Ларин, Галина Корнилова,

поэт Александр Тимофеевский, библиограф доктор наук Милитриса Давыдова, директор музея-центра Илья Комаров.

«Мы знали Константина Георгиевича как тихого, кабинетного писателя, рассказывающего читателю о природе, а здесь он предстал перед нами как активный борец», — заметил в своём выступлении доктор наук Сергей Ижевский.

Данный номер действительно вмещает в себя многие очень значительные события, преподнесённые тогда общественности совсем в ином свете.

Как мы помним, шумным событием того времени был выход в свет книги В.Дудинцева «Не хлебом единым» о судьбе изобретателя. Это была первая попытка критики советской системы; роман широко обсуждался в читательской среде, но официальное обсуждение его проходило в 1956 году в московском клубе писателей на улице Воровского.

Выступление Паустовского на этом собрании сразу приковало к себе внимание присутствующих. Опубликованную в журнале стенограмму этого драматического собрания выступающие назвали стержневым материалом номера.

За стенограммой в журнале следуют отклики современников об этом событии, небольшие, но очень живые впечатления о том, как прозвучало выступление Паустовского, какой оно имело резонанс в советском обществе. Как заметил А. Тимофеевский, этих откликов следовало бы собрать еще больше и продлить их публикацию.

И далее под рубрикой «История в документах» в журнале приводятся письма в адрес государственного учреждения, поручительств, различные материалы в защиту поэта И. Бродского, писателей и общественных деятелей А. Синявского, Ю. Даниэля, А. Солженицына, Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского, В. Лашковой... И везде подписи К. Г. Паустовского стоят одними из первых.

Статьи Даниила Данина «Непрозвучавшая речь» и К. Паустовского «Сражение в тишине», в которых даётся оценка произведениям некоторых писателей и их поведению, Сергей Ижевский определил как «две притчи рядом». А воспоминание Юрия Любимова «С Вами говорит умирающий Паустовский» о спасении писателем театра на Таганке выступающие назвали «сюжетом для целой пьесы».

Особой темой выделена в журнале тема Тарусы, где Паустовский поселился в середине 50-х годов и прожил до своих последних дней. Автор публикации «Таруса — 101-й километр» Татьяна Мельникова рисует панораму жизни сосланных сюда диссидентов. Перед читателем Таруса предстает как центр диссидентства 70-х годов — столько в статье имён и событий. Это мини-энциклопедия Тарусы, как заметил Сергей

Ижевский. «Это не газетчина, не скороговорка, — говорит Игорь Штокман. — Показана атмосфера 101-го километра, где разных людей, выживающих каждый по-своему, объединяет одна судьба».

Как заметила в своём выступлении Милитриса Давыдова, тема «Паустовский-гражданин» требует более широкого диапазона, показа писателя-гражданина в годы Первой мировой войны, Февральской революции и дальнейших событий в нашей стране. В журнале представлено начало XX века дневниками писателя, статьёй Марии Михайловой о его воспоминаниях, отрывками из «Книги скитаний» и подборкой стихов поэтов Серебряного века под рубрикой «Поэтические страницы». Но тем не менее главный редактор журнала Г. П. Корнилова пообещала в будущем вернуться к этой теме и представить её более широко.

С мнением предыдущих ораторов и с трактовкой основной темы журнала не согласился прозаик и критик Игорь Штокман, считающий общественной деятельностью Паустовского совсем не главным для него делом. «Писатель, — сказал он, — значителен своим творчеством, а не тем, какие общественные письма он подписывал, в защиту кого выступал. Мужество Константина Георгиевича ярко выражено в его творчестве, он всегда писал то, о чём хотел. Чем дальше мы отдаляемся от времени Паустовского, тем острее воспринимаем его творчество как отдушину для себя». Однако возразившие Игорю Штокману Олег Ларин, Илья Комаров, Михаил Холмогоров подчеркнули, что в ту эпоху государство всей силой обрушилось на литераторов, и надо было бороться. Эта борьба только способствовала силе творчества писателя.

— И всё-таки в таком трудном времени все герои у Константина Георгиевича были счастливыми, — заметила краевед-исследователь Зинаида Поздеева.

— Я отвечу, — сказал Михаил Холмогоров. — Они были свободными, а в свободе — счастье.

— Таково было видение Паустовского, — заметила Галина Корнилова, — у писателя — нелёгкая жизнь, тяжёлое детство, он хотел видеть людей счастливыми.

Все выступающие сказали много добрых слов о напечатанных в журнале литературных произведениях. Это, как было отмечено выше, и подборка стихотворений поэтов Серебряного века, и стихи Александра Тимофеевского, и рассказы Кима Бакши «Замороженное время» и Эдуарда Кочергина «Куроводец».

Сергей Ижевский предложил редакции посвятить один из следующих номеров теме «Паустовский и природа» с эпиграфом слов Паустовского, приведённых в данном номере в статье Марии Михайловой:

«Человек в то время забыл о природе. Слова гремели над страной, настойчиво призывая к борьбе... Вокруг этих слов стягивались миллионы. Было не до природы». Ижевский предложил вниманию присутствующих любопытные расчёты, названные им «Антология вольнодумства». Все встречающиеся в журнале имена автор антологии распределил по принципу: базовые — воспитатели, активные и пассивные вольнодумцы, а также — губители. Автор сделал вывод, проанализировав 600 имён, что Паустовский — активный вольнодумец. По мнению Сергея Ижевского, в журнале следует публиковать фотографии авторов.

Участники заседания согласились с мнением выступающих о том, что номер журнала «Мир Паустовского» № 23 получился удачным и по тематике, и по композиции и выразили благодарность его ведущему редактору М. К. Холмогорову.

*Обзор подготовила
Евгения ПРУССАКОВА*

С преогромным удовольствием и, можно сказать, на одном дыхании я прочитала «МП» № 23. Всё-всё очень интересно, но особенно сильное впечатление произвела на меня статья писателя Михаила Холмогорова «Паустовский — гражданин». Статья растрожила, заставила вспомнить многое, оглянуться назад — в конец 50-х и начало 60-х годов, время моей учёбы на историко-филологическом факультете, а затем и работы в Вильнюсском университете.

Эти годы были нелёгкими для всех — в каждой семье война оставила свой след, а затем послевоенные годы — возвращение или перемещение тех, кто пострадал

Лилия СУДАВИЧЕНЕ
г. Вильнюс, Литва

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

и от советского режима. Но, как цитирует писатель, «времена не выбирают, в них живут и умирают». Мы — студенты — жили своей жизнью. Много читали, как по курсам русской филологии, так и журналы, газеты, — всё то, что выходило на русском языке. Прежде всего нас интересовало то, что происходило в литературе, в самом широком понимании этого слова. Если что-то очень важное было только в одном экземпляре, то мы собирались вместе и кто-нибудь читал вслух — вообще «громкое чтение» было очень

распространено на нашем курсе, — мы знали всех, кто и как читает. Жаль, что явление это как-то уходит из жизни. Обычно мы работали в библиотеках и всегда могли общаться друг с другом, делиться мнениями, спорить — высказывать и аргументировать свою точку зрения. Это, конечно, шло от наших учителей. Нам просто повезло — у нас были прекрасные преподаватели. Назову лишь некоторых.

Зарубежную литературу читала Ирина Григорьевна Неупокоева. Она блистательно вела свой предмет, знала европейские языки и на конкретных примерах показывала, как и когда их можно использовать при анализе творчества

того или иного писателя. Мы, загнав дыхание, слушали её лекции и так были влюблены в И.Г., что посещали все её семинары, хотя она постоянно напоминала, что мы должны заниматься и очень серьезно! русской литературой и русским языком.

Древнерусскую литературу читал профессор Дмитрий Иванович Абрамович (академик с 1921 г.), переживший, как и многие люди его поколения, сложнейшую жизненную трагедию: окончив в 1897 году Петербургскую духовную академию, он преподавал в вузах Петербурга, затем Петрограда и Ленинграда, но со временем лишился возможности продолжать свою работу в больших городах. Как нам кажется, причиной тому было его духовное образование...

В последние годы жизни Дмитрия Ивановича его научная работа была сосредоточена на вопросах древнерусской лексикографии. Он принимал участие в подготовке и создании «Словаря древнерусского языка XI–XVII вв.». Академик В.В.Виноградов вспоминал о нём как о своём учителе. Знал его лично и академик Д.С.Лихачёв.

Мы, ещё будучи студентами, с большим уважением относились к Дмитрию Ивановичу и теперь с благодарностью вспоминаем, как он терпеливо приобщал нас к работе над древнерусским текстом.

Этот человек, мужественно перенёсший все невзгоды, какие преподнесла ему жизнь, оставил около 100 научных работ и исследований по древней и новой русской литературе, по истории украинской литературы, по старославянскому языку, палеографии и историко-

ведению. Перу учёного принадлежит ряд работ о русских писателях. При участии Д.И.Абрамовича в качестве редактора (ему принадлежат и примечания) было подготовлено Полное собрание сочинений М.Ю.Лермонтова в пяти томах, осуществлённое Императорской Академией Наук в 1910–1913 годах.

Слушали мы лекции по курсу русской литературы XIX века и будущего профессора Василия Ивановича Кулешова. Он читал с блеском, мы опять влюбляемся, но теперь уже в сам предмет. Мы выбираем специализацию по литературе и включаемся в работу семинара «Писатели 60-х годов XIX века». (Это Н.Г.Помяловский, В.А.Слепцов, Н.В.Успенский и др.) Семинары были интересными, на них мы учились многому и главное, как я считаю, — уважительному отношению как к изучаемому предмету, так и к себе и окружающим. Обсуждение докладов на семинаре бывало праздником — проходило бурно, но мирно... У нас была хорошая, здоровая атмосфера среди сокурсников.

Каждый сам для себя определяет — с кем дружить, куда ходить, кого слушать. Однако важно, чтобы каждый сам по себе был интересным человеком, а для этого надо много знать, много работать. Мы поняли это, наблюдая жизнь наших преподавателей, людей старшего поколения.

P.S. И ещё о № 23 «МП».

Мне очень и очень понравилась статья профессора Марии Михайловой «Воспоминания К.Г.Паустовского о начале XX века. Текст и подтекст».

В процессе работы над Словарём языка К.Г.Паустовского я обратила внимание на обстоятельно проанализированные М.Михайловой тексты, и мне всё время хотелось (и хочется теперь) не потерять их в огромной массе словарного материала. Конечно, в словаре они не получат соответствующего анализа — это естественно. Но факт существования этих текстов важен. Например, при характеристике слова «Керенский» или «Мартов» и т.п. — в словарь можно ввести наиболее яркие характеристики, соответствующие этим лицам. Всё это, конечно, нелегко!

Предлагаемый автором статьи термин «подтекст» представляется очень удачным, а статья, в целом, является собою ценное научное исследование.

С пишущей машинкой срослась — сердце болит, но потихоньку строчу. В машинке слово «престол», и встретишь оно аж девять раз — и все в сугубо церковном значении. Материала для отсылки в музей и выпуска последующих томов «Словаря языка К.Г.Паустовского» накопилось предостаточно. Ждите посылку.

Пришло приглашение на конгресс МАПРЯЛ, на этот раз ассоциация соберётся в болгарской Варне. Планируется и моё выступление на Круглом столе — буду говорить о Прецедентных текстах и, конечно, с привлечением текстов Константина Паустовского. Президент Ассоциации рустов Словакии Эва Колларова одобрила мою задумку: «Без Паустовского, по моему мнению, русскую культуру представить немислимо».

Живу в светлом мире Паустовского. Хорошо-то как мне сейчас! После долгой тяжёлой зимы и всяческих неурядиц — такое счастье. Спасибо вам за него. За радость встречи со всеми вами, со многими знакомыми и незнакомыми, но хорошими и добрыми людьми. И, конечно, с К.Г. (в первой бандероли была прекрасная книга Г.Кмит «Однажды в Тарусе»).

Очень интересные и ценные материалы вы дали в номере 23 «МП».

Встаю рано, ложусь за полночь и читаю, читаю, читаю. А читается медленно: обдумывается, осмысливается, смакуется каждое слово, каждая строчка. Наплывают воспоминания... О тех далёких шестидесятых, когда нас, изучающих творчество К.Г.Паустовского, было очень мало. Рядом со мной стилистическими разысканиями занимались Л.С.Ачкасова и К.Г.Попов (и всё!). В газетных и журнальных статьях встре-

Нина ГУСАРОВА-РАЗДОРОВА
доцент Латвийского ун-та
г.Рига

ЕГО ТВОРЧЕСТВО НЕИСЧЕРПАЕМО

чала противоречивые оценки творчества писателя, помню и рецензии, нередко несправедливо злобные, поверхностные. Но... Какая лирическая проза! Завоораживает. Почему? Этот вопрос не давал мне покоя...

Паустовский вошёл в мою жизнь давно, с самого раннего детства.

Работая в Латвийском университете, всерьёз занялась тщательным лингвистическим изучением его произведений. Вначале — для себя, из желания раскрыть по возможности тайны писательского мастерства. Не претендуя на научное изыскание. Просто уходила в его мир от повседневной мелочной обыденности, от всех бед и огорчений, выпавших на мою долю...

Встреча с профессором Ленинградского университета Б.А.Лариным, беседа с ним о современной литературе, о незаслуженно забытом и недооценённом в научных исследованиях, гонимом, но блистательном художнике слова К.Г.Паустовском утвердили меня в желании продолжать свою работу.

В аспирантуре я не училась, писала диссертацию в порядке, так сказать, самодеятельности, из-за огромной любви к Паустовскому и при поддержке Б.А.Ларина, который тоже был поклонником писателя. Было очень страшно прикоснуться к текстам, терзали сомнения: какковы будут мои комментарии рядом с его отточенной фразой? Писала мучительно долго, тысячу раз взвешивала каждое слово, каждую фразу, правила текст по несколько раз.

И вот защита диссертации в Ленинградском университете 24 мая 1962

года — в день славянской письменности и ко дню рождения К.Г. А в печати — снова гневные статьи, снова его пытаются очернить, и опять нет серьёзных научных исследований. Конечно, я знала, что он был неугоден и неудобен тому строю, в котором мы жили, — уж слишком был честен, прям, негибем, выступал в защиту инакомыслящих, несправедливо обиженных. Ещё в 1961 году академик Ларин перед моей поездкой к К.Г. напутствовал: «Не забудьте спросить про похороны Б.Пастернака. Был ли, что сказал? Не удивлюсь, если на защите какой-нибудь «воитель социализма» заметит ехидно: «А кому, товарищи, посвящена работа Раздоровой? Па-ус-тов-ско-му». И начнётся...

Удача романа начинается с названия. **Татьяна МОРОЗОВА**

Тут и утвердительный ответ на традиционное «не жилец» (герой будет несколько раз слышать это в свой адрес и всякий раз — выживать), и противопоставление пафосному «гражданин» — просто жилец. Это спокойное осознание своего места, без рисовки и умаления — мол, моя хата с краю, наоборот, в этом суть отношений с жизнью: жилец — тот, кто жил, был открыт жизни, вёл с ней живой и полноценный диалог. И этот диалог придавал осмысленность событиям, которые составили жизнь героя и почти сто лет русской истории.

«Жилец» — это традиционный и тем неожиданный сегодня русский роман. И говорить о нём хочется так же. Ну, что-то вроде того: рассказом о судьбе несостоявшегося филолога Фелицианова писатель завершает галерею «лишних людей» русской литературы.

Роман начинается с прерванного сна маленького Жоржа в канун наступления нового, XX века, а заканчивается смертью героя, когда тот простудился в кольце защитников Белого дома. Но, помимо рассказа о герое, его окружении, о знаковых событиях в судьбе страны, в романе есть ещё один, едва ли не важнейший пласт — и Фелицианов, и автор постоянно ведут диалог с главными темами русской культуры, литературы, общественной мысли. И то, что стало с героем, и со страной — во многом логическое завершение этих исканий. От начала до конца «Жилец» полон реминисценций, связей с лучшими книгами русской литературы, как полна ими жизнь и Фелицианова, и вся культура, взрастившая этого героя и мучительно заканчивающаяся вместе с XX веком.

Роман держится на диалоге. Это не просто главный композиционный при-

К огромной моей радости, Учёный совет полностью состоял из почитатель К.Г. Отзыв самого писателя на мою диссертацию был встречен взрывом аплодисментов и восторженными криками: «Браво!», что, конечно, не соответствовало протоколу, но относилось к нему, к Паустовскому (я после защиты написала ему об этом).

Много лет спустя я узнаю о Московском музее-центре К.Г.Паустовского, о его тружениках, вижу результаты их работы по разным направлениям и много лет живу со спокойной мыслью: «Не забыть!». А что касается востребованности, знаю одно: его будут читать всегда.

Люди истосковались по хорошему слову, хорошей музыке, они хотят

вдохнуть глоток свежего воздуха, побыть в мире прекрасного. Надоела грязь, кровь и насилие, уродливый язык, искажённые мысли. Всё уйдёт. Только бы скорее.

Как жаль, что нет с нами Л.А.Левицкого и Н.Д.Степанищева. Невосполнимая утрата. У меня осталась книга Левицкого «Воспоминания о Паустовском» с дарственной надписью...

Материалы, которые вы прислали мне, читаются всей моей семьёй, и уже выстроилась очередь: мои «кафедралы», соседи и просто хорошие люди записались в мою библиотеку. И на Паустовского в первую очередь. Он нужен людям, а для исследователей его творчество неисчерпаемо.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА СВЕТ

ём, диалог — своеобразный способ существования этих людей. В пристрастии к разговорам, *словам* писателю видится особый код существования русского человека, который и собственно жизнь воспринимает только в диалоге.

Диалог этот напряжён и густ, потому что речь идёт о движении истории, о людях, выходящих на первые роли, о сути русского характера, о природе власти, о литературе. Движешься в таком тексте, испытывая давно забытое сопротивление материала, не из-за трудности изложения, а из-за серьёзности тем, глубины рассуждений. Точные формулировки, составляющие каркас и каждого разговора, и книги в целом, вызывают доверие к героям и автору, которому в не меньшей степени, чем людям той группы крови, присуща почти полностью утраченная культура мышления, не терпящая приблизительности и небрежности.

«Жилец» читается медленнее, чем обычно, потому что в нём нет болтовни, а есть мысль, без которой не бывает настоящей прозы, есть необычная сегодня серьёзность, и она требует к себе соответствующего отношения.

Главного героя зовут Георгием Андреевичем Фелициановым. Это имя, как и имена других героев, выбрано очень удачно: оно и книжно-архаичное, и что-то напоминающее, и иронично-высоко-

парное, и нет-нет, да и проглянет насмешливое — «Счастливец».

Фелициановы — москвичи. Ту же гимназию, что и Жорж, несколькими годами ранее мог закончить Юрий Живаго, — это герои одного круга, одного типа. Продлевая жизнь Георгия Андреевича почти на целый век, проводя его по всем кругам советской действительности, Холмогоров размышляет, что могло стать с подобными людьми и чем был обусловлен их уход со сцены истории. Только ли жестокостью и неадекватностью новой власти или было в самой сути этих людей что-то нежизнеспособное, а из-за этого концов свело их на нет.

Фелицианов, чувствующий слово, живущий им, закончил филологический факультет университета, но это бесплодное и ненужное узаконивание отношений с литературой ни к чему не привело, как, кстати, ни к чему не приведут и его робкие попытки создать семью. «Наследника нам не оставит он» — ни в каком смысле. Короткие заметки на обрывках, квитанциях, счетах, прочитанные лекции (кто-то что-то помнил, кажется, в Политехническом, но когда это было...), два-три увлечения, и никогда — до конца; страсть если и была, то не вырывалась наружу. Ни одна из его привязанностей — плотская, возвышенно-интеллектуальная и приземленно-бытовая — не стала его судьбой.

Автор ничего не упрощает. И хотя герой ему, безусловно, близок, в

МП: Вышел в свет новый роман Михаила Холмогорова «Жилец» (М.: Русь-Олимп, 2005). С творчеством этого писателя наш читатель знаком, в частности, по многочисленным публикациям в журнале «Мир Паустовского». Новый роман М.Холмогорова интере-

сен нашему журналу во многом потому, что охватывает весь XX век, большую часть которого прожил и К.Паустовский. Судьба главного героя характерна для людей этого поколения...

Предлагаем фрагменты из рецензии на роман «Жилец», опубликованной в журнале «Дружба народов».

пристальном и беспристрастном взгляде на него есть ощущение сложности души, её глубины, темноты и непостижимости, непредсказуемости. Но он не делает героя настолько своим, чтобы всё ему простить уже за эту понятность именно в нерешительности, бездействии, за которыми, как бы ни мерещилось вслушивание в глубинный ритм событий, — бесплодность.

У Жоржа живая душа, чуткая совесть, его художественный вкус становится этической категорией, недаром так много рассуждений в романе о совпадении этического и эстетического, — тем жёстче звучит это: «А никакого завтра не будет».

Был у героя и почти счастливый роман, как водится, в письмах. Он их писал Ариадне, которая действительно пройдёт через всю его жизнь, как нить, то исчезая, то появляясь. Он был влюблён в эту девушку и как-то по недоразумению расстался в 19-м году, очертя голову уехав (попросту сбежав от сложностей и неразберихи отношений) учительствовать в Овидиополь. А как ещё должен называться город, куда мчится современный лишний человек! Ну да, раньше такие герои искали счастья то у цыган, то у социалистов, теперь вот из огня да в полымя бросаются учить детей.

Письма Фелицианова замечательные, глубокие, с меткими наблюдениями, точными оценками, живыми рассуждениями о литературе, искусстве, ходе истории, судьбе России. И Гончаров, и Некрасов, и Гумилёв, и Маяковский, и Есенин, и молодая поросль, вроде Багрицкого, близки герою, интересны, их он понимает куда лучше, чем тех, кто рядом. Его ученик, его гомункул, Алёша Воронков, почти удавшийся синтез плоти и духа вымечтанный Фелициановым тип нового человека, всё-таки предпочтёт романтике Мцыри, открытую ему учителем, пафос строительства нового мира, что и осуществит через несколько лет в образцово-показательном лагере «Октябрьский», где будет доходить Фелицианов.

Письма Фелицианова — те же реплики в долгих спорах, которые велись и будут вестись русскими умниками. Он чувствует себя таким Робинзоном среди простосердечных Пятниц, которые через пять-шесть поколений смогут стать Робинзонами. Куда страшнее стоящие между ними чеховские телеграфисты Яти, высокомерные недоучки. Именно диктатура Ятей, а не пролетариата, вершится в России, и ни к чему хорошему она привести не может. (Интересные переключки получаются с одноимённым героем-антиподом быковской «Орфографии».)

Да, русский герой в письмах бывает очень хорош! На rendez-vous куда бледнее.

Фелицианов пережил многое: крушение страны в 1917 году и безумную радость начала новой жизни, дерзкое веяние молодого искусства, несправедливый арест, лагерь... Война, страх нового ареста, снова лагерь...

После всех этих испытаний он должен бы стать «духовным богатырём, кованым из чистой стали», однако писатель вне такой причинно-следственной связи. Его герой и после всего пережитого — по-прежнему, а может, и с большим правом, — жилец.

Двойник и антипод Фелицианова, сотрудник ОГПУ, Люциан Корнелиевич Лисюцкий (имя!) легко доказывает необходимость истребления таких, как Фелицианов, исходя именно из привычного ряда «лишних людей». «Революционерство ещё с пушкинских времён началось... Все эти онегиньи и печорины, бездейственные, на первый взгляд безвредные болтуны, создали ту среду, в которой произрастают революционеры. И вас надо душить в зародыше».

Эти рассуждения Лисюцкого очевидны. И так понятно, почему надо уничтожать таких, как Фелицианов. Это внешний конфликт, с властью, противостоять которой порядочного русского героя учить не надо, — в этом его жизненная задача. Такой конфликт только продуцирует чувство собственной правоты, а значит, силу.

Куда серьёзней конфликт другой, о котором Лисюцкий и не догадывается, потому что это — конфликт внутренний. Ведомый только своим. Лисюцкий ни при чём. Даром что похож на Фелицианова, а присмотрись — нет, другой.

Лисюцкому кажется, что герой опирается на русскую литературу как нерушимую стену, а он придавлен ею, лишён свободы выбора и движений.

После внезапного ареста, недели непрерывных допросов, встречи с откровенным двойником, с преодолённым искушением убить этого человека и скрыться, в камере, вместе с ощущением времени, с прямой мыслью, обращённой к себе, что «ты ведь, Жорж, просто-напросто испугался кардинально менять свою жизнь. И тебе легче влечься по произволу сильных, пусть и врагов твоих, чем самому менять жизнь» — к герою возвращаются знакомые стихи: «...вспомнилась «Русь моя» — очень кстати строкою «Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!» Но дальше пошло как-то туго. Он мучительно напрягал память в поисках исчезнувших слов. Нёс, конечно, отсебятину и даже чувствовал где, но как проверишь?».

Потом, «поднявшись Бог весть с каких глубин, вспомнились строчки Майкова: «Весна! Отворяется первая рама!». Нет, не отворяется, рамы выставляли. Значит, «выставляется первая рама». Там, в рифме, вспомнилось, что-то про благовест храма. Но как связать? А дальше, дальше-то что?»

Это мучительное во всех смыслах и очень точное припоминание становится своеобразной метафорой мироощущения героя. Наконец нашёл время и место! Где же ещё вспомнить что-то такое детское, из хрестоматии, про раму, Майков, Боже мой! — казалось бы, вот она свобода, внутренняя, настоящая, неподвластная никакому Лисюцкому! И тут же — железная закованность рифмой — должно быть только так и не иначе! «Оказывается, русская поэзия писалась для препровождения времени в одиночной камере».

Отворите мне темницу... Если бы всё было так просто. Если бы свобода обреталась там и тогда, когда рухнет темница. Но ведь засовы крепки не на дверях, и они часто не снаружи. У порядочного русского героя порыв к свободе часто обусловлен теми рамками, в которые даже не его, а ещё бабушкедедушек втиснула культурная традиция. И это двойная несвобода: тюрьма и рифма — иногда наталкивает на мысль, что они связаны, что, возможно, выход-то совсем не там, вне привычных рифм и тем.

Будучи совсем юным, Жорж пережил нечто подобное. Глава об этом случае называется «Мимолётное» — привет Розанову, чьё имя не раз появится на страницах романа. Жорж сломя голову нёсся на лекцию Овсяннико-Куликовского и вдруг как о столб ударился. «Ему навстречу шёл старичок, довольно простецкого вида, каких немало встретишь у каждой церковной паперти, хотя на нищего был не похож, одетый без затей, но аккуратно — под поддёвкой рубаха навыпуск, брюки заправлены в сапоги хорошей кожи».

Жорж встал перед ним как вкопанный, неприлично уставившись на незнакомца.

— Ступайте с Богом, молодой человек, — строго сказал старичок, нахмурился густые брови.

Каким пресным показался столичный профессор после этой встречи с Толстым! «А может, обознался? Этот вопрос всю жизнь потом мучил Фелицианова, и он боялся дать на него ответ».

«А может, обознался?» — это вопрос, по сути, всей мыслящей части общества. Не в вульгарном, нигилистическом смысле поминок по русской классической литературе, мол, сбросим её вместе с рефлектирующими героями и

комплексами с корабля современности — она, как тяжкая гиря, висит на ногах и не даёт, задрвав штаны, бежать в нормальную общечеловеческую жизнь. Нет, в этом вопросе — спокойное и осознанное желание понять душу и судьбу человека, имевшего перед своим физическим и умственным взором только лучшие примеры, только возвышенные идеалы и оказавшегося в результате маргиналом. Как и читатели тех книг, погружённые в культурный контекст, а не в жизнь, и по себе знающие, что такое «закорванность рифмой».

А может, все обозначилось?..

Фелицианов умирает, когда перед страной открывается новый путь. Так же, как умерли Обломов и Юрий Андреевич Живаго, с которыми у нашего героя очевидные типологические связи. И не то, что бы они в «новую жизнь не

годятся», а просто смерть таких героев сопоставима с историческими переменами, которые теперь называют судьбоносными. Будто перемены эти не случатся, если не погребут под собой лучших из предыдущего поколения.

Единственный близкий человек, племянник Сева, разбирая беспорядочный архив, и не архив даже, а просто бумаги своего дяди Жоржа, понимает, что никогда уже не узнает, кто изображён на этих фотографиях и кому писаны эти письма, мог же узнать, поговорить, но как-то не собрался. Вот оно, всё ещё под руками, отрывки можно прочитать, можно восхититься глубиной замечания всего-то на обороте квитанции про задолженность за свет, но понять, что к чему, — невозможно. Эта разрозненная мозаика никогда не сложится в цельную картину...

Из всего наследия Фелицианова Сева попадает на глаза эта квитанция с требованием ликвидировать задолженность за свет. Замечание дяди на обороте её, наверное, не самое глубокое, поражает его своей точностью и многозначностью.

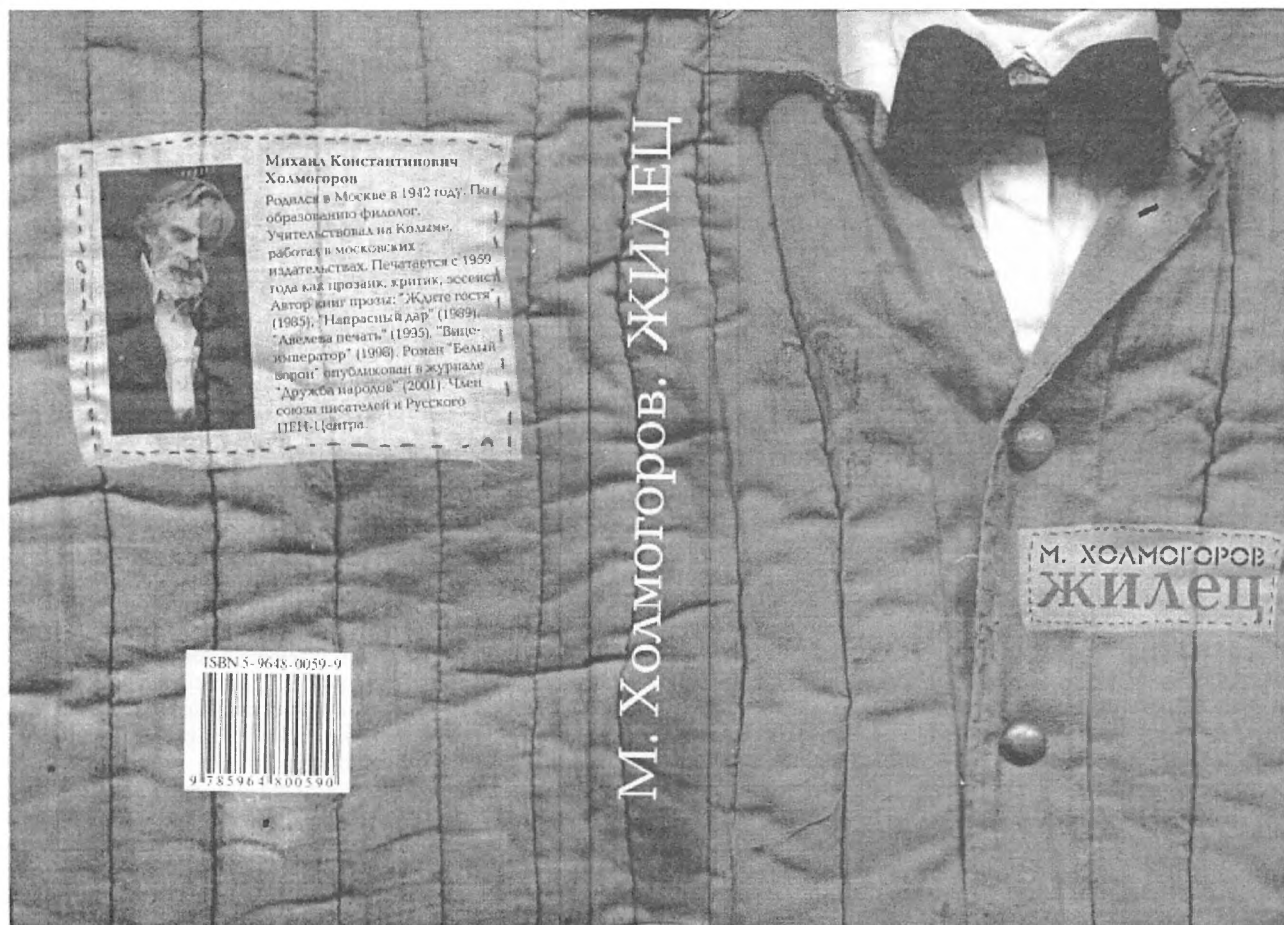
В наследство в русской литературе часто доставались одни долги. Герой, «тяжбы ненавидя», наследство предоставлял «жадному полку займодавцев» и налегке пускался в жизнь.

Задолженность за свет — другое дело. Новый наследник пока размышляет, «знать бы, кому и сколько».

Понять такой долг, признать его — значит начать платить.

«Это могло бы составить тему нового рассказа, — <...> теперешний рассказ наш окончен».

Будем надеяться.



Хотелось бы поделиться своими соображениями о художественных параллелях в творчестве А.Грина и К.Паустовского. Они возникли при подготовке моего выступления на конференции, посвящённой 125-летию со дня рождения вятского романтика.

Константин Георгиевич Паустовский многократно говорил о влиянии на своё творчество прозы Александра Степановича Грина. Об этом он писал и в «Золотой розе», и в «Книге скитаний», и в повести «Чёрное море». Не случайно соответствующими отрывками из этих произведений открывается 19-й («гриновский») номер журнала «Мир Паустовского».

Ещё гимназистом ощутив после чтения гриновской прозы «тоску по блеску ветра, по солонатовому запаху морской воды... опаляющим глазам женщин, шершавому жёлтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода», Паустовский не только пронёс по жизни это запечатлённое в «Золотой розе» романтическое мироощущение, но и наделил им многих своих персонажей. В частности, героя небольшой

Моя любовь к певучему русскому языку родилась уже в начальной школе, когда мы, дети, с упоением читали стихотворение-симфонию Ивана Вазова «Ополченцы на Шипке», когда я увлекался сказками Льва Толстого, когда слышал стихи русских поэтов. Я посвятил свою жизнь этому богатейшему языку, поступив на отделение русского языка и литературы в Софийском университете им. Св. Климента Охридского в 1946 году — тогда у нас впервые стали готовить русистов. Русский язык стал моей счастливой судьбой.

Я читал в оригинале «Евгения Онегина» и «Полтаву» Пушкина и купался в море поэтического языка; погружался в текст «Героя нашего времени» Лермонтова, и мне казалось, и до сих пор кажется, что нет ничего более совершенного, чем язык этого романа, а от «Демона» просто кружилась голова — такие космические дали открывает поэт.

В высоких горах моего родного края я увлекался «Мёртвыми душами» Гоголя, я буквально подпрыгивал на камне у горного ручья от радости и удивлялся

НА ЗОВ НЕСБЫВШЕГОСЯ

Найди пылинки дальних стран...
Александр Блок

повести «Пыль земли Фарсистанской», впервые опубликованной в 20-м номере «Мира Паустовского» и отчасти перекликающейся с романом Грина «Бегущая по волнам».

В этом романе сформулировано ставшее классическим понятие о Несбывшемся — «силе более повелительной, чем власть или магия», которая «рано или поздно, под старость или в расцвете лет... зовёт нас», заставляя переезжать «из города в город, из страны в страну». Подобно гриновскому Гарвею, герой повести «Пыль...» «вскакивал по ночам, разбуженный скрипками легкомысленных праздников, путаницей звёзд, голубыми пожарами вокзалов и городов». Как и героя «Бегущей...», его так же ведёт по миру «тоска по пёстрым, сверкающим странам, которых нет и не может быть». При этом Паустовский устами своего безымянного литературного двойника заявляет: «Единственная радость жизни — скитания... Скитания бесцельные и печальные, как печальны вечера в пустынях, прекрасные книги... И ещё — любовь...»

ОДА РУССКОМУ ЯЗЫКУ

каждому слову этой головокружительной поэмы, населённой престранными и интереснейшими образами. Готовя дипломную работу по «Анне Карениной», я отчётливо слышал живые голоса героев и был убеждён, что это гениальнейшее произведение всей мировой литературы. Это чувство живёт во мне и сейчас. Познакомившись с «Обломовым» Гончарова, я поклялся внутренне не быть лентяем и не строить планы, не выполняя их. Открывая для себя Горького с его жемчужными ранними рассказами, пленительными «Сказками об Италии», с его незабываемой автобиографической трилогией, я улавливал настоящую музыку высокохудожественной речи. Меня захватил величественный «Тихий Дон» Шолохова — я весь горел, читая роман, и теперь, спустя много лет, чувствую в груди следы счастливого горя...

Моя любовь к русскому языку усилилась, когда мне посчастливилось перевести на болгарский язык «Рождение гражданина» В.Сухолинского, «Проблемы

Власть Несбывшегося заставляет избрать дорогу странствий и Артура Грэй из «Алых парусов», «сокровища жизни» которого состоят в следующем: «Опасность, риск, власть природы, свет далёкой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой, увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе — то Южный крест, то Медведица, и все материка — в зорких глазах...»

А главный герой повести «Пыль земли Фарсистанской» в батумском духане «Над Курой» говорит своей подруге в минуты откровения «о старых палубах, где пахнет смолой и шумно от волн, о тёплом, как женские волосы, ветре, что едва-едва щечечет ресницы, о полных искр и радости снах на узкой паровой койке, качающей смуглое тело в тёмном море, где звёзды плещутся в волнах, как стая белых птиц...»

Найденная в архиве сына К.Г.Паустовского повесть проливает новый свет на творческую перекличку двух романтиков.

Владимир СЕМИБРАТОВ
г.Киров

поэтики Достоевского» М.Бахтина и «Мещёрскую сторону» К.Паустовского, когда я прочитал повести В.Распутина «Прощание с Матёрой» и «Последний срок», романы «Белый пароход» и «Плаха» Чингиза Айтматова, лиричный роман «Царь-рыба» В.Астафьева, потрясающее произведение В.Гроссмана «Жизнь и судьба», трогательное «Отлучение» А.Авдеенко, мужественный роман В.Дудинцева «Белые одежды», страшный жесточайшими сценами «Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына и многое что ещё.

Моим большим счастьем была диссертация о языке и стиле Константина Паустовского и мои встречи с этим исключительным человеком и художником слова, в честь которого теперь издаётся уникальный журнал «Мир Паустовского». Дружба с поэтом Львом Озеровым была для меня настоящим подарком. В моей душе живут многие имена русских писателей, которые учили меня и учат сегодня всё больше узнавать и чувствовать силу и глубину русского языка. Десять раз я побывал в России, и мне особенно дорога Москва, где вышла в свет и моя книжка третьим изданием «Типич-

ные для болгар трудности в русском языке». Мне памяты также и такие славные русские города, как Санкт-Петербург и Ростов Великий, Владимир, Суздаль и столица Украины — исторический Киев.

Русский язык стал моим дорогим духовным миром, которым я живу. Можно сказать, что и русский язык живёт во

мне, и я живу в нём уютно и радостно, всё время обогащаясь им.

Русский язык — это символ нежности, любви, красоты и счастья. Слушать русскую речь, читать высокие образцы художественной литературы на русском языке, произносить вслух русские слова и выражения — это всё равно, что об-

щаться с музыкой Моцарта, Бетховена, Глинки, Чайковского.

Русский язык — это моя жизнь, моя ласкавая, то есть любимая, мелодия, моё вечно живое солнце, моя несочнаемая радость и подлинное счастье!

Константин **ПОПОВ**
г.София (Болгария)

Добрый день, Лида! (Письмо адресовано Лидии Александровне Чешковой, ведущему редактору «МП», ответственной за выпуск № 22.)

В первую очередь передаю благодарность всех, кто читал присланный 22-й номер журнала «Мир Паустовского». Их было много — моих друзей и приятелей. Одна приятельница ездила с журналом на работу, читала по дороге, а днём его читал охранник в её колледже (бывший кандидат наук из России). А моя родственница, та, что привезла журнал, читала его в самолёте и привлекла внимание соседки, которая оказалась дочерью Валентины Сперантовой — помнишь такую актрису детского театра? — и она очень заинтересовалась и сказала, кто-то из их семьи хорошо знал Паустовского, но про музей и журнал она до сих пор ничего не знала. Собиралась связаться с вами (она живёт в Америке). Видишь, какая широкая аудитория.

В журнале поражает обилие и разнообразие материалов, где только вы всё это находите, притом и архивные, и свежие. Чтение журнала начала с писем читателей и была поражена тем, насколько Паустовский многим близок и дорог. Для меня самой он остался всё же в 60-х. Тогда я, безусловно, всё читала, но в памяти остались, пожалуй, только

Если сравнить отечественную литературу с горной страной, то в её безбрежных пределах вершина по имени «Паустовский», конечно, не самая великая, не самая знаменитая, но сама она и блистающие облака над ней излучают такое сияние, что от взгляда путешественника её не смогут заслонить никакие гиганты. Эта вершина — мир Паустовского — заповедник возвышенных чувств, сентиментальной романтики, изысканного русского языка, а также ещё чего-то, совершенно особенного, невыразимого и недосказанного.

Таких заповедников в отечественной литературе осталось совсем немного: сказываются последствия безумного «неведомого» века — размеры некоторых вершин «уточнили» и признали теперь лишь сопками или шишками,

ЧИТАТЕЛЕЙ БЫЛО МНОГО

«Повесть о жизни» и несколько рассказов: «Телеграмма», «Корзина с еловыми шишками» — этот рассказ моя подруга читала на институтских вечерах на первых курсах, и он запал в память. Осталось впечатление от лиричного писателя и очень честного и независимого человека. Его выступление в защиту Дудинцева я помнила и, прочитав о нём в «твоем» номере, поняла, что помнила абсолютно точно. Захотелось перечитать, но у меня на полке только «Тарусские страницы»; прочитала то, что там есть, и собираюсь поехать в университетскую библиотеку и взять там. Никто из моих знакомых Паустовского с собой не привёз, значит, отношение было такое же, как у меня, а после журнала заинтересовались вновь.

В разных местах номера упоминают Юрия Казакова как одного из любимых учеников К.П. Это я знала, т.к. всегда любила Казакова и даже привезла сюда один томик его рассказов. Кстати, как-то по ТВ случайно увидела фильм «Послушай, не идёт ли дождь», прототип героя — Казаков. Там есть кусок, когда герой приезжает в Париж и беседует со старым русским писателем. Возможно, это Зайцев. Найдите этот фильм, он вам может быть интересен.

ЗАПОВЕДНИК ПАУСТОВСКОГО

многие разоблачили и переосмыслили, а к «собиранию камней» так и не приступили. И это счастье, что между нами, читателями, и Константином Георгиевичем не осмеливаются вставлять никакие ниспровергатели и толкователи, предоставляя нам самостоятельно исследовать этот чудесный мир, мир Паустовского, предоставляя нам самим совершать в нём открытия. Это счастье, что мир Паустовского и сегодня, уже в иную историческую эпоху новых идеалов и координат, когда поменялось вообще всё, по-прежнему сохраняет свою первозданную чистоту.

Иногда кажется, что наше современное общество в своем прогрессирующем безумстве вообще хочет от-

читала великолепный очерк Арбузовой о Делекторской и вспоминала прошлогоднюю поездку во Францию: отель «Реджина», где они жили, и могилу Матисса рядом с ним, и могилу Матисса — всё это стоит перед глазами. И как интересно всё переплелось: Матисс—Делекторская—Паустовский.

Очень интересен твой очерк о поездке в Хорватию, а когда ты там была? Ты мне об этом ничего не писала.

Словом, ещё раз спасибо. Если будет возможность переслать мне ещё какой-нибудь номер, я и все мои друзья будем счастливы.

Всего доброго,

Наташа **ЧУБУКОВА**
США

P.S. Вчера специально поставила плёнку с этим фильмом — я его записала — и прокрутила немного. Реж. Аркадий Кордон — мне это имя ничего не говорит, в роли Казакова Петренко. В Париже он приходит к своему переводчику, на двери есть табличка с именем, но я не смогла её разобрать. Но в свете того, что написала Курамжина (стр. 84), этот эпизод, возможно, сделан на основе рассказа Казакова о встрече с Зайцевым.

В её статье для меня было ещё одно знакомое имя — Юра Айхенвальд, которого я знала через нескольких близких мне людей, причём с разных сторон.

казаться и от книг, и от самого русского языка, но когда оно излечится от этого безумия (что неизбежно), я уверен, у Константина Георгиевича появятся армия новых читателей, почитателей, исследователей, и все они, так же как и мы сегодня, будут восхищаться миром Паустовского и своими открытиями в нём.

«Мир Паустовского» — путеводитель по заповеднику для тех, кто туристическим поездкам предпочитает экспедиции. Открыв на любой странице ваш (наш!) журнал, испытываешь непреодолимое желание бежать туда, в заповедник, немедленно обратиться к первоисточнику — в очередной раз перечитать любимые страницы, самому представить и эти мещёрские дороги, деревни, их обитателей, чудаковатых

стариков и старух, босоногих мальчишек-рыбаков, других героев, которых объединяет необыкновенная литературная *эндемичность* — больше таких нет ни у кого.

Редакционной коллегии «Мира Паустовского» отдельное спасибо и поклон — осознавая, что в примитивной рекламе и пропаганде творчество К.Г. не нуждается, она очень точно нашла верную тональность журнала — исследование творчества, ненавязчивая постановка литературоведческих проблем и особенно культурологический и краеведческий контекст — все вопросы поднимаются журналом увлекательно и в высшей степени деликатно, так, чтобы вместе с истинными ценителями настоящей литературы в заповедник не хлынули «дикие туристы», те самые «пошляки и невежды», о возможном нашествии которых провидчески нас предупреждал сам Константин Георгиевич.

Глубина исследования поднимаемых проблем, совершенно уникальный мему-

арный материал, мнения и комментарии, неожиданные антитезы — всё это уже сегодня сделало «Мир Паустовского» значительным культурным событием России, каждый его номер — настоящей библиографической редкостью.

Вне всяких сомнений, журнал должен жить и развиваться, каждым своим номером он подтверждает право на это.

И ещё несколько слов. Сам я работаю в коллегии адвокатов г.Самары. К литературному творчеству отношения не имею, поскольку составление исковых заявлений, надзорных жалоб или казенных нумерованных писем творчеством никак не является (при всём моём уважении к данному роду деятельности).

Паустовского безумно люблю с самого раннего детства: первыми услышанными и запомнившимися сказками наряду с русскими народными были «Стальное колечко» и «Тёплый хлеб», которые мать мне рассказывала наизусть. Ещё дошкольником прочитал «Летние дни» и окончательно влюбился в творчество К.Г.

Теперь мне уже мало просто читать его произведения. Как известно, «поэт в России больше, чем поэт». Закономерно поэтому, что и писатель — больше чем писатель. Что ж остаётся нам, российским читателям, чтобы соответствовать первым и вторым? Только одно — также стать чем-то большим, чем просто читателем; не только читать, но и исследовать, изучать, постигать. Применительно к Паустовскому это означает изучать не только его тексты, его «хрустальный» язык, но и его эпоху, его «неведомый век», исторический контекст и тысячи раз удивляться и удивляться, как же было возможно сохранить на протяжении долгой и нелёгкой жизни столь сентиментальную душу, пережив при этом все кошмары своего времени — революцию (и не одну), войну (и не одну!), годы репрессий и т.д.

Так что еще раз огромное Вам спасибо за ваш журнал, за вашу важную работу!

Евгений ГРАДОВ
г. Самара

На заре туманной юности, будучи влюблён в прекрасную микробиологиню из МГУ и зная, что и она обожает книги К.Паустовского, я на собственные средства издал тиражом в один экземпляр ранний одесский рассказ нашего писателя — для своей девушки. Текст перепечатал на тётину Mercedes'e, нарисовал картинку, переплёл, одел в суперобложку и т.д. Хотя, куда уж далее?..

Но вышло так, что девушка от меня отказалась. Наверно потому, что книжечки не видела. Я ведь готовил ей сюрприз. И книжечка на годы осталась у меня. Иногда я доставал её и перелистывал, вздыхая. Иногда показывал кое-кому из близких. Нравилось. Во всяком случае, хвалили. Но подходящих девушек среди тех, кто держал книжицу в руках, не было...

Я написала книгу о Паустовском для французских читателей. Пусть знают о его жизни и его книгах больше. И, конечно, о маленьком шедевре «Мимолетный Париж».

Очень хочется насытить книгу фотографиями, рукописями, документами... Надеюсь на содействие музея-центра.

Софи Олливье
профессор
г. Сент-Илар де Бовуар (Франция)

Вышла толстущая книга «Кто есть кто: новейший справочник для школьни-

БЫЛО И ТАКОЕ...

Пришёл полдень туманной юности, или около того. У меня появился в Москве добрый друг, старенький писатель, начинавший когда-то в Одессе. Писатель, вхожий в дом Паустовских. И вот я решил просить Бориса Владимировича как-нибудь передать её автору, — как знак любви и благодарности. Это было непосредственно перед моим отъездом на долгие годы на Дальний Восток.

Дальнейшее туманно, как юность с её зарёй. Вроде бы Б.В. передал книжку через Татьяну Алексеевну. Вроде бы она понравилась и Татьяне Алексеевне, и, по её словам, Константину Георгиевичу. А может быть, Борису Владимировичу хотелось сде-

лать мне приятное. Кто его теперь знает?..

А вот и второй эпизод, связанный с произведениями Паустовского. В 1961 году я после болезни, будучи в заслуженном академическом отпуске, трудился, подрабатывал сельхозработчиком в Одесском селекционном институте. Там мне в отделе древонасаждений... попались подшивки газеты «Социалистическое земледелие» середины 1940-х годов. В то время это, наверное, была такая «тихая заводь» для Паустовского и ещё для писателя Владимира Лидина. Из этой подшивки я отправил немало первых публикаций Константина Георгиевича в музей в Кузьминках, как только узнал о его существовании.

Юрий КАЛМЫКОВ
г. Екатеринбург

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ков» (М.: ЭКСМО, 2006. — 774 с.). По сравнению с другими заметками о К.Г.Паустовском в энциклопедических и справочных изданиях эта статья написана от души, живым и добрым языком.

Читал в газетах, что проходит ныне «музейная реформа». Хотелось бы надеяться на лучшее в отношении вашего музея-центра. Вы, уверен, сумеете отстоять доброе дело и дальше хранить чистоту русского языка

Александр Германович Кульметов
г. Санкт-Петербург

Очень рад, что музею пригодились мои библиографические розыски публикаций Паустовского. Скромные мои попытки содействия музею и есть на все времена наивысшая мне награда.

Журналы ваши читаю с радостью. На усмотрение редакции посылаю стихотворение, которое я под настроение написал ещё в далёком 1996-м году.

НАСТРОЙЩИК ДУШ

Мне Паустовский душу основал
Она дремала художочным полем...
Я сам собой был с детства недоволен.

Когда б не он, магический кристалл,
Мой вешний гром неслышных колоколен!..

Открылась Родина, — несокрушимый дух, —
Где потаённой ревности страницы.
По ней струился тополиный пух
Метель снежила мокрые ресницы...

Над ней сиял осенний жёлтый свет,
И добрые, талантливые люди
Сердечно знали: лучшей в мире нет,
И никогда другой такой не будет!..

Поэтому им задавалась жизнь
И были в радость грозные заботы —
Всегда в строю, где правда против лжи,
А если труд, так до седьмого пота!

Я счастлив, — мне достался тёплый след!..
О, сердце! Да пребудет в людях живо.
Романтика далёких честных лет,
Где и не брезжит грязная нажива.

*Геннадий Борисов
г. Санкт-Петербург*

Вспоминаю часто счастливое время
лета 2004 года на Украине и последую-
щую, два года назад, встречу в московском
музее-центре.

Посылаю вам монографию о твор-
честве К.Г.Паустовского. Эту книгу я
писал восемь лет кряду. К счастью, она
наконец-то вышла.

Знаю, что вы не сможете прочесть
её на китайском языке, но всё-таки мне
хочется подарить вам эту книгу, чтобы
таким образом выразить моё уважение
музею-центру и великому писателю.

*Дунь Сяо
профессор
г. Нанкин (Китай)*

Читаем присланные журналы. Вос-
хищаемся.

*Светлана Селина
г. Самара*

Наша Ливенская библиотека им.
К.Г.Паустовского обновила стенды и
витрины о Паустовском. Часто проводит
мероприятия, посвящённые писателю.

Надеюсь издать книгу очерков
Юрия Беляева, моего мужа, ушедшего
из жизни в 2000 году. Условное назва-
ние «Ливенские мотивы в творчестве
Паустовского». Материалы подобрала,
очень интересные, осталось обработать
и скомпоновать.

*Лидия Беляева
г. Ливны, Орловская обл.*

Откуда и почему вдруг такой ин-
терес к Паустовскому? Познакомился
с вашим журналом в Москве. Два но-
мера, с которыми вернулся в Минск,
проглотил целиком и продолжаю о них
думать.

Сам занимаюсь литературным крае-
ведением. Написал несколько тоненьких
брошюр по литературной истории род-
ного Пуховичского района.

...Очень сожалею, что поздно от-
крыл для себя журнал «Мир Паустов-
ского». Творчество великого русского
писателя настолько многогранно, что
журнал, уверен в этом, будет издавать-
ся многие и многие годы.

Хотелось бы, чтобы как можно шире
раскрывалась в журнале тема влияния
Паустовского на творчество писателей
Украины, Белоруссии и других постсо-
ветских стран.

*Алесь Карлюкевич
г. Минск, Беларусь*

Хотелось бы через журнал «МП»
поблагодарить организаторов Между-
народной научно-практической конфе-
ренции, проходившей в Рязани с 29 по
31 мая этого года и приуроченной ко
дню 115-й годовщины со дня рождения

К.Г.Паустовского. Поблагодарить за ра-
душный приём, за хорошую организа-
цию конференции, собравшей множе-
ство интересных людей из ближнего За-
рубежья и разных городов России, за
обширную культурную программу. Мы
побывали и в Рязанском кремле, и в
селе Константиново, и в Солотче, и в
селе Екимовке. Слова Паустовского о
рязанской земле как о своей «второй
родине» стали для нас реальнее, ощу-
тимее. Особая благодарность рязанцам
за то, что в Солотче, в доме-музее
И.П.Пожалостина открылась экспози-
ция, посвящённая пребыванию К.Паус-
товского в этих краях, его открытию
Мещёры. А также за то, что на фасаде
маленького деревянного домика на Со-
борной площади Рязани, в котором пи-
сатель не раз гостил у родственников
жены, установлена теперь мемориаль-
ная доска. Сохранению памяти о Паус-
товском на Рязанщине способствует и
фотокнига местного краеведа В.М.Афа-
насьева «Центральная полоса России
К.Г.Паустовского», которую все участ-
ники конференции получили в подарок.
Спасибо!

*Милитриса Давыдова
профессор Московского
государственного университета
культуры и искусства
Зинаида Поздеева
журналист*



Правительство Рязанской области
Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области
Управление по делам образования, науки
и молодежи колледжа Рязанской области
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Российская библиотечная ассоциация (Сетья муниципальных библиотек)
Рязанская областная юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского
Международная научно-практическая конференция
«НАСЛЕДИЕ К.Г. ПАУСТОВСКОГО
И СОВРЕМЕННОСТЬ: ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА,
НРАВСТВЕННОСТЬ»



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Рязань 2007

Дом на обрывистом берегу Сосны, принадлежавший в былые времена ливенским старожилам Бондаревым, выделяется среди других строений старинной добротной кладкой. Он примечателен и своей историей. Летом 1931 года здесь поселился с семьёй писатель Константин Паустовский, и в этих стенах родились первые строки повести «Кара-Бугаз».

Описание ливенского дома можно встретить во многих произведениях Паустовского («Повесть о лесах», «Золотая роза» и др.). В 1980 году на фасадной стороне была укреплена мемориальная доска: «В этом доме жил и работал известный советский писатель Константин Георгиевич Паустовский». В 1982 и в последующие годы поднимался вопрос о создании в доме Бондаревых мемориальной комнаты-музея Паустовского. Материалов для её создания собрано много, но дальше этого дело не двинулось. Сейчас дом сильно обветшал, выглядит сиротливо и запущенно. Бывшая владелица Алиса Бондарева-Полянничко, послужившая прототипом Анфисы в «Золотой розе» и «Повести о лесах», в силу семейных обстоятельств вынуждена была уехать к дочери в другой город, там и умерла. Конечно, юридически горожане не вправе вмешиваться в частные дела. Но долг перед памятью писателя, воспевшего трогательную красоту ливенской земли и рассказавшего читателям о её скромных и приветливых людях, обязывает каждого из нас бережно относиться к тому, что связано с жизнью и творчеством великого мастера прозы.

В 2007 году исполняется 115 лет со дня его рождения. Об этой дате помнит литературная общественность не только России, но и зарубежья. В Ливны могут приехать гости. Нельзя забывать, что нашему городу отводится значительное место в литературной биографии писателя; в Московском музее-цен-

И ДОМ ОКАЖЕТСЯ В РУИНАХ



тре К.Г.Паустовского оформлена целая экспозиция о Ливнах, в литературных журналах зачастую рассказывает об этом отрезке биографии Паустовского. Хотелось бы верить, что общественность города, спонсоры, почитатели таланта прозаика примут деятельное участие в сохранении памяти о нём. Тем более 31 мая очередная годовщина.

В.ЗАЙЦЕВ

г.Ливны, ул.Малодёжная

Корреспонденту «Ливенской газеты» удалось выяснить, что дом, расположенный на ул. Аникушкина, 17, всегда принадлежал нескольким хозяевам. И та половина, что выходит во двор, находится в более или менее удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день распоряжаются этой собственностью три хозяина. Но только одна семья проживает здесь постоянно. Другие обрабатывают приусадебные участки и следят за территорией, которая им принадлежит. Что касается второй половины дома, прямых наследников не осталось, а те, кто имеет последующее родство, — в преклонном возрасте и живут в других городах. И таких родственников Бондаревой-Полянничко, по рассказам соседей, около десятка. По-видимому, никто из них ниче-

го предпринимать не собирается. Эта половина дома как раз самая неприглядная, парадным фасадом выходит на улицу (шесть окон). И проблема здесь уже не только в неухоженном палисаднике, немых годах тусклых, серых окон и некрашенных стен, которые ещё достаточно крепки и, быть может, простоят несколько лет. А вот пристройки развалились.

— Нынешней зимой рухнула труба, провалилась крыша, — говорит соседка Т.М.Шалимова. — Завалились саран. И вообще двор и прилегающая территория стали небезопасными. Раньше здесь жили квартиранты, поддерживали порядок в доме и во дворе. Теперь только наследники время от времени навещают, но ситуация от этого лучше не становится. Похоже, она и вовсе никого не волнует.

И в то же время никто из наследников не торопится отказаться от собственности, а с ней и причастности к знаменитости. Но если за домом не следить, то и от наследуемых частей останутся разве что руины.

Л.ЕВГЕНЬЕВА

«Ливенская газета», 2006, 28 апр.

Письмо в редакцию «МП»:

Мои обращения в местные органы власти о необходимости создания мемориального музея К.Г.Паустовского в доме Бондаревых, который дышит на ладан из-за того, что он оказался почти в бесхозном состоянии, положительных результатов не дали. Сейчас пришли иные времена, иные люди, иные нравственные ценности...

Потихоньку читаю «МП» № 23 и всё больше восхищаюсь мужественной позицией К.Г.Паустовского в защиту писателей.

Валентин Васильевич Зайцев
г.Ливны, Орловская обл.



Александр Грин: Хроника жизни и творчества (с фрагментами автобиографии, воспоминаний, писем, дневниковых записей) / Сост. Н. Яловая. — Феодосия; М.: Издат. Дом «Коктебель», 2006. — 80 с.

В Хронике приведена ссылка на публикацию незавершённого романа Александра Грина «Недотрога» в журнале «Мир Паустовского» № 19.

Анатолий Зверев в воспоминаниях современников. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 312 [8] с.: ил. — (Б-ка мемуаров: Близкое прошлое; Вып. 18).

В сборнике помещены воспоминания Александры Турицыной «Тарусский букет» о художнике, впервые опубликованные в журнале «Мир Паустовского» № 21.

Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки; Пришвин М. Кладовая солнца. Рассказы; Паустовский К. Рассказы и сказки: Сб. / Худож. Владимир Дугин. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 411 с.: ил. — (Серия: Книги нашего детства).

Из содерж.: ПАУСТОВСКИЙ К. *Рассказы и сказки*: Стальное колечко; Тёплый хлеб; Дремучий медведь; Заботливый цветок; Квакша; Похождения жука-носорога; Растрёпанный воробей; Кот-ворюга; Резиновая лодка; Заячьи лапы; Барсучий нос; Сивый мерин; Прощание с летом; Подарок; Жильцы старого дома: с. 315–408: ил.



Издательство уведомляет читателей: «Серия «Книги нашего детства» — это самые лучшие, знаменитые во всём мире произведения, которыми зачитывается вот уже не одно поколение мальчишек и девчонок.

ГРЕЙНЕР Руфина. Каролина Собаньская / Худож. Е. Ларина, К. Степанов. — Одесса: Астропринт, 2005. — 76 с.: ил. — 500 экз.

КНИГИ

Из аннотации к книге: *Перед читателем развёртывается история взаимоотношений двух великих поэтов XIX века — Пушкина и Мицкевича и самой загадочной красавицы, польки, графини Каролины Адамовны Собаньской, жившей в Одессе с 1816 по 1848 год. Она была основательницей села Каролино-Бугаз Овидиопольского района Одесской области.*

Автор книги Руфина Николаевна Грейнер, — одна из активнейших участниц Одесского товарищества «Мир Паустовского» и, вдобавок, жительница посёлка Каролино-Бугаз. В заключительной главе «Госпожа Чиркович. Путь на чужбину» Руфина Николаевна обращается к роману Паустовского «Дым отечества».

Очерки культуры Барнаула в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Гос. музей истории литературы, искусства и культуры Алтай. — 2005.

Из содерж.: МУРАВИНСКАЯ Лидия, АЩЕУЛОВ Виктор. Константин Паустовский на Алтае; ЗАХАРОВ С. Паустовский и Алтай.

ПАУСТОВСКИЙ К. Уэк: Рассказы и сказки. — Аудиокнига в формате «MP 3» / Читают народный артист России Рафаэль Клейнер, заслуженная артистка России Наталия Минаева. — М.: ООО Деоника, 2005. — Время звучания 5 час. 28 мин. — (Серия: Дет. б-ка).

Содерж.: *Рассказы*: Летние дни; Золотой ливень; «Уэк» или последний леший; Заячьи лапы; Кот-ворюга; Резиновая лодка; Барсучий нос; Сивый мерин;

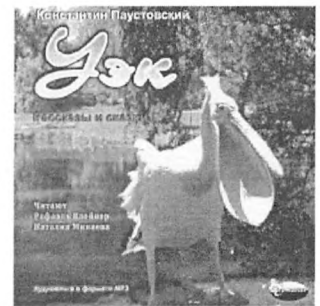


Рисунок художника Владимира Дугина к сказке «Стальное колечко»

Жильцы старого дома; Собрание чудес; Подарок; Прощание с летом.

Сказки: Тёплый хлеб; Стальное колечко; Дремучий медведь; Растрёпанный воробей; Квакша; Артельные мушкетеры; Похождения жука-носорога.

Диск предназначен для воспроизведения на CD-плеерах и других аудиосистемах с поддержкой формата «MP 3», а также на персональных компьютерах, удовлетворяющих следующим системным требованиям: Pentium-100 с Windows 9x-XP, CD-ROM, звуковая карта.



Рассказы о природе / К. Паустовский, Г. Скребицкий, К. Ушинский, В. Бианки; Худож. Владимир Черноглазов. — М.: РИО «Самовар 1990», 2005. — 96 с.: ил. — (Серия: Шк. б-ка). — Доп. тираж. 16.000 экз.

Из содерж.: ПАУСТОВСКИЙ К. Барсучий нос; Заячьи лапы; Подарок: с. 70–93: ил.



Рисунки художника Владимира Черноглазова

Кот ворюга: Стихи, рассказы, сказки о животных: Для дошк. и детей мл. шк. возраста /Худож. В.Дугин. — М.: РОС-МЭН-Пресс, 2006. — 112 с.: ил.

Из содерж.: СТЕПАН И ФУНТИК; КОТ ВОРЮГА: с. 64–83: ил.

ЛОБОДОВ Вячеслав. Зал ожидания: Новеллы. Рассказы. Эссе /Предисл. Олега Шевченко; Послесл. Олега Столярова. — Воронеж: ГУП ВО «Воронежск. обл. типография — изд-во им. Е.А.Болховитинова», 2006. — С. 219–223.

Книга Вячеслава Васильевича Лободова издана посмертно стараниями друзей и его соратников-журналистов по воронежским газетам «Коммуна» и «Вперёд». С эссе-размышлением Лободова «Пахло мокрыми заборами» о влиянии творчества Константина Паустовского на его жизнь и судьбу и с очерком «Стояли последние холодные грязи...» (Бунин и современная деревня) читатели «МП» могли познакомиться на страницах второго и сдвоенного 9–10 номеров журнала.

[Рец.] — ГОРДИНА Дора. Дорога к горизонту // Коммуна. — Воронеж. — 2007. — 15 февр. — С. 7. — (Судьба и книга).

ПАУСТОВСКИЙ К. Беспокойная юность /Худож. В.Челак. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — 352 с. — (Серия: Внеклассное чтение).

Заказать книгу Паустовского почтой можно в любом уголке России: 107140, Москва, а/я 140, телефон (495) 744-29-17.

Книгу можно приобрести по Интернету на сайте: www.ozon.ru.

Книги издательства АСТ на территории Европейского союза можно заказать у представителя: «Express Kurier GmbH», телефон 00499233-4000.

Справки по телефону: (495) 615-01-01, факс 615-51-10.

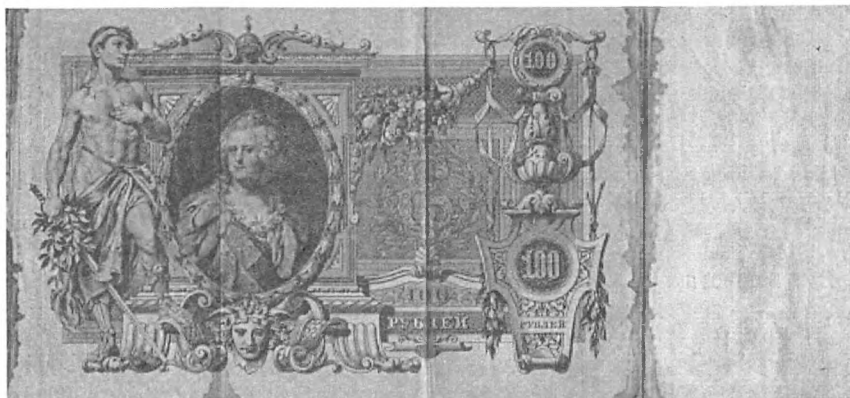


Руга Б., Кокорев А. Москва повседневная: очерки городской жизни нача-

ла XX века. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. — 512 с.: ил.



Мухаревский С. Московская гильотина: Карикатура на открытие трамвайных линий



Знаменитая «екатерининка»

Энциклопедия многообразного быта и уклада жизни Москвы начала XX века, в том числе с многочисленными ссылками по тексту на «Повесть о жизни» К.Паустовского.

ЩЕПКИН В. Тайна тайн: Из книги лирики. — М., 2006. — 40 с. — (Мини-атюрное издание).

Из содерж.: Паустовский. Рёвенские лета: с. 15–16.

ЩЕПКИН Вячеслав. Волшебство: вторая книга лирики. — М.: Мост эпох, 2006. — 20 с.

Из содерж.: Венок Паустовскому: триптих: В саду: Дача серая. Кузь-

минки. Старый дом...; Свидание с Ильинским омутом: с. 146–148. — (Встреча).

«Зов сердца»: О природе становления писательского гения К.Г.Паустовского; Мой Ильинский омут: с. 201–205. — (Волшебство: Проза).

Московский поэт, журналист, историк и психолог, постоянный участник литературных праздников Паустовского выступил с новой книгой стихов. Из аннотации к сборнику: *Второй сборник Щепкина — лирический дневник последних лет и одновременно остросовременный разговор с читателем о предназначении человека, главных вопросах жизни, о смысле любви...*

ЖУРНАЛЫ

Кузнецова Анна. Владимир Касаткин. «Вторая родина» Константина Паустовского <Аннотация на кн.> // Знамя. — 2005. — № 11. — С. 236. — (Наблюдатель. Ни дня без книги).

ПАУСТОВСКИЙ К. Великий сказочник (в сокр.) // Уроки литературы. — 2005. — № 9. — С. 2–4.

Уроки литературы: Прилож. к журн. «Литература в школе». — 2005. — № 10 (Спец. выпуск: А.Грин, К.Паустовский). — 16 с.: ил.

Из содерж.: **ПАУСТОВСКИЙ К.** Александр Грин; **ГАЛИЦКИХ Елена.** «Александр Грин и К.Паустовский: диалог о поэзии и жизни»; **МОИСЕЕВА О.В.** Изучение рассказа К.Паустовского «Телеграмма»...

ДЯГИЛЕВА Людмила. Паустовский вернулся в Базарный Сызган <о торжествах, связанных с присвоением имени Паустовского старейшей библиотеке районного центра Базарный Сызган в Ульяновской обл.> // Библиотека. — 2006. — № 1. — С.

74–75; ил. — (Духовное наследие: История в лицах и документах).

СОЛОДЯНКИН Вячеслав. Россия и Украина: Старый Крым // Мир музея. — 2006. — № 10. — С. 36, портр. — (Жизнь музеев. Сообщения. Хроника).

В статье сообщается об открытии Дома-музея К.Г.Паустовского в городе Старый Крым, а также приводятся ближайшие планы дальнейшей музеефикации Крыма.

Готовится к открытию в Феодосии музей сестёр Марины и Анастасии Цветаевых, в Симферополе — музей в доме поэта Ильи Сельвинского. Открываются музейные разделы, посвящённые жизни и творчеству Анны Ахматовой в Евпатории и Севастополе, Владимира Набокова — в Ялте и Гаспре, краеведческий музей в Саках приступил к созданию гоголевской экспозиции.

ТАРАСИНСКАЯ Инна. Черкасскому «Клубу Паустовского» 5 лет // Русский

язык, литература, культура в школе и вузе: журнал УАП-РЯЛ. — Киев. — 2006. — № 5(11). — С. 75–78, С. 4 обложки: ил. — (Итоги конкурсов, конференций, встреч).



КАСАТКИН Владимир. Солотчинская усадьба академика Пожалостина <с многочисленными упоминаниями К.Г.Паустовского> // Переславль: лит.-краевед. альм. — Рязань. — 2007. — № 11. — С. 96–109; ил. — (Имена).

Содерж.: 1. История поиска; 2. Приют художника; 3. Возрождение усадьбы.

ГАЗЕТЫ

КАЛЬКО Александр. Уроки Константина Паустовского / Фот. авт. // Слава Севастополя. — 2006. — 13 янв. — (Наследие).

По газетным меркам большая, на целую полосу статья-репортаж нашего внештатного корреспондента из Севастополя Александра Григорьевича Калько об открытии Дома-музея К.Г.Паустовского в Старом Крыму.

ШЕВАРОВ Дмитрий. «И грусть моя по-зимнему ясна...»: Потерявшийся дневник Константина Паустовского возвращается к читателям // Деловой вторник: Прил. к газ. «Труд». — 2005. — 31 янв. — С. 4, портр. — (Добрые лица).

Из содерж.: [ПАУСТОВСКИЙ К. 1920 год: Из дневника. Жизнь народа не терпит пустоты...; Мы дожили до самого страшного времени, когда правы все идиоты; Чтобы создавать, нужна свободная душа, а не прокисший ум. / Публ. Дмитрия Лосева.

То же. — Челябинский рабочий. — 2006. — 31 янв. — С. 4, портр. — (Добрые лица).

КАСАТКИН Владимир. Святая к музыке любовь... // Рязанские ведомости. — 2007. — 11 янв. — С. 3. — (Источники: Краеведческий поиск).

Статья о рязанском скрипичном квартете, в состав которого входил Александр Васильевич Павлов (1885–1937), родственник К.Г.Паустовского (по линии жены писателя, Екатерины Степановны Загорской-Паустовской).

МУХАРЕВСКИЙ Марк, ТРОФИМОВ Владислав. ...И тема «второй родины» <отклик на «МП» № 23> // Рязанские Ведомости. — 2006. — 15 марта. — (Библиофил).

МИХАЙЛОВ Владимир. Полвека — не возраст. Для библиотеки: Рязанская областная юношеская библиотека им. К.Г.Паустовского отметила своё 50-летие // Рязанские ведомости. — 2006. — 9 нояб. — С. 3. — (Юбилей).

Юбилейные торжества начались в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и современность». И это закономерное, ибо конференция проходила по инициативе библиотеки. Это подчеркнул губернатор области Г.И.Шпак, приветствуя участников представительного форума.

[Б.п.] <В связи с 50-летием основания Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г.Паустовского многие её сотрудники за многолетнюю и плодотворную работу были поощрены губернатором Рязанской области> // Рязанские ведомости. — 2006. — 1 нояб.

БАЛАНДИНСКИЙ Николай. Африканская муза Константина Паустовского <об Иосифе Григорьевиче Высочанском, «дяде Юзе» — родном дяде К.Г.Паустовского> // Октябрь. — Таруса. — 2006. — 10 мая. — С. 3–4; ил. — (Мир своими глазами).

СУШКЕВИЧ Владимир. Была в Тернополе улица Паустовского. Видимо, она вернётся к нам, иначе быть не может... // Соломия: культурно-городское издание. — Тернополь. — 2006. — № 3: октябрь. — С. 4; ил., портр. — (Вальс негасимых свечей).

СУШКЕВИЧ Володимир. Була в Тернополі вулиця Паустовського. Віримо, вона повернеться до нас, інакше бути не може... <на укр. яз.> // Соломія: культурно-мистецьке видання. — Тернопіль. — 2006. — № 3: жовтень. — С. 4; іл. — (Вальс негаснучих свічок).

В марте 2006 года в Рязанской областной юношеской библиотеке им. К.Г.Паустовского состоялось собрание, посвящённое созданию Рязанского экологического общества «Золотая роза» имени Константина Паустовского.

Среди учредителей нового Общества директор библиотеки В.В.Суравова, заместитель директора Л.Г.Волкова, депутат Рязанского городского Совета и зам. главы муниципального образования Н.А.Бульчев, заслуженный художник РФ Б.С.Горбунов, директор Рязанского художественного училища им. Г.Вагнера В.И.Колдин, старейший рязанский журналист, заслуженный работник культуры РФ и Почётный гражданин Рязани А.С.Прокофьев, руководитель Рязанского областного клуба краеведов, заслуженный работник культуры В.В.Безуг-

РЯЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗОЛОТАЯ РОЗА»

лова, известные краеведы В.М.Касаткин, В.М.Афанасьев и другие.

Единогласно президентом Общества «Золотая роза» избран Николай Александрович Бульчев.

Особое внимание в ходе первого заседания Общества было уделено плану мероприятий, посвящённых предстоящему в 2007 году 115-летию со дня рождения К.Г.Паустовского.

Второе заседание проведено 31 мая в Доме-музее И.П.Пожалостина. Запланировано проведение международной научно-практической конференции, подведение итогов традиционного литературного конкурса «Тропой Паустовского», издание буклета о Паустовском, а также переиздание книг известных рязанских краеведов,

изготовление сувенирной продукции, установка памятного знака писателю в Солотче...

Кроме того, на заседании говорилось о необходимости учредить литературную премию имени Паустовского, в рамках торжеств провести «Паустовские чтения», а также организовать выставки, концерты, конкурсы... Решено также создать эколого-просветительное общество имени К.Г.Паустовского для популяризации идей великого писателя.

КАСАТКИН Владимир, СМИРНОВА Оксана. «Золотая роза» // Рязанские Ведомости. — 2005. — 15 марта. — (Новости культуры).

ГОРДИЕНКО Владлен. К нему не зарастёт народная тропа // Рязанские Ведомости. — 2006. — 7 июня. — С. 3: ил. — (Культурная среда: Начало).

23 октября 2006 года на улице Черноморской в Одессе, напротив музея К.Г.Паустовского, состоялась торжественная закладка Аллеи Памяти.

Деревья, посаженные юными одеситами, станут, по мнению организаторов, символом бессмертия имён, связанных с историей Одессы: Исаака Бабеля, Эдуарда Багрицкого, Анны Герман, Александра Грина, Ильи Ильфа, Веры

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

Инбер, Валентина Катаева, отца Александра Кравченко, Александра Маринеско, Юрия Олеси, Константина Паустовского, Евгения Петрова, Ивана Франко, Петра Шмидта...

В акции по закладке Аллеи приняли участие представители райадминистрации Приморского района Одессы,

Управления образования горисполкома, Одесского Горзелентреста, а также курсанты морского технического колледжа и морского училища им. Маринеско и учащиеся школ.

Инициатива проведения акции «Кого любим и помним...» принадлежит Одесскому музею К.Г.Паустовского и Товариществу «Мир Паустовского».

С 6 по 11 ноября 2006 года на борту теплохода «Южная Пальмира» при выполнении им рейса Одесса–Стамбул–Одесса прошла Международная научно-практическая конференция «70 лет повести «Чёр-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕПЛОХОДЕ

ное море» К.Паустовского». Конференция была организована Одесским музеем К.Г.Паустовского и проведена при спонсорской поддержке судоходной кампании «УкрФерри».

В работе конференции приняли участие представители четырёх стран — Украины, России, Турции, Польши — из девяти городов: Одессы, Каролино-Бугаза, Очакова, Николаева, Севастополя, Харькова, Москвы, Стамбула и Варшавы.

Состав конференции насчитывал девятнадцать организаций и учреждений, включая Одесский национальный университет, Государственный экологический университет, Международный гуманитарный университет, Институт биологии южных морей НАН Украины, Причерноморскую Академию языковых технологий и коммуникаций, Одесский Дом учёных, Управление образования Одесского горисполкома, Стамбульский технологический университет.

Среди участников конференции были представители Одесского государственного литературного музея и его

филиалов — мемориального музея А.С.Пушкина и музея К.Г.Паустовского, а также

Одесского литературного Товарищества «Мир Паустовского», Харьковского литературного общества «Золотая роза», Севастопольской библиотеки имени К.Г.Паустовского и Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского.

Информационная поддержка конференции обеспечивалась Национальной радиоккомпанией Украины, Одесской региональной организацией Союза журналистов Украины, Союзом переводчиков Польши и московским журналом «Мир Паустовского».

На пленарных заседаниях конференции было заслушано 35 докладов и сообщений.

Участники конференции в своей резолюции отметили высокий научный уровень проведенной конференции, чему, помимо прочего, содействовал и способствовал необычный формат её работы — на борту теплохода во время рейса по Чёрному морю, воспетому Константином Паустовским в повести «Чёрное море» и многих его рассказах, пьесах, очерках. Участники отметили актуальность затронутых на конференции



Делегация москвичей у борта теплохода

вопросов (от сугубо литературоведческих до проблем экологии, развития мореплавания и туристических контактов, проблем взаимовыгодного развития культурных и экономических связей стран Черноморского бассейна), а также высокий уровень и профессионализм организаторов встречи.

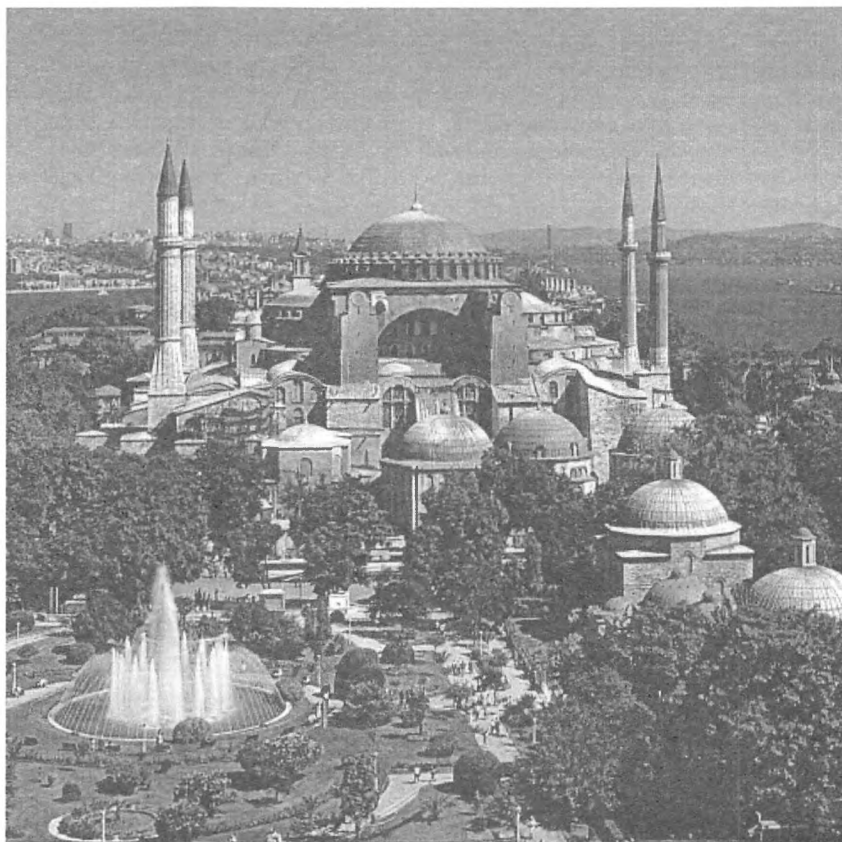
В ходе конференции, помимо докладов и сообщений, были проведены презентации новых изданий:

— книги Евгения Шмидта-Очковского «Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»): *Воспоминания сына*» (Одесса: КП ОГТ, 2006.—308 с. — Тираж 300 экз.)

— книги Юрія Работіна «Українська мова — мова єднання: *Збірник конкурсних творів*» (Чернівці: Зелена Буковина, 2006.—244[28 вклейки] с.: ил. — Тираж 500 прим.)

— журнала «Мир Паустовского» (2006.—№ 24: Паустовский и Украина.—216 с.: ил. — Тираж 800 экз.)

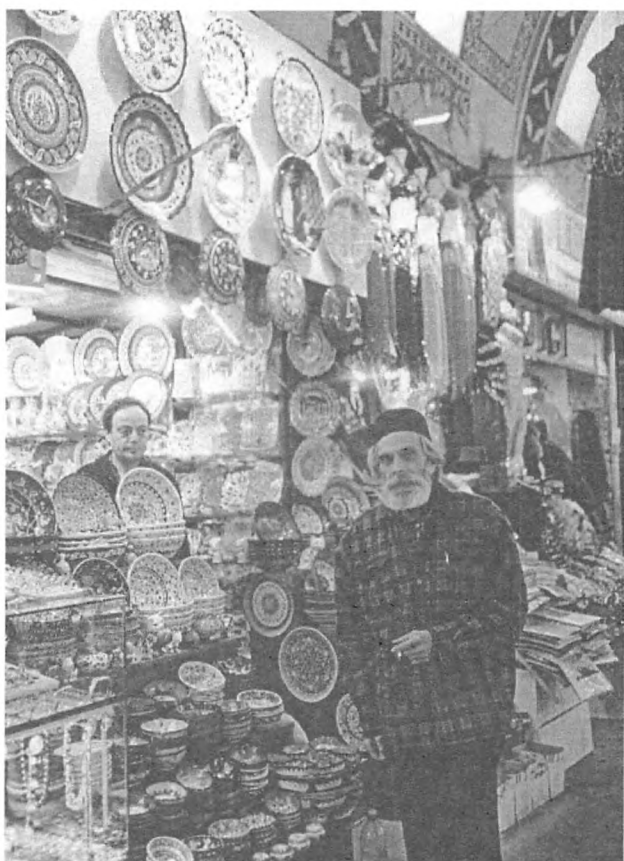
Культурная программа конференции предусматривала показ выставки картин художников Одессы (Григория и Светланы Крижевских, Геннадия Гармидера), посещение исторических и культурных памятников Стамбула, проведение литературного вечера прозаиков и поэтов (участников конференции).



Айя-София



Мечеть Сулеймание



Знаменитый крытый рынок Стамбула «Капалы чарши»

12 декабря 2006 года в городе Лебедянь Липецкой области открыт ещё один Музей К.Г.Паустовского — школьный, в СОШ-4. Инициатор и создатель музея — педагог Татьяна Давыдовна Воробьева.

Музей-центр получил от неё диск с записью открытия — его «прямую трансляцию».

12 октября 2006 года в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась торжественная церемония вручения номинантам конкурса престижной журналистской премии имени Артёма Боровика, который проходил под девизом: «Честь. Мужество. Мастерство».

Организаторы конкурса — Благотворительный фонд имени Артёма Боровика, Союз журналистов России и группа компаний «Совершенно секретно». Приветствовал участников мэр Москвы, председатель попечительского совета фонда Юрий Лужков.

В начале вечера руководитель благотворительной программы «Независимая журналистика» Генрих Боровик попросил собравшихся почтить память политического обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, ей же было присвоена посмертно Специальная Премия «За мужество».

На соискание премии имени Артёма Боровика за 2006 год было выдвинуто более 500 работ из 48 городов России — от Калининграда до Владивостока. Дипломами I степени награждены 7 номинантов, лауреатами премии стали 6 человек. Специальный диплом «За вклад в развитие независимой журналистики в России и творческие достижения в жанре журналистского расследования» был вручён Татьяне Мельниковой за опубликованный в журнале «Мир Паустовского» (№ 23) материал «Таруса — 101-й километр: Таруса и «русское правдоискательство»».

Из статьи о журнале «МП» в книге «Расследуют журналисты», предваряющей материал Татьяны Мельниковой:

«В страшном и бесчеловечном времени», в котором, как констатировал Борис Зайцев, довелось жить К.Г.Паустовскому, не только талант писателя проходит испытания: даже элементарная человеческая порядочность требует немало мужества. Вот почему только очень немногие современники Паустовского сумели сохранить столь же твёрдую репутацию, как он. Номер 23 журнала «Мир Паустовского», который был выдвинут на премию Артёма Боровика, посвящён тому, как складывалась гражданская репутация

МУЗЕЙ В ЛЕБЕДЯНИ

*Из письма Т.Д.Воробьевой:
Как будто гору свернули, а дети — молодцы. Была всего одна репетиция (при разных классах и сменах), но они не оплошали.*

Конечно, были неувязки, огрехи — без этого! Сама себе — просматриваю

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АРТЁМА БОРОВИКА

Константина Паустовского, его незыблемый авторитет не только в литературной среде, но и в общественной жизни страны.

Открывает номер журнала писатель Михаил Холмогоров: «Паустовский жил в самый жестокий из веков — двадцатый с его кровавыми войнами, революциями и концлагерьями. Он не был борцом, писательство в борцах не нуждается, он просто был порядочным человеком, а вот порядочность, высокая нравственная репутация требовала величайшего напряжения духовных сил, неприметной, но героической смелости».

Паустовский стал свидетелем начала диссидентского движения в стране и, как показывают документы, его позиция сыграла немалую роль в становлении этого движения.

Из материалов 23-го номера журнала «МП» на премию жюри был номинирован очерк Татьяны Мельниковой «Таруса — заповедник инакомыслия».

Редакция «МП» искренне поздравляет с заслуженным успехом Татьяну Петровну — нашего автора и бывшего ведущего редактора журнала, подготовившей в качестве ответственного выпускающего три его сдвоенных номера в течение 1996–2000 годов.

диск — не понравилась. Это как бы не я — не улыбочная, угрюмая...

Надеюсь, что летом обязательно встретимся.

Читателям «Мира Паустовского» сообщаем адрес руководителя нового музея: 399620 г.Лебедянь Липецкой обл., ул.Тургенева, д. 4, кв. 9, — Т.Д.Воробьевой.

РАССЛЕДУЮТ ЖУРНАЛИСТЫ: Премия Артёма Боровика 2006 /Предисл. Генриха Боровика. — М.: Совершенно секретно, 2007. — 320 с. — (Честь.

Мужество. Мастерство: Благотворительная фонд имени Артёма Боровика).

Из содерж.: МЕЛЬНИКОВА Т. Таруса — 101-й километр: Таруса и «русское правдоискательство» // Вступ ст. сост.: с. 213–242.



За вклад в развитие независимой журналистики в России и творческие достижения в жанре журналистского расследования

Благотворительный фонд имени Артёма Боровика

**Честь.
Мужество.
Мастерство**



Ежегодная церемония вручения премии за лучшие журналистские расследования

украинских представителей — одесситов и харьковчан.
СОКОЛОВА А. По векам памяти // Наше время. — Навля: Брянская обл. — 2006. — 3 июня.

29 ноября 2006 г., США, Кембридж, Центр Дэвиса Гарвардского университета

В плане работы Центра Дэвиса был проведен Ребеккой Стэнтон — пост-док-

торантом и стипендиатом-исследователем Центра, доцентом отделения славистики Колледжа Бернарда — литературный и культурный семинар «Лгуны, “плохая” литература и сказки, ставшие реальностью: Одесский аспект в русской литературе».

В заявочной аннотации семинара, состоящей из 12 разделов, два раздела (пятый и десятый) полностью посвящены текстам К.Паустовского из «Времени больших ожиданий» — в связи с Исааком Бабелем и Гамбринусом.

5 января 2007 г., Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского

В Литературно-музыкальной гостиной «Золотая роза» прошёл благотворительный «Рождественский вечер». Декан Петрозаводской государственной консерватории Алексей Токунов вдохновенно исполнил фортепьянные сонаты Моцарта, Гайдна, Бетховена и Шопена.

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНИКОВ В УСАДЬБЕ «КУЗЬМИНКИ»

Фестиваль проводится ежегодно с июня по сентябрь, на протяжении многих лет в Юго-Восточном округе столицы. На торжественное открытие фестиваля в усадьбе «Кузьминки» музей-центр выставляет напротив своего здания рабочие стенды, организует концерты.



Концерт перед зданием музея-центра



У выносных стендов музея. Лето 2006 г.
Фотографии Сергея Кириленко

Бал цветов в Кузьминках

РАДИОПЕРЕДАЧИ

4 марта 2006. Канал «Культура», 11²⁰ Рассказ К.Паустовского «Утренник»

Исполнители: Ия Савина, Ростислав Плятт, Олег Табаков. Трансляция записи 1976 года из материалов Гостелефонда.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

11 октября 2006. Канал «Столица», 14²⁰–14⁴⁰ Передача «Музей Паустовского» — в авторской программе Александра Морозова «Москва 2006: Мифы и легенды»

Передача была построена, в основном, на интервью с директором московского музея-центра. Речь шла об истории создания музея, о востребованности творчества Паустовского в современной жизни общества, о легендах и мифах, сопровождавших и сопровождающих личность писателя по сию пору.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ

Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского высылает наложенным платежом выпуски журнала «Мир Паустовского», а также другие печатные издания и сувенирную продукцию по профилю музея. В письменных заявках просьба указать вашу фамилию, полное имя и отчество, а также ваш адрес с почтовым индексом.

Упрощённая форма взаиморасчётов — с предоплатой непосредственно в адрес музея.

Заявитель высылает предоплату на почтовый адрес музея: 109472 г.Москва, ул. Кузьминская, 8, Музей Паустовского.

В почтовом переводе вам необходимо указать количество экземпляров и наименование затребованных изданий. Стоимость изданий указана в традиционных прайс-листах музея «Заявка-подписка», рассылаемых по запросу.

Просьба к итоговой высланной в адрес музея сумме добавить 20% — на почтовые расходы музея.

Администрация Московского
литературного музея-центра
К.Г.Паустовского

Человеческая жизнь, личность — то, что мы привыкли так глубоко ценить, человек, который действительно носит в себе целый мир, много прекрасных возможностей, — на войне теряет свою цену. Думают, что обидеть, ударить, убить — это пустяки. И этот дикий взгляд заражает даже сравнительно умных, хороших людей.

Константин Паустовский

Всем, кто прочёл автобиографические книги Паустовского («Повесть о жизни»), не могла не броситься в глаза одна их особенность: книга и жизнь у него неразсторжимо. Не было, кажется, ни одного более или менее выдающегося явления в культурной жизни, особенно в литературе, мимо которого прошёл бы молодой Паустовский.

Иван Иванов

«Романтики» — первый роман Паустовского, самая молодая его вещь, а я, признаться, давно уж и еретически полагаю, что писатель со всем своим «нутром», с тем, что есть в нём главного от Бога и природы, полнее, лучше всего виден именно в ранних и молодых, первых своих произведениях.

Свет молодости, жадной, нетерпеливой и горячей, исходит со страниц этого романа...

Игорь Штокман

Чем дальше в историю будут уходить двадцатые годы, тем яснее, очевиднее выявится значительность творческой судьбы раннего Паустовского, художника, который, осваивал всё новые сферы в меняющемся мире, отстаивал свою творческую самобытность в трудных поисках дороги к новому читателю.

Леонид Кременцов

Current, twenty fifth, issue of the magazine «Paustovskii's World» is being opened with the story «Golden thread» written by young Paustovskii and previously unknown. This story found in writer's archives is of foremost interest because it gives evidence of the fact that young Paustovskii was an eyewitness of most significant historic events shocked Russia in the first quarter of the twentieth century. Both writer's letters referring to those years and a cycle of his early verses confirm this fact.

Under the heading «Reading and going over Paustovskii», Igor' Shtokman, Valentina Bazilevskaya, Ivan Ivanov write about his works.

The narration by Kim Bakshi depicting a life story of common countrywoman from Tarusa environs, recollections of Yurii Kuranov about his childhood as well as the materials concerning fate of Nikolai Vysochanskii and adduced by his grandson Vadim Vysochanskii are published under the heading «People, years, fates».

In this issue, «Literary pages» represent prose and poetry of young authors.

In «Tarussian pages», traditional for the magazine, we publish a letter from Anastasiya Tsvetaeva to her friend, Eugeniya Kunina, and narration by Nadezhda Vinogradova about her father, a famous writer Anatolii Vinogradov. «Pages» are concluded with the works of juvenile inhabitants of Tarusa, participants of literary competition among Tarussian schoolchildren.

In the issue's perorate, we publish, as usually, letters and notes of permanent readers of our magazine.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ - ЦЕНТР
ПАУСТОВСКОГО

МИР ПАУСТОВСКОГО

К. Паустовский

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
109472, Москва, ул. Кузьминская, д. 8
Телефон/факс: (495) 1727791
Сайт: www.city-figp.nim.ru
E-mail: m385@mail.museum.ru

Журналу «Мир Паустовского» — пятнадцать лет

